

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1982

8

1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Карло Каладзе (перевел с грузинского Лев Озеров), Владимир Диваков, Гилемдар Рамазанов (перевел с башкирского Р. Бухараев), Александр Пахомов, Борис Куняев	3
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Провинция, повесть	7
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Огни, стихи	78
МИХАИЛ БАСМАНОВ — Из лирики	81
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР — Унвермаг, роман	82
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Наш союз разноплеменный, стихи	126
ВЯЧЕСЛАВ КОСТЫРЯ — Песня горожанна, стихи	129
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Потоп, роман. Окончание. Перевела с английского Е. Гольшева	131
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ — Встречи с Орбеля	183
МАНУИЛ СЕМЕНОВ — Быть тринадцатым. Из крокодильского прошлого	195
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
А. ДУДКО, Л. ЛЮБИЧ — Генерал Тхор	205
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. БОЧАРОВ — Экзаменует жизнь	226

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
Вл. Новиков. Философия метафоры.	
В. Косолапов. Память неотступная.	
Сергей Белов. Вечные поиски истины.	
<i>Политика и наука</i>	256
О. Алякринский. «Тихое десятилетие?»..	
В. Баевский. Стиль историка.	
Вл. Карцев. Эталон.	
Г. Федоров. В мире богов и героев.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А н д р е й В а с и л е в с к и й.— М а к а Д ж о х а д з е. Человек из маленького двора. Рассказы и повесть ♦	
И р и н а Г и т о в и ч.— Л. Левин. Дни нашей жизни. Книга о Юрии Германе и его друзьях. ♦	
В л а д и м и р П р и х о д ь к о.— З о я В е л и х о в а. Качели весны. Стихи. ♦	
Н. Макарова.— Александр Кухно. Слова, зовущие к добру... Стихи, проза, письма. ♦	
Е. Краснощекова.— Н. Г. Полтавцева. Философская проза Андрея Платонова. ♦	
В и к т о р Г о р н.— В. Лавров. Человек. Время. Литература. ♦	
Ю. Попков.— К. С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного языка. ♦	
А. Андреев.— И. С. Вдовина. Эстетика французского персонализма	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



КАРЛО КАЛАДЗЕ

Дружеское послание Миколу Бажану

Семьдесят пять лет — это один миг, Один протяженный миг, не вычитанный из книг. Ты время всегда ценил, и дни твои не скудели. Спасибо тебе за любовь к нашему Руставели. Слава тебе, Автаңдил, слава твоим годам, Слава нашему братству, нашим общим трудам. Дыхание тростника я почувствовал в слове. Это ты обратился к небу на своей украинской мове. Микола, мне люб твой шаг — твой чеканнейший слог. Гостем ты пришел на Кобахи и меня за собой увлек. Я вспомнил тебя на пиру, и вот перед глазами — Среди алазанской долины ярый изгиб Алазани. Разве мы перестали гореть? Горя, мы творим. Скажем: алавердоба! — праздник! — и повторим. Мы оба с тобою, Микола, на празднике единенья, На торжестве братанья, на крылах вдохновенья. Я тебя обнимаю, брат, к тебе обращаюсь, друг. У меня не хватает слов, у меня не хватает рук.	Ты произнес строку — мой откликаются горы. Я произнес строку — твои отвечают просторы. Скалою встает Кобзарь — он, воспевавший Кавказ, Объединяет нас и поднимает нас. Волга, Днепр и Кура — три песни, любимые нами. Дружбы язык един, одно небо над нами. Как не любить, Микола, силу песенных слов О мире, который стар, о мире, который нов. Твоя мне строка по нраву — чеканная и литая. Тропой, уходящей в горы, слово твоё взлетает. Да будет твой день долог и громок, как наш Дарьял. Большую дорогу прошел ты и — вижу я — не устал. Ты звук прислоняешь к звуку, слово ты ставишь к слову. Ты любишь свою украинскую, свою певучую мову. Не удивляйся, Микола, если в беседе, любя, Звонким певцом Грузии я назову тебя. Нежные песни братства сшибают вражью свирепость. Клятвенный дух братства взял Каджетскую крепость.
--	---

Устремленные в небо антенны

«Лев» по-грузински «ломи».

Сквозь сумрак и скопище хмури и гари
Пусть будет мне виден хребет Лома-хари.

Плененный открывшейся мне высотею,
За мачтой антенны лечу я мечтою.

Народ — за народом, любовь их взаимна.
Я радуюсь звукам грузинского гимна.

Мне дома тепло и уютно мне, если
Сидит старый лев в своем каменном кресле.

Здесь властвуют львы и немотствуют львицы.
Здесь дом Ломаури, здесь — вправду — Ломидзе.

Здесь — Ломя, здесь — Ломинадзе, здесь жили
И ныне живут старики Ломашвили.

Двенадцать часов. Здесь безмолвствуют стены,
Но, в небо вцепившись, трепещут антенны.

Трепещут, как к небу воздетые руки.
Грузинского гимна мне слышатся звуки.

Перевел с грузинского ЛЕВ ОЗЕРОВ.

ВЛАДИМИР ДИВАКОВ

Память

Уходят в прошлое года,
Война ушла в кинокартины,
По пятьдесят уже мужчинам,
Не воевавшим никогда.
Но не слабеет и не стынет
Боль давних горестных утрат,
И превращаются в святыни
Могилы братские солдат.
Курган Мамаев перед нами.
В его не веря тишину,

Идем тяжелыми шагами,
Идем как будто на войну.
И будто вдруг заныла рана,
И словно было лишь вчера:
Забывтый голос Левитана,
Свист пуль и русское «ура».
И от развалин Сталинграда
Мы до победной высоты
Прошли кровавых полверсты,
Отдав как поздние награды
Могилам свежие цветы.

* * *

Мы в ту войну не воевали —
Наш возраст был не призывной.
Мы еще только начинали
В войну играть перед войной.
Те годы мирные, как сны,
Померкли в розовом тумане,
Для нас реальность очертаний
Жизнь обрела лишь в дни войны.
Я помню самый первый день.
С него встают воспоминанья,
Он с детского еще сознанья
Забвенья снял густую тень.
И исчезает тишина,
И будто слышится мне снова
Тяжелое, как глыба, слово,
Короткое, как взрыв, —
Война...
У нас не строились заводы

И не положено брони —
Мужчины в первые полгода
Ушли...
И не пришли с войны.
Поселок обошли воронки —
Налеты миновали нас.
Его бомбили похоронки
И разрывались, как фугасы.
Ценой великой был заслужен
Победный день поселком вдов,
Лишь стайки радостных мальцов,
Босых, не помнящих отцов,
Скакали в этот день по лужам.
Мы в ту войну не воевали.
Не ставьте это нам в вину —
Мы с матерями голодали,
Мы детства без войны не знали,
Мы просто прожили войну.

1980.

ГИЛЕМДАФ РАМАЗАНОВ**Первые**

Я первенец в семье, я — первый в школе...
Сияло солнце. Ветер детства дул.
Одним из первых выходил я в поле.
Юнкором первым стал на весь аул.
Есть гордость духа в каждом поколенье.
Я ль не был первый на селе солдат.
Погодки, долга выполнив веленье,
мы первые! — доселе говорят.
Мы первыми, не сомневаясь в друге,
вставали за судьбу его горой,
и первые красавицы в округе
в подружки доставались нам порой.
Мы берегли отчизну, честь и совесть,
сил не щадя, скупых не тратя слез.
Но, к жизни бесконечной приготовясь,
инфаркт я первым нынче перенес.
Не сетую, что не готов к бессмертью,
судьбу не вправе обвинять поэт:
в единоборство с неизбежной смертью
мы выходили с самых юных лет.
Ровесники, не верим в воскресенье,
не раз обрыву подлежала нить.
Неистовый характер поколенья
никто из нас не в силах изменить.

Я рад

И мне подчас становится тоскливо,
коль сутки пролетели без следа.
Но рад я — тотчас точно, терпеливо
ко мне приходит новый день труда.
Я сам себя ругаю утром рано
за то, что так судьба моя бедна.
Но рад, что и меня как ветерана
пока в живых оставила война.
Велик мой долг перед моим народом,
об этом помню я и день и ночь.
Но рад, что под родимым небосводом
еще могу стране моей помочь.
Я изменить искусству не посмею,
хотя пред ним во многом виноват.
Но рад я и горжусь судьбой своею,
я, неизвестный родины солдат.

Дума о природе

Странны бывали молодости годы:
все лозунгами говорил народ.
Мы милости не ждали от природы —
мы насмерть с ней сражались всякий год.
Шутя сводили вековые рощи,
болота убивали, как врага,
ничуть не усомнившись в нашей мощи,
мы заливные извели луга.
Иду один по вырубкам тоскливым.
Кого теперь попросишь: не спеши!

Под солнцем не осталось места ивам.
 Здесь вымерли от шума камыши.
 Вдоль Демы ивы вырывали с корнем,
 столетних кряжей трактор не щадил.
 Ветлы старинной мы уже не помним,
 хотя под ней Аксаков проходил.
 Чтоб сокрушить незыблемость породы,
 в горах необходим нам только час...
 Мы милости не просим у природы —
 природа просит милости у нас.

Перевел с башкирского Р. БУХАРАЕВ.

АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ

Знамя

Бой с врагом был длительный и тяжкий...
 Вырвался один он из беды —
 Человек в разорванной тельняшке
 Выползал на берег из воды.

Встал над морем грозным и бурливым,
 Где друзей укрыл девятый вал...
 Расстелил он знамя над обрывом
 И губами к знамени припал.

БОРИС КУНЯЕВ

Дома

И всего-то землицы — горстка:	Как тихи и бездонны реки!
Лес, песок, на коряге роса.	Как щедры и бескрайни поля!
Краше раковины заморской	Не помянем родины всеу,
Наши северные небеса.	Не квасную — ракетную Русь.
Этот свет не померкнет вовеки.	Я смотрю и не налюбуюсь,
Он бессмертен, как звезды Кремля...	Не нарадуюсь, не надивлюсь.



АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ



ПРОВИНЦИЯ

Повесть

День был как день — начинался с работы; без малого в девять Карп Иванович уже сидел на своем чурбачке, обитом кожей, примерялся, с чьей обувки начать: с сапог дочери нового начальника милиции или туфель Фаины, буфетчицы ресторана-столовой. Сапоги были модные, на высоких тонких каблуках с золотистыми шпорками — украшением, на его взгляд, совсем излишним. Что ж, мода есть мода, кому что нравится, еще не везде такие купишь; тут у них в магазине со шпорками и на дух не было, простые-то подои купи при теперешнем спросе на женские сапоги — кто на базе достает, кому доступно, другим из Москвы родственники присылают, или сами к ним туда за сапогами ездят. И там, в Москве, говорят, еще как повезет, нарвешься на какие — купишь, и то надо день в очереди отстоять, а нет — вернешься с таким, только деньги прокатаешь, бывало, все магазины обгаешь — ни наших, ни импортных. Вернее всего если к концу месяца попасть, можно и привозные отхватить.

А может, начать с туфель? Давно Фаина просила... Нет, первыми он отремонтирует все же сапоги: дела тут на пять минут, только поправить каблуки, заменить набойки — сапоги ношены всего-то, видать, неделю-две, но уже успели пострадать, наверное, легко достаются. А над Фаиными туфлями придется посидеть, не сразу и придумаешь, что с ними делать, с какой стороны подойти: и задники по швам разлезлись, и каблуки слизались набок, и подошвы есть просят. Фаина донашивает до последнего, когда уже чинить нечего, сдает в починку одну и ту же обувь по семь раз, стыдилась бы нести, а она за полтинник хочет назад получить как новые. Еще и придирается будет, полчаса в руках крутить, каждую задоринку разглядывать, чуть не так, и в лицо тебе кинет, чтоб переделал. И спорить с ней бесполезно: она сама кого хочешь в своем буфете переспорит, как за ней ни гляди, а хоть пятак со сдачи да выгадает. Бывало, кто не знал, начинал доказывать, потом и сам не рад был, что зацепил. Однако лично его не обижала, наоборот, в другой раз кружечку пивка нальет без очереди, и он уж если ремонтировал ей обувь, то на совесть. Ну да в этом отношении на него грех было жаловаться.

Когда он уже закончил сапоги и взялся за Фаиные туфли, пришел Ефим Бородулин, его напарник, согнутый в три погибели хроническим радикулитом. Ефим что ни день, то опаздывал, хоть минут на пять, да застрянет где-нибудь по дороге: то в магазин за папиросами пойдет, то знакомого на улице встретит, постоит-покалякает, любой повод годится.

Ефим еще долго копошился на таком же, как у него, Карпа Ивановича, чурбачке, сопел над кучей обуви, настраиваясь на работу. Не заговори с ним, он и день просидит молча, не выпуская папироску изо рта, цыркая через зубы в угол на ворох отходов табачную горечь.

В понедельник, после выходных, его совсем невозможно было разговаривать — сидел хмурый, точно обиженный на весь свет. В пятницу же, в последний день рабочей недели, настроение его приподнималось, глаза оживали, руки охотнее брались за обувь, доделывали отброски.

Сегодня была пятница, и Ефим уже с утра начал поерзывать, поглядывать в окно, как бы замечая, к своему неудовольствию, что рабочий день еще только завязывался, медленно раскручивался по раз установленному порядку: с девяти утра до шести ноль-ноль, с перерывом на обед с часу до двух. Высиди-ка, не выходя из мастерской. Вот и погода невеселая, мерзкая; сентябрь отстоял еще ничего, теплый, а октябрь начался с холодины такой, что и в телогрейке зубы лязгают. Всегда как подует северный ветер, чего-нибудь да нагонит; того и гляди полетят белые мухи, ляжет первый снег. За грязноватыми стеклами по голым веткам сирени порхал одинокий озябший воробышек; на притоптанных клумбах из мерзлой земли торчали засохшие головки астр, почерневшие, прихваченные морозом стебли георгинов; через улицу блекло синела сквозь кое-где задержавшуюся желтую листву вывеска «Ресторан-столовая». В такую погоду только в парной сидеть, косточки прогревать.

Карп Иванович глянул в угол на дубовый веник, торчавший из хозяйственной сумки. Уж сегодня он прожарится от души не раз и не два, а сколько выдержит сердце, слазит на верхний полок — всю простуду из себя выгонит, ни одна хворь не пристанет. На улицу выйдет — никакой холод не страшен будет. Уж он-то знал лечебную силу дубового веника, каждый год запасал на зиму десятка два, подвешивал на чердаке парами на перекладину, скреплявшую стропила, доставал по одному, когда понадобится, любой на выбор, прихватывал с собой вместе с большею частью в мастерскую, чтобы не заходить после работы домой, а прямо от КБО дунуть к городской бане. Но пока был еще весь день впереди, его надо было прожить и заполнить работой.

Он взялся за Фаинины туфли, те самые, что уже были в ремонте, проходили через его руки — свою работу он отличит сразу, — но прежде глянул на опущенную голову Ефима:

— Вот я и говорю...

Ефим насторожился: интересно, что же такого и когда тот говорил ему? Ведь они и вчера промолчали день и сегодня вот только еще раскачивались. И Ефим, готовый послушать, колупнул черным изуродованным ногтем отставшую подошву.

— Вот я и говорю, — повторил Карп Иванович, кивнув на окно, — правильно делают: меньше пить будут. А то распустились, сколько ни льют в глотку, все мало.

— А ты не пьешь? — Ефим отложил ботинки — подождут. — Мимо рта проносишь?

— Шутить?

— Скажешь, нет? — Ефим хотел разогнуться, но тут же скорчился и так застыл. — Ох, как стрельнуло!..

— Змеиным ядом пробовал? — посочувствовал Карп Иванович.

— У меня теща еще почище змеи! Поплуй, говорю, мне сюда, на поясницу, так она чуть ухватом не огрела, — с облегчающей страдания улыбкой проговорил Ефим.

— Не полежал бы тогда на сырой земле...

Ефим тотчас нахмурился: не любит, когда напомнишь, как он позапрошлой осенью проспал всю ночь в канаве, пока сосед не наткнулся на него под утро да не притащил чуть тепленького домой, — сейчас не гнуло бы в кряк, не хватался бы за поясницу.

— Я пью, так я меру знаю, — непреднамеренно укорил его Карп Иванович. — Нет, правильно за это дело взялись. Давно бы так, меньше б у нас сейчас по улицам шатались всякие там, глотку драли. Ну я могу еще взрослых понять... А как с молодыми-то быть? Еще молоко на губах не обсохло, но уже бутылку в карман, папироску в зубы... По-

падешься навстречу такой компании — не знаешь, то ли прямо идти, то ли стороной обходить. Теперь-то присмирели, потише станут. А не то сразу за шиворот и туда, в вытрезвитель.

Он глянул на опущенную голову Ефима, на его руки, замедлившие движения, — все еще колупался с одними и теми же ботинками. Вот такой Ефим всегда, не расшевелишь его ничем. Хоть раз он чему-нибудь порадовался, поддержал разговор? Что ни скажи — хмурится. А чего хмуриться? Чем он недоволен? Разве не так? Мало всякого безобразия творят под пьяную лавочку? Зальют глаза... Раньше, бывало, попробуй приди на работу, чтоб от тебя кто хоть запах уловил. А сейчас уж так пообнаглели... Ну, он тож не святой, если когда и выпьет рюмочку... О нем другой разговор: пусть сядут на его место, поработают. Не много теперь найдется желающих — все нынче с образованием, никого не заманишь, от одного слова «сапожник» молодежь ухмыляется, нос воротит. Что он, не видит, не понимает, чего она? Такое настало время. Вот скоро, через две неполные пятилетки, уйдет он на пенсию, еще неизвестно, кто его чурбачок займет, может, пустовать будет, еще побегают, поищут, кто б им обувку починил. Попадется такой вот, как Ефим, прокопается день молчком, две-три обувки за день сварганит кое-как. О выпивке же и говорить нечего. Выпивка у Ефима сама собой получалась, не проходило дня, чтобы не подвернулся случай, то стакан красненького, то бокал пива пропустил — такая доза, что разве чей-нибудь свежий глаз приметит. А то нет-нет да и срывался с тормозов, перекрывал среднюю норму; а он, Карп Иванович, мог хоть перед кем за себя поручиться, не выходил из рамок, шел по самой низкой шкале, в сравнении с некоторыми его можно назвать трезвенником, это при его-то профессии, о которой испокон веку сложилось дурное понятие: как сапожник, так пьяница. Нет, он никогда себя таким не считал и горячо поддерживал начатое в городе строительство вытрезвителя.

Это событие было для него особенным еще и потому, что такого заведения ни на собственной памяти, ни при жизни его отца и деда тут у них, в заштатном городишке, никто не видывал. Если б здесь построили даже атомную электростанцию, и то, пожалуй, он не так бы взволновался. Нет, он, конечно, был бы рад, еще как, что их городишко удостоили такой чести, даже, наверное, загордился б; но толковать тут было не о чем: ничего диковинного, хотя и огромное, уму непостижимое сооружение. Где-то ведь уже построены атомные электростанции, почему бы не построить и у них? XX век, вот на носу 2000 год, жди, скоро еще не то придумают, никого ничем теперь не удивишь. Все что надо в газетах, по радио, телевизору скажут и покажут наглядно. А это ж... Что там, как там — пока одни только слухи. В райцентре уж давно вытрезвитель действовал, а вот видеть не приходилось. Чего только, бывало, не наслушаешься. Раз уж попался им в руки, будь ниже травы и тише воды, глядишь, еще все по-хорошему обойдется, мирным путем разойдется. А станешь сопротивляться, правоту доказывать... И никому не пожалуешься. А как еще с тобой, пьяным, обращаться?

Одного-другого послушаешь, посочувствуешь, конечно, бедолаге, а про себя подумаешь: ты сам, видно, птица хорошая, меньше лакать будешь, выпил, так сиди дома, не шляйся где попало. У них там, в милиции, тож свои расчеты: коль вытрезвитель построили, деньги государство на него затратило, персонал к этому делу приставило, говорят, даже свой врач есть, не может ведь он, вытрезвитель, вхолостую работать. С них тоже начальство спрашивает: мол, раз мало приводов, значит, плохо работаете. Это куда не годится. Нужно подтянуться, наладить работу на своем участке, поднять производительность труда. Но ведь чем больше с пьянством борешься, тем их, пьяных, меньше. А чем меньше пьяных, тем ниже заработок. Противоречие получается. Действительно, что милиция получать будет, если пьяницы совсем пе-

реведутся? Или их станет мало? Или научатся все пить культурно? Ну, до этого, видимо, еще далеко, раз даже в таком городишке решили вытрезвитель открыть.

Кому первому пришла в голову эта мысль, Карп Иванович не знал. Здесь или кому-нибудь выше, в районе или области, он мог лишь гадать. А может, еще дальше, за пределами области, в самом центре житейского моря, в недрах крупных городов, в их многослойной гуще? И вот кем-то однажды рожденный там почин, как волна, докатился и до их лесных мест — тут гадай не гадай, все выходило по закону, по неизбежной логике всей накопленной жизни, нельзя было заподозрить никого в самодеятельности. Нет, до этого дела дошли не сразу, не вдруг, а постепенно, год от году, из общей нужды. Раньше у них и разговоров таких не вели. И не потому, что водка стояла в магазине никем не тронутая, прокисала, — нет, так же исчезала с полок, как и сейчас, сколько бы ни стоила и сколько бы ни завезли. Где тебя там, в отделении, всю ночь держать? Места в старой милиции на самих сотрудников не хватало. Он, Карп Иванович, еще не родился, а она уже существовала, занимала деревянный особнячок, оказавшийся после революции ничейным, так что если б не вывеска, то и не подумал бы, что здесь милиция, — обыкновенный жилой дом со ставнями, резными наличниками, со стеклянной верандой, крыльцом и воротами, ничем не отличавшимися от соседних, с двумя толстыми липами под окнами — корни выпирали из земли причудливыми наростами, вечером того и гляди, чтоб не споткнуться. В этом особнячке милиция продержалась с первых дней советской власти аж до восьмидесятого года. За это время сменился не один начальник милиции; всех их то увольняли, то переводили в другое место, и только последний, Педряев, доработал до пенсии. Его сменил Килимов, присланный из области, молодой для своих сорока лет капитан с голубым ромбиком на лацкане форменного кителя. Вот с него все и началось...

Как приехал, глянул на особнячок, поморщился: никакого вида что снаружи, что изнутри — одни клетушки, а не кабинеты. Для КПЗ и то не нашлось получше места: отвели дощатую пристройку со двора рядом с уборной, не поставь охрану — запросто можно доску высадить и удрать. А вытрезвителя и в помине не было. Если кто уж больно кулаками начинал размахивать, разоряться, то, бывало, в отделение приведут, только пожурят и с миром домой отпустят.

Так вот, походил Килимов вокруг особнячка, позаглядывал во все двери, постучал носком сапога в дощатую стенку КПЗ, оглядел небольшой дворик, гараж — старый сарай, который когда-то был конюшней; это теперь милиция всей техникой оснащена, а раньше обходилась живой тягой — лошадьми. В таком гараже одной машине негде развернуться, а их набралось уже вон сколько: «черный ворон» — раз, с мигалкой — два, служебный «Москвич» — три, не считая мотоцикла. Разве можно с этим мириться? На что помещение милиции похоже? Хуже простой конторы! Нужно построить новое здание, и немаловажно где — на бойком месте, у всех на виду...

И Килимов выбрал уголок у входа на базар, не уголок, а целое подворье, места сколько хочешь, въезд и выезд прямо через базарные ворота, подкатывай на полном ходу, разворачивайся обратно без всякой задержки. На задворках строй гараж на три машины, туалет — все, что требуется, подалее от людского глаза. Главное — продумать со всех сторон, во всем остальном милиции отказа не будет: пожалуйста, стройте, поднимайте свой авторитет, не годится вам в старинном особнячке до сих пор сидеть, по каморкам ютиться — зеленую улицу!

Молодец Килимов: за одно лето развернулся — очистил полбазара, вывел под метелку весь ненужный хлам, потеснил перекошачившиеся задние торговые ряды, примыкавшие к ним заборы, расширил старые, рассчитанные на ширину телеги базарные ворота, засы-

пал перед ними канаву, снес бульдозером полуразвалившуюся кирпичную оградку по границе с пешеходной дорожкой и на освободившейся территории к осени построил серое, из шлакобетонных плит здание с просторным двором, огражденным с улицы такими же серыми, двухметровой высоты плитами на железобетонных столбах. Теперь откуда бы ни шел, ни ехал, на базар или с базара, — отовсюду была видна вывеска на голом углу здания, любо глянуть.

Похоже, что и народ тут меньше крутиться стал — быстро к порядку приучился; старухи с семечками передвинулись от входа на базар к углу улицы, подальше от ворот тех, где нет-нет да и проскочит милицейская коляска, сверкнет фиолетовым глазом мигалка, вывернет на полном газу «черный ворон». Старух с семечками и так никто не тронул бы. Кому они нужны! Кто их не знает! Всегда одни и те же стоят, выставив перед собой каждая свой мешок, чтобы было видно, у кого получше семечки, покрупнее да поджаристее, чей полнее насыпан стакан, вкопанный в семечки внутри развернутой мешковины, словно серый пестик в чашечке цветка. Никому никакого вреда они не делали, всю жизнь торговали здесь — зимой семечками, когда больше было нечем, с лета всякой зеленью, к осени яблочки, груши выносили. Старухи незаметно одна за другой вымирали, на их место становились другие, дожившие до своих годов, и все, казалось, оставалось без изменений. И было бы, наверное, непривычно и пусто, если б эти старухи вдруг не вышли на угол, не расположились нестройным пестрым рядом со своими семечками и яблоками.

Теперь в новой милиции и место вытрезителю нашлось, говорят: просторная комната, сразу можно целую дюжину молодцов на ночь уложить. Может, и великовата для их городка, столько за один раз не наберется народу под приличным градусом, пустовать будут койки, бездействовать, неполная будет на них нагрузка; но кто знает, как пойдет дело, город, глядишь, разрастется. И как тут усидеть спокойно, не интересоваться? Только вот что-то Килимов затянул со своим нововведением, обещал открыть еще на той неделе, уже закупил, говорят, койки, матрацы, подобрал обслуживающий персонал...

— Я ж говорил тебе: и у нас скоро все будет, подожди, — как бы подвел итог Карп Иванович. — Сколько уже всего понастроили... Мало разве? А это тебе что? Если б не Килимов...

— Дожили, — буркнул Ефим.

— Не пойму, чем ты недоволен?

— Ничем.

Ефим сплунул на отходы производства, отложил ботинок в сторону, полез за очередной папирсой. Ему лишь бы найти повод перекурить. И так папирску изо рта не выпускает, за день забросает окурками весь угол, уборщица каждый раз выметает и клянет его на чем свет стоит. Ну, пусть покурит, если ему так сильно хочется, может, что и дельное скажет хоть раз. И ему, Карпу Ивановичу, веселее будет, может, сегодня не придется скучать, скорее рабочий день пройдет да в баньку — отдохнуть от недельных трудов.

Но Ефим закурил и тем, кажется, удовлетворился. И Карп Иванович сказал:

— Теперь хоть районная милиция не будет к нам ездить.

Водилось за ней такое, бывало, подчас и заскакивала налетом, то браконьеров погоняет зимой за подледный лов на речке, в бочажке, то подкараулит кого у ворот фабрики в день полочки с бутылкой в кармане, потом продержит до утра в районном вытрезителе. Уж чем объяснить последний факт, Карп Иванович и сам толком не знал. Своих там, в районе, пьяниц мало, что ли? Не хватало до полной загрузки? Или уже всех повыловили, отучили от выпивки, на чужих накинлись? Может, обеднели местные ресурсы из-за чрезмерного старания? Леший их знает.

- Ну так и что? — хмыкнул Ефим.
- Тут хоть своя будет.
- Ну и что, что своя?
- Доверия больше...

Ефим высосал последний дым из папиросы, поплевал на окурочек и бросил в угол. Еще раз стрельнул по Карпу Ивановичу язвительным взглядом и, ничего не сказав, взялся за ботинок. Ну понятно: у него свои счеты с милицией, никак обиды забыть не может. Чего уж ему-то обижаться на милицию? Что погоняла за ту рыбалку в бочажке? Тогда она многих потрусила — конфисковала улов. А Ефим отвертелся: хитрей всех оказался. Только кто-то крикнул: «Милиция!» — он тут же рыбку свою вместе с судком в прорубь, а сам в сторону, знать ничего не знает, мол, просто поглядеть пришел, как другие ловят, от нечего делать. Какой из него рыбак? Никогда таким делом не занимался, не то что всякими там запрещенными способами, даже удочки в руках не держал. Вот так и отбрехался, хотя ему никто не поверил. Но доказательств-то нет! И милиция отпустила. А сам-то еще какой рыбак! Ни одну рыбалку не пропустит: где в какой луже карась заведется, где в каком месте иная рыбешка хвостом плеснет — он там первый из всех. К браконьерам таким уж отъявленным его не отнесешь, но в бочаге подледный лов с его легкой руки начался. Пригляделся, что рыба сюда на зиму со всей речки сбивается, и скорей свое не упустить. Разрешается ли в таком случае лов или нет, споров среди рыбаков было много. Всякие доводы приводились, речка все же есть речка, общая, веками в ней кто хотел, тот и ловил рыбку любимыми снастями. И на подледный лов выходили, кому не лень было, никто не запрещал. И рыбы было полно. А сейчас... Если какую покрупнее и выловишь, то есть не будешь: вроде как керосином припахивает. Вот милиция и гоняет, чтобы последняя рыба в речке не перевелась. Ясное дело: кто попался — кому понравится? Никто еще за это спасибо не сказал. Теперь все говорить будут что кому выгоднее. Всегда найдутся такие, кто охает. На Килимова сперва тоже всякое плели, когда он начал новую милицию строить с вырезвителем. Потом поприкусили языки, стали обратное говорить. А Ефим вот до сих пор чего-то морщится.

— Ты б поглядел на одно здание, — подзадорил Карп Иванович. — На базар идешь, уже совсем другой вид!

— Нашел вид, — хмуро отозвался Ефим.

— Ну, я ж не сравниваю с Москвой... А для нас, грешных, и такой хорош. Я ведь о чем? Говорил я тебе или не говорил, что и о нас вспомнят, дойдет очередь...

Карп Иванович был патриотом своего города, но сам он об этом не догадывался и наверняка бы даже оскорбился, если б услышал от кого-нибудь. Зато к нему всерьез и надолго, на всю сознательную жизнь, прочно, как смола, прилипло прозвище Провинция. Теперь уже, как ни ройся в памяти, не восстановишь, кто первым обозвал его этим словом, и от многолетнего употребления оно окаталось, стерлось, выжило из себя первоначальный обидный смысл. Он так привык к своему прозвищу, что порой откликался на него.

Город, к которому Карп Иванович носил в душе скрытое патристическое чувство, был невелик, тысяч десять жителей (эту цифру он узнал из лекции заезжего пропагандиста), и почти не рос, хотя существовал на земле давным-давно, еще в древние века — трудно вникнуть! — если так, для сравнения, то считался даже старше Москвы и когда-то процветал, потому что лежал на Великом торговом пути из варяг в греки, о чем указывается в школьном учебнике истории — дочь специально подчеркнула для него, отца, эту строчку шариковой ручкой, кто не верит, пусть откроет, убедится, — помнил татар и печенегов... Потом судьба круто повернулась к нему задом. Как город жил

дальше больше трех столетий, история об этом умалчивает, однако и неграмотному ясно, что он совсем захирел, а то бы о нем хоть как-то да упомянули; вокруг по всей земле зарождались и вырастали другие города, во много раз большие, не говоря уж о Москве, обскакавшей своих собратьев во всех отношениях. Но все-таки город выжил, устоял перед прорвой времени и бед, дотянул вот до этого самого дня... Карп Иванович уже доживал шестой десяток и мог рассказать без всяких домыслов все, чем жил его город последние полвека, прихватить сюда десятка полтора-два еще до своего рождения, то, что дошло до него из рассказов отца и матери, которых уж нет в живых, а также других очевидцев и за достоверность чего готов отвечать головой.

Ну, что тут было до революции, на это много слов тратить не надо. Плохо было, ужасно, лучше и не вспоминать. Настродался народ от царя-батюшки, хотя тот, может, об их городке и слыхом не слыхивал, сидел там на троне в своих белокаменных палатах. Что ему было до затерянного где-то среди лесов и болот — это сейчас их повысушили! — крохотного городишки? Но вот порядки царские везде были одинаковые, до каждого уголка доходили, никому не давали житья. Была тогда тут всего одна фабричка, где дуги гнули, а заодно и свои спины — вокруг нее-то и обстраивался город, — да и ту потом, когда царя скинули, сожгли: пусть, мол, вместе с ней сгорит и людское горюшко. А после уже и пожалели: революция кончилась, надо было опять всем работать, но негде. Поругали кого положено за неадекватность, да в пустой след, назад не воротись, беритесь, мол, теперь, восстанавливайте. А зачем ее восстанавливать? Не лучше ли построить новую? На другом месте, за городом? И на что те дуги? Кому они сейчас нужны? Вот не сегодня-завтра машины по земле покатают — выпрягай лошадей (лошади навсегда отошли в прошлое). Если теперь и строить фабрику, то с размахом, край лесной, древесины хватает, в самый раз мебельную бы возвести. И возвели, да еще какую, по тем временам — гигант! Подтянули через лес железку, и заработала эта фабрика на всю катушку, стали люди мебелью обставляться, по-новому жить. С тех пор вот уж полвека как один день проскочило, а мебельная фабрика стоит все на том же месте, все так же торчит над лесом черная труба. В войну сгорела вся начисто, после еще два раза горела от недосмотра и столько же раз отстраивалась заново, модернизировалась, выколачивала разрешение на постройку новых цехов. Раньше, бывало, как загудит, весь город знал: пора на смену, спешите, не опоздайте. Потом гудки отменили, теперь и так, без гудка, никто не опаздывает, кто подальше живет, на велосипедах едут, мотоциклах, кто поближе — идут пешком.

Мебельную фабрику Карп Иванович любил с детских лет. Первой, самой сильной любовью. И как в жизни всегда бывает, первая любовь редко приносит счастье. Ей что-нибудь да помешает, встанет на пути. Карпу Ивановичу закрыла на фабрику дорогу война. Великая Отечественная. Он с двадцать второго года, и легко можно подсчитать: в срок первом ему шел девятнадцатый. Призывной возраст. Его взяли на фронт с мебельной фабрики учеником столяра. Это не самая худшая специальность, которую он выбрал: половина мужского населения тогда ходила тут в столярах. Но кто знает, где, когда и в чем повезет? Везет чаще всего как раз там, откуда не ждешь. Он был уверен, что его убьют. В первом же бою. Однако провоевал без единого ранения все три года, и только на четвертом его цапнуло. И цапнуло что надо — в правое бедро, чуть пониже того места, на котором сидят. Фугасным осколком величиной с ноготь, а разворотило дыру с кулак. Дыра, конечно, зажила — затянуло, как на собаке, провалялся, точно бревно, больше двух месяцев в военном госпитале, но выбыл из строя: лишился ноги. Ну, не совсем, нога-то осталась при нем целая, не отрезали, кости и мясо на ней спасли, а вот заставить ее работать не смогли, что врачи ни делали. Теперь она не сгибалась, хоть ты ее отрежь,

не слушалась — и все. Вот и таскал он ее уже четвертый десяток как подставку, которая заваливала его набок, ибо была теперь длиннее, и сначала немало помучился, пока научился ходить без палки. Пришлось искать другую работу — сидячую. А много ли их, сидячих, тогда, после войны, было? В конторе сидеть считать — грамотешки маловато, бумаги какие подписывать ему тож никто не доверил бы. Вот он покумекал и выбрал самую что ни на есть сидячую должность сапожного мастера. Так только для самоуважения говорилось — сапожный мастер, а если прямо назвать, то это есть самая древняя и по сей день нужная всем профессия: сапожник. Он так понимает. И своего мнения не меняет. После войны ему было неполных двадцать четыре, впору жениться, на что ума много не надо, да только за него с такой ногой, думал он, ни одна девка не пойдет — оказалось, и с кривой ногой мужики в то время были нарасхват! И теперь может сказать, что лишь по молодости своей новой профессии стеснялся, боялся, что не освоит. А как на чурбачок, обитый кожей, сел, день-два поковырлялся, сразу понял, что он самый нужный всем человек. Это сейчас в стране обувных фабрик до черта и то не успевают всех обувать, а в те годы все ходили разутые, кто в чем. В магазин вот так без всяких не пойдешь, не купишь на выбор: этих, мол, не хочу, тех тоже, одни модные, другие уже немодные, на высоком каблуке подавай, на платформе; эти наши, а то импортные, чего только нет: сапоги, ботинки, туфли разных фасонов для обоего пола — мужские, женские, — зимние, осенние, модельные, простые... А тогда что ты! Иди купи в магазине! Подбирали обувь всю, где какая ни была, самую заваливающую, бывало, одни передки да голенища оставались, а кто и новый кусок хрома принесет, попросит сапоги стачать. Колодку по ноге подберешь и давай мастерить. За день с чурбачка не встанешь, еще вечер прихватишь, а когда и домой работу возьмешь, до полуночи над чужой обувкой слепнешь, если срочно надо. Вот время было! Работали без передышки, не так, как теперь некоторые... Сколько и кому он одних только сапог пошил, можно было бы десять магазинов завалить. А уж какого ремонта дал — не сосчитать.

Бытовой комбинат был тогда в двухэтажном доме купца Шкуратова, испустившего дух сразу после революции. Первый этаж был кирпичный, а второй деревянный. Окна первого этажа наполовину сидели в земле и напоминали Карпу Ивановичу амбразуры немецких дзотов, которые ему выпадало подрывать на войне, а окна второго этажа уходили под крышу, раздавались вширь, завораживали заковырыстыми резными наличниками. Там, на втором этаже, была пошивочная, а внизу, в полуподвале, сапожная мастерская. Вход в пошивочную был с улицы, с парадного крыльца, украшенного таким же, как и окна, деревянным орнаментом, и туда нужно было подниматься по крутой дощатой лестнице; вход же в сапожную мастерскую надо было искать со двора, спускаться по кирпичным ступенькам вниз. Вот здесь-то Карп Иванович и просидел на чурбачке лучшие годы своей жизни, точнее двадцать пять лет и три месяца, пока в 1969 году не построили новый комбинат. Рядом со старым. Красивый, светлый, по типовому проекту. Из белого кирпича, одноэтажный. Всем теперь стало одинаково. Хватило места не только для индпошива и сапожной мастерской, но также для парикмахерской и фотографии, разбросанных до этого по разным местам. Окна сапожной мастерской были такие же широкие и светлые, как у всех остальных служб быткомбината, глядели прямо на улицу через разбитый перед ними аккуратный скверик. И если в окне старой мастерской над головой Карпа Ивановича мелькали только ноги прохожих, то теперь перед ним летом на цветочных клумбах пестрели астры и гвоздики, цвели даже георгины и пионы, пожертвованные из домашних резервов женским составом быткомбината, кустились сирень и акация, уже дотянулись до крыши молодые деревца. Ну а зимой под окнами лежали нетронутые снежные

сугробы, копошились в голых ветках стайки воробьев, порхали синички, иногда даже залетали сюда снегири.

Старый быткомбинат решили сломать, так как он портил теперь весь вид, зауживал улицу. «Продайте мне», — попросил Ефим. И правда, почему бы не продать? У Ефима дом совсем разваливался, лесу на новый или даже на ремонт старого попробуй сейчас выпиши, да и деньги какие нужны. А это почти задаром, по дешевке: здание списано, отжило свое. Но если его в хорошие руки отдать, по бревнышку разобрать, из каждой дощечки гвоздики вынуть, кирпичик к кирпичику в стопочку сложить, аккуратненько все перевезти — глядишь, еще какой дом будет. И продали. Выручили человека. И вот месяц проходит, другой, уже и лето кончается, а он, Ефим, и ушами не пошевелит. Такой вот во всем — не поторопится ни в мастерской, нигде. Ну известно: радикулит. Сам спину ни согнуть, ни разогнуть не можешь — наими людей. Они тебе за деньги быстро делают. Жадничаешь? На здоровье экономишь? Пока дождешься, когда радикулит отпустит, и дом сгниет. А он только хмурился, молчал. И затянул с перевозкой на целый год.

Ефим был на десяток лет моложе, в войну еще пацаном бегал по улицам. Когда немцев прогнали, тут после них всякой всячины оставалось: патронов, снарядов... Вот такие, как он, где какую штуку найдут, спрячутся куда-нибудь и ковыряются — порох извлекают для самопалов. И Ефим вот так ковырялся, все патроны да снаряды разряжал, пока не доразряжался: как рвануло, только чудом уцелел. Как ему еще руки не оторвало. Правда, два пальца на правой руке все же отхватило, на всю улицу закричал. И лицо изуродовало — все в синих точках: так в него порохом и жажнуло, вьелось в кожу на всю жизнь. Отец его, Степан Акимович, тоже был сапожником, еще старой зачатки, уж что мастер своего дела, то мастер, любую обувь он тебе с закрытыми глазами... У него-то, у отца Ефима, у его родителей, он, Карп Иванович, и учился сапожному делу, перенимал всю мудрость этого ремесла и может сказать не хвастаясь: быстро все перехватил, постиг что к чему, а кое в чем даже переплюнул своего учителя, как и положено, чтоб застоя не было. Главное — хотенье. А если к хотенью да приложить уменье... К тому ж Степан Акимович уж подбирал свои годы подчистую, да партизанщина подкосила — последнее здоровье отняла. Еще годков с пяток после войны посидел напротив него в полуподвале и загнулся — отправился на горку, городское кладбище на песчаном холме, в сосновом бору.

Неизвестно, куда бы Ефим пошел трудиться, если б ему не оторвало пальцы. Окончил пять классов, дальше никуда не двинулся — отказался от школы, мол, перерос (война прищлась ему как раз на школьные годы), мол, хватит ему среди малолетков за парточкой сидеть, голову пониже прятать, на свой хлеб пора. Еще с год, наверно, прогулял — и школу бросил и работу подыскивать не торопился, слонялся по улицам. Наметил было на мебельную фабрику в вахтеры как, дескать, инвалид, но там ему сказали, что с такой мордой на нем пахать можно. А тут умер отец, освободил место, и Ефим занял напротив него, Карпа Ивановича, чурбачок отца. По наследству. Так что Ефим, можно сказать, потомственный сапожник — рабочая династия! — но вот не пошел в отца. Прилежания особого в нем как не было с первого дня, так и не обнаружилось до сих пор, копался, как курица в навозе, не подгонишь его. Где надо и где не надо выставлял напоказ изуродованную руку. Следом за отцом похоронил мать, женился, нажил уже троих детей, а сноровки в работе не прибавилось. Так вот и с этим домом... Уж не рады были, что ему и продали.

Он, Карп Иванович, и на работу шел — возле старого быткомбината останавливался, и с работы мимо пройти не мог — цеплялся за его углы. Вытаскивал на тротуар покалеченную ногу, заглядывал через зияющее, без рамы, окно в полутемный подвал с сырым, исшарканным

кирпичным полом. Неужели он и вправду просидел тут целую четверть века, уткнувшись в чужую обувь, подставляя вылинявшую макушку под падающий через верхнюю часть окна пучок света, где весь день мелькали близко от стекла чьи-нибудь ноги? Просто не верится. Он впрягся на целый месяц — помог Ефиму разобрать деревянную часть дома до кирпичных стен, которые простояли потом еще с год: такими оказались крепкими, хоть подкладывай под них тол, не вздрать ни одного кирпича никаким ломом, если и отваливались, то целыми глыбами по тем трещинам, что пошли сами по стенам под натиском времени. Так спекшиеся глыбы Ефим и перевез домой, а остатки сровнял бульдозером с землей. Теперь новый быткомбинат был открыт для улицы со всех сторон, и Карп Иванович, идя на работу, нет-нет да и остановится, полюбуется им.

Вообще-то с постройкой нового быткомбината в городе порядком подзатынули, построили его, считай, в последнюю очередь, хотя поговаривали о нем еще лет десять назад. Уже тогда якобы был составлен проект где-то там, в самой области, значит, все же люди там не просто так сидели — думали. И не только о быткомбинате, а, как после выяснилось, проект был давно готов на весь город, где что построить, где что снести, подпрямить... Хотя что тут у них можно было убрать, спрямить? Почти все дома частные, строились из века в век, как приходилось на ту пору, рассказывала смекалка застройщиков. Улицы сложились, и неплохо. Раньше тоже думали, знали в этом деле толк. Во-первых, место. Знать бы сейчас, кто забил тут первый кол, он бы не торгуясь поставил бы ему за свой счет памятник. В самом центре. На площади. Как основателю города. На худой конец, сделал бы его почетным гражданином, занес бы в памятную книгу или как-нибудь еще увековечил бы его имя.

Он, конечно, понимает, что тот человек, который первым ступил ногой на эту землю, выбирая место для своего жилища, меньше всего думал о нем, Карпе Ивановиче, о тех, кто будет жить после, спустя столетия. Но у него был наметанный глаз, уже сидело в его коробочке зрелое представление не только о практической пользе, но и о красоте. Взойдя на холм, где теперь кладбище, он сначала, наверно, задохнулся от восторга, увидев перед собой потонувшие в синей дымке никем не тронутые леса, то пропадавшую среди них, то вновь сверкающую на солнце не очень большую, но вполне пригодную для жизни речку, приметил тут же луга, поляны... И уж потом прикинул, сколько здесь прячется зверя, птицы, какие гуляют косяки рыб — хватит ли на пропитание? — где он поставит свою хижину, возделает поле, урожайная ли почва...

Насчет почвы ему сразу стало ясно: бедновата, супесь, а местами вовсе сплошной песок. Откуда этот песок нанесло, с чего он взялся, разбираться было некогда: он спешил, надо было быстро и точно взвесить все за и против, чего больше, плюсов или минусов. За ним шли другие его сородичи, могли настигнуть, опередить: нужно спешить застолбить. Шут с ним, с песком. Не важно, откуда он взялся. Да и что он, тот первый поселенец, мог еще знать? Откуда какая берется почва? Такая тут и должна быть. Так богу было угодно. Такую сотворил и отдал людям в вечное пользование. Он, Карп Иванович, уж когда родился, в XX веке, и то понятия не имеет, с чего этот песок пошел. Чернозем — понятно. Это он и без науки объяснить может — с навоза. С перегнившей травы. И чем больше ее уйдет в перегной, тем богаче земля, тем выше урожай. А вот про песок он и сейчас ничего путного сказать не может. Для него это тайна. Загадка природы. Она не давала ему спать. Особенно когда приходило лето, начинала бить по огороду засуха. Уж сколько навоза в песок ни клади, каждый год по машине покупаешь, топчешь в него не жалея, и все как в прорву. Навоз перегниет, а песок остается. Все такой же белый, ничуть не чернеет, в чернозем не превращается, хоть ты что ему. И уж как такой огород

ни поливай, сколько воды ни таскай на грядки, если уж сушь пошла, жарой опалило — урожай тебе не спасти. Были огурцы как огурцы, картошка на картошку похожа — все повыгорит, сжарится, напрасны все твои труды. В этом он уж за свою жизнь убедился, хотя ему бы грех на усадьбу жаловаться. Отец его и прадед были людьми неглупыми, в чем, в чем, а в земле разбирались, знали, где кол забить, в какую землю зерно бросить, — не промахнулись, пониже к речке место для избы выкроили, с пологого бережка, на доскотине, с лужайкой рядом, хоть и пришлось им попотеть, поковыряться в дерне, повоевать с травой. Ее-то, сорной травы, и сейчас хватает, не успеваешь выдергивать. Только опусти руки — она вмиг твой огород оккупирует. И все ж терпимо, как ни жидковат плодородный слой под тем дерном оказался: глубже, на штык, лопатой копнул — тут же тебе беленький песочек. У других и копать на глубину не надо — везде песок, сверху донизу, кто повыше, к холму, поселился. А уж сам холм так весь из песка. Откуда такую-то гору и намыло?

Так вот, первый житель ихнего городка этот минус, конечно, не мог сразу заметить. Земледелец из него был еще не ахти какой, сельским хозяйством в таком объеме, как сейчас, не занимался, до колхозов еще далековато было, на минеральные удобрения не рассчитывал, о широких артельных полях, о тракторах и комбайнах и на волосок у него думы не было — без подъема сельского хозяйства мог обойтись: лес да речка на первый случай прокормят, зверья разного, грибов, ягод навалом, рыбы тоже, вода кишмя кишит, только не ленись, гребни все себе прямо гольми руками, не злоупотребляй только, думай и о потомках, помни: они тоже люди, им будет еще труднее, природные богатства исчерпаемы, не восстанавливаются, придется долго и трудно искать другие виды энергии, заботиться о пропитании, кормить все большее число людей. Так будь же бережливым и экономным, способным предвидеть нужды грядущих поколений. Но пока он об этом не волновался, за себя был спокоен: на его жизнь хватит. Ничто всерьез в ближайшем обозримом будущем ему не угрожало. Он проживет, прокормится. Это он ухватил с первого взгляда. Его интересовало первоочередное: в каком месте развести костер, соорудить наскоро шалаш, не то грянет гром и небо прольет на его непокрытую голову поток дождевой воды. Он может простудиться и умереть, не успев дать здесь росток жизни. Не исполнив главного, для чего пришел в этот мир.

Его наметанный глаз остановился на долине, на самой низкой ее точке — там! С севера его жилище будет защищать лес, с востока — песчаный холм, с юга и запада — тоже лес и крутой берег реки. Он побежал вниз с холма к тому месту и одним ударом топора срубил в этом краю первое дерево. Отсек от него часть, затесал и вбил в землю.

Может, так, а может, не так все было на самом деле, но такие мысли в голове Карпа Ивановича вертелись, когда он смотрел на свой город с высоты холма, хотя теперь с его ногой на этот холм не так-то просто взобраться — сто потов с тебя сойдет, пока одолеешь крутой подъем, и он не был там, на горке, уже давно, с тех пор как проводил в последний путь Степана Акимовича, бросил на крышку гроба сухой ком земли. И то тащился туда не на своих двоих, а стоял на машине возле кабины, держась за борт, чтобы не завалиться на шатком дне кузова, особенно когда машину покачивало на ухабах вместе с гробом, и Степан Акимович, казалось, оживал, тоже покачиваясь, сдвигаясь потихоньку при подъеме на холм к заднему борту. Но память у него, Карпа Ивановича, была цепкая, зрительная; он помнил все с самого детства, еще пацаном облазил все ближние и дальние углы, нагладился на свой город отовсюду: и с холма, и с крыши школы, которая в то время была самым высоким зданием в городе, и на деревья залезал, даже на фабричную трубу пробовал взобраться. Разведаль все окрестности, знал, откуда течет и куда впадает речка — собиралась из ру-

чейков где-то далеко, в запредельных болотах, и вливалась, набрав силу, уже в известную всем реку Сож на белорусской земле, выйдя из границ их края; Сож в свою очередь нес в себе ее воды через сотни километров к могучему и прославленному Днепру, смешивал с ним, разжижал в его полноводных глубинах, а тот еще мощнее и шире спешил дальше, к морю... И если в их речку пописать, что не один он и делал в богатом на озорство детстве, то эта теплая водичка, хоть одна капля, да попадет в море. Он верит в это и сейчас, когда голова его уже давно освободилась от волос, а там, где они еще держались, была белой, как снег, и мало кто теперь помнит, даже родная жена, пожалуй, уж забыла, что у него когда-то была шикарная шевелюра пепельно-серого цвета с золотисто-желтыми переливами после каждого лета — выгорала на солнце. Еще тогда, в детстве, изучил свою речку вдоль и поперек, все ее глубокие и мелкие места, где текла спокойно, а где неслась как сумасшедшая, где не поймаешь и пескарика, а где только успевай забрасывать удочку. В лесу мог ходить с закрытыми глазами, знал его, как пять своих пальцев, каждое дерево, каждую поляну, все дороги, тропинки, где какой гриб, где какая ягода, где какой орех. И хотя теперь он уж забыл, когда был последний раз в лесу, а на холм с темно-зеленой шапкой еще до него постаревших сосен поглядывал только издали, снизу, когда выходил к базару, откуда через разомкнутую в этом месте улицу он, холм, был виден весь как на ладони от его распаханного на узкие полоски подножия до густо сцепленных, приподнятых над черневшим за ним лесом знакомых, коряво разросшихся крон, — вот несмотря на все это, на теперешнюю ограниченную подвижность, ничуть не хуже, чем раньше, а еще, может, и получше знал, где что делается в городе и за его чертой, каким он выглядит сверху, снизу, сбоку — со всех сторон.

Конечно, если вдуматься, тот самый человек, который первым пришел сюда, облюбовал это местечко, построил хижину и обнес ее частоколом, видел совсем другой лес и другую речку, не такой точно холм и не те, что росли сейчас на нем, сосны. Каким был в то непостижимо далекое время лес, какой была речка, что росло на холме, такие же сосны или другие деревья — словом, представить ту природу, на какую любовался основатель города, все ее изменения за те столетия, что пролегли, как пропасть, между ним и Карпом Ивановичем, не хватит воображения. Но город был заложен и выстоял до сего дня, это уж неоспоримый факт.

Он вырос на частной основе; дома ставили через приблизительно равные промежутки друг за другом в одну не совсем, конечно, идеальную линию, в два ряда; от угла к углу вслед новым домам тянули заборы с воротами, калитками, лавочками; с задов к дому прирезали прямоугольный кусок земли в несколько соток, огораживали (у кого был достаток) отходами от пиломатериала, засаживали картошкой, ближнюю часть усадьбы отводили под грядки; сажали кусты смородины, крыжовника, вишню, сливу, яблони и груши; с улицы перед окнами — неплодовые деревья; во дворе под окнами старались посадить сирень или жасмин, высеять астры или гвоздики, флоксы или анютины глазки, воткнуть клубни георгинов или луковички нарциссов, гладиолусов, а в окне выставить гераньку. Улица продолжала расти в обе стороны, растягиваться на километр, на два и больше, пока одним концом не уперлась в лес, другим — в подножие холма. Параллельно этой там, где кончались огороды одной улицы, начиналась другая, поперек той и другой спешила стать третья улица, четвертая; они росли, удлинялись из поколения в поколение, начинали сталкиваться, вступать в соревнование, рождать переулки и тупики. Но как в любом деле, так и тут должна была победить какая-то одна — стать главной. И такая нашлась. Не самая длинная и ничуть не шире других, но как-то оказавшаяся в середине, разделившая весь город пополам, занявшая самое выгодное равнинное положение. И называлась сейчас Централь-

ной, или просто Центром. Самой же длинной получилась Пролетарская, та, что одним концом уперлась в лес, а другим вышла в поле и, вырвавшись на простор, набирала длину, уже почти дотягивалась до небольшой деревушки Нехорошевки, удостоенной такого названия еще в старые времена за нехорошее поведение ее жителей, заключавшееся в неумении дружить с соседями,— сейчас там насчет такого дела, говорят, круто изменилось. Серьезной соперницей у Пролетарской улицы оказалась Коммунальная, а в самое последнее время — Советская, у которой обнаружился скрытый резерв: огромное поле перед Нехорошевкой, принадлежавшее раньше колхозу, но потом заброшенное из-за обеднения плодородия почвы. Можно упомянуть еще такие улицы: Садовую, Болотную, Северную, Южную и с пяток менее признанных, зашедших в тупик и остановившихся в росте, а также несколько переулков и переулочков под всякими разными современными названиями — кое-какие из них изустно называли по старинке или кто как, вперемешку, в зависимости от случая, не всегда соблюдая исторический подход. Да и не они определяли лицо города. Обо всех его достоинствах и недостатках, о происшедших в нем плохих и хороших переменах нужно судить по Центральной улице.

Как первому в семье ребенку достаются еще не омраченная житейскими невзгодами родительская любовь и все обновки, так и центр города попадает в привилегированное положение. Уж в семье-то он, Карп Иванович, больше чем кто-нибудь другой натерпелся маеты с детьми со дня их рождения до выхода в люди, хоть и было у него по меркам тех лет не так и много — всего трое. Первым, на его счастье, как он и мечтал, родился сын, такой богатырь, четыре пятьсот, еле Наталья разродилась, уж все думали: двойня. Она и ходила-то вот с таким животом, еще до родов ей пророчили: вот как родишь двойню сразу, за один заход, в семье такое пополнение, то было вас двое, а тут вдруг — четверо, уже целое семейство, подвешивай к потолку рядом две зыбки, а когда надо малышей на улицу вынести, бери одного на одну руку, другого — на другую. Это сейчас коляски в магазине свободно стоят и одиночные и на двойняшек, иди выбирай любую. И не в зыбках да колясках дело — сразу тебе два рта: после войны еще вдоволь наголодались и сами и дети, у кого были. Но бог оберег: родился сын. И с одним помучились, сколько жить будешь, не забудешь. Родился на свет богатырем, а тут с голоду чуть сами не опухли и ребенок тоже. А тряпок? Много ли их тогда где купишь? Завернуть ребенка не во что было. Ничего, выжили. И сами не пропали и сына выходили. А там полегче стало. Через три года Наталья его опять раздалась, живот еще больше прежнего. Уж теперь-то точно двойня. На первый раз пронесло, а на второй не миновать. «Куда ты гонишь? — говорил ему Степан Акимович. — Тот-то еще от горшка три вершка». «Не знаешь — куда? Народ на войне побил, надо пополнять население». И пополнил — снова сыном. И таким же богатырем. «Ну, может, пока и хватит, — сказал он Наталье. — Этих-то хоть немного на ноги поставим, а там видно будет». И надолго завязали, уже и не хотели третьего заводить, привыкли к такому положению: сыновья уж подросли, ходили в школу; первый сын, Гриня, заканчивал десятый класс, Вася бегал в седьмой, все трудности остались позади, жизнь наладилась, хотя и была не без прорех, приходилось затыкать то одну, то другую дыру: одному штаны, другому рубашку, этому костюм, тому пиджак, кому плащ, а кому пальто. Сами ж как-нибудь в старом проходят, хуже было — выдержали, а теперь терпеть можно. И вот на тебе: Наталья опять что-то почувствовала в боку, а там и живот стал пучиться, расти с каждым днем. Третий ребенок! А зачем он? Да еще нежеланный? Да как, мол, у тебя только язык повернулся сказать такое? У Натальи-то. Ребенок еще не родился, а ты уже хочешь его жизни лишить. Как получилось? А вот так и получилось, сам не знает как. Вот как-то же прорвался! Значит, очень хотел жить.

А раз так — не мешай, не становись на пути, дай человеку дорогу — всем на этом свете места хватит. И Наталья родила. Дочь. Дробненькую, но хорошенькую, глаз бы с нее не сводил. И пошла она в рост. Так на третьем ребенке и остановились.

Сейчас Гриня в Ленинграде, Вася доучивается после армии в техникуме — немного не дотянул до высшего образования, подленился. Ну да он, отец, надеется, что и Вася подтянется, глядишь, еще вслед за техникумом и институт окончит, если женитьба не помешает. И так его называют старым холостяком: уж под тридцать — отслужил сверхсрочную, семьей в армии не обзавелся и учебу упустил, хотя учиться, говорят, никогда не поздно.

А вот что сказать о дочери? Дина ходила уже в восьмой класс, училась на одни пятерки — еще какой умницей оказалась! Вот ее-то, Динку, он теперь любил больше всех, крепче даже сыновей, хоть они и труднее достались. Нет, сыновей он, конечно, тоже любил, неправда, что меньше, — не меньше. Но и дочь ему дорога, Динка, еще как дорога! Тут кто какого пола. Да и возраст у них слишком разный. Гриня уже сам женат, обзавелся дитем, но пока одним и давненько; внук его, Карпа Ивановича, уже гонял в школу, Гриня уж разменял четвертый десяток, как и жена его, Катерина, и похоже, что второго ребенка не планировали. А главное: у старшего сына — должность. Большая. Тут, в ихнем городке, такой-то и не найдешь. Он, отец, считал теперь Гриню вроде как выше себя, ну не то чтобы по должности выше, ясно, что их должности не сравнить, его место с Грининым, тут не надо сравнивать, это было бы неправильно, но так вот по кое-каким соображениям между собой и сыном разницу видел заметную. И вот что интересно: она, эта разница, нисколько не унижала его отцовское достоинство, наоборот. Он не какой-то там хвостун, чтоб языком чесать, звонить на всех перекрестках — никому ни слова, ни чужим, ни своим, тем более Грине; но в душе гордился им, как если бы они менялись местами, нет, не на самом деле, пусть Гриня остается на своем месте, а он на своем, в другом смысле: в том, чего достиг сын, была и его заслуга как отца, будто он сам этого добился, был на одном уровне с Гринею. А вот о другом сыне, о Васе, сказать с такой же ответственностью пока что не может. Подождет. Повременит с выводами. Хотя, конечно, и на Васю надежды у него немалые.

Да, а вот с Динкой дело другого рода. Если сыновья выросли и улетели из родного дома, теперь только жди, когда приедут в отпуск, они на тебя посмотрят, а ты — на них, побыви неделю-две, погостевали и уехали, у них своя жизнь, свои заботы, то дочь все время была при нем, жила дома, бок о бок с родителями, утром вставала, вечером ложилась спать — росла на глазах; еще недавно, кажется, была такой крохотулькой, а теперь вот уже почти невеста, в парк на танцы бежала, кой-кто из ее класса провожал до калитки, стояли по часу-два, а когда и до полуночи шушукались под окнами. Ну, он не против, чтоб ходили гуляли; положение такое — время идет, родители стареют, а дети вырастают, заступают на их место, глядишь, и его дочь скоро скажет: гони, отец, деньги на свадьбу. Молодежь нынче растет как на дрожжах, питание все ж неплохое, основной продукт есть, работой особо дома не обременяют, только учись. И Динка ничем, кроме уроков, не загружена. Там-то раз в месяц матери со стиркой придется помочь, что-нибудь погладить, летом грядки прополоть. А зимой совсем делать нечего. Дровами запастись, печку протопить — все остальное уж они сами вдвоем с Натальей. Сила еще есть, топор в руках держать не разучился, дрова колоть нога не мешает. К тому же Наталья привыкла все сама делать, чем кого-то лишний раз просить. А дочь больше в кино ходит да книжки читает. Еще и тебе какую-нибудь подсунет: «Ты, папа, отстал». А от чего отстал? От школьной науки? Ну, от теперешних учебников, может, и отстал. От ихней алгебры, геометрии, химии... Тех задачек ему сейчас не решить. Во-

первых, у него всего-то пять классов, а вы уже в старших учитесь; во-вторых, тогда у них таких и учебников не было, этих задачек не задавали. Тут всему заново нужно обучаться, приламываться. По всем остальным статьям еще может с дочкой потягаться. Газеты читает, районную и одну центральную выписывает — «Труд». То в телевизор иногда заглянешь, то статейку одну-другую пробежишь, изучишь цифры. А цифры, надо сказать, большие и много их, по всем отраслям. Все сразу и не упомнишь. Да ему экзамены по ним не сдавать. Никто его не спросит. Не на той он должности, чтобы с него эти цифры требовать. Заставлять помнить наизусть. Ему отчитываться не перед кем. Важно уловить их дух, понять, что они значат, много это или мало. Прикинуть. А прикинешь — ого! Вот столько можно всего наворотить. И в промышленности и в сельском хозяйстве. Если все выполнить, куда и девать? Но глубже вникнешь: еще работать и работать, не такие планы на себя надо брать. Главное: создать материальную базу и на ее основе подтягивать остальные звенья. Добиваться пропорциональности. Борьба за неуклонный подъем всего народного хозяйства. О человеке тоже много заботы проявляют. Чтoб не пил, не прогуливал — работал. И не спустя рукава, а по-ударному, по-стахановски. Выполнял и перевыполнял по всем показателям. Рос духовно, развивался. И не на один какой-то бок — гармонически. Был всесторонне развитой личностью. Все к тому и идут. На пути еще много помех, преград. Но цель ясна. Она выполнима. Уже близка, не за горами. На горизонте. В каждой газете — сообщение о начале крупной стройки. Или о ее завершении. Тольятти, Набережные Челны... Одних крупных гидроэлектростанций, построенных и строящихся... Братская, Саяно-Шушенская, Нижне-Камская... Этот, как его? Нурек... А БАМ? И дочь говорит, что он отстал. Думает, если ее отец сидит в сапожной мастерской, забивает в каблучки гвозди, то ничего не знает? Знает! Все знает, где что делается и в стране и за рубежом. Не только в газету заглядывает, но и по телевизору «Международную панораму» смотрит, политических обозревателей слушает, «За круглым столом», следит, какие пишут им зрители письма, вопросы задают. Он и сам однажды собирался написать — выразить протест против поджигателей новой войны и чтобы этот протест был услышан.

Так что и насчет международного положения, в общем-то, в курсе всех событий. Капитализм загнивает, колониальная система рухнула. Слаборазвитые страны добиваются независимости, встают на ноги. На Ближнем Востоке картина сложная. Самая горячая точка земного шара. Что еще? Индия с нами в дружбе, как и раньше. От Китая теперь только и жди чего-нибудь: показал себя с Вьетнамом и Кампучией. Кубинцы — наши друзья. Первыми совершили революцию на американском континенте. Все больше крепнет и развивается социалистическое содружество. Мы — только за мир. Уже больше тридцати лет живем без войны. Кто воевал, тот знает, что это такое — война.

Вот так-то, дочь! Его тут не проведешь. Пусть не тычет, не хвастается своей образованностью. Он, конечно, рад за ее успехи, очень доволен, что она хорошо учится и много знает. Но пусть не говорит, что больше отца. В чем-то она преуспела, а в чем-то ей еще нужно у него поучиться. Кто он ей? Отец. Не было б его, не было бы и ее. Пусть не забывает. Проживет с его, пройдет через все то, через что он прошел, хотя он этого своей дочери не желает, не дай бог ей увидеть то, что он увидал. Та жизнь уже не повторится, это, конечно, понятно, а вот какая выпадет на долю Динки — над этим стоит всем подумать. Не было бы хуже.

В одном только соглашался, никогда не возражал — всегда уступал ей, даже стеснялся, сразу становился шелковым, когда она говорила ему: «Папа, не пей». И говорила не пьяному, а трезвому как стеклышко, из чего он заключал, что в ее девичьей головке уже сиде-

ла мудрость зрелой женщины: что с пьяным говорить? А когда он напивался? Вот уж чего с ним сроду не было, того не было, даже в самые тяжелые минуты своей жизни. Наоборот, когда наваливалась беда, а их у него было столько, что все сейчас и не припомнить, он и в рот не брал. Другие упивались, доходили до такого безобразия — противно было на них глядеть. Да, насмотрелся он на таких, кто бросался в водку, как в омут, когда что-нибудь случалось, жизнь была по голове. А он нет, можно у Натальи спросить, она подтвердит. Правда. Он нисколько себя не превозносит, не говорит, что за себя ручается, что такой устойчивый, ничто его не берет, какая бы ни свалилась напасть. Но чтоб из-за чего-то там, какого-то удара, вот так напиваться... Наоборот, держался от этой заразы, водки, подальше, глядеть даже на нее не хотел, если кто и подносил, находился такой сердобольный, предлагал выпить — залить горе. Он уж это дело знал: водкой горе не залить. Начни заливать — было одно горе, станет два. С горем надо бороться на трезвую голову. Тогда любое горе будет нипочем, не оно тебя придавит, а ты его подомнешь под себя, скрутишь в бараний рог, пойдешь дальше своей дорогой целым и невредимым, снова жить и радоваться. И перед самим собой и перед людьми не стыдно, можешь глядеть им в глаза прямо, что выдержал, устоял. И то и другое одолел.

Вот почему на Динкины слова «папа, не пей» он нисколько не обижался, все время держал их в голове, стараясь помнить, какой смысл вкладывала в них дочь, гордился ею за ту простодушную ~~трезво~~вогу, с какой она прибавляла: «Не опозорь меня». И тайно давал обещание не подвести дочь, чтобы ей не говорили про него ничего плохого в школе, а провожавшие до калитки школьные друзья понимающе не улыбались при ее лукавом замечании: «Папа, ты пьешь, как сапожник!» — когда он возвращался домой под небольшим градусом. Это точно: под небольшим. Что ему могло стать с одной-двух рюмочек водки или вина? А с кружки пива и подавно. От пива только запах еще сильнее, чем от водки, а хмеля в нем с наперсток. От пива пошатываться не будешь, тем более на дороге валяться, хоть десять кружек выпьешь. Лично ему и трех порой многовато. А десять... Это пять литров жидкости пропустить через себя! Да и пиво бывало у них редко, если и привозили, то чаще всего в бочках. Как тут было не освежиться в жаркий день? И так им такое счастье выпало негусто. А с банки не зайти в ресторан-столовую за кружкой пива просто грех. Тебя засмеют, скажут: сорок копеек пожалел, на тебе на твою бедность. Сам не пойдешь, так другие заташат: знакомых много, шаг ступил — и свой. Кому уступку сделаешь — посидишь лишний час или отложишь несрочную работу, то каблук прибьешь, отлетевший на ходу, то подошву подклеишь, гвоздочками носкикрепишь и всякий другой мелкий ремонт дашь в обеденный перерыв, а тебе за услугу кто в банку мелочь кинет, кто только спасибо скажет — каждый по-своему за доброту твою отблагодарить старается. Ну, если когда и уважишь хорошего человека, вреда большого не будет. Так, немного, одну-другую рюмочку к концу рабочего дня и пропустишь. Больше ни грамма. Это норма. Упрашивать бесполезно. Водке этой конца не будет, а здоровье не прибавляется, а убавляется с каждым годом. Сегодня да завтра рюмочку — глядишь, и пошло. Надо держать в себе ограничитель. Жизнь большая, дистанция длинная, как считаешь, так и прибежишь к финишу. Последним или первым — все от тебя зависит. У него такое правило. Пусть Наталья скажет, когда он приходил домой не своим ходом или с дуже большими затруднениями. Ему и так ногу таскать не очень способно. Был ли в семье хоть один скандал? Был, и не раз, но то на другой почве. В нормальной семье, как в маленьком государстве, должно быть все. И скандалы тоже. Если шум по делу, семья становится только лучше, очищается от семейных шлаков, обновляется. А вот чтобы из-

за проклятой рюмки... Никого еще за свою жизнь не подвел. Были времена похуже, а уж теперь-то чего куролесить? Чтоб за него дочь краснела? Нет, не допускал такого и не допустит — пусть будет спокойна.

Динка ведь когда родилась? Когда город уже вот как изменился. А тогда и половины того не было, что сейчас есть. Центр еще кое-чем выделялся, но и он еще долго оставался таким, каким Карп Иванович застал его в день своего рождения. Ни до войны, ни после нее до самых пятидесятых годов ничего не строилось — стояла одна на весь город двухэтажная школа; напротив нее вторым по величине зданием был раймаг, тоже, как и школа, кирпичный, но одноэтажный, длинный, похожий на колхозную ферму. Метров через сто, на одной стороне с раймагом, стоял другой магазин — «Книги», зажатый между «Обувью» и «Продуктами». Чуть дальше — хлебный, еще один продовольственный и аптека. На другой стороне улицы через три частных домика, если брать от старого быткомбината, в кирпичном теремке с полуподвальчиком было устроено что-то вроде небольшой забегаловки, где торговала на розлив любимица мужской половины населения бойкая на язык Фаина. Еще в центре к концу улицы грязно белел одноэтажный, но вместительный клуб, где крутили кино, читали лекции, устраивали танцы и новогодние балы.

Была в городе и церковь, да не одна, а даже две. Первая стояла возле базара, не действовала от самой революции, служила для райпотребсоюза складом, или базой, как чаще и весомее называли ее те, кому удавалось что-то оттуда иметь. А вторая — действующая. Она была построена на самом красивом месте города — высоком речном берегу, с какой бы стороны ни зашел, отовсюду были видны ее купола, сверкающие позолотой над речной поймой, лежащиеся в безветрие на тихую гладь широкого плеса. С той, первой, купола сняли еще тогда, сразу же, как только ее закрыли, и на том обрубке, что остался от них и служил теперь крышей, выросла из занесенного туда семени кривая березка, кустились сорные травы; кирпич снаружи повыкрошился, но, в общем, стены были крепкие, не пробить их из пушки, а окованные двери с навесным замком внушали прохожим, что складской товар находился под надежной защитой. А эта, вторая церковь, на берегу реки, была деревянная, конечно, не такая уж искусная, как, например, в Кижях, цветную фотографию которой он, Карп Иванович, видел в журнале, нет, с той даже сравнивать нечего, никакого интереса для истории не представляла; такую, как она, можно найти в каждом хоть сколько-нибудь похожем на городишко местечке, в крупном селе, одну чуть получше, другую чуть похуже, они дожили своей век.

Но вот в их городке уцелела, разрушительная сила времени не коснулась ее, хотя и была не крепче других и самого затрапезного вида: поверх деревянного сруба обшита досками, выкрашенными в светло-голубой цвет, поблекший с годами, и никто бы, наверное, не пожалел, если бы и ее постигла та же участь. Однако она вошла в жизнь Карпа Ивановича как одно из самых заметных на ту пору сооружений города, его главная примета. Он только родился, а она уже стояла, была частью его самых ярких, не зря говорят — детских, впечатлений, и он был бы очень поражен, если б однажды, проснувшись, увидел из окна своего дома на месте этой церкви голый пустырь.

Его дом глядел окнами на железную оградку, за которой в густой траве прятались ушедшие в землю надгробные плиты — забытые могилы святых отцов. Здесь же, на задах церкви, были похоронены и два последние попа — Митрофан и Кирилл, о чем напоминали два креста, один постарее, другой посвежее. Кирилл умер не так давно, прослужив бесценно все эти годы от самой войны, на памяти уже взрослого Карпа Ивановича; но Кирилла он знал хуже, так как к церкви был уже совсем безразличен — стоит через улицу и пусть себе стоит, он не верит ни в бога, ни в черта, мол, кому охота, ну и ходите, молитесь,

бейте свои лбы. Закрывал глаза и на свою Наталью, когда та нет-нет да и бегала тайком от него на пасху посвятить испеченный у соседки кулич, не прочь был отведать подсунутый ему женой кусочек, якобы уже ставший священным оттого, что Кирилл брызнул на него «святой» водой, набранной заранее рядом в колодце, в который они все ходят каждый день со своим ведром, не отказывался от крашенных луковой шелухой яичек и от всех пасхальных приготовлений, которые вкусно отличались от повседневной пищи. С приятным удивлением замечал на столе даже бутылку водки, выставленную с легким сердцем под конец из потайного угла, где она в секрете от мужа дождалась своего часа, хотя у него не было такой привычки — лазить по углам, искать, где что у жегы стоит или лежит, пусть хоть золото. Будет он мелочиться, из-за глотка водки совесть свою терять, подрывать взаимное доверие. Водка ему дома хоть будь, хоть не будь, на глазах стоять будет — не нальет без спросу, тем более украдкой от жены пить. Нет, до этого он еще не докатился. И все же замечал с каждым годом, как Наталья настороженно вглядывалась в него, если приходил домой под градусом чуть больше нормы, и хотя ничего не высказывала, но старалась водку ему не показывать, зная, из профилактических соображений. Пусть не волнуется: алкашом он не был и не будет.

А насчет религии... Если продолжить разговор, то он к ней никаким боком не прикасается, верующим не стал и не станет, что посидит с Натальей за одним столом, съест пасхальное яичко и выпьет стопочку за искупление грехов своих. А грех у него был, и такой, что не искупить ничем, хоть ты море водки выпей; если и есть бог, то никогда не простит, ни за какие услужения того, что он говорил и говорить будет: бога нет, отрицал его и отрицает. И Наталья еще когда втолковывал, когда с войны пришел. Уж он там такое повидал... И чтобы после всего, на что он там, на фронте, насмотрелся, верил в бога? Если б бог был, то такого безобразия на земле не допустил бы, сжалился б над людьми. А если и есть бог на свете, то у него, видать, сердце каменное, или совсем он без сердца, на том месте, где оно должно в его груди быть, пустая дыра, ничего нет. Этот, как его?.. Вакуум. Разреженное пространство, как в том космосе, где космонавты летают, еще выше, за ту орбиту...

Но как Наталье ни разъяснял, все ж по-своему сделала — окрестила Гриньку, послушалась, еще и десятку попу дала за то, что погнусавил над ребенком, кадиллом своим помахал, в тазик с водой окунул, мог бы и простудить малого. И не одного Гриньку, но и Васю такому делу подвергла — сносила втихую к Кириллу и не призналась. Он, отец своих детей, так бы и жил, ничего не зная, если б сам поп не проболтался старухам; те ему шепнули, не с добра, конечно, с корысти: мол, твоя Наталья тож такая, на других говоришь, что детей в церковь носят, теперь и твои крещеные. Ну он и устроил ей профилактику на трезвую голову. А та еще и отпираться, доказывать: как же нет бога? Может, он и тебя-то на войне оберет, чтоб твои дети свет увидели. Ты вот хоть и таскаешь ногу, да живой, а других уже давно косточки в земле сгнили. Нашла на что ссылаться, куда бить — по больному месту: если ты уцелел, то, значит, бог тебя спас, а ты тут ни при чем, твоей заслуги в этом деле никакой, что уберет свою голову, не подставил сдуру под вражью пулю. Пусть и повезло, в рубашке родился, но и солдатскую выучку сбрасывать со счетов нельзя. Если уж бог такой хороший, чего ж не позаботился, ногу его не уберет? Со здоровой ногой он, Карп Иванович, знаешь, где бы сейчас был? Не сделал бы в подвале над чужими обувками, а то вот по божьей милости... Ну, он на много не замахивался, ему чужого не надо; но еще и неизвестно, куда бы его жизнь повернула, под каким углом, если бы не эта нога. Вот тебе и бог! Как Наталья ни ершилась, а притихла: как-нибудь она сейчас перетерпит, а дети — всё, кре-

щенные. Назад их в церковь не потащишь за руку. Но разговор тот запомнила. И когда нашлась у них Динка, уж ее-то окрестить не осмелилась. Да и он после такой науки держал Наталью под прицелом, пока дочь подросла, понимать стала. И ничего, что некрещеная, еще, может, счастливее всех будет!

Сейчас-то Динку в церковь и силой не загонишь. Она сама кого хочешь против бога сагиатирует, смеется над всеми, кто в церковь ходит, на пасху бегаёт с девчонками, шалит в толчее, говорит про нового попа, что он сам-то в бога не верует, только дурит старух. Пошла вся в отца, даже дальше. В детстве, еще совсем мальцом, он раз ходил в церковь пасху святить по просьбе матери, когда она болела, пробрался к самому аналою, всю ночь, уставясь, смотрел на попа, и тот так запал ему в детскую душу, что и сейчас Митрофан как живой стоит у него перед глазами. К утру он уснул, сдавленный тесной, душевной толпой, а когда проснулся, глядь: нет кулича — украли! И больше в церковь не пошел: и там, прямо у бога на глазах, воруют. От матери ему, конечно, попало, еще и в школе влетело по первое число: к этому делу тогда очень строго подходили, на пасху у церкви дежурили учителя и если кого из учеников замечали там, уж было потом, устраивали такой прочихвон. Но попа Митрофана запомнил на всю жизнь, а вот Кирилла... Только и знал его имя, врезалось в память, когда из-за крестин с Натальей поругался.

Городок до войны и после нее еще несколько лет оставался районным центром со всеми, какие положены, организациями: райкомом, райисполкомом, райсобесом, госбанком, нарсудом и районной милицией. Была своя газета «Вперед», и попробуй ее не вышиши. Да и никто тогда так особенно не рассуждал. Легко сейчас судить: и то было не так и это. Все умные задним числом. Такие храбрые. Откуда кто знал? Ему, Карпу Ивановичу, не докладывали. Он в то время еще рукавом сопли утирал. Был у них до войны хороший секретарь райкома, все хвалили, потом прислали из области другого, а того, как было сказано, перевели на новое место, на повышение. Ну, перевели, значит, заслужил, сверху видней. И все тихо. А тут — война. Он сам, когда ходил в атаку, кричал: «За Родину! За Сталина!» Куда от этого денешься? Глупо сейчас отказываться. Он-то помнит и будет помнить, пока не помрет. Памяти не прикажешь и жизнь ту теперь не поправишь, в другие наряды не оденешь, что верно, то верно, и забывать нам, некрещеным, великий грех. Это все равно что половину самого его, Карпа Ивановича, надо взять и выкинуть. Где найдется такой специалист? Если и сыщется, то как же ты поймешь, откуда вот он, Карп Иванович, взялся? От сырости, что ли, завелся? Ведь чтоб человека по косточкам разобрать, нужно всю жизнь его вспомнить, от начала до конца, плохое и хорошее, большое и малое. А лично его жизнь известная: как все жили, так и он, до чего своей головой доходил, что люди подсказывали, что в газетах печатали, а то и слухами пользовался. Чужой рот не замажешь, свои уши не заткнешь. Жизнь его не всегда от него зависела — что кругом творилось, то и в нем.

Сейчас не каждый и поверит, какая тут сразу после войны жизнь была. Ну, тому, кто через это прошел, доказывать не надо. Он тебе еще похлеще расскажет. А тем, кто тут не жил или позже родился, про то время рассказывать, что глухому про музыку толковать. Иной раз на таких нарываешься, что не вдолбишь. Или совсем не верят, думают, что ты врешь, цену себе набиваешь, или скажут, чтобы только от тебя отделаться: «Что теперь вспоминать!» А другой еще сильнее подденет: «Хочешь, чтобы и сейчас так жили?» Кто же этого хочет? Дурак он, если так думает. Хоть бы уважать научился старших, кому довелось хлебнуть того горюшка. На таких и не очень-то обижаешься: их тоже понять можно, уже сколько лет прошло. Динка, родная дочь, и то представить не может, как раньше ее родители жили. А уж ей-то он при каждом удобном случае старался внушить. Она,

конечно, верила, соглашалась, но, видно, не совсем. Знать, так уж было и будет: пока человек на своей шкуре не испытает, до него не дойдет. Однажды, когда он сказал дочери, что после войны хлеб давали по карточкам, она ответила: «Так ведь лучше!» «Чем же лучше?» — «Всегда пойдешь и получишь». — «А ты знаешь, сколько грамм на человека давали?» — «Нет». — «То-то и оно!» — «Но карточки скоро отменили. Значит, быстро справились». — «А какие очереди? За одним черным давились, белого и в глаза не видели. На праздники, бывало, сдобных булочек выбросят... А заем?» — «Знаю: на развитие народного хозяйства». — «Правильно, на развитие. А как подписывали, знаешь?» — «Кто на сколько может». — «Кто больше!» — «Ты, надеюсь, не отстал?» — «Смеешься? А тогда вот так бы не посмеялась».

Но все-таки вспомнить иной раз о том времени не мешает хотя бы для того, чтобы яснее стало, почему город несколько не рос почти до самых тех дней, когда даже тут у них на песке начали сеять кукурузу. Тогда же вскорости другое новшество ввели — запретили домашнее хозяйство держать. Какие, мол, вы горожане, если в ваших сараях мычат буренки, визжат поросята, гуляют по двору курочки, цыплята? Зачем они вам? Надо с этим делом кончать. Чем вы свою живность кормите? Печеным хлебом. Для этого его, что ль, пекут? Да и хватит вам хозяйством заниматься, частнособственническую психологию разводить.

Не прошло и года, как... То, бывало, с одной улицы целое стадо набиралось, а теперь если две-три коровы сыскивались, то и хорошо, у тех, кто не свел на мясо, воздержался. Никто скот так уж одним печеным хлебом не кормил, ну, бывало и такое, кто буханку-две в день и скормит, но не каждый же. Каждый станет кормить — действительно никакого хлеба не хватит. И целина не спасет. Если хозяйка старательная, находчивая, она со своего огорода травы за лето натаскает, по межам с серпом побегаёт, домой мешок приволокет. Да муж, глядишь, в кустах каких косой махнет — улучит момент. И на базаре сено всегда можно было не то воз, так и два купить. Поросят выращивать, конечно, посложнее: им мука нужна или хоть жмыхи какие, отруби. Без этого приличного кабанчика не выкормишь, на одной траве не продержитесь. Летом еще все идет: и трава и мучица. А зимой? Когда он пошел в рост — надо его поддержать? Вот печеный хлебушек и выручал, шел в добавку. Уж тут как кто мог, так и выкручивался. И курочкам надо зернышек посыпать, пшена. А где его взять, пшена того? Поди застань в магазине!

У него, Карпа Ивановича, тож была коровенка, и неплохая. Неважную он и не стал бы держать, она того б не стойла, когда с коровами такая морока. Если ради коровы так убиваться, то чтобы и от нее толк был. Двое пацанов дома, сами уж как-нибудь перебились бы — и без молока прожили, при большой нужде и в магазине б иногда бидончик захватили. А детям каждый день молочко подавай. Но часто ли оно было в магазине? Вот и приходилось коровку держать, заботиться о ней. Бывало, договоришься с председателем, колхозу гектар выкосишь — тебе десять соток травостоя, два выкосишь — двадцать, колхозу десять — себе гектар. А с гектара пусть даже и не очень густой травки корове сена — вот так. Косить — не кросс по бегу сдавать, шибко здоровые ноги не нужны: с косой не разгонишься, раз махнул — шажок, еще раз — шажок, ту, здоровую ногу вперед, а эту, негодную, следом за ней подтянул — и так продвигаешься черепашиным шагом. А там Гринька подрост, помогать стал. Потом Вася приобщился... Да вот пришлось от коровки избавиться, хотя Наталья и отговаривала: подожди, пока дети подрастут, успеешь за рога отвести, люди не торопятся, одному тебе не терпится. Что ему на других глядеть? Сам знает, что делает, не привык он жить с оглядкой. Раз постановление вышло, значит, по делу, там не такие головы сидели, решали. Подумай сама: чем же плохо — пошел в магазин и все купил?

Больше никаких тебе забот, только работай. Изживай в себе частнособственническую психологию — теперь колхозы сами полностью всех пропитанием обеспечат.

Сейчас бы кто и мог держать коровенку, да отбили охоту. И с кормами возникли новые затруднения: кочкарник вокруг распахали, болота повысушили, нигде травыны не возьмешь. У колхозов самих бескормица одна за другой. В прошлом году так и ветки заготовливали впрок, все население в лес гоняли, от работы отрывали. О том, чтобы держать свою корову, теперь и разговора нет. Семья изменилась, дома осталась одна дочь, к молоку не привыкла, а они с Натальей и раньше другой пищей обходились. Кабанчика еще пробовали держать, но и от него в конце концов отказались: хлопот слишком много. Только кур оставили с десяток, пока терпимо. Одно время было кроликов развели — двойная выгода: и шкурка и мясо, — да тоже пришлось отступить. Уж больно они квелые, не знаешь, чем и кормить. Больше их зарываешь, чем пользы от них. А есть что-то каждый день надо. Бывало, к Павловне в «Продукты» заглянешь, выберешь время, когда в магазине людей поменьше, попросишь: нет ли у тебя хоть мослов каких-нибудь? Она уж тебе все остатки соберет, сунет в сумку, чтобы никто не увидел, и уходи скорей. Сколько раз вот так выручала. И он ее не раз выручал, когда с обувью туговато было, и ей и мужу новые сапоги шил вечерами, не считался со временем. А сейчас и Павловна от него отвернулась, когда любой товар муж ей со склада возьмет, других клиентов нашла. Он, Карп Иванович, уже не нужен, текущий ремонт сапогам и так даст, квитанцию выишет — и цену установит по прейскуранту, и срок укажет, когда прийти свои сапоги забрать. Ничего не поделаешь: все в жизни меняется. И люди тоже. Вроде бы со дня рождения их знаешь, чем живут и дышат, уж такие хорошие, когда им что-нибудь от тебя надо, а как другой больше пообещает, они тебя и замечать перестают. Ну да уж ладно, он жил и проживет как-нибудь без них. Не этим человек определяется.

В те годы, когда в их краю зашелестела на полях кукуруза, город все же стал подниматься на ноги. Пусть захудалый, но как-никак райцентр, хоть маленькая, но столица. Хватит на послевоенные трудности сваливать. Где-то уже вон чего понастроили люди своим ударным трудом. Должна дойти и до них очередь. И, знать, дошла...

Место для первого нового здания в городе выбрали возле школы. То был один двухэтажный дом, теперь будет два. И стоять им рядом, в тесном соседстве, дополняя друг друга, чтоб хоть в этом месте город на город был похож. И не в одну линию выстроить, а немного отступить назад, через школьный опытный участок. Грядки убрать, теперь они тут ни к чему, а кусок этой земли отвести под площадь. И как город жил без нее раньше? Что за центр без площади? Кто приедет, пройдет, посмотрит — никакого вида. Ну, распланировали и приступили к делу. Нет бы сразу и строить, а то еще чего-то стали ковыряться. Невесть откуда появились какие-то люди с бурами и давай крутить. День крутят, другой — растянули на неделю. Пробурили три дырки, достали из них глину, сложили в ящики и увезли. Через несколько дней вернулись, опять стали крутить дырку за дыркой. Весь сентябрь и провозились. На переменке дети из школы высыпают, набегут, в дырки те заглядывают — дюже им интересно. Что они тут когда видели? А бурильщики их прогонять: «Не трогайте!» Будто эта глина уж такая большая ценность. «А тебе, дед, что тут надо? — накинулись и на него. — Чего тут стоишь?» Нашли деда! Думаю: если он таскает ногу, то уже такой и дед. Оттого что он второй день небрит, пришел сюда прямо из мастерской, в замызганной одежке, что у него такие руки — исполосованы дратвой, с вьезшейся в кожу черной смолой, — может для них, молодых, здоровых парней, и показаться стариком. Ничего, вот побреется, щетину свою срежет

(бритва у него старинная, такая острая, что волос упадет на ее острие — и пополам) да эту дерюжку на выходной костюм сменит, причешется перед зеркалом — еще за молодого сойдет. А что до его интереса... Как тут не поглядеть на такую диковину? У него душа радуется, разрывается от нетерпения, когда построят дом...

Вскоре бурильщики опять уехали и больше не вернулись; их сменили другие люди, пригнали экскаватор. Сейчас такими никого не удивишь: старая техника, тарыхтит, крутится, елозит гусеницами — суеты и шума много, а дело не продвигается, зачерпнет с гулькин нос, да и то половину по дороге растеряет. С месяц прокопался, пока яму под фундамент вырыл. И когда он кончил, стало очень тихо в городе, так привыкли уши к его тарыхтенью, слышному во всех концах. Экскаватор угнали, и каменщики взялись за кладку стен, прокопошились всю зиму, к весне вывели до второго этажа и на нем застряли из-за нехватки кирпича. Накрывали уже по осени, дошли до отделочных работ, и тут как гром с ясного неба указание — ликвидировать район! Как? А вот так взять и упразднить, объединить с соседним. Он, мол, не то что ваш недоросток, а раза в два побольше вашего, вам еще тянуться да тянуться до него, расти да и расти.

Сначала пошел только слух — где-то кто-то, кому было положено первому знать, видимо, не смог удержать языка за зубами, сказал жене или другу, а те... И понеслось. Слух в один день облетел весь город, уже говорили все кому не лень, выдвигали всякие домыслы и догадки: районное начальство опростоволосилось, вот его и поперли.

Последней версии Карп Иванович верил больше всего: мол, так оно, верно, и есть, он сам давно замечал что-то неладное в аппарате. Еще тогда заподозрил, когда району было предложено построить в городе не то радиоламповый, не то еще какой-то завод, а оно, местное начальство, отказалось, не сочло нужным. Этот вроде бы самый завод был вскоре построен в другом районе, к которому сейчас и хотели их присоединить. Давая в сапожной мастерской оценку такому факту, Карп Иванович горячился, убежденный в своей правоте: мол, там, в соседнем районе, поумнее сидят, быстро смекнули что к чему, тут же заводик к себе прибрали, одним махом два добрых дела сделали — и работу людям дали и квартир настроили, город прямо на глазах преобразился. И у них было бы так, если б в райкоме не прошляпили, — в то время можно было уже не бояться говорить. А то вот видите, что получилось: соседи и тогда не промахнулись — выиграли, и сейчас на первом месте оказались — их район на буксир собирались взять. А зачем, мол, нам ваш буксир? Мы и сами могли бы в люди выйти, без посторонней помощи. Были бы ни от кого не зависимы, самостоятельной единицей. А так мы теперь ноль без палочки. И организации все уберут и власти той не будет — город опять запустеет, окажется на бобах.

И не один он так думал (он-то человек маленький), а люди солиднее, пограмотнее его высказывали ту же мысль, значит, правильно, он, Карп Иванович, стоит на верном пути, ему бояться нечего, в правом деле его все поймут и поддержат, потом еще спасибо скажут — нет, слава ему не нужна, он готов оставаться в тени, лишь бы другим хорошо было, он не за себя болеет — за людей, лично ему немного надо, на его век хватит и этого чурбачка. И так тут у них одна мебельная фабрика. Какая промышленность? Но вот дожили еще до худшего: совсем их ни во что превращают, выводят за штаты — был район и нет его. Теперь, если чего понадобится, надо туда ехать, за тридцать верст. Пусть бы еще автобус ходил нормально, по расписанию, а то ведь жди его, то ли придет, то ли нет: зимой, глядишь, дорогу переметет, весной и осенью грязь по самый кузов. Взяли б да проложили асфальт... Нет, все равно плохо, в голове не укладывается, как теперь их город жить будет. И так был ни то ни се, ни го-

род, ни село... Может, совхоз сделают? Слух такой уже идет, а раз пошел, глядишь, и до дела недалеко.

Поделиться этими мыслями, кроме как с Ефимом в мастерской, больше не с кем было. Если б он что-то соображал, разбирался в политике, а то был глух ко всему, как бревно, о чем ни спросишь, только промычит себе под нос, уткнется в обувку, ковыряется над ней день, не поймешь его, одобряет или нет. Ну не нравится тебе их затея, ты против — так прямо и скажи, выложи свое мнение. Чего хмуриться, сидеть с кислой мордой, делать вид, что тебя не касается? Твое дело сторона? Раз он трубит здесь, в сапожной мастерской, выше никуда не поднялся, то ему там хоть трава не расти? Думаешь: что от наших разговоров изменится? Где же им еще поговорить как не в этом подвальчике? За такой их работой? Все равно голова ничем не забита, весь день отдыхает. Если ей еще никакой нагрузки не давать, она совсем думать разучится.

Но Ефим молчал, ничем его не расшевелишь, хоть ты в лоб ему стреляй. И Карп Иванович, отсидев день, скоренько сворачивался и, сбиваясь с шага, подтягивая несправляющуюся ногу, спешил к Фаине.

Забегаловка была набита знакомыми мужиками, купалась в застойном дыму, сразу-то и не разглядишь где кто, едва-то была видна за стойкой сама Фаина, всегда накрученная, с наспех припудренными красными пятнами по всему лицу, в белой, уже запачканной спереди куртке, закрытая мужскими головами, громко, со смелым вызовом объяснявшаяся в недоразумениях по части сдачи.

Карп Иванович быстро прикидывал, к кому бы примкнуть, приладиться с разговором, услышать от знакомого человека свежую новость, склонявшую события к благоприятным переменам. Может, опомнились, где-то там пересмотрели, пока не поздно.

Он втирался в толпу, прислушиваясь, о чем кто с кем говорил, может, на большую для него тему. Нет, толпа гудела как обычно, озабоченная своим прямым делом, зачем она сюда набилась — протолкаться скорее к стойке за кружкой пива или стаканом перцовой, а кто за тем и за другим, разговаривали кто о чем, каждый о своем, ничего близкого к злобе дня.

И тогда он тоже пробивался к стойке, кивал через головы Фаине, и та, заметив его, подавала вне очереди бокал пива. И уже стоя в уголке, сдувая с подкисшего пива крупные хлопья пены, примеряясь губами к краю кружки и бросив при этом на соседа прищуренный взгляд, он начинал сам: «Ведь вот оно какое дело...» Уловив заинтересованно приподнятые, располагающие к откровению, с хмельной поволокой глаза, делал привлекающую к своему разговору паузу и теперь свободнее, с каждым словом придвигаясь поближе к покладистому собеседнику, продолжал: «Ежели мы все молчать будем, ждать, когда нам готовенькое поднесут, — ы-ы, далеко ли мы так пойдем? Я тебе вот что скажу...» И выкладывал все, что с таким душевным нетерпением хотел излить днем Ефиму. Если же тот оказывался вроде Ефима, ни тятя, ни мама, или вообще первый раз об этом слышал, вежливо с ним прощался и присосеживался к другому. Не могло такого быть, чтобы не нашелся человек, кто его бы понял, душевно выслушал, не утаил перед ним и своего мнения. Но чаще всего каждый судил со своей колокольни, а ему хотелось бы полного единодушия, совпадения взглядов по всем пунктикам. Не мог же он совсем ошибаться, принимать белое за черное. Что он, такая уж бестолочь или малолетка, ничего еще в жизни не видел, разобраться не может.

И все же он уходил из забегаловки — тащил в потемках ноги на свою Болотную улицу с облегченным сердцем, избавленный от лишнего душевного груза. Есть же и среди них люди, кое-что смекают, шевелят мозгами, как и он, не потеряли чувствительности, если их задеть за болезненное место. У каждого оно есть, не у него одного, только на разной глубине, всяк по-своему его оберегает, прячет от дурного глаза, не но-

сится так уж — терпит. А все потому, что приложить себя не знает как, кто и хотел бы делу помочь, его не спросят: кому положено, тот и решит.

И город из районного центра сразу превратился в заштатный. Когда об этом уже точно было сказано, Карп Иванович притих на своем чурбачке, а Ефим приподнял голову, зашевелился, как будто он вот оказался куда умнее и догадливее, а тот опять попал впросак. Но разговорчивее Ефим не стал; реорганизация района только входила в свою горячую пору — судили-рядили, какую контору упразднить, какую тут оставят, кого куда переведут, а кто вынужден будет менять работу, идти на низшую должность. «Не бойся, твое место никто не займет», — сказал ему Карп Иванович.

На деле же все вышло так просто, что он чуть было не разуверился в себе: все городские организации потеряли лишь первые три начальные буквы «рай», вместо них приписали «гор» — горисполком, горпищторг и так далее. Раймаг заменили на универмаг, построенное для райкома новое двухэтажное здание отдали под школу. Упразднены были народный суд и госбанк. В остальном же все остались при своих интересах. Слухи, что город переделают в совхоз, оказались ложными. Действительно, это ни в какие ворота не лезло. С чего тут было создавать совхоз? Кто в него пойдет работать? Разве можно их город превратить опять в деревню? И как он до этого раньше не додумался?

Но что ни говори — не район, никакой самостоятельности, теперь что сюда дадут, то и получишь, расти больше городу не придется. Тут уж что правда, то правда, ума много не надо, чтоб сообразить. Только одно здание и успели построить. Теперь хиреть и чахнуть городу с каждым днем. Начнется сонная жизнь.

Однако не прошло и года, как сердце Карпа Ивановича радостно вздрогнуло от неожиданной новости: будут строить у них школу механизации. Прямо вот тут, через улицу, на месте бывшей фабрики. В самом центре! Чему же в ней будут учить? Ну, раз школа механизации, значит, связана с машинами, с техникой. Для села нужны специалисты: трактористы, комбайнеры, автоводители... Мысль правильная. Значит, к ним поедут учиться из деревни, из сельской местности. Молодые парни. И много же их понаедет? Двести человек? Цифра большая, сразу населения прибавится. Уже хорошо. Все же думают там, в новом районе, не только о себе заботятся — и о них не забывают, хотя, если правде в глаза смотреть, себе-то они больше чего успели. Теперь-то уж ни за что не догнать их. Но могли бы и школы сюда не дать. «Только драк больше», — хмуро обронил Ефим. Ему одно на уме... Пойти бы глянуть?

И Карп Иванович заспешил в обеденный перерыв через улицу к тому месту, где уже копались строители — люди пришлые, у них свое начальство в райцентре сидит, командует. Другая организация, все поставлено четко. Видать, парни фартовые, сразу развернулись. Им тянуть резину нет смысла — скорее план давать. Они с него живут. В каждом месяце что-то надо насчитать, чтоб все довольны были, не разбежались.

Школу механизации построили быстро — к весне уже стоял учебный корпус, к осени сдали мехмастерские, расчистили за городом полигон для прохождения практики по вождению. Заложили общежитие... Ждать, когда и его построят? Учебный год терять? Пока поживут и на частных квартирах. Школа оплатит. Но легко ли разместить в таком городишке двести человек? Найди тут столько квартир. Почему бы и им с Натальей не взять? Надо выручать. Своих двое да чужих парочку — вот и четверо, как-нибудь перекантуемся. Наталья только кивнула: ты хозяин, ты и решай. Еще бы он не решил! Уж если что надо — по-своему делает. У жены только спросит, если согласна — все мирно обойдется, а нет — он на ее протест и не посмотрит.

Теперь он день-два потерпит и к общежитию завернет, справится, как продвигается строительство. Ничего наметили — двухэтажное, из силикатного кирпича. Но могли бы и не поспешить для ребят — по-светлее, попросторнее построить. И все ж лучше, чем ничего. Хоть медленно, но растет город. Он проходил в дверь общежития, под железобетонный козырек, заглядывал в одну, другую комнату. Не пбленился — поднялся на второй этаж, с кряхтением втаскивая негнущуюся ногу со ступеньки на ступеньку. И здесь такие же небольшие, на три-четыре человека, комнаты — жить можно, ребята в деревне небось и этого не видели. Только вот — мать честная! — что же они, строители, глухим торцом общежитие прямо на улицу вывели! Куда их глаза глядели? Кто такой проект подписывал? Что они за архитектора нашли?

Но как теперь ни возмущайся, дело не поправишь. Не будешь ведь разваливать здание и заново строить. Думали-думали и придумали: намазюкали вот такой, на всю стену, лозунг и прикрыли им свой грех. Он, Карп Иванович, еще долго не мог привыкнуть, идя на работу или с работы, останавливался перед общежитием, стрелял взглядом по метровым красным буквам, вырезанным из фанеры, все крутил головой, пока не притерпелся. Все-таки как-никак школа механизации, переименованная после в технической училище, и ее общежитие сразу преобразили центр. А тут пошел слух, что уже с этой весны заложат кинотеатр. Из деревень молодежи сколько навалило да своя, местная, подросла, а в кино ходить некуда: в старом клубе сначала дала трещину стена, потом просела крыша. Чем на ремонт тратиться, лучше новый построить, современный, по типовому проекту. Пусть молодежь просвещается, меньше по улицам слоняться будет, а то развелось драчунов, вечером не пройти, получается, Ефим прав: мордобоею не оберешься. Как же тут без кинотеатра? Кино для молодежи в первую очередь. И взрослые хотят смотреть. Он, Карп Иванович, уж забыл, когда последний раз ходил. В старый клуб и без него народу набивалось — не продохнуть, а когда крыша провалилась, всем одинаково стало. И кино, и танцы, и лекции — все сразу кончилось.

К концу года кинотеатр был готов — приятно посмотреть! — еще на одно здание в центре прибавилось. Директором опять посадили Ольгу Засекину, а кассиром — Туманову. Если в старом клубе Ольга Засекина и понятия не имела о кабинете, то теперь, в новом кинотеатре, она сидела за отдельной дверью, обитой черным дерматином, важная, нафуфыренная, без стука к ней не войди. Когда и войдешь, она такая, будто на три головы выше, ты подчиненный, а она твой начальник, что захочет, то с тобой и сделает, требует, чтобы к ней обращались по имени и отчеству, и очень сердится, когда назовешь ее Ольгой, хотя все знают, какой была замухрышкой, после войны в чем только не ходила, он ей обутики прямо-таки с того света возвращал и не брал с нее ни копейки. Туманова тоже теперь сидела изолированно — в кассе, замурованная, за толстой стеной, было видно в глубоком окошечке одно ее лицо. Туда, в это окошко, подавали ей деньги, а она оттуда молча совала билеты. Словом, была недоступна для живого общения, не так, как тогда, в старом клубе, когда она продавала билеты прямо у входа в зал, сразу отрывая контрольку. А тут с первого дня заважничала. Да и сами зрители изменились — тотчас притихали, входя в фойе наполовину стеклянное, насквозь видимое с улицы, увешанное фотографиями известных актеров и кадрами из кинофильмов, не входили без звонка в зал, скромно протягивали билеты тете Даше (в старом клубе она была уборщицей, а тут сразу выросла до билетерши), стараясь не шуметь, рассаживались строго по местам, указанным в билетах, оглядывая высокие стены и потолок со скрытым мягким освещением.

А уж его Наталья... То не уговорить было, как уж он к ней ни подкатывался, сходить на открытие кинотеатра, а тут — вы б только на нее

глянули! — как вошла, так и ахнула, сколько сидела в зале, столько все-му и удивлялась: надо ж так придумать, куда ни сядь, отовсюду видно, ничья голова не мешает, один ряд выше другого, экран какой широченный, она, слепая, и то видит, не то что в старом клубе, и с первого ряда ничего не разобрать, все в глазах мельтешит, посидишь полтора часа — на улицу выйдешь как чумная. Разве то кино? Только деньги заплатишь, а пользы ни на грош.

А через год и Дом культуры отгрохали возле парка, тоже по типовому проекту, с острроверхой крышей, по сельскому образцу, на что он, Карп Иванович, даже обиделся: что тут у них, колхоз? Все-таки какой ни есть, а город, могли бы что-нибудь и поинтереснее возвести, нельзя же их совсем к деревне приравнять. Так будут подходить, им никогда до районного центра не подняться. Но и за такой спасибо надо сказать. В кинотеатре только фильм какой покажут, а в Доме культуры и лекцию когда-нибудь прочитают, собрание проведут, выборы... Для молодежи самодеятельность организуют, танцы зимой устроят, когда в парке уже холодно. Ему-то эти танцы ни к чему, давно оттанцевался, а вот концерт в другой раз посмотреть, лекцию послушать не отказался бы. Пусть пока и не так, как хотелось бы, но теперь уж видно, что за их город взялись не на шутку, только бы не раздумали там, в районе, заменят человека — и все пойдет опять на-смарку. Не должны бы: кукурузу на ихних песках уже больше никто не сеял — отменили, всякие перестройки — тоже, пошел слух, что и городу вернут былое положение, снова он станет райцентром — новый район стал чересчур велик, трудноуправляем и есть прямой резон все восстановить как было. Что он, Карп Иванович, говорил! Все же он тогда не ошибался — время показало! А Ефим хмурился...

Он хмурился и тогда, даже еще больше, молчал, как рыба, совсем не понять было, что у него в голове, когда слух не подтвердился. Кое-какие районы вскорее действительно разукрупнили, а их оставили в покое, не тронули, значит, и раньше поступили правильно. Ничего не поделаешь, придется примириться. Наверно, их городку уж никогда райцентром не бывать. Ну пусть потихоньку, но растет же! Что еще надо?

Когда заложили еще одно здание, на втором этаже которого намечалось разместить горпищеторг, а на первом открыть столовую, и не какую-нибудь, а такую, чтобы днем она была как столовая, а вечером как ресторан, и не где-нибудь, а в самом центре, напротив кинотеатра, Карп Иванович совсем убедился, что судьбой их города уже давно, несколько лет, правит одна и та же добрая целенаправленная сила. Фаиной забегаловке приходил конец, пора ей, Фаине, оттуда выметаться, хватит загонять людей в полуподвальчик, куда девять человек влезет, а десятому уже некуда. Переходи-ка в ресторан-столовую, становись за просторную стойку и обслуживай своих сограждан вежливо и культурно. Там, в забегаловке, ты была сама себе хозяйка, что хотела, то и творила бесконтрольно, а тут, в ресторане-столовой, будешь под наблюдением, в подчинении Сани Каплина. Это раньше он был для всех Саней, а теперь стал Александром Владимировичем, хоть и моложе в два раза тебя, но парень боевой, бывалый, поездил по стране, поглядел на людей. Он сам человек современный и другим жить по старинке не даст. Ты посмотри, чего он только не навывдумывал: и колонны разрисовал, и стенку разноцветным стеклом украсил, и какие к потолку светильники подвесил, и для окон тюль капроновый достал. А твою стойку почище дворца отделал — все под стеклом да под пластиком. Днем к тебе подошел, обед заказал, а вечером садись за столик и спокойно жди, когда обслужат, проводи свой досуг со всеми удобствами, не мори себя, как там, в полуподвале, встоячку. Кто бы и хотел общественный порядок нарушить, так воздержится. Пора уж приучать людей к культуре.

Как тут было не заглянуть разок-другой в столовую, не дать Сане

Каплину совет, где какой цветок нарисовать, где какую картинку прибить, то-се, и уж, конечно, первым приветить Фаину на ее новом рабочем месте, взять из ее рук сто граммов имбирной, что подешевле, поздравить вроде как с новосельем и открыть той рюмочкой новый счет жизни.

За этим событием вскоре последовало другое, не менее важное, а в чем-то, если глянуть глубже, даже посуущественнее. Скажи теперь кому, что в городе не было раньше бани,— тебе наплюют в глаза. Ему самому не верится, как без нее обходились. И не год и не два, а десятилетиями. Не то что люди совсем не мылись, ходили всю жизнь грязными. Нет, конечно, никто грязным не ходил — мылись! Любили мыться, и еще как! И не просто мылись, а с парком. И не по старинке — дома, в тазу или в русской печке, — а в банях, настоящих банях. Но это были свои бани, частные. Не у каждого, правда, она, баня, в огороде стояла, кто-то жил и без собственной бани: у кого сосед был с баней, если не рядом, то через двор, ну, три двора — всегда кто-нибудь да пустит помыться. Своя, понятно, лучше: каким бы ни был хорошим сосед, а все же ходи каждый раз кланяйся. У кого какая еще натура, кто, наоборот, любил по чужим баням бегать. Со своей, известно, хлопот полон рот: и дров припасай побольше, и воду из колодца таскай ведрами, пока нанесишь бочку, руки себе пообрываешь, и уход за ней постоянный нужен, то крышу подлатаешь, то половицу подгнившую сменишь, то в потолке щели заделаешь, чтобы пар лучше держался, не выходил, то дверь плотнее приладишь — да хватает забот. Но и преимущества немалые. И первое из них — независимость, когда захотел, тогда и протопил баньку, помылся. Да и Наталья с первого дня условие поставила: без своей бани не жизнь. Она хочет быть сама себе хозяйкой, она даже стеснительная по соседским баням мыться, признаться — брезгует, пусть будет хоть плохонькая, но своя. Зачем же плохонькую? Уж он выложится, покажет, на что способен, построит, так уж на совесть, ради жены. Если тяп-ляп, то лучше и не браться. Тяп-ляп он не привык. Уж если для себя не можешь постараться, то как же ты сумеешь для других? Какой можно ждать от тебя пользы? Лучше его бани, без хвастовства будь сказано, в их краю не было. Уж он-то и на сруб леса не поскупился, бревнышко к бревнышку подбирал, конечно, они стоили денег, и сам срубил без единой щелинки, моху положил в пазы от всей души — хоть мох-то бесплатный, пойдешь на болоте надерешь сколько тебе нужно, на себе мешок-другой притащишь... И стены потом проконопатил что надо, потолок заделал — глины потолще слой наносил, сверху еще опилками присыпал, рамы вставил и в бане и в предбаннике, сам застеклил, полоч наждачной бумагой отшлифовал, пол вылизал... А главное — печку по последнему слову техники соорудил: вода у него прямо в деревянной бочке нагревалась через согнутую буквой «п» трубу, дымоход выложил (топилась баня по-белому, без всякой копоти, войдешь в нее — чисто, как в горнице). Все соседи ходили к ним мыться, не тот, так другой напрашивался, бывало, и сам позовешь, когда воды горячей много останется. А не то вот дрова, топите сами, если кому надо, в любой день, ему не жалко.

И вот дожили до городской бани. Сейчас вспомнишь и диву даешься: как это раньше о ней никому в голову не приходило? Однако вот наконец пришло же кому-то, дай бог тому здорovia, кто нашелся такой сообразительный — и о бане вспомнил. Дал указание. В горсовете прикинули место — возле ручья, что жиденькой струйкой соскальзывал под деревянный мост через верхний край дамбы, которую нет-нет да и прорывало в весенний паводок, с неудержимым ревом обрушивая мешанину воды и льда из озера по другую сторону моста в бучело. Чуть повыше этого бучела и выложили баню из красного кирпича в рекордный срок — за три летних месяца; в предоктябрьские дни уже была первый раз вытоплена с пятницы на суббо-

ту для мужской части населения, что потом так и закрепилось, а у женской части вызвало обиду: почему не для них, женщин, **первых**? Мужикам, мол, отвели пятницу и субботу — два дня, а женщинам один — воскресенье, когда им в выходной и так забот хватает дома и отдохнуть, культурно провести время не мешает. Когда им еще идти в ту баню? Снарядиться? Мужики и тут выгадали, их, бедных женщин, обошли, притеснили, поставили в худшее положение. Кажется же, сейчас равноправие, но где оно? Сделали одно общее отделение — не могли уж выкроить и для женского, чтобы они, женщины, могли помыться в один день с мужьями, лечь в постель чистыми. А то что получается? Мужья придут из бани вымытыми, а жены еще жд^т воскресенья.

Запротестовала и его Наталья, но по-своему: не смей, мол, свою **разорять** — пусть стоит, она, баня, никому не мешает. Городская городской, никуда от тебя не денется, хочешь — ходи в нее, парься со всеми, выставляй там всем напоказ свою удобу, пусть люди на тебя полюбуются, кто не видел, а она раздеваться наголо перед всем городом не собирается. Как она потом на улицу выйдет, в глаза людям смотреть будет? Вам, мужикам, может, все равно перед кем раздеваться, а ей нет. Чтоб ее после той бани обсуждали?

Вот так ему Наталья отрезала. И попробуй скажи ей, что у нее **отсталые** взгляды, еще и обидится, дураком, охальником обзовет. Упрекнешь, что она против цивилизации, прогресса, — и хоть не сразу возьмет такие слова в толк, но насторожится, будто у него заскок; затем и язык в ход пустит, накричит: мол, жизнь прожил, а ума не набрался, забил себе голову всякой ерундой — поменьше бы ты в свои газеты глядел, может, умнее был. А через час-другой, глядишь, отойдет, остынет, уже сама к нему ластится, прощения просит, что наговорила чепухи, оскорбила мужа. Да он ее напраслину и не принимал всерьез, только улыбался, когда его распекала. А чем ближе к старости, тем у нее эта черта все больше вылезала наружу. Что ж, простиительно, все к тому идет, закон такой: чем больше стареем, тем больше глупеем. Он не исключает и себя, с ним, видно, уже то же самое происходит, как со всяким живым человеком, норма для всех одна; но чтоб так уж совсем из ума выжил, катился под горку, меньше жены соображал, тут он с ней не согласен, однако промолчит: пусть думает, что так.

Банька в огороде, ладно, покуда постоит, она есть не просит. Наталья права: в городскую каждый раз не походишь, сама помоется и детей искупает, постирает в оставшейся воде... А если маленький родится? Откуда у них родится? А вот взял и через год родился, только женского пола — Динка...

С тех пор уж сколько времени прошло, дочь выросла, а баня развалилась. Теперь и Наталья ходила в городскую, больше не жаловалась на злые языки — привыкла. А он и подавно не печалился, наоборот, ему только облегчение — свою баню не топить, всего-то и трудов что каждую пятницу брал под мышку дубовый веничек, бельишко и ковьяла вдоль ручья по тропке к красным стенам бани, от которой за версту несло парным духом и мыльной водой.

А благоустройством улиц кто заниматься будет? Когда начнут? В баню как идешь, так обязательно в грязь влезешь хоть в сухую погоду, хоть в мокрую — лужа перед мостом все лето стоит, не высыхает. И по другим улицам весной вода местами так разливается, что на лодке можно плавать. На Центральной только и был булыжник, уложенный еще до царя Гороха, да и тот давно занесло песком. Чем как не булыжником горсовет и решил залатать лужу перед баней. Взались за это дело два неразлучных шабашника Семен Стрекун и Андриан Ярыгин. Начали они с весны и проползали на коленках по песку до глубокой осени, выложили булыжником лишь третью часть улицы в перерывах между частыми перекурами в ресторане-столовой за круж-

кой пива. И зачем было укладывать этот булыжник? Мороки вон сколько, а пользы... Машина проехала, вмяла в песок — снова выбоина на выбоине, не езда по такой дороге, а трясучка. И деньги какие, дешевле было бы асфальтом залить. Но где его взять? Кто им зальет? Сколько разговоров было о шоссейной дороге, которую давно тянули откуда-то издалека через их область, вот-вот, обещали, доберутся и до них, но проскочили мимо города в каких-то полутора километрах от него, рассекли лес прямой, как стрела, просекой, а город остался в стороне неасфальтированным. Ну, большой трассе в наше время и ни к чему, положим, пролегать через городские улицы: быстро машины их закоптят. А как же быть? Так и дальше по песку ходить, на грязные лужи смотреть? Правда, лужи пробовали засыпать — привезут два-три самосвала глины, скинут — и все, лужу или надвое разделят, или она отодвинется на двор-два к краю улицы. Взять бы да сразу побольше привезти, кюветы прорыть, на это, видите ли, денег нет. Булыжник в песок зарывать можно, по двадцать раз с места на место перекаладывать — эти двести метров улицы уже золотыми стали. Не послушали его совета — подождать с булыжником, чтобы двойную работу не делать, если асфальтом придется заливать.

Он как в воду глядел: не прошло и года, приехал из района представитель с папкой под мышкой, предложил — не хотите ли у себя асфальтовый завод построить? у нас там с местом жидковато, а у вас тут вон какие просторы. Ну и что, мол, с того, что коптит будет? Какой вы видели завод без копоти? А это асфальтовый, ему сам бог велел коптить. Райцентру асфальт нужен. Согласитесь — и вам выделим. Ну и задымила на окраине черная труба, такая черная, что глянуть страшно. Представитель сдержал свое слово — стали помаленьку и в их городе сначала асфальтировать центр, потом другие улицы, какие поглавнее, укатали мост, дорогу к бане, дотянули до дома мэра города и остановились. Семен Стрекун и Андриан Ярыгин еще здорово попотели, пока извлекли из песка весь булыжник обратно...

Город сразу преобразился — не узнать. Даже ходить легче стало, таскать за собой ногу. Нет, не ошибся он, Карп Иванович, и тут, оправдались его надежды. Послушали бы раньше, давно бы все другому было: в любое время сел на автобус, раз — и в райцентре, столице района. И автобусы перестали ломаться — ходят теперь точно по расписанию, минута в минуту. И с областью автобусное движение наладили, стали и к ним «икаруссы» заходить, брать пассажиров — совсем другая жизнь.

И хлынула в город деревня. Уж чего она хлынула, говорили и писали об этом еще вон когда, тут у них только начинали школу механизации строить. Но тогда если кто и уезжал из колхоза, то молодые, одиночки, после школы или армии. И не к ним сюда, в это захолустье, а в города покрупнее, в ту же самую Москву. Чего они тут не видели? Что этот город, что деревня — считай, никакой разницы. Одно название — город. Из него молодежь ничуть не меньше бежала, чем из села. Все, кто ни кончал школу, старались в институт поступить — высшее образование получить. Сейчас-то не каждого и в институт загопишь. А в то время — лишь бы в какой-нибудь. Если не поступит, то вrede и не человек.

Теперь-то и институтов побольше и моды такой нет, чтобы все поголовно в инженеры рвались, но назад редко кто вернется. Нечего им тут делать — одна эта мебельная фабрика, два-три учреждения, — все места давно заняты. Вот до сих пор и выбрасывает их городишко молодежь порцию за порцией — его Гриня и Вася вот так же уехали и не вернулись домой.

А насчет все той же деревни... Сейчас целыми семьями повалили. И куда бы, вы думали? Сюда, в их городишко. В большом городе попробуй с семьей устройся. Холостякам, говорят, еще кой-куда, как удастся, а семейным... А тут вот у них поселяйся свободно, прописка

всегда тебе будет без всякой задержки. Кто готовый дом купил, кто заново построился. Городишко за последние пять — десять лет разросся во все стороны, народ в центре снует один за другим, в магазинах очереди, все больше незнакомых лиц... И сразу запросы возросли. Банк решили-таки восстановить, двухэтажный универмаг отгрохали наполовину из стекла, а старый под хозмаг и культтовары отдали. Тут и до комбината очередь дошла — Фаинину забегаловку бульдозером сдвинули, прирезали еще кусок от хозяйских огородов — и теперь вот зажил по-человечески и он, Карп Иванович. Нет, не зря он болел за свой город, столько ждал и надеялся — все шло и идет к лучшему...

Разговор с Ефимом все никак не клеился, и Карп Иванович очень обрадовался, когда в мастерскую неслышно скользнул дядя Сеня, совсем сплывшийся от худобы, с головой дятла, только без оперенья, с зеркально-чистым черепом — у него даже на висках волосы начисто вылиняли, отчего, казалось, уши были сильно оттопырены, а нос удлинен до карикатурных размеров. Нет, дядя Сеня не вызывал никакого отвращения, наоборот, при первом же взгляде на него невозможно было удержаться от улыбки, так и хотелось подшутить над ним. Говорят, ему уже лет восемьдесят, но почему-то все до сих пор звали его дядей Сеней. Если в самом деле он такой долгожитель, то должен хорошо помнить революцию — все, что тогда было не только здесь, по всей стране, что-то мог слышать, а что-то прочитать в газетах того времени и уж, конечно, участвовать и сам в каких-нибудь событиях. Недавно распространился слух, что дядя Сеня видел даже самого Ленина живого, и многим родившимся и выросшим уже после смерти Ленина это до жути было любопытно. Дядей Сеней заинтересовалась районная газета, когда потребовалось дать ко дню рождения Ленина юбилейный материал. Действительно, уж немного осталось на земле участников революции, тем более таких людей, кто видел Ленина. Но, как выяснилось при расспросе, дядя Сеня только прошел по улице Питера в колонне красноармейцев, приветствовавших вождя, сам-то так толком и не рассмотрел его через головы и лес вскинутых вверх рук. Он смущался и краснел, что не мог дать больше никаких живых показаний о Ленине, не имел о нем даже тех книжных знаний, которыми поражал не только молодой корреспондент районной газеты, но и все, кто просил поделиться своим впечатлением от встречи с великим человеком.

И дядю Сеню оставили в покое: вся его остальная жизнь уже была малоинтересной, так как прошла здесь, в этом городке, у всех на виду. Разве кто-нибудь из вновь переселившихся сюда из деревни не знал, что он весь век проработал на мебельной фабрике у столярного верстака, уже давно был на пенсии — пережил свою бабку на пятнадцать лет, оставшись один с дочерью Адой, которая много раз вышла замуж, но так ни с одним мужем не сошлась характером, жила теперь у отца и, как поговаривали в городе, всячески притесняла старика, присваивала всю его пенсию, совсем не заботилась о нем — отказывалась стирать и варить, пыталась даже выжить из собственного дома. И когда построили городскую баню, дядя Сеня оказался самой подходящей кандидатурой на место банщика.

Он начинал хлопотать над баней с пятницы с самого утра, чтобы к двум-трем часам уже все было готово, и заканчивал в воскресенье поздно вечером, после того как помоются все женщины. За эти трое суток он доходил совсем, в чем только душа держалась: попробуй-ка нагрей столько воды, никаких дров не напасешься, раскочегарь печку, накали камни докрасна, чтобы пару на всех хватило. А любителей попариться тут до черта, кто первым придет — тому весь пар, а кто загоднится — тому один пшик; понимающий промолчит, но есть и такие, что прямо скажут: плохо ты баню протопил. Как ее ни топи, столько часов простоит, что и был дух — весь выйдет. Добавлять па-

ру — подчочегаривать печку, когда уже приходит в баню народ, — некогда: тут успевай только закрывать и открывать шкафчики с одеждой, снабжать парильщиков вениками — кто со своим придет, а кто с пустыми руками, разные бывают люди, один не поленится, с десяток веников заготовит себе на зиму, другой прозевает, не удосужится за лето, хоть и лес вот он, рядом. Сунет гривенник, а дядя Сеня ему веничек из своих запасов, свеженький, шайкой каждого снабдит, подмокшие обрывки газет приберет с деревянных решеток для ног — так голышом до позднего часа и крутится, снует из раздевалки в парную, из парной в раздевалку. Сейчас без дяди Сени и представить даже баню невозможно.

Когда банщик показался в дверях мастерской, Карп Иванович отложил работу в сторону и, заводя по кругу негнущуюся ногу, развернулся на чурбачке к такому неожиданному гостю не в силах удержаться от улыбки при первом же взгляде на его птичью голову. Уже приготовил шутливое словцо, но вспомнив, что смеяться над физическими недостатками людей нехорошо, дружелюбно спросил:

— Чего ты ходишь? А баню кто топить будет?

— Сегодня Ада топит...

— Ада тебе натопит, будешь зубами лязгать. — Карп Иванович сразу погасил улыбку, кивнул на торчавший из хозяйственной сумки дубовый веник. — Хотел сегодня хорошенько пропариться, а ты свою Аду приставил.

— Да я сам пригляжу. Она, только пока я вот... — Дядя Сеня выдвинул из-под мышки сверток.

— Вы что, уже помирились? — косясь на его сверток, спросил Карп Иванович.

— Сегодня помирились, завтра опять... Ее какая блоха укусит. Что говориты!

— Что ж ты ее так распустил? Взял бы да отпорол ремнем, — посоветовал Карп Иванович, хотя, конечно, понимал, что воспитывать Аду таким способом уже поздно, гляди, чтобы по дяде Сене тот ремень не походил. — И как вы вместе живете?

— А вот так и живем, как кот с собакой, — наскоро отозвался дядя Сеня, торопливо развернул сверток, но не удержал его в грубых пальцах, уронил на пол сначала один ботинок, затем другой, хотел подхватить на лету, но не успел, несмотря, казалось бы, на свою ловкость, с какой он делал все, когда обслуживал в бане, — что-то она на этот раз подвела его — и, сконфузившись, копотливо стал подбирать ботинки с пола. — Погляди, может, что придумаешь.

Он аккуратно сложил бумагу, оставшуюся от завертки, как привык соблюдать чистоту в бане, сунул в карман и теперь не сводил взгляда с рук Карпа Ивановича, в которых тот держал его ботинки, прикидывая, какого ремонта они потребуют: дядя Сеня редко сдавал обувь в починку, ковырялся дома в ней сам; если и приносил в мастерскую, то уже в таком состоянии, что вернуть ее к жизни мог только он, Карп Иванович, и то при немалом усердии, дарованном ему природой и развитом до верхнего предела многолетней практикой, при постоянном нажиме на самого себя, наперекор внутренним, взывавшим к умеренности, а то и к лени силам, то есть через «не хочу».

— Осень вот пришла. — Дядя Сеня кивнул в окно на сиротливо-голый скверик, вытоптаннные, замерзшие клумбы. — Захватила меня врасплох, — добавил он, словно извиняясь за то, что принес слишком худую обувь, не нашел ничего лучше.

— Пора бы уж тебе того... новые купить, — мягко, стараясь не обидеть, проговорил Карп Иванович, закончив осмотр ботинок. — Не можешь, что ль, с пенсии?.. Или дочка опять к рукам прибрала?

— Что говориты! — охотно крутнул в подтверждение такого фак-

та дядя Сеня птичьей головой.— Вот вырастил стерву ж, никто ей не угодит. И за что меня бог наказал? Работать не хочет, куда ни устроится — все ей плохие, больше месяца не держится. Была бы сама хорошая!

— Да я б ее, такую тунеядку... — в сочувственном порыве снова было горячо замахнулся Карп Иванович, но еще раз поймал себя на бесполезности своего негодования: если уж родной отец с ней справиться не может, всю жизнь воет, то что говорить о нем, постороннем человеке? Но все же пожурил: — Ну ты тоже... Совсем уж ей поддался. У меня она вот бы получила,— Карп Иванович показал здровенный кукиш,— а не денег! Ни копейки б не дал! Посидела бы у меня голодная, быстро б образумилась! Сама б побежала работу искать. Я научил бы ее, как с отцом обращаться!

— Да где! — разводил руками дядя Сеня.— Она такая кобыла, твои еще заберет последние...

— Ну а за баню ты ж получаешь? — подсказал Карп Иванович из сильного желания найти для дяди Сени хоть какой-нибудь выход.— Не можешь пятнадцать рублей на ботинки выкроить?

— Иди сейчас купи за пятнадцать.

— Да я тебе за червонец такие выдам — за десять лет неносишь! Для тебя, так уж и быть, постараюсь.

— Ты мне хотя бы эти починил на первый случай.— Дядя Сеня опустил взгляд к косолапо поставленным ногам в старых валенках.— Говорю: вот осень жажнула как из-за угла. Валенки до снега шоркаю...

Карп Иванович кинул ботинки дяди Сени возле себя на пол, сразу отделив их от остальной обуви, глянул на молчавшего все это время Ефима, как бы гордясь тем, что в самых трудных случаях люди шли все же к нему, Карпу Ивановичу, а не к Ефиму, просили выручить, и он готов был всегда помочь в их нужде — пожертвовать даже своим выходным, который ему давало государство для полноценного отдыха, чтобы он мог восстановить истраченные на работе физические и духовные силы. Но ему было приятно идти на эти жертвы ради других, сознавать свою необходимость, кровную связь с людьми, чего, как он давно убедился, нет у Ефима, и мало кто его о чем просил, разве только тот, кто не знал, что он за человек, да и то до первого раза.

Но Карп Иванович не подал и виду, что подумал так о своем напарнике, наоборот, чтобы скрыть эти мысли, перевел взгляд на дядю Сению и с дружеским подмигом сказал:

— Сегодня уж не успею: мороки с ними много. Домой на выходной прихвачу. Завтра к вечеру загляни. Лады?

Дядя Сеня напряг шею, как делает дятел, стараясь вытащить клювом из шишки застрявшее семя, посмотрел на Карпа Ивановича, словно бы решаясь на что-то для себя главное.

— А как это,— он показал на ботинки,— оформить?

— Ну, будем мы тут... Я ж тебе обещаю дома, не за счет рабочего времени.

— И сколько с меня?

— Нисколько.

Дядя Сеня смутился, и Карпу Ивановичу опять стало приятно, что так подействовал его ответ, как, между прочим, всегда действовало на людей пришедшее к ним в трудную минуту на помощь его беспокойствие.

— А все-таки? — больше теперь из приличия, чем из отказа от бесплатных услуг Карпа Ивановича спросил дядя Сеня.

— Говорю: нисколько. Я тебе за так сделаю. Буду я с тебя эти копейки...— явно принизив свою работу, ответил Карп Иванович.—

Ты лучше там сегодня баньку подшуруй как следует, парку подсобери побольше. Вишь, день-то какой стылый, холода-то сразу как нас прижали, землю за одну ночь схватило, аж гудит. Прогреться не мешало б парком-то,— он опять кивнул на хозяйственную сумку с чистым бельем и дубовым веником,— полечиться, чтоб грипп не пристал.

— От гриппа не этим лечатся,— готовый теперь угодить ему и сам как бы воспрянув от такой мысли, проговорил дядя Сеня.— Взять да после баньки сто грамм беленькой...

— От беленькой еще, глядишь, и в вытрезвитель попадешь,— лукаво улынулся Карп Иванович: мол, уж кто-кто, а дядя Сеня его знает.— Ты там хоть бы пивка приберег.

— Привезли вчера бочкового.

— Этот... как его? Опять «Колос»?

— Он самый... Из Гомеля.

— Вот был бы у нас свой пивзавод! — как о чем-то несбыточном помечтал Карп Иванович. Он все допускал, что могло ожидать в будущем их городок любое новшество, какое угодно строительство, но только не пивного завода. Пивные заводы, как известно, строились и будут строиться в первую очередь по большим городам, где скопление народа, уже одним этим те, кто живет там, заслуживали свежее, на каждый день, пиво, а им тут, вдали от крупных промышленных и культурных центров, придется и дальше довольствоваться привозным, еще не одному поколению. И если все же ему пришла в голову такая мысль, то не потому, что большой любитель пива, нет, ему своих мужиков жалко.— Хорошо хоть Белоруссия нас снабжает.

— Жигалов старается,— охотно поддержал дядя Сеня, обрадовавшись, что разговор перескочил на другую тему.— Если б не он, то и этого бы не было.

— И супруга у него хорошая,— подхватил Карп Иванович, вспомнив симпатичную, казалось, не старевшую с годами учительницу математики, у которой училась Динка, Елену Титовну, жену председателя горпищеторга.— Кто у нее школу кончает, все на пятерки математику в институт сдают. Динка моя тоже лучше всех в классе учится, на одни пятерки... Только он, Жигалов, говорят, зашибать сильно стал, правда аль нет? Чего ему частить?

— У него работа такая. Он и раньше не отказывался, это ты не замечал. Он если и выпьет, по нем не узнаешь. Всю жизнь там работает, и все жена говорила — не пьет. Потому что он не так, как мы,— умеет.

— Да! Ты на базаре-то давно был? — вдруг вспомнил Карп Иванович.

— А что? — насторожился дядя Сеня.

— Вытрезвитель там не открыли?

На дядю Сеню нашла еще большая оторопь: при чем тут вытрезвитель? Как будто только для Жигалова и строили, чтобы не спивался, все того и ждут, чтобы скорее туда его водворить. И дядя Сеня ответил:

— Не знаю...

— Что же ты вот так живешь, ничего не знаешь? — Карп Иванович добродушно оглядел дядю Сеню, собираясь уже подтрусить над его смешной внешностью, но в последнюю секунду опять пожалел.— Надо знать, все знать, где что делается, от и до. Но откуда ты будешь знать, если ничем не интересуешься? Надо во все вникать, жить шире, а ты даже на базар не ходишь.

— Чего я не хожу? Хожу,— покаянно проговорил дядя Сеня, не догадываясь, к чему клонит Карп Иванович.

— Ходишь, а говоришь: не знаю. Значит, так ты ходишь, что ничего перед собой не видишь. На базаре был, а когда откроют вытрезвитель, не удосужился спросить.

— А на что он мне? Жил без него...

— И ты, как Ефим, рассуждаешь? — Карп Иванович кивнул на своего напарника, давно хмурившегося от ихнего разговора.

Дядя Сеня, точно пойманный в ловушку, оглянулся на дверь.

— Так оно-то пользы мне от того вытрезвителя...

— Меньше всяких по улицам будет шляться. Набрался, так сиди дома, не высовывайся. А то заложат сюда, — Карп Иванович изобразил нечто относящееся к выпивке, — и на улицу, так и ищут на свою голову приключений. Теперь кто и вышьет, подумает. Поду-у-мает!

Под строгим взглядом Карпа Ивановича дядя Сеня закрутил головой, точно ему тесен стал воротничок, попятился к двери.

— Куда спешишь? — как бы с сожалением, что лишался такого сговорчивого собеседника, спросил Карп Иванович. — Вот ты восемьдесят годов прожил, много чего перевидал, набрался ума. Вот ты скажи мне, чтобы вот он слышал, — Карп Иванович показал на Ефима, — если нашего брата за это дело... Ну, известно, кто не любит выпить? Ну так если нас сейчас не поприжать — что получится? Ты можешь мне сказать? Что будет, если мы так и дальше?.. Ну, я обо всех не говорю, в общем-то, наш народ здоровый, всех на один аршин мерить нельзя. Однако есть же и такие, что только дай. Как с ними, скажешь, поступать? Значит, там, вверху, думают, раз крутые меры принимают. Иначе нельзя. Вот ответь мне, если ты с головой, докажи, что я не прав.

— Ада уйдет там куда... — уклонился дядя Сеня, норовя вскользнуть в дверь. — И так с баней еще делов куча.

— Ну ладно, иди топи баньку, да получше, — великодушно решил Карп Иванович. — Сегодня я к тебе первым заявлюсь. А насчет обуток своих не волнуйся — все будет как договорились, не подведу.

Дядя Сеня ушел, а Карп Иванович вернулся к туфлям Фаины. И задала же ему Фаина работки! Он прокопался над ее туфлями до самого обеда. Ефим, хмуро глянув на него, отправился обедать домой. В столовую он старался не ходить — сэкономил, ибо жил не так далеко, за час успевал сходить пешком туда и обратно. Да и жена ему на столовую не давала, приказывала, чтобы обедал дома; дескать, для чего она варит? Для того чтобы борщ прокисал? Он рубль в столовую относил. Десять рублей по-старому проешь и голодным выйдешь. Лучше она на эти деньги чего-нибудь в магазине купит — дешевле обойдется.

На обед Карп Иванович решил сегодня не ходить: домой далеко-далеко было, а на столовскую пищу его и раньше не тянуло. Лучше он уйдет с работы на час раньше, чтобы попасть в баню в первый заход, не стоять в очереди.

Он видел, как мимо окна прошли на обед главбух быткомбината Екатерина Кондратьевна, кассирша Аня Малашкина и экономист Валерия Довжикова, присланная недавно из области. Екатерина Кондратьевна оглянулась на окно, и Карп Иванович вспомнил, что задолжал ей профсоюзные взносы. Как-то вылетело из головы... Он и сам не любил затягивать — всегда платил вовремя, в день получки, тут же прямо от кассы направлялся к ней, расплачивался со всеми долгами. Старался не замечать ее опухшего лица, синяков под глазами, так неловко ему было даже вскользь глянуть на такую красавицу... Знал он ее жизнь золотую, не проходило и дня, чтобы не заработала от мужа. Хорошая женщина, а вот муж ей достался непутевый — Гордей, только и слышно было: Гордей то натворил, Гордей там набедокурил, вчера подрался, сегодня напился — на весь город слыл своим несносным характером. Все боялись и обходили его за три версты, угрожали милицией, а он еще больше куражился, отчубучивал порой такое, что диву давались, ходил по центру с гордым вызовом — Гордей и есть

Гордей, само имя уже говорило. «Вон Гордей пошел! — с настороженным любопытством издали, через улицу, чтобы не заметил, указывали на него как на какую-то знаменитость.— Опять свою Катю погонял!» И вот терпит же его, не разводится. Были бы дети, другое дело, а то бог, видно, за что-то наказал их обоих, столько вместе живут, лет уж десять — и ни одного, не дал им ребят. Распространился слух, что они уже решили взять из детдома мальчика, кто говорил — мальчика, кто — девочку, мол, Гордей настаивал на мальчике, а Екатерина Кондратьевна на девочке. Из-за этого якобы у них и пошла грызня, но так друг другу и не уступили, остались без детей, жили теперь в разладе, и разладу этому не видно конца.

А чего тут не поделить? Брали бы сразу двоих, и мальчика и девочку, чтобы без обиды было. Или двоих не хотят? Не прокормят? Вдвоем работают, у нее сотни полторы в месяц, да он, Гордей, раза в два больше заколачивает плотником на мебельной фабрике, еще калымит — с топором ходит в паре с таким же калымщиком, как и сам, Кирьяном Ситниковым, кому дом срубят, кому какой ремонт дадут. Плотник из Кирьяна не ахти какой, был у Гордея, как он сам говорил, на подхвате, а Гордей, несмотря на свой дурной характер, умелец тот еще — только позови. И уж работал он за десятерых, даже водку на это время бросал пить. Вот за такую хватку в работе он, Карп Иванович, и уважал его. А за все остальное... Ну, насчет там мальчика или девочки, двоих или одного растить — тут дело хозяйское. Пусть сами разбираются.

Карп Иванович отвернулся от окна, когда Екатерина Кондратьевна повернула домой, а кассирша Аня с Валерией стали переходить улицу к ресторану-столовой. Обе были еще холостячки, гнались за модой — всю зарплату тратили на тряпки, на черную тушь для ресниц, на тени, разные там духи и помаду. Попробуй это все тут у нас достань, где хошь возьми. Что с рук купишь, что кому закажешь из Москвы привезти — за все переплачивать приходится. Женщине много чего надо, другая каждый день наряды меняет, раз-два наденет — и подавай ей новое. Что так стареет, снашивается. И на все нужны деньги. На одни капроновые чулки девчата не справляются зарабатывать: три рубля заплатит, затяжку нечаянно сделает — и выбрасывай. На одну неделю не хватает. А сапоги, пальто с песцом, шапку, чтоб тоже из песка, — не пересчитать.

У него вот одна дочь Динка, еще в школе учится, но сколько с родителей тянет! Не хочет от других отставать. Нынче молодежь и тут, в глубинке, красиво обуться-одеться старается, не хуже выглядят, чем в больших городах. У нее уже другие запросы. А удовлетворять надо, на прошлое не сошлешься, не скажешь: «Мы раньше в лаптях ходили». На это тебе так ответят, что в носу засвербит.

Ане Малашкиной полегче: у родителей живет, с нее отец, мать зарплаты и не спрашивают, хотя бы на себя заработала, а то еще и у них просит — мало. И подбрасывают. Куда денешься? А Валерии одной тут туговато приходится — ей-то помогать некому, что зарабатывает, то и ее. С одной получки и одевается и обувается, еще и за квартиру платит. В столовую только обедать ходит и то берет половинку первого, на второе — один гарнир. Хочет кого-то убедить: мол, чтоб не испортить фигуру... С чего тут располнеешь? Нормальному мужику ее обед — это так, как проглотить собаке муху. И Аня иногда с ней на пару в столовой обедает, когда поленится домой сходить, как вот сегодня. Нашла себе подругу!

Он, Карп Иванович, их и после работы часто вместе видит — приходят в кино или спешат в Дом культуры на танцы. Их дело молодое: отработал — и гуляй, бегай на свиданку. Аня Малашкина, та уже давно со своим Аликом Львовским, сыном лесничего, встречается, с самой школы, да, видно, у них толку не будет, пора бы уж им поже-

ниться; но отец Алика против: шибко уж невеста неподходящая — ветреная, школу кончила, кассиром в быткомбинат устроилась и больше ничего знать не хочет, бегаёт в кино да на танцы. Алик тоже хорош: отслужил в армии два года, та все его ждала, уже год слоняется по улицам, в институт после армии не попал и так работать не заставишь. Раскатывает по городу на «Яве», купленной на отцовские денежки. Поговаривают, что он уже на Валерию метит. Как только та приехала, увидел ее, сразу было к новенькой от Ани повернул — эта лучше показалась: и красивее и образование высшее. Но Валерия на него раз фыркнула, и он слинял. Назло ему Аню под руку, словно они подружки неразлучные всю жизнь с ней были, и ходят теперь вместе куда хотят, и та и другая на него ноль внимания. Словом, и Аня сделала вид, что от него полностью отвернулась, — проучить решила, чтоб знал, как изменять. Алик теперь ищет, как к ней подойти, оправдаться, но она его и слушать не желает. Поиздевается над ним всласть, да и опять сойдутся до поры — он ее на «Яве» раскатывать будет по городу, как и раньше, ничего нового они не придумают.

Так незаметно обеденный перерыв и проскочил. Уже вернулись из ресторана-столовой Аня с Валерией, стуча по деревянному полу каблуками-шпильками, прошли по коридору в бухгалтерию. Немного с опозданием, торопясь, показалась в окне Екатерина Кондратьевна, тоже простучала каблуками мимо мастерской в конец коридора — туда же, куда Аня с Валерией. Позже всех пришел с обеда Ефим, с задержкой минут на сорок. Хмуро уселся на свой чурбачок, полез за куревом. Еще минут десять дымил, ничего не делая, потом зло обронил:

— Ну стерва! Будет у меня помнить!

— Ты чего? — наскучавшись в одиночестве, живо отозвался Карп Иванович.

— Да теща эта... Все под меня подкапывается. Моя благоверная сегодня на обед не пришла — в район с отчетом уехала, как будто больше некому было в банке, а эта змея подколодная поленилась с дивана встать, обед зятю подать. Бери, мол, сам, наливай что сварено и ешь. Ну я ей и влил!

— Ты так и не пообедал?

— Зашел вот сейчас в ресторан-столовую. — Ефим, качнув головой, глянул покрасневшими глазами, выдохнул молодой, еще не переваренный запах вина.

Только теперь Карп Иванович заметил в его движениях хмельную готовность на безответственные поступки. Известный трюк: лишь бы раньше времени уйти с работы — сорваться. Дома поссорится, а работа виновата. Он не может ничего делать — все у него из рук валится. Уже не раз так было — вставал и уходил. Известно куда — через улицу в ресторан-столовую. У него, видите ли, неполадки в семье, жизнь пропащая, он пьет с горя.

— Долго я терпел, а сегодня... Сама напросилась! Я ей еще не то устрою!..

Побранив тещу, Ефим без всякого перехода попросил:

— Одолжи пару рублей.

Карп Иванович помедлил, вспомнив о своем тройке, который Наталья дала ему на баню — на билет и кружку пива, мельче не нашлось, сдачу, мол, принесешь, в денежном вопросе у них было полное доверие. Только покажи сейчас Ефиму эти три рубля — не отстанет, давай, скажет, разменяю, тут же сбегает в магазин, еще, глядишь, и не вернется. Потом ищи-свищи его... От него можно ожидать и такое. С чем тогда он, Карп Иванович, в баню пойдет? И профсоюзные взносы нечем будет заплатить.

— Моя благоверная ушла и рубля дома не оставила, — гибельным тоном пояснил Ефим. — А теща, помирать будешь, копейки не даст.

Карп Иванович кивнул на круглую банку из-под монпансье, где лежала мелочь — плата за мелкий ремонт.

Ефим оценил взглядом, достаточно ли будет ему этой мелочи, и, решив, видимо, что маловато, кисло поморщился, однако выгреб ее из банки всю до монеты и сунул в карман.

— Передай Фаине, пусть придет свои туфли заберет! — крикнул Карп Иванович, когда Ефим уже вышел в коридор.

Он все же проследил в окно, куда тот завернет. Конечно, туда — в ресторан-столовую. И сомневаться не стоило. Пошел Ефим по накатанной дорожке. Дай — плохо, и не дай — плохо: рассердится, все равно у другого перехватит рублевку. Ну да на эту мелочь сильно не разгуляется.

Карп Иванович с облегчением было взялся за работу, как в коридоре послышался бойкий стук женских каблуков — так могла ходить только молодая особа: пожилая женщина не разгонится с весом под сто килограммов. А это пигалица, не успела и опериться. У кого еще так может кровь играть? Кому дома не сидится? Всем молодым да незамужним. Все-то им времени не хватает — спешат, аж спотыкаются.

Вот стук каблуков стих у входа в мастерскую, сейчас она ворвется сюда, накинется на него, попробуй отбейся. У нее все права, а у тебя одни обязанности; она может кричать и требовать, а ты ей слова не скажи — грубишь; она на высоте, а ты ниже уже только потому, что посажен на этот чурбачок ее обслуживать.

И Карп Иванович расслабленно улыбнулся, когда в дверь робко, с пылающим румянцем на щеках, вся из осеннего холода, обвеянная морозным ветром, заглянула дочь Килимова Ленка. Заглянула и немигающим взглядом уставилась на него. И ей не холодно в такой шапочке? Насквозь светится. Повьшустила кудряшки до самых глаз, хочет, чтоб согрели. Или нынче мода пошла такая — волосы распускать? Другая закроет все плечи... Думает, красиво. Крепче хлопцы любить будут. Для кого еще прихорашиваться? Эта мода до добра не доведет. И куда родители смотрят?

— Ну проходи, — душевно пригласил Карп Иванович растерявшуюся девушку. — Погрейся... Только дверь закрывай, чтоб тепло не выходило.

Глянул на ее ноги и ахнул. Да она в летних туфельках! И как ее в такой обуви из дому выпустили?!

— У тебя не во что больше обуться? — спросил он строго. — Других сапог нет?

— Есть, — ответила девушка. — Но они старые.

— Что, так уж сильно старые? Нельзя починить?

— У них замок сломался.

— И ты их уже выбросила?

Девушка молчала — ясное дело: выбросила.

— Что ж ты так? — пожурил Карп Иванович, поворачиваясь к ней всем телом. — Не ценишь? Продукт труда... Люди на них силы затратили, время...

— Эти сапоги государство окупило, — сразу осмелев, возразила девушка. — Я за них деньги платила.

— Государство-то окупило. А чьи ты деньги платила? Сама заработала?

Девушка осеклась — не сама. Куда ей еще до собственного заработка! Она училась в школе вместе с его дочерью — заканчивала десять классов, а там еще неизвестно, что из нее получится, так же как и из Динки. Покуда дождешься от них помощи... Наоборот, одни только расходы, не успеваешь наряды справлять. А слушаешь их разговоры, когда приходили к Динке ее подружки пластинки покрутить — и дочь Килимова приходила, Динка была такой артельной дев-

кой, всех к себе водила,— так вот послушаешь, что они говорят, смешно становится. Нет у них еще ничего в голове.

И Карп Иванович с укоризной заметил:

— Тебе родительских денег не жалко. Вот когда заработаешь сама, за свои кровные купишь, погляжу я, как ты станешь такие сапоги выбрасывать. Всю жизнь тебя папа с мамой одевать да обувать не будут. Кормить вас...

Он замолчал, чтобы не показаться старым ворчуном: сам таких не любил, кто молодежь во всем упрекал, говорил, что сейчас она хуже, испортилась, ставил в пример свое поколение. И все-таки он мог бы кой-чему и поучить, свою ли дочь или чужую, для него не безразлично, какой она вырастет, чья бы ни была. Видать, отец балует ее, с мальчиками ходить не разрешает, насчет этого дела очень строг, а вот тут дал слабину, попустительствует.

Но видя, что слова его, кажется, дошли до цели: девушка смутилась, опустила голову,— Карп Иванович, не вставая с чурбачка, повернулся к сапогам со шпорками, поднял их за голенища, подержал на вытянутой руке, как бы убеждаясь, ее ли, прицокнул языком.

— Твои?

— Мои.

— Бери, носи на здоровье. Только поаккуратнее, не занашивай. Чуть каблучки собьешь, приноси, я опять поправлю. Так тебе надолго хватит.

— Спасибо,— обрадовалась девушка не столько сапогам, сколько тому, что могла теперь уйти — избавиться от наставлений.

— Постой!

Она остановилась.

— Переобуйся, потом иди.— Карп Иванович кивнул на чурбачок Ефима.— Сядь вот...

Девушка колебалась.

— Давай-давай! Я тебя отсюда не выпущу, пока ты не переобуешься. Садись, скидай свои туфельки, на меня не гляди. У меня тут вот без тебя делов полно.— Он отвернулся к куче обуви, принялся копаться в ней.

Когда девушка переобулась и встала с чурбачка, Карп Иванович придирчиво оглядел ее: ну вылитая Динка, такая же рослая и стройная — и куда они растут?— похвалил:

— Ну вот, так верней будет! А то еще, чего доброго, хворь какую подхватишь, школу пропустишь...

Тут он хотел было спросить, как дела у отца, скоро ли вытрезвитель откроет, но воздержался от такого вопроса: мала еще, ребенок. И когда девушка под его строгим взглядом снова шагнула к двери, проговорил:

— А те сапоги найди и принеси мне. Экая сложность — замок! Замок можно и починить. Я тебе так сделаю, что они еще эти, новые, переживут. Будешь попеременно носить. Для родителей меньше расходов.

— Спасибо.— И девушка поспешила выйти.

Карп Иванович сдвинул рукав рабочей куртки из черной ткани в рубчик — очень практичная, не так пачкается,— глянул на часы. Вот день и пролетел — без четверти пять. Чего-то Фаина не идет за туфлями, наверно, Ефим не передал ей, что уже готовы,— загулял.

Он повздыхал, завернул туфли буфетчицы в обрывок газеты, прихватил хозяйственную сумку с баннным веником и, закрыв мастерскую на ключ, направился в бухгалтерию. Легонько толкнул дверь плечом, перенес большую ногу через порог, сразу попал взглядом на кассиршу Аню. Как войдешь, так на нее первую и натыкаешься.

Аня, насторожив глаза, задержала слизанный кончик помадыazole растянутых губ, но увидев Карпа Ивановича, продолжала как ни в чем не бывало наводить красоту. **Молодая, а уже научилась, при нем,**

значит, на работе можно, а при ком-то нельзя. Постыдилась бы! С пяти часов уже начинала мазюкаться: делать ей, конечно, особенно нечего, только и посуетится в день полочки да аванса, потом опять у нее прохладная жизнь

Карп Иванович скользнул взглядом по Валерии — к ней он еще не привык, его сдерживали ее скромные, нездешних фасонов наряды, то, что она была приезжей, жила тут одна, без родителей, чужая для всех. Вот так же скоро и его Динка уедет из дома, станет жить среди незнакомых людей, некому будет ни приласкать, ни пожалеть ее.

И он поспешил уставить на Екатерину Кондратьевну, которая сидела посреди бухгалтерии, за большим столом, лицом к двери, так, чтобы могла сразу видеть каждого, кто входил к ним. И стоило двери скрипнуть, как она поднимала голову. Если показывался кто-нибудь из своих или обычных посетителей, безразлично опять утыкалась в бумаги, если же входил кто из начальства, тут же давала знать девочкам — Ане и Валерии, а сама первой расплывалась в такой улыбке, что просто было неудобно. За это он, Карп Иванович, тайно не любил ее, сразу вспоминал, как плохо она жила с мужем — всю подоплеку их семейного разлада, знать, недаром Гордей гонял ее, пускался в загул, было отчего.

— Здравствуйте, женщины,— никому не отдавая предпочтения, поздоровался Карп Иванович: мол, он ко всем с одинаковым расположением как бы к труженицам самого нужного всем фронта — начислять зарплату, хотя, конечно, он знал, что их дело не ограничивалось только этим, и, честно признаться, сочувствовал им, изо дня в день всю жизнь копавшимся в цифрах, когда бы ни вошел к ним, занятый одним и тем же, подбивавшим дебет с кредитом, то, что лично для него оставалось непостижимой тайной, запутанным и сложным делом, к которому вот он не был способен и вряд ли когда-нибудь смог бы одолеть эту науку. Невольно сравнивал со своей работой, лишней раз убеждаясь, что лучше и проще ее ничего на свете нет.

Кассирша Аня на его приветствие даже глазом не повела, Валерия только поглядела издали, зато Екатерина Кондратьевна отозвалась с открытым радушием, точно обрадованная уже одним тем, что дверь открыл не кто-нибудь из начальства, а Карп Иванович.

— Вы уже уходите? — спросила она, глянув на торчавший из сумки дубовый веник, на сверток под мышкой.

— Я сегодня без обеда.

— А-а! Ну тогда...

Карп Иванович шагнул к ней, на ходу вытаскивая из-за пазухи кошелек.

— Я вот членские взносы...— проговорил он, протягивая три рубля.— Надо заплатить... Наталья на баню дала... Еще хватит и на баню.— Оглянулся на Валерию, как будто ему было важнее всего, чтобы у нее не сложилось о нем дурное мнение, пусть будет свидетельницей: он не какой-то там забулдыга — не пропьет. По привычке глянул на ее сапоги, аккумулятно приставленные к батарее. Правильно: пока будет сидеть — просушатся. На работе можно и в туфельках — пол не холодный. Видать, там у нее, в большом городе, так заведено — сменную обувь на работу брать, переобуваться. А тут, у местных, нет, в какой по улице ходят, в той и по конторам сидят. Но вот Валерия уже другого воспитания... У этой сапоги долго без ремонта проживут — хорошая девушка, бережливая, знать, и родители ее такие...

— Возьмите сдачу,— сказала Екатерина Кондратьевна.

Карп Иванович съскал мелочь в кошелек, глядя под стол, где видны были ее ноги в черных сапогах, которым он недавно дал текущий ремонт — насадил на каблуки новые набойки, прибил на носки косячки, отчего Екатерина Кондратьевна теперь звонко цокала, когда шла по тротуару, уложенному цементной плиткой.

— Ну, бывайте здоровы, женщины,— проговорил он, направляясь к двери.— До понедельника...

— Карп Иванович! — бойким голосом окликнула кассирша Аня, когда он поравнялся с ее столом.— Вы очень заняты?

— Сегодня?

— Нет.— Она спрятала губную помаду в стол и, глянув в зеркальце, вставленное в пудреницу, поправила сбившуюся со лба завитую челку.— Когда будет время. Мне не к спеху.

Он уж знал: раз она говорила «не к спеху», значит, собиралась принести ему обувь по знакомству, а значит, с гарантией, что починят ей на совесть, притом денег за ремонт со своих сослуживцев он, Карп Иванович, никогда не брал и не возьмет ни под каким соусом. Его правило было известно всем. И ей в том числе.

— Что тебе? — спросил он.— Сапоги, туфли?

— Да.

— Что «да»? Туфли или сапоги?

— Туфли.

— Ну, приноси в понедельник...

Выйдя из бухгалтерии и дойдя до двери сапожной мастерской, Карп Иванович потрогал ручку — не открывается, стало быть, Ефима теперь не жди: все, отработал. Он вышел на тротуар, прежде чем перейти улицу к ресторану-столовой, глянул налево, направо, нет ли машины, главное, легковой — грузовая тарыхтит, ту издали слышишь, а легковая бесшумно проскользнет, чего доброго, еще под колеса угодишь: с его ногой дорогу не перебежишь, хотя какое тут движение? Но машин за последние годы заметно прибавилось — одних легковых уже около десятка наберется... Первым купил Жигалов «Ладу», потом с мебельной фабрики двое: Лазутин — «Жигули» и Сальников — «Запорожца». Еще эти... Лисичкины купили, вернувшись с Севера, с больших заработков, тоже «Жигули». Лесничий сыну, говорят, собирается приобрести... Да, многие уже обзавелись техникой. Значит, есть у людей деньги, содержатся на сберкнижках. Ну, не у всех, конечно, такие суммы, а то бы все на машинах ездили. А мало таких, кто годами на машину собирает? Всю жизнь копит? Потом машину купит, а сам в рваных штанах ходит, как вон Жорж Пищалин. Нет, лучше пешком ходить, чем так ездить.

Карп Иванович пропустил грузовую машину из горгаза, обдавшую его вонючим дымом, — одна машина прошла, а на всю улицу насмердила. Такой из Герки Танцорова шофер, то масла в бензин перельет, то выхлопную трубу оборвет — ездит по городу, коптит, портит чистый воздух. А то и стрельнет как из пушки, что люди от страха шарахаются — думают: взрыв. Непутевый, а еще школу механизации окончил, на целину ездил! И года там не пробыл, прикатил назад, устроился вот в горгаз развозить баллоны.

Перейдя улицу, Карп Иванович решил, что достиг безопасной полосы, и, потеряв бдительность, натолкнулся на велосипедиста.

— Эй ты, Провинция! Куда прешь? Не видишь, что ли? Ослеп?

Не слезая с велосипеда, впершись ногами в землю, на него с насмешливым прищуром глядел Гордей.

— А ты чего по тротуару едешь? — нагибаясь за вывалившимися из-под мышки Фаиниными туфлями, нисколько не осерчав — хорошо, что хоть так обошлось! — проговорил Карп Иванович.— Тут тебе что, дорога? Вот где надо кататься.— Он указал пальцем на обочину, затянутую песком поверх асфальта.— А тут люди ходят.

— Ты меня еще учить будешь, где мне ездить? Глядеть надо! Вот поломаю тебе второй костыль... — незлобно ответил Гордей, имея в виду его здоровую ногу.

— Ты что, пьян?

— А ты мне наливал?

И в самом деле Гордей не был пьян, вызывающе трезв, без за-

пойной опухлости, со свежими, прихваченными морозным румянцем щеками, точно вернулся с курорта. Он ведь и дня трезвым не мог прожить. Сам еле на ногах стоит, а велосипед из рук не выпускает — катит, куда велосипед, туда и он, петляет по тротуару, еще вопрос, кто кого держит, он велосипед или велосипед его. Без велосипеда уж давно бы в канаве лежал. При приближении Гордея старухи на лавочках замолкали, а то и прятались в калитках, пока он не проташится мимо: только попадись ему на глаза, как пристанет — слушаешься от него всего. Но вот сегодня Гордей на удивление был трезв к концу дня, не катил велосипед, а ехал на нем. Просто не знаешь, что и думать. Неужто все наладилось? Наконец-то договорились взять мальчика? Уступила Катя? Карп Иванович так прямо и спросил:

— Чего ты нынче такой?

— Какой?

— Совсем другой... Не как всегда, — лукаво намекнул Карп Иванович. — Боишься, что в вытрезвитель попадешь?

— Куда-а?

— Ну, в вытрезвитель... Что Килимов строит.

— Напугал! Чихать я на него хотел! — грубо, но без обиды ответил Гордей.

— Говори! Наверно, уже открыли?

— Иди да посмотри, если тебе надо. — И Гордей мотнул головой на широкие окна быткомбината. — Катя моя там еще, не ушла?

Карп Иванович понимающе подморгнул: мол, с каких пор ты стал своей Катей интересоваться? То тебе не было никакого дела, сидит она или уже домой ушла, а сегодня вдруг про Катю вспомнил. Что-то тут не так. Постой-постой... А может, у них свой наклонился? То-то Екатерина Кондратьевна сегодня какая-то не такая — сидела как именинница. И по поведению девочек, Ани и Валерии, можно было бы догадаться — уж с ними-то она не могла не поделиться радостью. А ему вот и в голову не пришло: уж привыкли все считать ее порожней. Если так, тогда Гордея можно поздравить, позвать ему руку. Чем не мужчина? Вот доказал же, добился своего! Собрал в себе силу!

И с этой счастливой догадкой Карп Иванович шагнул к Гордею, широко улыбнулся ему, еще не зная, как поделикатнее начать; но тут же в него закралось подозрение: а если кто подменил Гордея на супружеском ложе? Может, Екатерина Кондратьевна на обман пошла? Грешно даже подумать так, не то что вслух сказать. Если он не ошибся, все равно потом, как ни утаивай, вскроется: тут что ни сделай — завтра по всему городу разлетится. Но только намеки сейчас — еще неизвестно, как Гордей к этому отнесется. Не могла же она с его согласия под другого лечь. И от самого где ей было забеременеть? Нет, тут дело темное. Он редко ошибается — у него нюх еще тот!

— Иди глянь... — Карп Иванович хотел добавить: «На свою Катю, как цветет», а это было бы тонким намеком на толстые обстоятельности и, стало быть, бестактностью, которой он допустить, конечно, не мог. И вежливо посоветовал: — Хоть раз покажись жене, уважь ее.

— Без тебя знаю, что мне делать, — уже совсем безобидно отмахнулся Гордей, перекатил велосипед через улицу, приставил к стене быткомбината и пошел ко входу.

Карп Иванович только покрутил головой — ну, история! — и направился к выщербленным ступенькам ресторана-столовой.

— А, Карп Иванович! Сколько лет, сколько зим! — Навстречу ему спускался председатель колхоза «Путь Ильича», на земли которого со стороны деревушки Нехорошевки забрался город. — Постарел, постарел! — пожимая руку, заключил он, сыто отдуваясь, видать, после горячего, со стопкой обеда.

— Да и ты, Алексеич, не помолодел, — ответил Карп Иванович,

задерживая взгляд на седых, с желтым отливом волосах председателя колхоза.

— Ну я-то давно седой! Годы уже, годы! А тебе бы еще рановато, рановато! Ты ведь меня на сколько моложе?

— Так и мне пора,— не согласился Карп Иванович, перевел разговор на другое: — Что-то ты у нас редко бываешь.

— Да кручусь вот, работы в колхозе, сам знаешь.

Председатель колхоза «Путь Ильича» слыл разворотистым, хватким мужиком, руководил хозяйством лет уж двадцать подряд, получая с каждым годом все большие доходы, и Карп Иванович сказал:

— Вы уж, наверно, миллионерами стали?

— Ну какими там миллионерами! — прибеднялся председатель.

— Без нас куда вам! — улыбнулся Карп Иванович, намекая на шефскую помощь горожан: когда подходила осень, из быткомбината тоже гоняли на картошку всех без исключения; женщины копали, а он, Карп Иванович, перевозил на лошади, выставив с телеги негнушующую ногу в кирзовом сапоге.

— Да нам без вас было бы еще лучше,— засмеялся председатель.— От вас больше вреда, чем пользы. Одну картофелину выроете, три зареете.

— Чего же вы тогда, чуть что, просите?

— Я прошу? Была б моя воля, я вас бы и на поле не пустил!

— А кто же просит?

— Не знаешь кто? Оттуда вон позвонят.— Председатель махнул рукой в ту сторону, где стоял его «газик». Ясно откуда — откуда он ехал, из района.— Прикажут тебе: примите столько-то человек...

— Что же вы не откажетесь, если мы вам не нужны? А то и ветки вам для коров заготовь...

— Ветки! — перебил председатель.— А луг остался некошеным! И ветки ваши посохли. Какая тебе корова их есть будет?

— Ну вот, только лес сгадили и наш труд даром пропал!

— Э-э, если б только это,— как бы уже привыкший ко всему, проговорил председатель.— Людей расхолаживаем, портим — вот что страшно!

— Вот-вот! — подхватил Карп Иванович.— И я о том же!

— Ладно, пошли-ка лучше мы с тобой по сто грамм... Я давно перед тобой в долгу.

Что-то он, Карп Иванович, не припомнит — в каком долгу? Ах да! Был такой случай... Год или два назад председатель возвращался вот так же из района на «газике», забежал к нему в мастерскую, показал на свой сапог с оторванной подошвой: «Выручай! К машине шел, зацепился о тротуар...» На улице стояла такая слякотная погода... И Карп Иванович действительно уж забыл, как, все бросив, подбил ему на ходу сапог за спасибо, а председатель вот, оказывается, помнил.

— Нашел долг! — Как тогда у Карпа Ивановича не хватило совести брать с него деньги, так и сейчас он не мог и слышать ни о каком долге.— Ты б еще стогоднее вспомнил!

— У меня тогда с собой ни копыя не было,— задним числом оправдывался председатель, тащил Карпа Ивановича за рукав.— Идем. Долг, говорят, платежом красен.

— Да ничего ты мне не должен. Мне сейчас и пить-то нельзя: в баню я...— Карп Иванович показывал на дубовый веник, торчавший из хозяйственной сумки.— Вот только Фаине туфли отдам... И в баньку! Чтоб после баньки — другое дело.

— И перед баней ничего, не помешает,— настаивал председатель.— Мы понемножку, даю тебе честное слово. Сто грамм коньячку тебе не повредит.

Все как-то сразу в Карпе Ивановиче притормозилось — он не ожидал, что председатель угостит его коньяком, водкой по ресторан-

ным ценам и то считалось тут слишком щедрым проявлением души. Обычно в ходу были горькие настойки или вино, а то и одним пивом обходились — за чужой счет никто ни от чего не отказывался, что ни поднесут — принималось как должное, недовольных не было. А тут — коньяк... Сослаться на то, что он, Карп Иванович, не заслужил такого угощения? Но у председателя свой расчет — по высшей ставке. Еще и оскорбиться может. И, помявшись, Карп Иванович ответил:

— Коньяк... Он клопами воняет.

— Кто тебе сказал?

— Все говорят...

— А ты сам-то пробовал?

Ну чтобы так уж совсем не пробовать... Хотя, признаться, уж давно коньяк во рту не держал; в те еще годы случалось и такое, вкус того коньяка ему, конечно, помнится смутно, если не совсем забыт, а вот в эти — действительно, чего греха таить, покупать коньяк не приходилось. Если тогда он казался дорогим, притом что была дешевая водка, то теперь и подавно был не по деньгам, считался непозволительной роскошью. Отсюда и пошло: коньяк клопами воняет...

— Да вот таким дураком был, — проговорил Карп Иванович, смущенно улыбаясь, — когда дешевле стоил, не пил...

— Ну, тогда чего ж ты? Вот чудак! Пошли-пошли. Раз я приглашаю, тебе-то что об этом думать?

Пока Карп Иванович соображал, какой бы еще выдвинуть резон против коньяка, мял под мышкой Фаинины туфли, выбирал, куда бы пристроить хозяйственную сумку с веником, председатель успел обогнуть очередь за пивом и показаться перед ним с двумя стограммовыми порциями коньяка.

— Держи.

Карп Иванович, колеблясь, поглядел на протянутый стакан с коричневатой жидкостью. Что, так здесь стоя они и выпьют, ничем не закусывая?

— Вот конфеткой... — Председатель протянул ему ссохшуюся ириску.

Теперь Карп Иванович глядел на конфетку с тем же удивлением, что и на коньяк. Одну руку он освободил — прижал ногой к буфету хозяйственную сумку с веником, взял в нее стакан с коньяком, теперь оставалось освободить другую от Фаининых туфель — взять конфетку.

— Погоди, я хоть обутки ей отдам... — И Карп Иванович крикнул через головы: — Фаина!

Из-за шума буфетчица не услышала, зато стоявшие сзади к ней за пивом оглянулись: кого еще без очереди несет? Тут и так все знакомые, шаг ступил — и свой, у каждого, куда ни приди, найдется родственник, а то и два.

— Фаина! — однако еще громче крикнул Карп Иванович и, когда та взглянула на него, поднял над головами сверток. — Забери!

Фаина тут же принялась разглядывать со всех сторон туфли, хорошо ли ей Карп Иванович отремонтировал, и, убедившись, что лучше, чем он, никто не смог бы, принялась здесь же, за стойкой, примерять их.

— Надо дома этим заниматься, — сказал кто-то в шляпе из хвоста очереди, видать нездешний, — а не в рабочее время.

— Да, нечего тут... — поддержал Веня Казаркин, тракторист из Сельхозтехники, выпивавший на спор двадцать кружек пива. — Все в горле пересохло!

— Ей спешить некуда: все равно рабочий день идет, — ухмыльнулся Никита Конопляник; бондарь из Плодоовощей, который делал на работе и дома маленькие бочонки на продажу.

Шум разрастался, недовольных становилось все больше, но

Фаина спокойно примерила одну туфлю, затем другую, прошла в них за стойкой, приседая, как бы пробуя каждую туфлю на прочность, не жмут ли, повернула голову к Карпу Ивановичу:

— Сколько с меня?

— В кассу заплатишь.

— Ну хоть кружку-то пива...

Очередь зашумела с новой силой.

— Вы у меня еще больше покричите — совсем отпускать не буду, — только сейчас отреагировала Фаина. — Вот этих отпущу, — показала она на двух-трех человек, стоявших впереди со смиренным терпением. Под наступившее молчание налила кружку пива, протянула было через головы, но Карпа Ивановича на том месте уже не было.

Коньяк сразу толкнулся ему в голову, когда он, провожая председателя колхоза до выхода, высунулся на морозный ветер. Видать, хорошая штука, дороже, зато без промедления бьет в самую точку. Голова-то еще ничего — соображает, даже лучше, чем до выпивки, еще светлей стала, а вот по ногам ударило крепко, подкосило колени. Если б еще обе целы были, не страшно б, а то ведь одна, здоровая, кое-как еще держит, а эта вот, покалеченная, совсем не слушается, тащи ее за собой, как полено. Верно, на коньяк тоже привычка нужна. Или дело не в коньяке — в обеде. Сходил бы он, как все, домой, тарелку борща умял бы, глядишь, были б и силы. Иначе откуда им, этим силам, взяться? С конфетки той? С ириски?..

— А у нас, Алексеич, новость, — доверчиво проговорил Карп Иванович, когда председатель колхоза шагнул за порог ресторана-столовой.

— Какая?

— Вырезвитель строят.

— Значит, заслужили, — засмеялся председатель. — Надеюсь, до нашего колхоза не дойдет?

— И я так думаю, — обрадовался Карп Иванович, что нашел, казалось бы, единомышленника. — Если кого надо будет, к нам привезут.

— Ну ладно, мне пора. — Председатель резко глянул на него, точно с кем-то перепутал, и заспешил к «газику».

Карп Иванович пожал плечами, не поняв, почему тот так быстро переменялся, шагнул было на тротуар — и вот тебе: Бажен к ресторану. Если бы не зеленая фуражка с дубовыми листочками на вылинявшем околышке, то кто признал бы в этом высохшем, как сухарь, сморщенном мужичке неуступчивого, скупого и неумоимого лесника, целый день пропадавшего в лесу и зимой и летом в своей фуражечке? У него был самый дальний обход, за Горелым болотом, где на подзолистых почвах тесно перемешались сосны и ели, дубы и березы, осины и ясени, реже — клены, рябины, липы, с непролазным подлеском, зарослями ольхи по ручьям, орешника и малины. Работал Бажен лесником с самой молодости — выбрал себе работу по своему здоровью: как заболел еще тогда туберкулезом, так вот до сих пор, говорят, и ходил с ним, давно отказался от врачей — если б, мол, тех врачей слушал, таблетки ихние глотал, уже б вон на той горке под соснами лежал. А то вот уж сколько живет, пешком в день по двадцать километров делает, и никакая болезнь его не берет, только иссох весь, стал вот — глядеть не на что, недаром говорят: сухое дерево долго скрипит. И водку пьет, если кто поднесет, там, в лесу, так только и норовят угостить, от выпивки не отказывался, но чтобы когда лишнюю дровину дал — не жди. За что деньги уплатил, то забирай и уезжай, а заметит, что без спроса хоть палку какую возьмешь, он и до суда дойдет. Зато уж дрова как дрова, без обмана, не то что у другого, например у Малахова, — гнилушек каких-нибудь подсунет. Но выпросить у Бажена еще труднее. Если не захочет кому дать, и лесничий не поможет: всегда найдет причину. Но если уж кто ему понравится...

— О-о, здорово! — обрадованно проговорил Карп Иванович, закрывая Бажену вход в помещение. — Тебе не холодно в этой фуражке сейчас бегать?

Бажен, пригнув голову, молча попытался проскользнуть у него под мышкой в зал — знал, зачем его всегда останавливают, где ни встретят, и раз норовил тут же, не вступая в разговор, отделаться, значит, хотел, чтобы хорошо попросили, поклонялись в ножки. Он, Карп Иванович, не гордый, может и поклониться, если надо — зима вот пришла, а у него ни дровины во дворе, — да, извините, нога не хочет гнуться, ей, окаянной, не до поклонов перед лесником, ей не дано понимать всю тонкость человеческих отношений, абсолютно нет никакого дела, есть ли у ее хозяина дрова или нет, где и как их добыть, о том пусть думает его голова, чтоб не замерзнуть зимой.

И, пошире улыбнувшись леснику, Карп Иванович отступил от дверей — проходи, мол, погрейся после леса, тут все есть, что тебе надо, — и сам, как бы еще раз готовый вернуться к буфету, поспешил за ним, стараясь на ходу спросить насчет дров.

— Нету у меня, — уткнувшись в очередь за пивом, ответил Бажен, прочищая в тепле сведенное на морозном ветру горло. — Не заготовили... Гм-гм!

— Да мне немного... Кубов пять.

— Нету, ни палки... Гм! Что было, отдал, осталось одно гнилье... Кхе-кхе!

— Да мне хоть каких... Лишь бы дрова. — Карп Иванович, вытянув голову поверх очереди, крикнул: — Фаина! Четыре кружки! — Затем леснику: — Выпьешь? Ну, на двоих по две кружки...

Бажен на какое-то время лишился языка оттого, что Карп Иванович так быстро, в одну минуту, разрешил вопрос с пивом и ему не пришлось стоять такую большую очередь. И когда Фаина переправила через головы четыре кружки — могла бы и больше, — вынужден был отправиться за столик. Поставив перед собой обе кружки, он оглянулся, словно бы ожидая еще чего-то к пиву. Потом пригубил, коротко глянул на Карпа Ивановича.

— У тебя справка от горсовета есть?

— Месяц уже ношу в кармане, вот уже всю истер до дыр.

— А ты у лесничего был?

— Да был... Тогда еще, сразу. К Малахову направил, но у того, ты ж знаешь, один топорник. Хочешь, мол, сам бери топор, пилу, заготовивай, отведу участок. А с кем я, один пойду в лес, пилой пилить буду? Или с Натальей своей? Она в дворе-то, на козлы ей палку положишь, пилу потянуть не может. А там, в лесу, она тебе деревья валить будет? Чтоб неделю на карачках после тех дров ползала?

— Женщин не положено на самозаготовку брать, — авторитетно вставил Бажен между глотками пива.

— Тем более! И я, ты ж видишь, какой. — Карп Иванович пошел великой ногой. — Инвалид... Инвалид Отечественной войны! Мне дрова, если так, по-хорошему, сами должны в двор привозить. Готовые! А я не хожу никуда, не прошу. Унижаться только. Я еще сам в состоянии. Из лесу вожу, пилую, колю... Мне б только выписать, а там...

— На Малиновку дорогу знаешь?

— Еще бы не знать.

— Машина туда не пройдет, на тракторе надо... Там у меня с лета кубов десять березовых лежит. Ну, и дубовые палки попадают. Когда выбраковывали лес, и дубки где такие гнутенькие... Если те дрова вывезти, тебе до весны вот так хватит... Кхе-кхе!

— А когда можно?

— Да хоть завтра. Ищи трактор. Я там с утра буду, можешь забрать при мне пока без выписки, а квитанцию в понедельник в контору принесешь, я скажу лесничему.

— Ну спасибо тебе, Бажен,— засуетился Карп Иванович, что дело с дровами так быстро решилось в его пользу. Скажет сегодня Наталья, тоже, поди, обрадуется, сердиться перестанет: тебя, мол, не допросишься, люди еще когда дровами запаслись, а тебе если сто раз не напомнишь... И он тут же подвинул к леснику третью кружку пива.— Пей еще мою. Пей!

— А ты?

— Я уже, мне хватит...— И хотя ноги его после коньяка успели окрепнуть — что-то быстро хваленый коньяк прошел! — он мог бы минуту-другую посидеть с Баженом, однако поднялся, сгребая за ручки хозяйственную сумку.— Мне еще в баню... Если б после баньки... А то тяжело будет париться.

Он остановился на секунду-две возле лесника, допивавшего сидя пиво, как бы в благодарность хотел сказать ему напоследок что-нибудь такое необычное, но ничего не мог вспомнить, кроме одного события, не выходявшего из головы:

— Ты ж знаешь, что Килимов там вытрезвитель...

— Сегодня уже открыли,— спокойно сказал Бажен, точно его насколько не касалось.

— Брось врать-то!

— Сам видел — уже стоят.

— Кто?

— Ну кто? Кому по штату положено. Все по форме.

— И ты не зашел, не посмотрел?

— А чего я там не видел?

— Ну как? Интересно все же...

— Попадешься им, так увидишь,— усмехнулся Бажен, ставя пустой бокал на стол и поднимаясь.

— Ты куда сейчас? Пошли посмотрим.— Карп Иванович с нетерпением занес негнущуюся ногу к выходу.— Пошли. Только глянем — и назад.

— Я уж сегодня находился, весь лес обошел. Туда десять да от туда десять. Домой бы добраться... Кхе-кхе.

— Ну, ты как хочешь, а я схожу гляну,— загорелся Карп Иванович.— Надо ж, а я и не знал, что открыли! Схожу, сейчас схожу,— приговаривал он, спускаясь по ступенькам, застревая на каждой, пока не выбрался на тротуар.

Тут их пути с Баженом расходились в разные стороны: ему надо было к базару, а леснику от базара.

— Ну так гляди завтра не опаздывай,— предупредил Бажен, поворачивая от него.— Опоздаешь — останешься без дров.

— Не опоздаю! Я еще с ночи поднимусь, разбужу Георгия, чтоб трактор пригнал. Он мне не откажет,— заверил Карп Иванович, вспомнив о сыне жениной сестры, работавшем на мебельной фабрике трактористом.— Гляди сам никуда не уйди, жди там, в лесу, я обязательно приеду с Георгием!

Карп Иванович не прошел и десяти шагов, как столкнулся с невесткой жениной сестры, или женой Георгия, Ларисой. Она катила откуда-то в коляске Борьку, своего сына, пухнатенького трехлетнего мальчика, закутанного в теплое одеяло поверх зимней одежды.

— Здравствуй, племянница,— шутливо поздоровался Карп Иванович, как обычно, когда встречал ее вот так случайно на улице или в магазине.

По всем родственным канонам жена сына свояченицы считалась уже почти чужой, да и жила она с мужем далеко от них, на другом конце города, в гости друг к другу не ходили. Но при встрече Карп Иванович всякий раз старался показать, что лично он не чурается ее, Ларисы, сочувствует ее положению дальней родственницы, относится к ней так же, как ко всем остальным, более близким родственникам, ничуть не отделяет ее, наоборот, старается породниться. Придумал

это слово «племянница» и теперь ждал, когда она ответит на его приветствие свое обычное: «Здравствуйте, дядя Карп».

— Какая я вам племянница,— однако на этот раз сухо возразила Лариса.

— А кто ты мне? — продолжал добродушно улыбаться Карп Иванович, глядя в ее совсем еще детское лицо.— Георгий твой как мне доводится? Кто он мне, племянш? Вот и ты племянница.

— Мой муж вам не племянник. Моя свекровь вам свояченица, значит, Георгий уж никак не может быть вашим племянником.

— Ну а кто же он тогда?

— Не знаю... Я в этих родственных связях не разбираюсь.

— Ну, не важно. Я как звал тебя, так и буду звать. Племянницей ты мне больше нравишься.— Он только тут наклонился к коляске, слегка дотронулся пальцем до покрасневшего на морозе носика Борьки.— А он теперь кто мне? Внук или правнук?

— Седьмая вода на киселе,— улыбнулась Лариса.

— Нет, вот он-то роднее всех! Как вырастет... Тут тогда, может, такой город поднимется! Я помру уже, не доживу до этого дня.

— Ну почему не доживете? Доживете.

— Нет, племянница, не доживу. Сколько мне тут осталось? Десяток-полтора... Ну пусть два, все равно мало. Вот ты, может, еще доживешь, а я нет. Ты еще увидишь, если не болезнь какая там или как... А вот он,— Карп Иванович ткнул пальцем в Борьку,— уж точно доживет, он все увидит!

Не сводя взгляда с мальчика, Карп Иванович вдруг засуетился, обыскивая свои карманы, конфузливо проговорил:

— Конфетку бы тебе надо... Застал ты меня врасплох тут, на улице... Вот какой дед нехороший, никогда с собой конфетки не носит.

— Ой, да ему эти конфеты! — проговорила Лариса.— У него их дома... Под ногами валяются.

— То дома, нас не касается... А это от деда.— Карп Иванович оглянулся на продовольственный магазин, словно бы собираясь тут же пойти и купить конфет; но вот наконец что-то нащупал в кармане, обрадованно вытащил ириску, ту, которую дал ему на закуску председатель колхоза, и, сияя, протянул Борьке.— На! Бери! Ешь!

Борька только повел глазенками: руки его были упрятаны под одеяло, освободить он сам не мог, а мать не догадывалась, молча глядела на протянутую конфетку точно загипнотизированная, что все же конфетка нашлась, одна-единственная, из-за которой стоило ли вытаскивать ребенку руки на холод.

И Карп Иванович, подержав ириску, положил ее перед Борькой на одеяло; но тот шевельнулся, и она запала в складку у него в ногах.

— Откуда это вы? — как бы сняв с себя душевное напряжение, только теперь спросил Карп Иванович.

— От бабы.

— От какой? У него ведь их две.

— От матери Георгия.

— Понятно.

Дурак Георгий: не захотел у своих родителей жить, как женился, к Ларисиним перешел — в примаки: у них, мол, дом побольше, не будем стеснять. Да и Лариса заупрямилась — ей-то с родными легче, не надо будет приспособливаться. Уж свои-то отец и мать никогда не обидят, всегда помогут, если что. Ну он и согласился. А теща с первого дня условие поставила: вот вам комната, занимайте и живите, как вам нравится, мы до вас не касаемся, а вы до нас, отдельный стол, сами себе и варите и стирайте, привыкайте к самостоятельности. А тут — долго ли? — родился Борька. Лариса год с ним просидела — мать ее ни разу к ребенку не подошла, даже на руки не взяла, не то чтобы пеленки постирать помогла. Ваш, мол, ребенок, сами за ним и ухаживайте, а у меня своих забот хватает,

я еще сама молодая, мне деньги зарабатывать надо. И устроилась на мебельную фабрику. Вот Лариса второй год и таскает сына к свекрови, утром отвозит, вечером забирает, когда она, когда Георгий. Хорошо, что та безотказная, да в годах, день с Борькой и сидит. Предлагала им к ней перейти, но Лариса все же не хочет, а Георгий то ли боится ее, то ли еще что. Сами мучаются и ребенка мучают — таскают каждый день через весь город туда и обратно.

— А в детский сад чего не отдадите? — спросил Карп Иванович, разглядывая Борьку. — Ваша очередь ведь уже подошла.

— Нам отказали.

— Как отказали?

— У вас, мол, есть бабушки.

— Кто, хотел бы я знать, так решил? Игнатьевна? Это она, значит... Хорошо, я поговорю с ней. У вас ведь своя семья, вы оба работаете. (Лариса заведовала детской библиотекой.) При чем тут бабушки? А если они не захотят? Нет, это так оставлять нельзя. Что ж получается: вы два года ждали, а теперь, когда ваша очередь подошла... А Георгий-то чего не сходит, не пошумит?

— Что толку, если мест нет. Что были, другим отдали — с фабрики.

— Значит, садик надо побольше, чтоб всем хватило! — начинал возмущаться Карп Иванович. — Вот вы, молодые матери, и требуйте, чтобы построили.

— Денег, говорят, нет.

— Как нет? На детский сад?

— В Рогове вон взяли и написали Терешковой в год ребенка, — оживая, проговорила Лариса. — Быстро построили!

— Ну вот видишь, добились же! И вы бы собрались все да написали куда следует — сразу б деньги нашли! Вы ж люди грамотные. Не знаете, кому писать?

Лариса увела глаза в сторону. Понятно! Говорить все мастера, а как до дела доходит, так в кусты. Кто-то за них должен заботиться, воевать. Он хотел так и сказать «племяннице», но та опередила:

— А вы куда, дядя Карп?

— В баню.

— Так вам же в другую сторону! — удивилась Лариса.

— А я вот кругом хочу. — Карп Иванович озорно сверкнул глазами: незачем ей знать, куда он сейчас идет, не женское это дело — о вырезвители толковать. — Я, может, перед баней прогуляться решил. Вот обойду центр, потом в парную! — И, как бы подводя под шутками черту, Карп Иванович уставился на Ларису: — Георгий твой-то как?

— Ничего, работает.

— Этим делом не балуется? — осторожно поинтересовался Карп Иванович.

— Я б не сказала. Ну, бывает...

— Ну, это со всеми бывает. А вот что не перебирает — молодец! — Карп Иванович словно бы подвел еще одну черту под сказанным и теперь уже напрямую спросил: — Трактор-то у него на мази?

— Что вы, дядя Карп, сказали? — не поняла Лариса, поправляя на Борьке одеяло.

— Я говорю: трактор его в порядке? Ну, вот это основное! Передай ему, чтоб завтра был готов: в пять часов подниму. Бажен мне дров пообещал дать, прямо с утра перевезти надо, а не то к нему потом не подходи, — пояснил он примолкшей Ларисе: знать, не понравилось, что мужа забирали в такую рань из-под ее теплого бока, отрывали в выходной день от семьи.

Он хорошо Ларису понимал: не было передыху, чтобы Георгия не просили, а он такой, что никому не мог отказать — шел, заводил трактор в выходной, так в выходной, после работы, так после работы, в любое время, кто бы ни обратился к нему, всегда готов выручить.

И каждый старался отблагодарить — заплатит и еще рюмку поднесет после всех трудов; от одного открутится, а Другого, глядишь, и уважит — сядет за стол. А это Ларисе, конечно, в первую очередь не по нраву: так вот потихоньку и приучат прикладываться. Все правильно, оберегать мужей от этого надо, но и под юбкой всю жизнь держать не будешь, муж не только тебе одной — и людям нужен. Кого тут еще пойдешь попросишь, кто за рулем? Еще гордиться должна, что твой муж на вес золота.

— Ну, ты, племянница, меня знаешь: у меня он не забалует, — успокоил Карп Иванович и, наклонясь к ребенку, как будто только с ним одним прощаясь, сказал: — Ну, расти большой, вот такой! Не болей, будь всегда здоровеньким — самое главное. Все остальное к тебе придет.

Лариса, налегая на ручку, тронула коляску.

— Георгию привет передай! — сказал Карп Иванович ей вслед. — И не забудь, предупреди его!

Он уже дошел до магазина «Обувь», как увидел пару — Ефима со своей благоверной, Мартой. Ефим шел налегке, сунув руки в карманы, сутулясь под холодным ветром в замызганной курточке-болонье, а его благоверная — уже влезшая в зимнюю одежду, нагруженная покупками: видать, там, в районе, не столько отчет сдавала, сколько по магазинам бегала. Как это они оказались вместе? Ефим к автобусу ходил ее встречать? Когда такое было? И вообще чтобы они ходили на пару? Ефим и идти-то не умел рядом с женой, плелся как подневольный, поглядывая по сторонам, словно выбирая момент сбежать — привык скрываться; часто, бывало, лишь завидит где жену, тут же вильнет от нее за угол. А вот сегодня, видно, попался ей в лапы — не успел загулять или денег больше не удалось ни у кого перехватить, шел совсем трезвенький.

Когда они поравнялись с магазином «Обувь», Марта неожиданно повернула к двери — еще не накупила, мало ей было в районе магазинов, еще и тут решила заглянуть. Ефим остался на улице, скучающе огляделся.

— Ну чего загрустил? — спросил Карп Иванович, останавливаясь возле него. — Привязала тебя жена...

Ну вот чего, спрашивается, смотреть волком на людей? Из-за того только, что сегодня выпить не попало? На жену нарвался? Он-то тут при чем?

— Неужто пить сразу бросил, как вырезвитель открыли? — попытался расшевелить его Карп Иванович. — Или не знаешь?

— И знать не хочу!

— Да я ж шутя. Кому надо, тот и дома выпьет. Но кой-кому не мешало бы поубавить аппетит, привести в норму.

— Кто другому зла желает...

— Я разве зла желаю?

— Думаешь, что ты особый?

— Ну, это ты зря так решил. Я тоже пью. Вот разве не видишь? — Карп Иванович шуточно дохнул на Ефима. — Слышишь запах?

Ефим не стал, конечно, нюхать, да и коньяк из Карпа Ивановича уже почти весь выветрился, если и остался запах, то лишь от пива, никто его и не принял бы за выпившего, как не принял и Ефим.

— Не веришь? — продолжал пошучивать Карп Иванович. — Коньяком пахнет!

Ефим усмехнулся: когда он пил коньяк! За свои. Не заработал еще на коньяк! А чтоб угостили... Найди тут таких, кто бы тебе коньяку поднес. Жди, раскошелятся!

— А кто коньяк пьет, тому вырезвитель не страшен, — улыбнулся Карп Иванович. — Знаешь, как в том анекдоте... Милиционер наклоняется к пьяному. «Этого, — говорит, — домой отвезите: конья-

ком пахнет.—Наклоняется к другому.— А этого в милицию: от него самогоном несет».

Ефим немного растаял: мол, знаю этот анекдот, могу тебе еще не такой рассказать.

— Ну так ты как? — Карп Иванович кивнул на окно обувного магазина, где сквозь мутные стекла возле прилавка видна была Марта, вертевшая в руках мужские ботинки.— С ней домой пойдешь, или на базар заглянем? Уже открыли... Бажен из леса шел, говорит, видел: стоят.

Ефим ковырнул носком сапога выступавший уголок цементной плитки, которой был уложен тротуар, отвернулся к витрине.

— Ну чего? Пошли посмотрим. Пошли! Мы только глянем — и назад, в баню. Коллективно помоемся.

Уж Ефиму-то не понять, что могло бы ему обломиться после бани — кружка пива, а то, глядишь, сообразили бы что-нибудь и посущественнее.

Но тут из магазина выглянула Марта, ища, куда пропал ее муж, и Карп Иванович громко, в самых радушных тонах поприветствовал:

— Здравствуй, Евгеньевна!

Марта только стрельнула по нему быстрым, занятым взглядом, торопливо дернула мужа за рукав:

— Пошли, померяешь себе теплые ботинки. Клава мне одни отложила...

— Сапожник всегда без сапог,— хотел было поддержать разговор Карп Иванович, но Марта прямо за руку утащила Ефима в магазин.

Ну что, надо идти, не задерживаясь, теперь к базару, а то так и в баню последним придешь, хотя собирался раньше всех. Тут шаг ступил — и знакомый. С каждым постоишь по минуте, не заметишь, как час пролетел. Лучше сказать «здравствуйте» и «до свидания».

Карп Иванович кивнул через улицу Ларисиной матери — вот уж действительно дальняя родственница, седьмая вода на киселе, если первым с ней не поздороваяешься, сама никогда не скажет «здравствуйте», даже если рядом пройдет — не заметит. А тут через улицу она и подавно не обратила внимания на его кивок, да он нисколько и не огорчился. Уже примерился перейти улицу напротив школы, в которой училась Динка, как вынужден был притормозить: мимо вихрем пронесся на красной «Яве» Алик Лысовский с обхватившей его сзади руками кассиршей Аней — уже помирились и куда-то мотанули. Значит, рабочий день кончился, только счет, что на час раньше ушел... Вон и Валерия семеняла в вишневых сапожках — возвращалась одна с работы, придерживая строго возле ноги дамскую сумочку с пустой авоськой. Сейчас она зайдет в «Хлеб», купит сдобную булочку, потом заглянет в «Книги», там по порядку обследует «Культтовары» и универмаг, перейдет улицу к последнему по пути на квартиру продовольственному магазину, прикупит к булочке еще чего-нибудь себе на ужин — чего она особенного тут купит? Колбасы кооперативной? Ну, найдет чего выбрать. Так-то, глянешь, полки не пустые — завалены, а вот купить нечего, для холостых, кто дома не готовит, трудно. Не будет же она себе макароны каждый день варить!

Чтобы не встретиться с Валерией, Карп Иванович скорее перешел улицу к площади перед новым зданием школы, где на праздники проводили митинги, куда стекались колонны демонстрантов — самая большая колонна набиралась с мебельной фабрики, а самые организованные были колонны школьников. Ученики сначала выстраивались на школьном дворе, рядом с площадью, затем двигались в обход по Карла Маркса и выходили на площадь с другого края, пройдя по центру. Здесь перед окнами школы, здание которой когда-то предназначалось для райкома, стояла небольшая деревянная трибуна с бе-

лым бюстом Ленина в самом конце заросшей травой площади, с засохшими по ее краям цветами, с выстроившимися в ряд транспарантами на металлических подставках, пестревшими цифрами и графиками о достижениях промышленности и сельского хозяйства, подновленными и подправленными.

Карп Иванович прошел мимо этих транспарантов, заглядывая в окна школы: может, где мелькнет Динка, если у них перемена,— дочь училась во вторую смену. Но в окнах первого этажа отражалась мостовая и ничего не было видно, да и вся школа была погружена в таинственную тишину, к которой он, Карп Иванович, тотчас проникся уважением, как только понял, что идут занятия.

Сейчас и его Динка набирается знаний — сидит за партой, как все, смотрит на доску: нетрудно представить... Сам, кажется, еще недавно сидел так же вот на уроках, набирался ума-разума, но только теперь, с опозданием, понял, что так и не набрался, потому что глупый был. Тогда не было ему такую, как сейчас, голову, он бы не так учился. То-то и оно, что пока ума наберешься, глядишь, и жизнь прошла.

Он только собрался повернуть за угол, откуда уж до базара было рукой подать, как на школьный двор высыпали ученики. На перемену. Вот, может, и Динка выскочит. Но как ни присматривался через забор, нигде не было. Знать, осталась в классе.

— Папа! Ты куда? — услышал он сзади голос дочери, когда уже двинулся к базару.

Карп Иванович даже вздрогнул от неожиданности, точно попался на нехорошем деле, так и не успев ничего предпринять.

Динка подбежала к нему вместе с Нинкой Стрельниковой, обе такие свежие, юные, в девичьей школьной форме — коричневых платьях с белыми фартучками; у Нинки волосы распущены, а его дочь с длинной, как у ее матери до замужества, косой. Запыхались — бежали откуда?

И, стараясь скрыть свою растерянность, он спросил:

— Откуда вы взялись?

— Я тебя еще в окно заметила! — радостно поделилась Динка, оглянувшись на подругу. — А тут звонок... Мы с Нинкой вокруг площади обежали — тебя нету.

— Чего меня на площади искать? — с вернувшейся к нему отцовской твердостью проговорил Карп Иванович. — Что мне там делать?

— А куда ты идешь? — снова спросила Динка.

— Тебе обязательно надо все знать.

Он с улыбкой глядел на дочь, не придумав, как выкрутиться: у него никогда не было от нее никаких секретов, сам приучил ее к этому. А как же иначе? Должно быть полное доверие между родителями и детьми. Во всем. Он так считал. Нет в жизни такого, что еще нельзя было бы доверить своим детям. А вот, кажись, один случай нашелся.

— Еще с веником? — недоумевала дочь.

— Не знаешь, куда с вениками ходят? В баню.

— А сейчас куда?

— Вот тут кое-что гляну... — Карп Иванович, отворачиваясь от базара, очертил вокруг себя хозяйственной сумкой какое-то неопределенное пространство, сознавая всю неубедительность своего объяснения. — И в баню. А из бани домой.

— А я сегодня две пятерки получила! — похвасталась Динка, дергая подругу за рукав, чтобы стояла смирно, не забегала вперед.

— Молодец! — похвалил Карп Иванович со всей щедростью, как не хвалил никогда, лишь бы дочь снова не перевела разговор на него. — По чем же ты получила?

— По алгебре и немецкому.

К тому, что Динка получала все время одни пятерки по алгебре и

другим предметам, он уж привык, казалось, что это не представляло для нее никакого труда, хотя и не упускал случая похвалить, но не перехвалить. А вот что она и по немецкому училась на пять, всякий раз поражало его, так как в пятом классе тоже имел дело с немецким, но дальше двух-трех слов не пошел, хоть и говорят, что самый трудный язык — русский. Ничего подобного! Он бы сказал, что труднее немецкого языка нет ничего на свете. Он-то исключительно из-за одного немецкого и бросил школу. Не раз потом, когда попал на фронт, увидел живых немцев, вооруженных до зубов, уже жалел, что не проявил усидчивости, не изучил их языка. Ох как жалел! Он бы пошпихал с ними на их родном языке! Задал бы им вопросик! Вас ис дас? Пусть бы они ему ответили, какого хрена им здесь надо было, на российской земле?

— Учись, учись, дочка,— похвалил Карп Иванович.— Пригодится.

— А домой скоро придешь?

— Ну, попарюсь и приду.

— Не удержишься?

— Нет, часам к десяти буду. Так и передай маме...

Зазвенел звонок, и Динка с Нинкой оглянулись.

— Бегите, а то опоздаете на урок!

Карп Иванович проводил их мягким взглядом до самых дверей школы, повернул к базару. Дошел до угла, на котором старухи торговали семечками, весело поприветствовал:

— Здорово, бабоньки!

Те зашевелились, поощренные его вниманием, сходясь на нем выжидательными взглядами, чьи же он семечки предпочтет — ее или соседки? У кого получше, полнее насыщан стакан.

— И охота тут стоять мерзнуть! — однако собираясь пройти мимо, тем же тоном сказал он.— Вам пенсии мало?

— А вот доживешь сам до этой пенсии, тогда узнаешь! — голосисто, промерзшая на продувном ветру, ответила жена почтальона Евсея Улитина, умершего весной от рака, бойкая на язык Домна.— Кто без мужика, как вот я осталась.

— Ты всегда приbedняешься,— в легком, незлобивом тоне проговорил Карп Иванович, задержав возле нее покалеченную ногу.— Вот как этот мешок реализуешь, сразу «Жигули» купишь.

— Купишь, черта лысого облупишь! — выпила из холодного оцепенения Домна.— Чтобы на семечки машину купить, сколько же их, этих семечек, надо? всю жизнь проторгуешь и не купишь. Если б же вы брали! А то день тут, на углу, прстоишь, два-три стакана продашь.

— А что ж вы цену такую загнули! Раньше на старые деньги десять копеек стакан семечек стоил, а сейчас на новые двадцать. Шутка сказать: два рубля старыми!

— А тебе жалко двадцать копеек? стакан семечек не купишь? Не каждый же день ты их лузгаешь.

— Давай сыпь.— Карп Иванович остановился перед Домной, оттопырил карман брюк.— Ты не разбогатеешь, а я из-за двугривенного не обеднею.

Домна расторопно высыпала ему стоявший в раскрытом мешке стакан семечек.

— Может, еще?

— Куда столько?

— Угощать будешь.

— Кого? К барышням давно не хожу: уже старый.

— А о Наталье уже не думаешь?

— Ладно, давай еще стакан. Я не такой жадный, как у твоего батьки дети.

— Куда ты с веником от бани-то? — уклонилась Домна от шутки.

— К Килимову в гости.— Карп Иванович обвел добродушным

взглядом остальных старух, примолкших с явным сожалением, что такой сговорчивый покупатель достался одной Домне. — Пойду поговорю с ним, чтоб не обижал вас тут, на углу.

— Иди-иди. Он там только о нас и думает.

— Думает!

Карп Иванович заторопился от старух — их хлебом не корми, дай только поговорить. Тут уж до милиции каких-то тридцать шагов. В глубине базарной площади, в створе ворот уже видны были темно-зеленые верхушки сосен, стороживших на песчаном холме могилы тех, чей след затерялся в глубокой древности, и тех, кто лег в землю сейчас, в бытность Карпа Ивановича; на тротуаре возле милиции стояли, покуривая, два молодых милиционера, недавно поступивших на службу в органы после армии, сын директора школы механизации Сенька Справцев и Петр Ганночкин, как переименовали его фамилию по имени матери-одиночки Ганночки Рачковой, переселившейся в прошлом году сюда из деревни.

К ним Карп Иванович и подошел, подивился их молодым лицам, безукоризненно подогнанной новой форме — хлесткие парни! — приветливо, словно бы давно соскучился по ним, протянул руку сначала Сеньке Справцеву, затем Петру Ганночкину. Те, как бы согласуя свои действия, прежде чем обменяться рукопожатием, чуть пораздумали — все же они находились при исполнении служебных обязанностей и им лучше держаться на дистанции — и теперь молча ждали, готовые ответить на любой его вопрос, как ответили бы каждому, кто б к ним ни подошел и о чем бы ни спросил, — это их обязанность.

— Ну как жизнь молодая? — улыбнувшись под их прицельными взглядами — к чему эти официальности! — спросил Карп Иванович.

Сенька Справцев и Петр Ганночкин лишь ухмыльнулись.

— Как жизнь, спрашиваю? — настраиваясь на дружеский лад, повторил Карп Иванович. — Эх, мне бы ваши годы! Я б... Стоял бы вот так на тротуаре?

— А что бы ты делал? — свысока глянул Сенька Справцев.

— Батка твой вон кто? Всеми уважаемый в городе человек! Пользу какую приносит, а ты? Десять классов кончил, армию отслужил и дальше никуда. Стоишь тут, прохлаждаешься.

— Это уж мое личное дело, дядя.

— И тебя это касается. — Карп Иванович повернулся к Петру Ганночкину. — Мать твоя всю жизнь в колхозе проработала и сейчас не сидит сложа руки, хоть ей и положено отдыхать — заслужила. Тоже пользу еще дает — дома все дела поделает и скорее в столовку бежит, посуду моет. А ты фуражечку эту нацепил... Вот какой вымахал — до неба!

Петр Ганночкин застыдился больше всего, видимо, своего почти двухметрового роста — при его худобе и сутуловатости он выглядел нескладным парнем, и весь расчет был на форму; она-то и придавала ему хоть мало-мальски вид.

— Небось в колхозе быкам хвосты крутил бы, — с улыбкой прибавил Карп Иванович: он-то еще помнил, как раньше в колхозе в буквальном смысле быкам хвосты крутили. Конечно, в этой роли Петр Ганночкин выступать уже не мог теперь, когда и быки навсегда отошли в прошлое, в колхозе полно всякой техники, но вот на тракториста или комбайнера как есть сгодился бы. — Форму мог бы кто и другой надеть.

— Дядя, что тебе надо? — прервал его Сенька Справцев.

— Губите вы свою молодость, — добродушно продолжал Карп Иванович, как бы не замечая Сенькиного хамства. — Ни за что. До генералов тут вы все равно не дорастете, время упустите, поздно будет перестраиваться, в люди выходить, когда поменять захочется.

— На что намекаешь, дядя?

— А на то, дорогой племянничек, что хватитесь, да поздно будет. Не я ваш батька!

— Значит, нам повезло.

— Ну, это еще как сказать. Я на своего сына пожаловаться не могу.— Карп Иванович с внезапным чувством отцовской гордости подумал о Грише, до которого куда этим парням, ну что правда, то правда; потом уже спокойнее вспомнил о Васе и Динке, тоже подающим большие надежды.— И остальные не хуже других... Не важно, кто я, директор или сапожник. У нас все равны.

— Что дальше? — снисходительно посмеивался Сенька Справцев.

— А дальше я вот что скажу... Милиция — дело сурьезное, без нее не обойтись. А раз так, сюда должны идти люди знающие, с опытом, чтоб могли разобраться что к чему по справедливости.

— Дядя, ты кто такой?

— Я? Ну кто, как ты думаешь?

— Я думаю, во всяком случае, не министр внутренних дел.

— Верно, не министр, Сенька. Я больше — гражданин, хозяин своей страны. А потому я лицо заинтересованное — народ. И милиция у нас тоже народная, а значит, я имею право высказать о ней свое мнение открыто и прямо ей, милиции, в глаза, а она должна прислушиваться, делать так, как хочет народ, то есть вот я, все остальные... Вам народ доверил...

— Ну дядя! Ну даешь!

— А что, разве не доверил?

— Кто?

— Вот мы...

— Кто это «мы»? Ты, что ли? Когда я шел в милицию устраиваться, у тебя согласия спрашивал? Ты мне заявление подписывал? Я да Килимов решили!

— Килимову тож доверили.

— Кто? Опять ты, скажешь? Его сюда прислали!

— Но тому, кто его прислал, тож доверили. А те, думаешь, кто они? Откуда? Из таких вот, как я, ты... Из народа. Вот и получается, что все мы связаны одной веревочкой, виты-перевиты, из одного материала сделаны, только по разным полочкам расставлены. Кому какая полочка досталась, тут уж кто на что оказался способен.

— Ну ты, дядя, и расписал! Хочешь живых людей по полочкам разложить, как товар в лавке?

— Я про полочки в каком смысле? — попытался уточнить Карп Иванович, почуствовав в своих рассуждениях слабое место.— Чтоб каждый свою занимал, на чужую-то не залезал!

— А кто укажет, где своя, где чужая? Ты, что ли?

— На то глаза есть.

— А твои глаза где были, что ты сидишь там, в сапожной?

— То, что я там сижу, к этому не относится. С меня спрос другой: такое вышло мне время. Я о вас вот, молодых, говорю: не ошибиться бы...

— Не волнуйся, дядя, не ошибемся. Верно я говорю? — Сенька Справцев толкнул Петра Ганночкина, посиневшего на холоде.— Вот он уж точно не подведет.

Тот только еще больше ссутулился, теперь даже форма не могла скрыть недостатков его фигуры. Карп Иванович и сам начинал промерзать в старенькой телогрейке здесь, у входа на базар, откуда через открытые ворота задувало ветром. Уже темнело, и Карп Иванович, как бы подводя итог всему разговору, спросил:

— Ну так вы открыли уже?

Сенька Справцев не понял.

— Ну, этот... вытрезвитель,— промешкал Карп Иванович.— Хочу глянуть, как там...

— Ты разве в приемной комиссии? — посмеялся Сенька Справцев. — Забыли тебя позвать?

— Нет, — простодушно ответил Карп Иванович. — Уж больно интересно, еще ни разу не видел, что это такое. Там есть кто?

— В вытрезвителе?

— Нет, кто там за это дело отвечает. Я только гляну — и назад. И так вот с баней затянул. — Карп Иванович качнул перед Сенькой Справцевым хозяйственной сумкой с веником. — В последнюю очередь придется мыться... Ну так покажите, где он тут у вас...

— Петя, проводи его, — пожав плечами, сказал Сенька Справцев. — Погрейся.

Петр Ганночкин пошел вперед, Карп Иванович, неловко занеся покалеченную ногу, двинулся за ним в ворота. Заметив возле крыльца милиции «черный ворон» и мотоцикл с коляской, оглянулся назад, где остался Сенька Справцев: тот по-прежнему стоял на тротуаре, даже на таком холоде не теряя вышравки. Вот таким же он раскатывал по городу и на милицейском мотоцикле — прямой, со строго посаженной головой в оранжевом шлеме, в наглухо застегнутом прорезиненном плаще, — будоража спящие улицы во время своего ночного дежурства. Может, он, Карп Иванович, и напрасно советовал ему сменить профессию: парень с огоньком, старательный. А вот Петр Ганночкин, видно, не туда попал, привык в колхозе все вращающку и тут, в милиции, такую работу выбрал, что полегче.

Карп Иванович вошел вслед за ним в дежурную комнату, разделенную свежевыкрашенной перегородкой, повернул в боковую дверь. Здесь, в небольшом закутке, была еще дверь. Петр Ганночкин толкнул ее ногой и отошел в сторону — смотри, мол, ему не жалко. Карп Иванович осторожно, не переступая порог, просунул туда голову и замер, как будто заглянул в глубокий колодец. Правду говорили: комната здоровенная, окнами во двор, на окнах — железные решетки... Не убежишь! Места, конечно, на целый взвод хватит, если койки плотнее сдвинуть. А так комната как комната, ничего диковинного. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Он уже собрался пройти в нее, оглядеться по-хозяйски, чтобы рассмотреть обстоятельнее, но услышал, как сзади подошел Сенька Справцев, и обернулся к нему.

— Постой-постой! — потянув носом, насторожился тот. — А ну дыхни!

Карп Иванович глядел остановившимися глазами, все мысли у него в голове тоже остановились, застряв на одной: подчиниться Сеньке Справцеву или нет, признать его власть над собой или отвернуть?

— Дыхни, дыхни!

— Что дыхни? — смущенно улыбнулся Карп Иванович.

— А-а, ты, оказывается, пьян! — теперь нисколько не сомневаясь, воскликнул Сенька Справцев. — На улице я не разобрал: запах от тебя ветром относил... А ну-ка пройдем, дядя, сюда.

Он ловко втокнул Карпа Ивановича в дверь комнаты, что была рядом, крикнул девушке в белом халате, стоявшей в углу возле аптечки:

— Роза, дай-ка мне трубочку!

Так вот какой тут медицинский персонал! Роза Каравеева, старая дева, как все говорили про нее, мало задумываясь над причиной, ставшей на ее пути к замужеству: бог обидел ее внешностью, к тому же с детства пошли у нее по лицу какие-то болячки, что с ними она ни делала — не сходили. Роза и медицинское училище окончила — стала медиком только для того, чтобы избавиться от этих болячек. Уж где только она не работала: и в больнице, и в детдоме медсестрой, и школьным врачом, и кассиром в аптеке... Странно, что он, Карп Иванович, думал сейчас не о себе, а о Розе, пока она копалась в аптечке, пока что-то там нашла и, не поднимая головы, как бы пряча свое не-

красивое лицо, не направилась к ним. Послать бы Сеньку Справцева подальше: нашел над кем шутить! Шутить, да меру знай! Ровня ему, что ли?

— Дыхни сюда! — однако потребовал тот, выхватив из рук Розы стеклянную трубочку и поднося ее ко рту Карпа Ивановича.— Ну! Не тяни, дядя!

— Да ты меня что, за рулем поймал? Шофер я тебе? — начал шутливо выговаривать Карп Иванович, как бы сразу раскусив розыгрыш и готовый продлить удовольствие его зачинщику.— Это ты давай лови вон кто за баранкой, тем свою трубку под нос суй. На трассу ступай, а не возле милиции отираться...

— Давай дыхни, хуже будет!

— Да ты, Сенька, я вижу, и шутить-то не умеешь.

— Я тебе не Сенька... А товарищ милиционер! Дежурный!

— Ох и артист! Можно подумать, и вправду... Ну разыграл ты меня! Не ожидал от тебя... Молодец! Есть способности, только зря тут пропадают. Я же говорил тебе: ты себя еще не знаешь, может, тебе не в милиции работать надо, а в этот... в театр идти, на сцене выступать! Глядишь, еще каким-нибудь заслуженным станешь, тогда уж, будь добр, не забудь, кто тебе подсказал!

— Ты мне тут брось зубы заговаривать! — не меняя своего тона Сенька Справцев.— Последний раз говорю: дыхни! Не дыхнешь...

— Гляди-ка ты, как настоящий артист! Не знаю, что теперь тебе такого посоветовать. Ты уж сам гляди куда — на сцену там или в кино, может... Только в милицию, скажу честно, ты зря пошел, вот так! — Карп Иванович оглянулся на дверь, словно бы почуввав опасность, решил закончить по-серьезному: — Ну, спасибо, что показали мне... Буду теперь иметь представление. До свидания. Как говорят, с вами хорошо, а без вас еще лучше. А то моя банька там совсем остынет.

— Нет, дядя. Банька твоя подождет.— Сенька Справцев преградил ему дорогу.— Выкладывай-ка все из карманов! Ну, поживее!

— Ладно, пошутили и хватит,— давая понять, что ему это уже не нравится, проговорил Карп Иванович.— Тебе-то что! Есть время лясы точить, лишь бы скорее дежурство прошло. А мне некогда. Я же правда вот в баню иду.— Он приподнял в руке хозяйственную сумку с веником.— И бельишко тут...

— Давай-ка свое бельишко сюда.

— Не цапай! — Карп Иванович машинально дернул сумку к себе.

— Спокойно, дядя! — Сенька Справцев теперь запустил руку в карман Карпа Ивановича, выгреб из него горсть семечек, съпнул на стол.

— Ты что же, сукин сын, делаешь, а? — прохрипел от обиды Карп Иванович.— Чего по чужим карманам лазишь? Семечки это... Ногами по полу топчешь? Ты их выращивал? Деньги за них платил? Чего разоряешься тут? Сбесился, что ли? Я пришел к вам как к людям...

— Трезвым надо приходиться.

— А я что, пьяный? На ногах еле стою?

— Был бы в трезвом уме, не пришел бы сюда. Еще стал учить... И сейчас скандалишь. Забыл, где находишься?

— Что я, не имею права? — поперхнулся Карп Иванович.— Не имею права вам замечание...

— Не имеешь! В таком виде, в каком ты пришел, не имеешь.— И Сенька Справцев крикнул: — Петя! Составляй акт!

Тот молча выступил вперед.

— Давай его в душ!

Карп Иванович глянул на Розу Караваеву, отошедшую подальше, в глубь комнаты, к своей аптечке, как будто ее дело было сторона.

— И чтоб без фокусов.— Сенька Справцев мотнул головой, пред-

лагая ему пройти за Петром Ганночкиным.— Без истерики, дядя! Понял?

— Какой я тебе дядя? Племянничек мне нашелся! Ну-ка уйди с дороги! Только тронь, вот этой как двину! — Карп Иванович выставил вперед покалеченную ногу, неловко развернулся, норовя ухватить на ходу за ручки свою хозяйственную сумку.

— Ну ты! — встал перед ним Сенька Справцев.

— Ты мне не тычь! Мал ты еще, чтоб мне тыкать! Не дорос! Вот когда дорастешь, на германском фронте повоюешь...

— Петя! — снова крикнул Сенька Справцев отступившему было назад Петру Ганночкину.— Бери его и веди!

— Не дамся!

Но Карп Иванович не успел опомниться, как Сенька Справцев тут же, не дожидаясь Петра Ганночкина, крутнул ему руку.

— Что же ты, сволочь, делаешь! — вскрикнул Карп Иванович, но тотчас смолк, замирая в том положении, в каком диктовала ему внезапно пронизывающая суставы руки острая боль.— Пусты, вывернешь!— теряя голос, проговорил он.— Как же я работать буду? Нехристь ты этакий! С ума спятил?

Не в силах больше терпеть боль, Карп Иванович сделал шаг-другой туда, куда Сенька Справцев старался его направить,— в конец коридора, и тут понял, что сопротивляться бесполезно, что на этом деле не кончится, с ужасом представил, что же будет, если его обмоют и на всю ночь посадят в вытрезвитель, и стал просить:

— Сенька! Ты ж меня знаешь... Петя, и ты... Хлопцы! Ну вы ж меня знаете! Что ж это вы со мной? Сколько я там выпил? Отпустите меня, хлопцы!.. Ну что же вы, а? Мы ведь тут все свои.

Карп Иванович, сам того не желая, сопротивлялся всем телом, цепляясь покалеченной ногой за порог, выкрикивал что попало, уже не понимая, зачем он это делает, только себе во вред:

— А-а, вот ты какой! Вот ты что вытворяешь! Тут ты герой! А где надо, там тебя не видать! Там тебя днем с огнем не сыщешь! Где кто чего творит, ты не замечаешь. Где какая драка, ты — в кусты. Обойдешь стороной... А тут ты храбрый! Я это так не оставлю! Ты мне еще за это ответишь! Вызови сюда начальника милиции! Килимова! Я требую...

— Отпустите его, ребята,— подошла сзади Роза Караваева.— Ну за что вы его?

Но Сенька Справцев приложил последнее усилие — втокнул Карпа Ивановича в душевую.

— Петя! — придержав дверь плечом, крикнул он.— Помоги гражданину Зародному раздеться!..

Выпустили Карпа Ивановича только под утро, часов в семь — Петр Ганночкин открыл дверь, тут же посторонился, мол, выходи, при этом отвернулся, чтобы он мог одеться. А что ему одеваться? Он так и не прилег за ночь на кровать — не заснул ни на волосок, один на весь вытрезвитель, никого больше к нему не подсадили.

Карп Иванович прошел в дежурную комнату. В голове у него стоял тонкий звон от жуткой тишины: в милиции так рано, кроме Петра Ганночкина, не было ни души.

— Распишитесь.— Зайдя за перегородку, Петр Ганночкин подал ему бумагу.

В этой бумаге сухим протокольным языком излагалось, что гражданин Зародный К. И. был доставлен в милицию в нетрезвом виде, оказал работникам милиции сопротивление, сквернословил и всячески оскорблял внутренние органы, нанес младшему сержанту милиции Рачкову П. Н. при исполнении им служебных обязанностей телесное повреждение...

Дочитав до этих слов, Карп Иванович глянул исподлобья на тем-

но-синий кровоподтек под левым глазом Петра Ганночкина, обработанный, видимо, Розой Каравановой подручными медикаментами, заметил стыдливо опущенный взгляд его владельца, надвинувшего пониже на лоб фуражку, чтобы хоть как-то прикрыть фонарь, и ему захотелось забыть, выбросить из памяти навсегда ту унижительную сцену, когда он, развернувшись в тесной душевой, задел, нечаянно, конечно, локтем Петра Ганночкина, пытавшегося насильно раздеть его. Локоть, оказывается, угодил милиционеру прямо в глаз. И вот — «нанес телесное повреждение»...

Далее в протоколе указывалось, что все вещи, изъятые при обыске — перочинный ножик, хозяйственная сумка и нательное белье (одна пара), а также деньги в сумме восемьдесят одна копейка и полтора стакана семечек, — в полной сохранности возвращаются их владельцу. Иск о штрафе в размере пятидесяти рублей направляется по месту работы провинившегося для удержания из заработной платы. За нарушение общественного порядка, оказанное органам милиции сопротивление, нанесение телесного повреждения младшему сержанту милиции Рачкову П. Н. при исполнении им служебных обязанностей дело передается в товарищеский суд.

— Распишитесь, — повторил Петр Ганночкин, когда Карп Иванович, ознакомившись с этим документом, задержал бумагу в неславившихся руках. — И получите свои вещи.

Он протянул из-за перегородки хозяйственную сумку с дубовым веником, перочинный ножик, сыпнул из ящика стола несколько горстей семечек и около рубля мелочи — всю или не всю, он, Карп Иванович, не считал, могла и в щели закатиться.

Не поднимая головы, постарев за одну ночь, Карп Иванович потащился к выходу. Осторожно выглянул в дверь: у подъезда стоял только «черный ворон», мотоцикла с коляской не было, видно, Сенька Справцев куда-то на нем уехал. Погода была такая же, как и вчера, ничуть не потеплело; голая земля за ночь еще больше промерзла, в плотном сером воздухе кружились первые жесткие снежинки. Но, несмотря на ранний час и холод, уже кое-кто шел на базар; за торговыми рядами, нахохлившись, как старые вороны, сидели несколько женщин под теплыми поверх плисовых жакетов шальями.

И он, прячась за милицейскую машину, заторопился к воротам, но негибающая нога не подчинялась ему, не справлялась с темпом, какой диктовала ей душа Карпа Ивановича, — скорее скрыться с людских глаз. Только бы не столкнуться с кем-нибудь из знакомых здесь, у входа на базар.

За воротами огляделся: куда теперь? Вчера, уже часу в двенадцатом, он слышал через стенку, как в милицию приходили жена с дочерью, просили отпустить его домой — простить дурака старого, по характеристике, данной ему Натальей в угоду тому, от кого это зависело. Нет, домой сейчас хоть не показывайся.

Карп Иванович, озираясь, пробрался за Дом культуры в скверик; вытащил из хозяйственной сумки дубовый веник и бросил в канаву. Выбрал в глухом уголке лавочку, выждал на ней восемь часов и, прячась, задворками вышел к ресторану-столовой. Не ступеньки б эти, шмыгнул бы в дверь — и все, а то вот понаделали... Только с его ногой и подниматься по ним.

В ресторане-столовой, слава богу, еще не было никого, Фаина даже еще не повязала фартук, не успела стать за стойку и сильно удивилась появлению первого клиента в лице Карпа Ивановича. Что его с утра принесло? Не из-за тувель ли чего?

— Налей-ка мне, — хмуро, не глядя на нее, проговорил Карп Иванович.

— Дай хоть фартук повязать, — ответила Фаина, заходя за стойку. — Тебе чего, пива?

— Белой...

Фаина сразу стихла, затем осторожно, чтоб ненароком не обидеть, заметила:

— Я же с утра, ты знаешь, спиртным не торгую... Еще же нет одиннадцати.

— Налей!

Он поднял на Фаину глаза, и та увидела в них такое; отчего она еще больше оцепенела, затем без лишних слов повернулась к бутылке водки.

— Сколько тебе?

— стакан.

Фаина удивленно вскинула на него выщипанные брови: полный?

— В долг,— прибавил Карп Иванович тем же голосом, ни нотой выше, ни нотой ниже.

— Я тебе и так должна,— проговорила Фаина, как бы стараясь сгладить остроту момента, показала на отремонтированные туфли.

— То ты не мне должна — государству. И водка, кажись, тут не твоя собственная...

— Я за день выгадаю. А нет — свои внесу.

— И не вздумай! Я к тебе не побираться пришел. С полочки отдам.

— Ты ж заешь чем-нибудь,— сочувственно посоветовала Фаина и только теперь решилась спросить: — С чего это ты сегодня, Карп Иванович? Случилось что в семье? Или так отчего?

— Ничего, Фаня, ничего...

Ресторан-столовая уже жила своей обычной жизнью: хлопали без конца на тугой пружине входные двери, Фаина бойко переругивалась с заседавшими на нее любителями пива (скорее бы оно кончилось!), выбивала чеки на холодные и горячие закуски,— когда Динка отыскала отца за дальним столом в углу зала. Он еще был способен что-то сообщать, как только увидел дочь, виновато захолопал глазами, точно она стала свидетельницей его величайшего публичного позора, попытался выбраться из-за стола своими силами, вспомнил даже о хозяйственной сумке, затерявшейся у него в ногах.

— Папа! Что ты наделал? — бросилась к нему Динка.— Что ты наделал?!

— Ничего, дочь, ничего...

— Как я тебя, папа, просила... А ты сам опозорился на весь город и меня опозорил!

— Ну прости, дочь...

— Зачем ты туда пошел? Зачем?

— Я ж думал: свои люди... Хотел только глянуть...

— Все теперь смеются: Зародный первым вытрезвитель открыл!

— Я ж не такой, дочка... Ты ж меня знаешь... Сколько я там выпил? И я не так чтоб... Я ж по делу...

— А сейчас? Этим ты меня еще больше опозорил!

— Ну прости, дочь... Прости. Не думай ничего...

— Хорошо, хорошо! Только идем отсюда скорее!.. Ну идем! — Динка взяла у него сумку в одну руку, другой рукой старалась помочь ему удержаться на ногах, торопя его через весь зал к выходу, наталкиваясь на столы и стулья, растерянно глядя по сторонам и чуть не плача.— Тебя могли бы еще вчера выпустить,— помогая отцу сойти по ступенькам на тротуар, продолжала она,— когда мы с мамой приходили. Я и Ленку Килимову просила, чтобы поговорила с отцом. А он: «Понимаю, сочувствую, вхожу в ваше положение, но отменить не могу. Наш город невелик, завтра всем станет известно. Что нам скажут? Что мы прощаем в первый же день. Какой у нас после этого будет авторитет?»

Динка свела отца со ступенек и тут увидела спешившую им навстречу мать.

— Ах боже мой, боже! — проговорила она еще за несколько ша-

гов до них.— Что же это ты такое вытворяешь? Мы его домой ждем, с ночи не спим, а он вон что — не успел из милиции выйти, как опять...— Тут же подхватила Карпа Ивановича под мышки.— Хоть бы родной дочери постеснялся! Мало ему было вчерашнего, так и сегодня с утра зашел! Набрался и сидит себе, а мы за него переживай, где он и что с ним. Ах ты дурак такой! До седых волос дожил, а ума как у ребенка. И чего тебя черти туда понесли? Ну скажи вот на божескую милость? Чего ты там не видел? Что тебе там надо было? Думал, куда шел? Стал там доказывать... Кому? Справцеву! Кому ты хотел свое в голову вложить? Еще и в драку полез... Петру Ганночкину ни за что локтем двинул! Ганночка утром возле столовой встречает, крику на меня наделала: «За что это твой сына маво избил? Тюрьма ему будет!» Я уж ее и так и этак просить: «Ганночка ты моя милая, поговори со своим Петром как уж сможешь, нехай уж не обижается — простит дурака старого». Это хорошо, что люди такие простые — уважили. А то бы... Ох уж что дурак, так дурак!

Прохожие оглядывались на ее громкий, на всю улицу, голос, и Динка, краснея, просила:

— Мама! Ну не надо! Ну тише, люди же слышат!

— Нехай слышат! Люди и так уже все знают! Чего мне скрывать? Может, поумнеет! Наберется ума!..

— Ну мама!

— Я так и знала: что-то не так, куда-то он влез,— еще громче продолжала Наталья, толкая мужа перед собой.— Моя душа как чувствовала, что это добром не кончится. Будет во все нос свой совать, пока ему не прищемят. Ой, срам-то какой! И как его пережить?

— Он ведь не виноват, мама!

— Не виноват! Собирался в лес за дровами съездить, так съездил всего наделал! Георгий с трактором ждал-ждал, но батька наш как сквозь землю провалился! Вчера в милицию его занесло, а сегодня вот что утворил! Теперь куда ему в лес? Так его Бажен там и ждать будет! Опять иди проси, чтоб те дрова показал. Вот возьмет да откажет, когда узнает про все. Будем мы зиму мерзнуть. И ты, дочка, видела и не завернула его.

— Он сказал мне, что в баню идет.

— Во ему баня! — подхватила Наталья.— Вытопили баню, век будет помнить! Я еще дома такую ему баню истоплю!.. Я вам главного-то не сказала — Гриша с семьей едет!

— Правда? — обрадовалась Динка.

— Да вот надумался-таки... Молчал, молчал — и вот радость-то какая! Только ты ушла батьку искать, вот и Кирьяниха с телеграммой... Видно, отпуск дали.

Карп Иванович вдруг стал на дороге, уперся, как вол, не сдвинуть с места.

— Ты чего? — Наталья попыталась потащить за руку — ни в какую.— Ты глянь! Что тебе в голову щелкнуло? Ну пошли, не смей людей... Карп! Чи ты сразу сдурел? Что я тебе плохого сказала? Нешто неправда? Натворил делов, еще и слова ему не скажи — обиделся. Нам, думаешь, легко все это переносить? Ну идем, чего стал? Там, дома, все так брошено, еще прибираться надо. И сам хоть побрейся, чучело ты гороховое! Гости приедут...

— Да, папа,— подержала дочь.— Еще нужно выгладить тебе брюки, рубашку... Чтoб ты выглядел у нас перед Гриней молодцом.

— Нет, перед Гриней я... — продолжал упираться Карп Иванович.— Я перед Гриней...

— Ну что ты, папа! Гриня тебя и не узнает! Идем скорее! Идем! У нас мало времени.

— Ступайте, я один дойду. Не держите меня... Успею я с Гриней...

— Ну вот еще! Я тебя не понимаю!

— Что за шум, а драки нет?

Динка сначала услышала голос Гордея, потом увидела его самого, притормозившего велосипед в метре от нее, не смогла преодолеть страха перед дурной славой этого человека и попятилась к матери.

— Что,— продолжал Гордей, глядя на Карпа Ивановича как на забавное зрелище,— двое ведут, а третий ноги переставляет?

Тот было крутнулся в сторону от Гордея, но зацепился больной ногой за тротуар.

— Куда ты один рвешься-то? — Наталья подхватила мужа под руку.— Набрался, так стой! Головой дурной еще треснешься во об эту дорогу.

— Ты, Наталья, хоть и жена ему, а мужа своего не знаешь. А в этом деле,— Гордей, оторвав руку от велосипеда, щелкнул пальцем по бугристому кадыку,— совсем, видно, не петришь. Она, водка, только в радость хмельная. Мне сегодня утром Катя рассказывает и хохочет, аж заливается: знаешь, что наш Карп Иванович вчера учудил...

— Вам бы только зубы сушить,— оборвала его Наталья, удерживая мужа за руку.— Кому горе, а кому смех.

— Женам всегда горе, когда муж вышьет. Катя моя, бывало, тож...

— Да ты, я вижу, сегодня вот трезвый, Катя твоя спокойно дома сидит. А я вот его с утра по улицам тягаю. Еще тебя, черта зубастого, не видела, только не хватало тут на мою голову. Смеяться вздумал, сам хорош, всем известный!

— А я уже больше не пью.

— С каких это пор, со вчерашнего дня?

— Нет, точно — все, бросил.

— Надолго ли? До первого винного магазина?

— Нет, совсем завязал.

— С чего завязал-то? Чтoб не было вот так, как моему Карпу? Так умный и разумный, а тут — поперся!

— Таких, как твой Карп, один тут остался. И то теперь я не уверен.

— Будет знать, как... Вот до чего водка доводит!

— Да, и смех и грех. Это ему наука.

— Так вы и удержитесь! Вас, мужиков, вырезвителем испугаешь, как же! Приучитесь и вы обходить. Это ты сейчас таким смирным стал! День-два пройдет — и опять за свое.

— Вот будешь так говорить — не породнимся!

— С чего нам с тобой родниться? — Наталья притянула к себе дочь, словно хвалясь ею, с достоинством выставила грудь перед Гордеем.— У меня вот невеста растет, а у тебя кто? Один пес паршивый!

— Твоя невеста переросла,— нисколько не обиделся Гордей.— Хотел я вас с Карпом в кумовья взять, да, видно, придется других поискать.

— В кумовья? В какие кумовья? — насторожилась Наталья.— Неужто у тебя кто родился?

— Не родился еще, так родится!

— То не могла Катя родить, а теперь...

— Да, а вот теперь скоро родит!

— Правда, Гордей? — еще больше изумилась Наталья.— Не дуришь?

— Чего мне дурить-то? Вчера Катя к Слягиной, гинекологу городской больницы, на дом ходила.

— Вот так новости! Карп, ты слышишь, что он говорит? — Наталья обернулась к мужу, но тот боком, боком заноровил в переулок.

— Куда и хмель девался! И не догонишь тебя, черта хромого! — проговорила Наталья, хватая его за полы телогрейки.— Чего это ты побег так? Говорю, слышал новость-то?

— Вперед тебя еще... — не глядя на нее, буркнул Карп Иванович.

— И молчал!

— А чего говорить? Надо будет, так сам скажет.

— О как мужики! Только роди вам,— задыхаясь, продолжала Наталья. — Сразу на человека стал похож! И пить бросил. Захотел, так без ихнего вытрезвителя... Вовремя одумался. А мой во...

— Заладила!

Карп Иванович опять рванулся, теперь уж от жены.

— Еще и обрываешь! Ничего не скажи тебе.

— Ну правда, мама,— заступилась Динка за отца.

— Сам влез, а кто-то ему виноват,— не унималась Наталья. — Людей бояться стал. Больно ты им нужен! Они посмеялись и забыли, а ты себе места не находишь. Сам изводишься и нас изводишь.

— Ну хватит, мама! Как ты не можешь понять!

— Ну вот, я у вас с батькой еще и дура, ничего не понимаю. Спасибо, дочка, уважила мать.

— Ты хочешь, чтобы мы поссорились?

— Ну вот, давайте теперь меж собой грызться, чтоб с нас еще больше смеялись. Мало нам одного горя?

— Ну мама, перестань! Нам ведь Гриню встречать.

— Затыкай матери рот, затыкай! Думаешь, от Грини скроешь?

Они подошли к дому не скоро, уже молча, в сдержанной разобченности — Динка вырвалась вперед на своих длинных, мать за ней, стараясь догнать дочь, пойти вместе; последним, словно бы теперь способный передвигаться без посторонней помощи, совсем отстав, шел Карп Иванович. Он действительно уже протрезвел, но еще больше, как бы от этого быстро прошедшего хмеля, помрачнел и осунулся. Дом Ефима обошел огородами по нахоженной вдоль забора стежке, спустился к озеру возле городской бани — только столкнусь сейчас с ним, Ефимом, не будешь знать, куда и глаза спрятать. Даже если Ефим ничего и не скажет ему, от одной его ухмылки хоть сквозь землю провалиться; не он-то, Ефим, умеет без слов донечь кого хочешь. И не сразу — поиздевался и отстал, а растянет удовольствие надолго, будет отпускать малыми порциями изо дня в день, исподтишка, пока насладится вдоволь.

Карп Иванович вздрогнул, когда на другой стороне улицы мелькнуло платье Валерии Довжиковой. Ее или не ее, он не успел как следует разглядеть — тут же спрятался за угол. А что, если она? Кажется, она... Вроде бы и сама Валерия, если то была все же она, поспешно отвернулась от него, Карпа Ивановича,— сделала вид, что не заметила.

Он сунулся в переулок и совсем оторопел: прямо на него выскочила красная «Ява» — никак Алик Лысовский с обхватившей его сзади Аней куда-то уже намылились с утра... И приспичило же им в эту минуту!

Но парочка даже не глянула на него — пронеслась на мотоцикле мимо, и только тогда у Карпа Ивановича отлегло от сердца: вовсе это были не Алик и Аня, а совсем незнакомые ему молодые люди, неизвестно откуда взявшиеся тут, в этом переулке.

Карп Иванович облегченно вздохнул лишь возле своего дома, когда коснулся рукой калитки, не сразу нащупал щеколду, несколько раз впустую звякнул проржавленным металлом. А когда открыл калитку, перетащил через дубовый порожек несгибающуюся ногу, совсем размяк от навалившейся слабости, от сознания всего пройденного пути, почувствовав себя за воротами, как за баррикадой, под надежной, долговременной защитой. Он уже спокойно прошел двор, остановился перед крыльцом, на котором его ждала Динка — опередила, егоза, отца колченогого и рада!

— Папа! Скорее! Мы опаздываем!

Но Карп Иванович отказался ехать с дочерью на станцию, а более трех часов в волнении прождал гостей дома, придумывая себе занятие с таким расчетом, чтобы сын застал его за делом. Сначала

убрал во дворе мусор — навел как бы специально к приезду гостей порядок, — потом выстрогал дощечку, залатал ею давно образовавшуюся дыру в заборе, долго, врястяжку перекладывал в сарае с места на место всякий хлам, каждую минуту прислушиваясь к улице — вот-вот услышит приближающиеся к дому знакомые голоса, стукнет калитка...

Наталья же зажгла сразу все четыре конфорки газплиты, настряпала за это время на десять человек, уже все стало стынуть, когда Динка вернулась со станции одна чуть ли не в слезах — произошла, наверное, досадная ошибка, просмотреть она не могла, все глаза проглядела у вагонов за те три минуты, что поезд стоит на их станции. Да и сошли-то всего два человека — было пусто на перроне. Подошедший к поезду автобус подождал немного, и она, Динка, приехала на нем назад.

Наталья от досады заломила руки — кому она это все наготовила? Не жалко этой снеди, а душа изболелась ожидаючи, и вот на тебе — никто не приехал. Может, беда какая стряслась в дороге, чего доброго, поезд под откос сошел, бывает, что сходят же, хоть редко, а случается, только у нас не сообщают.

А Карп Иванович притих, затаил в себе преступную радость, подумал даже, что кто-то все же оберег его от неподходящей встречи с Гриней — избавил от унижения и позора, который выпадало ему пережить еще раз, теперь перед сыном. Нет, он не Наталья, чтобы думать о крушении поезда, это только она; сказано: баба, будет фантазировать, придумывать всякие страсти — где-то поезд под откос сошел! И придет же такое в голову несусветное! Чего тут гадать? Не приехал, значит, была на то причина. Что-то помешало там, на работе. А что могло помешать Грине? Яснее ясного что. Наметил ехать и телеграмму уже отбил, а тут тебе бах — важное дело, без него, Грини, никто такое дело не решит, один он может, потому что всех там главней, сам себе голова, спрашивать ему ни у кого не нужно, он сам с кого хошь все что потребуется спросит. По всей строгости закона...

И когда Карп Иванович уже совсем было успокоился, настроился на другую жизнь — отсидеться пока дома, — Наталья, устав строить всевозможные предположения, собралась послать Динку на почту позвонить Грине в Ленинград, как открылась дверь и вошел сам Гриня все такой же улыбчивый, полный сил и здоровья, на голову выше отца, настоящий богатырь, обоих их, родителей, мог стрести в охалку, приподнять одной рукой, переставить с места на место, как стулья, хотя никогда спортом не занимался, такой и родился силач; те, кто не знал, робели перед ним, обходили его стороной. А уж родителям не знать своего сына — год от года характером не менялся, только сесть почему-то рано стал, голова уже почти вся была седая.

Гриня, конечно, понимал: раз не приехал вовремя, как обещал, то все будут сейчас страшно удивлены. На этот эффект он и рассчитывал, тихо открыв калитку — никто и не услышал, — пройдя двор и встав на пороге с выжидательно-счастливой улыбкой.

Первой пришла в себя Динка, у родителей уже не та реакция — замедленная.

— Ой, Гриня! — вскрикнула она, бросилась ему на шею. — Ну ты и поразил! — только и добавила, когда брат перенес сестру через всю комнату и, любуясь ею, поставил перед собой на пол.

— Как я вас, а? — проговорил он, переведя взгляд на отца и мать. — Не ждали?

— Да уже и не ждали, Гриня, — откровенно призналась мать, выходя из оцепенения и как бы выждав свою очередь поздороваться с сыном. — Ждали-ждали да все жданки поели!

— Вот и я! — весело, стараясь передать всем свое настроение, проговорил Гриня. — Собственной персоной!

— Так и жизни решиться можно. Сердце-то сейчас у матери какое? Кто посильнее калиткой стукнет, оно и зашлось.

— Рассчитывал вчера выехать,— Гриня снизил тон, признавая, что он не учел этого,— да вот задержался в министерстве. Давать вторую телеграмму уже некогда было.

— А чего ты один? Мы ж думали, что ты всей семьей... В отпуск приедешь.

— Я ведь не в отпуск... Командировка подвернулась в Москву. Решил заодно домой проскочить.

— И надолго ж ты?

— Завтра назад надо.

— Так-так,— сразу приуныла мать. — А я думала: ты в отпуск, по телеграмме не видно... А ты, значит, всего на один день. Не можешь еще на денек-два остаться?

— Нет, не могу, мама. Дела.

— Когда уж ты... так, чтоб приехал, о делах не думал? Нельзя было там поручить кому? Ты ж там...

— Ну что ты, мама! Я не могу злоупотреблять своим положением.

— Оно-то верно. Как сам будешь делать, так и люди, на тебя глядя.— Мать согласно покивала.— Ну как же там невестка, внук?

— Все расскажу, мама, расскажу. Дай вот еще с отцом поздороваться.

Гриня в последнюю очередь подошел к отцу, как бы уже одним этим выделив его, с ходу обнял, стараясь прижать к себе не совсем поддающееся на ответный порыв туловище, торжественно под взглядами Динки и матери проговорил:

— Ну, здравствуй, отец!

Карп Иванович молча перенес объятие сына, его неуклюжий поделуй в щеку, затем в губы, тихо отступил еще на шаг в угол, где стоял до этого.

— А ты-то чего, отец, загоревал? — спросил его Гриня, настраиваясь на жизнерадостный тон. — Тоже решил, что я где-то в дороге пропал?

Карп Иванович глянул исподлобья на жену, та, конечно, поняла, что значил этот взгляд, и отвернулась к столу — смолчала, а Динка, не в силах сдержаться, зажала рот ладонью и выскочила из комнаты.

— Что со мной может случиться? — ничего не поняв, продолжал Гриня, вглядываясь в отца. — Я ехал в купе. У меня ведь броня. Чего вам за меня бояться? Уж ты-то, отец, должен был как мужчина...

— Да ему-то, отцу, сегодня... — не выдержав, повернулась было к сыну Наталья, но снова натолкнулась на встречный взгляд мужа и тут же смолкла.

— Тебе что, отец, нездоровится? Ты болен?

— Здоров! — опять не удержалась Наталья, двинув на стол тарелку со студнем. — Был бы здоров, если б не...

Дверь открыла Динка и, не входя в комнату, из-за порога, оставаясь в темных сенях, сказала:

— Папа, тебя зовут.

— Кто?

— Ну там, во дворе...

Карп Иванович проворно, несмотря на нестигающуюся ногу, метнулся из комнаты, глянул с крыльца — в сереющем сумраке двора не было никого. Он торопливо спустился по ступенькам, зацепив увечной ногой старое пустое ведро, которое Наталья использовала вместо корзины, прошел к калитке, открыл ее и увидел на лавочке сжавшегося в комок дядю Сеню.

— Это ты, Семен? — проговорил Карп Иванович, обрадовавшись банщику как самому дорогому гостю.

— Я — смущенно ответил дядя Сеня, показал на припрятанный за спиной сверток.

— Принес?

— Знал бы, так...

— Что знал?

— Ну, что у тебя гость.

— А-а... Ну так и что ж, что гость?

— Может, тебе некогда. Сын приехал, надо ж с ним это самое... Посидеть, поговорить.

— Найду время и на твои обутки. Ты-то сейчас в чем ходишь, все в валенках? — Карп Иванович глянул на ноги дяди Сени, но в темноте не сразу разглядел, во что он обут.

— Старые ботинки отыскал, на чердаке завалились, — пояснил банщик. — Еще ничего, выдержат, пока эти отремонтируешь.

— Ну вот! — еще больше обрадовался Карп Иванович тяжелому положению дяди Сени. — Значит, время не терпит.

— Ну так я пойду, — несмело поднялся дядя Сеня. — Не буду тебя отрывать...

— погоди! — Карп Иванович одернул его за рукав, снова усаживая на лавочку. — Посиди еще...

— Да я-то посидел бы, мне спешить некуда, — проговорил дядя Сеня, словно бы извиняясь, что и так отнимал у него драгоценное время. — А у тебя и гости, и я еще со своими шкуратами подлез.

— Ничего, ночь длинная.

— Что ж ты будешь ночь из-за меня прихватывать?

— Мне теперь все равно, что день, что ночь, хоть на глаза людям не показывайся, — с тяжестью на душе признался Карп Иванович. — Расскажи кому — не поверят. Вот история...

— Слышал, — после сочувственной паузы отозвался дядя Сеня. — И надо ж им так... Ну да ты наплюй и разотри. Языки почешут и на том успокоятся.

— Я понимаю. И рад бы, да душа вот...

— Да, душа дело такое, — старался теперь удружить дядя Сеня. — Душе-то не прикажешь... Душа пока не переболит, головой сколько ни маракуй... Голова, наоборот, только думает всякое, душе не в облегчение. Взять бы этого Справцева да самого туда. Вот тогда бы он подумал! А то ишь что утворил! А еще мое имя взял, тезка мне... Молодой, да ранний! Я ж его еще вот таким помню, от земли не отрос. И ты ж его должен помнить.

— Как же не помнить? Помню. Он уже тогда все куда-то рвался, — с облегчающей благодарностью за чуткость дяди Сени подхватил Карп Иванович. — Я всех тут от самой войны... На глазах моих росли, знаю где кто... А эти, Справцев и его дружки, сейчас воковымахаи, какие верзилы. Ничего не видели, ни войны, ни голодовок. Мы им подготовили. И они теперь...

— Герои, — добавил за него дядя Сеня.

— Замечание нельзя сделать... Больше нас с тобой знают. Погоны те понацепляли и думают — это все, выше тебя на три головы, могут порядки устанавливать...

— А сын знает? — перебил дядя Сеня.

— О чем? — насторожился Карп Иванович.

— Ну, что они тебя... Он быстро бы навел тут порядок.

— Нет, сыну... Грине чтоб ни слова, — поспешил отвергнуть Карп Иванович. — Грину сюда не надо вмешивать.

— А чего? Он бы им... Небось бы еще извиняться пришли. В другой раз никто и пальцем бы не тронул.

— Не-не, Семен! Моя Наталья на что уж языкатая, и то рот себе зажала. Это дело понимает. А Динка, дочь моя, ни за что отца... Ту так и резать будешь — не выдаст. Они у меня обе понятливые.

— Он ведь все равно узнает. Не твои, так люди скажут. Тут только стоит выйти на улицу.

От последних слов дяди Сени Карп Иванович нахмурился, потом глухо проронил:

— Гриня сегодня побудет, а завтра уедет.

— Чего так?

Карп Иванович только развел руками: мол, он человек занятой, у него свои дела, в которые он не посвящает, еще не каждому доверишь — об этом не спрашивают, даже он, его отец, и то воздерживается, хотя мог бы как у сына и спросить, а он, Гриня, ему ответить — не скрывать; но не лез с такими вопросами к нему и раньше, а теперь тем более повременит: ясно и так, сам соображай, какие у сына дела, раз ему их доверили, — важные, нельзя отложить ни на один день.

— Ну так я пошел, — снова засобирался дядя Сеня, словно бы почувствовав себя рядом с сыном Карпа Ивановича совсем маленьким человеком, не стоящим и его мизинца. — Приходи в следующую пятницу в баньку, я для тебя уж постараюсь. Выпаришься за два раза.

— Ну, что уж упустил, не наверстаешь, — смутился Карп Иванович от такого напоминания о бане, придержал дядю Сеню за рукав. — Сядь, не спеши.

— Я что? Было б тебе... А то хватятся — тебя нет.

— Да мне сейчас сам знаешь...

Карп Иванович смолк, услышав во дворе шаги.

— Уже идут, — установил дядя Сеня, поднялся с лавочки; знать, идет Гриня, заскучал, видно, там, в хате, без отца, ему, дяде Сене, тут больше делать нечего, он стесняется таких больших людей.

— Ну куда ты, Семен? — растерялся и Карп Иванович. — Оставляешь меня одного... Посидим втроем, потолкуем.

Но дядя Сеня и Карп Иванович просчитались — калитку открыла Динка, хотела что-то сказать отцу, но, увидев его с банщиком, воздержалась.

— Ну что там? — Карп Иванович кивнул назад, за калитку, откуда она пришла.

— Папа, можно к нам Ленке прийти? — все же решила дочь спросить при дяде Сене то, ради чего она отыскала его здесь, на лавочке.

— Какой Ленке?

— Килимовой.

— А чего ж нельзя? Раньше ходила.

— Она теперь боится.

— Чего ей нас бояться? Раньше не боялась.

— Ей сейчас неудобно за своего отца.

Карп Иванович примолк — наконец-то до него дошло, — сидел с опущенной головой.

— Нехай не выдумывает, — упавшим голосом проговорил он, — ходит. Чего ей за отца-то?.. Ее это не касается, мала еще. Это дело наше. И ты шибко-то не забивай себе голову.

— Так можно? — веселея, уточнила Динка. — Мы пластинки с ней вечером покругим. И Гриня послушает. Я мигом за ней сбегая. И Динка скрылась в конце темной улицы.

Уже поздно вечером за ужином Гриня, усевшись на свое любимое место — с торца стола, отодвинув его от стены, а получалось, что во главе стола, — открыл привезенную с собой бутылку «посольской» водки с нездешней, похожей на заграничную этикеткой и начал было разливать с отца, но увидев его опущенные, избегающие смотреть на рюмку глаза, осторожно, будто выискивая к нему подход, чтобы не поставить под удар того, от кого он все узнал, спросил:

— Ты чего, отец? Не пьешь, что ли?

Карп Иванович сразу понял, что он предан, и еще ниже опустил голову.

— Так что там с тобой,— теперь уж прямо, как бы наконец обретя по-домашнему привычный, застольный уют, спросил Гриня,— расскажи.

Карп Иванович исподлобья глянул на жену — та опустила глаза, притихла, ясно: уже рассказала, все-таки не выдержала, пока он сидел с банщиком на лавочке.

— Что произошло? — мягко продолжал Гриня.— Когда это случилось, вчера или сегодня?

— Ну расскажи! Чего ты сидишь надувшись, как сыч? — осмелев под защитой сына, проговорила Наталья.— Как тебя черти в ту милицию занесли?

— Мама! — Динка дала понять матери, что рядом с ней сидела Ленка, дочь начальника милиции, чтобы она, мать, выбирала выражения.

Но Гриня взглядом остановил сестру, предоставляя матери право первой, по старшинству, высказаться об отце.

— А чего вы все вокруг ходите,— еще жестче проговорила та,— обидеть боитесь? Кого, его? Уж как нашего батьку обидели, никто так... Ославили на весь город! Я Килимову сама прямо в глаза скажу, нехай он только мне встретится. И во дочка его нехай слышит, нечего ее стесняться. Если она неглупая, все поймет и на меня, старую бабу, не обидится. Как они с Динкой дружили, так нехай и дружат, ихнее еще все впереди. А я что думаю, то и говорю.

— Пойми, мама, ведь нетактично при его дочери,— не уступала Динка.— И не потому, что она моя подруга.

— Вам все нетактично! А им было тактично?

— Дело сейчас не в ее отце, а в нашем папе.

— Да уж я теперь вам ни во что не гожусь,— обидчиво дрогнул голос матери.— Что ни скажи, все не так. Сын во приехал, не успели за стол сесть, как завели. Дорога ему такая выпала и дома еще... Другого времени не нашли.

— Ну что ты, мама! Обо мне не беспокойся. Все нормально. Главное — отцу поднять настроение. Он у нас больше всех сегодня пострадал,— лукаво улыбнулся Гриня, стараясь вернуть разговор в прежнее русло.— Ему вот не повезло... Так ты, отец, значит, сам туда пошел?

— А кто ж его туда просил? — готовая повторить сыну все сначала, подхватила мать.— Самого черти понесли, никто его силком не тянул.

— А чего? — спрашивал Гриня, глядя на отца.

— А спроси его! — отвечала мать.

— Захотел посмотреть?

— Да поперся ж... Чего он там не видел!

— И забыл, что выпил?

— Да где ж забыл? И в голове не стояло! Привыкли так всю жизнь... Ходят куда захотят, не думают.

— И много ты, отец, выпил?

— Да где ж много? Каплю ту... — уже бойко отвечала мать, поглядывая то на сына, то на мужа.— Лесника кружкой пива угостил, чтоб дров дал.

— Дров? — немного удивился Гриня как человек, давно забывший в городе заботиться о топливе.

— Да вот прожились, в дворе — ни палки.

— Тебя, отец, ведь должны обеспечивать дровами.

— Должны, да вот иди возьми их! Если сам не позаботишься,— уже негодуя, ответила мать,— никто не вспомнит.

— Хорошо, я выясню.

— Выясни, выясни, Гриня! Нехай знают! Что и положено, а не достучишься.

— Ну так ты, отец, значит, выпил кружку пива и пошел глянуть? — набирал веселый тон Гриня. — А они услышали запах и тебя туда? Ха! — уже засмеялся он, не сводя с отца взгляда и как бы стараясь вызвать и у него смех. — Ну и батя! Прямо вот так, выпивший, и пошел к ним? Не ожидал я от тебя. Ох и уморил! Ох помру со смеху!

Заметив, что отец по-прежнему оставался хмур, Гриня убавил смех, спросил:

— И ты им поддался?

— Как же! Он уступит тебе, гляди! — опять ответила мать. — В душевую впихнули, он там и двинул локтем Петру Ганночкину, да прямо в глаз. Вот такой сразу синяк! Страшно глянуть.

— Ну, молодец! Молодец, батя! Так, значит, ему прямо в глаз? Метко! Ты еще ничего! Ничего, батя! Все же дал сдачи?

— Дал-то дал, так и они ж ему добра дали! Мало того что всю ночь продержали одного в такой холодине, так еще и бумажку вон составили, шутка сказать, на пятьдесят рублей!

— На полста рублей? — снова удивился Гриня. — Да, что-то многовато на первый раз.

— Может, за драку. Чтоб знал, как в милиции кулаками размахивать. Да еще в первый день, вот они ему и влупили. Чтоб и другие подумали.

— Ладно, отец, пятьдесят рублей я тебе компенсирую. Уплати им и на этом... — Гриня тут же полез в пиджак за деньгами.

— Не надо, — с трудом проговорил Карп Иванович, уже тверже повторил: — Я сам... Заработаю и выплачу.

— Но то твои деньги, а это мои. Возьми, заплати им сразу.

— Я своими...

— Ну какая разница, отец? Вот тебе деньги... Пока ты еще зарабатываешь.

— Подождут.

— Ну почему, отец? Почему бы тебе не заплатить сейчас? Меньше будет разговоров. На вот возьми, заплати им и ничего не выдумывай.

Карп Иванович молчал. Гриня глянул на мать — она моргнула сыну, тот понял ее, миролюбиво проговорил:

— Ну хорошо. На, мама, тебе эти деньги. Все равно из одного бюджета.

— Деньги-то деньгами, — принимая от сына помощь, со вздохом сказала мать, — судить же его собираются.

— Как судить? — насторожился Гриня. — За что тут судить?

— Ну, за эту ж... За драку.

— Этот... Как его?... В суд, что ль, подает?

— На товарищеский вызывают... Тож в той бумажке записали, чтоб на работе разобрали. Мало одного позора, еще и так хотят. На весь город осрамить. Как мальчика...

— Ну на это они пусть не рассчитывают, — сразу успокоился Гриня. — Деньги внесете, и хватит с них. — И он повернулся к отцу. — Так, говоришь, батя, хотел глянуть? Сам пошел? А они тебя... Ха-ха-ха! Ну ты этому... Ганночкину прямо в глаз? Молодец! Так и надо! Это по-нашенски! Не подкачал, батя! Не растерялся! Вот за это давай и выпьем!

Гриня налил отцу рюмку «посольской» водки, потом себе и поднял над столом.

— Ну так выпьем, отец, — повторил он, видя, что тот все еще медлил. — Выпьем за твое боевое крещение! В мирное время.

— Выпейте уж вы, не держите, — подтолкнула Наталья. — да за-

кусите хорошенько. Все голодные, пока дождалась гостя... И ты, сын, с дороги, наверно, ничего не ел. Наговоритесь еще.

— Папа, я поставлю пластинку,— сказала Динка, вылезая с Ленкой Килимовой из-за стола.

— Нет, как представляю... Это действительно смешно! — проговорил Гриня, закусывая.— Ты, конечно, не обижайся, отец, но меня до сих пор смех разбирает. Как это ты мог не подумать, пойти к ним?

Потом Гриня выходил на лавочку покурить, прогуляться по улице. Карп Иванович здесь же, где ужинали, чуть отодвинувшись от стола, взялся за ботинки дяди Сени, когда вошла Динка, проводившая Ленку, и сказала:

— К нам милиционер идет!

— Какой милиционер? — испуганно поставила глаза Наталья.

— Этот... которого папа локтем...

— А чего он к нам идет? Что ему у нас надо?

— Гриня пригласил.

— А где его Гриня встретил?

— На улице.

— Что он еще надумал?

— Не знаю.

— А у нас и со стола еще не прибрано! — засуетилась Наталья.

Но не успела она повернуться, как в сенях послышались шаги точно от нескольких пар ног, дверь в комнату открылась, и, подталкиваемый сзади Гриней, на пороге, пригнув голову, чтобы не задеть за дверную притолоку, встал высокий и на удивление худой Петр Ганночкин. Увидев неубранный стол с бутылкой «посольской» водки среди тарелок, а главное — пристроившегося здесь же с ремонтом обуви Карпа Ивановича, настороженный взгляд хозяйки, Петр Ганночкин остановился в дверях, надвинул пониже на подбитый глаз фуражку, точно ему резал после темной улицы яркий свет лампочки, невнятно проговорил:

— Здравствуйте...

— Здравствуйте,— отозвалась Наталья, глянув на мужа, который ничего не ответил позднему гостю, продолжал все так же копать в обуви.

— Проходи, Петя, садись,— пригласил Гриня словно старого школьного товарища и сам, не дожидаясь никого, придвинул для него к столу табуретку.— Садись, садись. Не стесняйся.

Петр Ганночкин присел к столу, хотел было снять фуражку, положить себе на колени, но, видимо, вспомнил про синяк под глазом и еще больше смутился.

— Ничего, ничего,— успокоил его Гриня, весело пошутил: — Пусть отец полюбуется на свою работу.

Он тут же сам снял с головы Пети фуражку, сказал сестре:

— Дина, повесь на вешалку.

Лишенный головного убора, Петр Ганночкин растерянно провел рукой по коротким рыжеватым волосам, точно поправляя их, хотя они были и так прилизаны, со свежим следом от фуражки, по ходу коснулся рукой подбитого глаза, собираясь то ли пощупать его, то ли прикрыть ладонью.

— Мама, чистую тарелочку,— распорядился Гриня.— И стакан.

— Мне скоро на дежурство,— слабо возразил Петр Ганночкин.

— Ничего. Мы уж с отцом... А тебе полагается штрафной. Что тут может на твоём дежурстве случиться?

— А вдруг?

— На это если рассчитывать... Ночью все спать будут. Да и тебе что делать? Ну, раз магазины проверишь, объедешь их все за пять минут на мотоцикле, остальное время в своей дежурке просидишь. Знаю это дежурство! Кому ты говоришь, Петя? Вот выпьешь этот стакан — и дело с концом! Пей, Петя, всю. До дна!

— Ну, с приездом...

Петр Ганночкин помедлил для приличия и, не отрываясь, под бдительным взглядом Гриня выпил.

— Бери закуску, все, что видишь.— Гриня пододвинул ему тарелочку с московской колбасой.— Небось у вас тут такой нет.

После стакана «посольской» водки Петр Ганночкин расслабился, посмелее стал брать закуску, потом совсем развязал язык.

— Вы не думайте,— проговорил он, оглянувшись на хозяйку дома, точно для него было важнее всего оправдаться перед ней,— я ж ничего, я ж не хотел... Если б я один был, а то с ним, Сенькой... Это все он, а я только...— Он теперь по-свойски глянул на Карпа Ивановича, на его склоненную над ботинком голову.— Вот он сам не даст соврать. Я только стоял, смотрел, а Сенька... Придрался...

— Так, Петя, все ясно,— остановил его Гриня.— Ты хороший парень.

— Я ведь должен был ему подчиниться, у меня ниже звание,— слабея от похвалы больше, чем от водки, спешил снять с себя вину Петр Ганночкин.— Если б у меня выше было!

— Выше, Петя, надо заслужить,— продолжал обласкивать его Гриня.— Не просто так... Ни за что звания не повышают.

— Да я что? Мне даром не надо, я по-честному...

— Да и я так же... Я ведь тебя, Петя, для чего пригласил? Ты, надеюсь, понимаешь, что мне ничего не стоит сходить завтра к Килимову, и он заставит вас со Справцевым перед моим отцом извиниться. Притом публично, перед всем городом. А после этого, как ты тоже хорошо понимаешь, ни о каком повышении в звании тебе нечего и думать. А то и погоны снимут, распрощаешься с формой. Справцев может открутиться, а ты нет, ты другой. Тебе придется тогда уйти. Звания получать, Петя, не с твоим характером. Говорю, ты хороший парень. Вот почему я пожалел тебя. Давайте вот с отцом выпейте мировую, и мы расстанемся с тобой друзьями.

Гриня быстро налил еще две рюмки — отцу и себе, Петру Ганночкину указал на его стакан:

— Петя, бери.

Тот, оглянувшись на дверь, молча поднял свой стакан, замер с ним в руке, стараясь не глядеть на Карпа Ивановича, еще ниже склонившегося над обувью.

— Отец, кончай.— Гриня подождал, кивнул на ботинки.— Что ты будешь сегодня этим заниматься? Брось ты, отдохни. Завтра доделаешь.

— Гриня,— вмешалась мать,— батька сегодня и так... Что вы с ним равняетесь? Выпейте сами, без него.

Сын сделал матери знак, чтобы она не мешала ему довести задуманное до конца.

— Ну, отец! Смотри, как надо.— Гриня первым чокнулся сначала с рюмкой отца, потом со стаканом Петра Ганночкина и показательно выпил.— Вот так! Давайте... Ну, подняли! Отец, бери. Выпей вот с Петей мировую — и на этом поставим точку. Будешь жить спокойно.

Карп Иванович не отозвался.

— Ты что, отец, не слышишь?

— Слышу... Поди, не оглох еще.

— Тогда поднимай свою рюмку, Петя тебя ждет.

— Хочет, пусть пьет, а я с ним...

— Отец, я тебя не понимаю,— даже Гриня стал в тупик: уж чего-чего, но отказа он не ожидал.

Петр Ганночкин опустил голову, теперь сидел, казалось, готовый вот-вот вскочить и уйти.

— Уж ты тогда объясни, пожалуйста, почему ты не хочешь с Петей мириться.

— Я с ним не ругался, не ссорился и мириться мне не из-за чего. А что по глазу попало, пускай не подставляет.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Гриня, показал на водку: — Осталось вам только закрепить дружбу вот этим делом..

— Кого слушает, с тем пускай идет и пьет.

— Кого он слушает? Справцева? Петя тебе ведь объяснил: Справцев его заставил.

-- Справцев еще что делать заставит — и он будет так..

— Тут ты, отец, не прав. Это служба.

— Служба! Служить тож надо своей головой, а не чужой. А раз своей нет... Человека из него не будет. Он что ж, и мать родную посадит, если ему прикажут?

— Карп, — воспользовалась неловкой паузой Наталья, — пригуби. Хоть пригуби, уважь человека. Что ты свой принцип ставишь? У них такая работа. Человек вот сам пришел к тебе, будь же и ты человеком.

— Да, отец, что уж тут такого принципиального? Тебе простили, и ты мог бы...

Карп Иванович сидел неподвижно, молчал.

И тогда Петр Ганночкин неуклюже, выбрав из-под стола свои длинные ноги, поднялся и, ни на кого не глядя, направился к двери, но вспомнил о фуражке, вернулся, резко надвинул ее на подбитый глаз и, пригнувшись, теперь очертя голову кинулся в низкую дверь.

— Что ты наделал, Карп? — замерла у стола Наталья. — Нету у тебя толку! Ну вот что теперь будет? Сын помирил, так опять... Гриня! Беги верни его!

— Гриня, сядь, — сказал Карп Иванович таким спокойным тоном, что сын тут же послушно сел, запустил пальцы в свои седые волосы, словно у него зачесалась голова. — И никто чтоб из хаты ни шагу, — добавил Карп Иванович. — Его еще учить надо, а вы мне тут...

— Может, ты, отец, и прав, — проговорил Гриня, как бы смирясь с напрасно потраченными усилиями. — Гляди. Только зачем тебе все это? Я ведь хотел как проще...



АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ



ОГНИ

Говорит себе: ну ладно,
Что ж, Луанда так Луанда,
Там красиво и тепло,
Шесть недель, куда ни шло.

Рев утробный самолета.
А вернется — вспомнит что-то:
Что же
Все же
Привлекло...

Разве только что на рейде
Зажигаются огни —
Раньше времени, поверьте,
Зажигаются они.

Габарит рыболовецких
Иностранных и советских
И торговых кораблей,
Обозначенный на рейде
Раньше времени, поверьте
(Но от этого светлей),
Желтым, синим и зеленым
Между вечером и днем
Преждевременно зажженным
Преждевременным огнем.

Не напрасно выли мили
И мелькали города.
Ничего прекрасней в мире,
Ничего опасней в мире
Не увидит никогда.

* * *

Они расставались, когда
С позором своим навсегда
Она примириться решала,
Решала, что я виноват —
Не муж, не любовник, не брат, —
И этим себя утешала.

Когда же с позором своим
Она подневольно простилась
И жизнь кое в чем упростилась,
Я стал ей и вовсе чужим.

А был я не муж, и не брат,

И не по призванью любовник —
Свидетель и, значит, виновник,
Я был перед ней виноват.

Свидетель всегда виноват,
А значит, и я перед нею.
Я был чем-то больше, чем брат,
И верного мужа вернее.

Свидетель побед и утрат,
Я был обречен на изгнание,
Поскольку виновен заранее,
Заранее был виноват.

Белая собака

Был снегопад восемь дней.
А потом и мороз наморозил.
Не разметешь, не протопчешь,
до соседней избы
не дойдешь.

Здесь не поможет ничем
не то что лопата —
бульдозер.
Весь Первояну-поселок
заставлен сугробами сплошь.
Разум и нищий инстинкт
пребывают извечно бок о бок,
И неизвестно чему
эта бездомная, слабая, тощая белая сука верна.
Ради того, чтобы жить,
от избы и к избе
в небывалых сугробах,
В непроходимых снегах
протоптала
тропинку
она.

* * *

С пятницы свадьбы.
И на радиаторах куклы распяты.
Возникновение семей —
и в зачатке распады.

В лестничных клетках,
предчувствуя гибель заране,
Блеют бараны.
Закланщик готовит закланье.

Улицы нежной
почти что отвесный пролет.
Ах, не газуйте.
Сегодня такой гололед.

Дом ЖСК недостроенный.
Стены пока что в лесах.
Судьбы влюбленных
качаются, как на весах.
Счастье семейное чается.
Брак заключается.
Но не в сберкассах,
а все-таки на небесах.

Ах, не газуйте.
Подъем лишь на малом газу
Можно осилить.
Машины скопились внизу.

«Волги» буксуют.
Подъем чавчавадзовский крут.
Что не забудешь
за несколько этих минут?

Что ты запомнишь?
Булыжник заснеженный. Наледь.
«Скорая помощь»
внизу начинает сигналить.

Монолог профессионала

У каждого свой болельщик.	Защитники ЦСКА.
У каждого игрока	Когда мне ломают шею,
И у меня, наверно,—	О ребрах не говоря,
И даже наверняка.	Мне больно — ему больнее.
	О, как я его жалею,
Он в кассе билет оплачивает	Сочувствую я ему —
И голову отворачивает,	Великому Хемингуэю,
Когда меня в борт вколачивают	Болельщику моему.

* * *

Ко второй половине дороги земной
 Не готовился я. Стихотворцу убогому,
 Заклейменному сызмала страстью одной,
 Не пристало готовиться к слишком уж многому.

Половина вторая почти что ушла
 На усмешку, на, в общем, смешные дела.

Пройден путь неожиданно. Краткий и длинный.
 Что припомнить из первой его половины?

Всевозможные пятна и радуги. Но
 Вспоминается внятно всего лишь одно:
 Был когда-то и я от людей независим,
 Никому не писал поздравительных писем.



ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР



УНИВЕРМАГ

Роман

1

В шесть часов вечера ключник универмага «Олимп» начинал обход на закрытие верхних этажей.

Припадая на сухую ногу, он шел вдоль чердачного коридора, куда выходили складские двери, и привычным движением откидывал висячие замки — проверял целостность контрольки. Должности ключника в Универмаге не значилось. Просто боец пожарно-сторожевой охраны. Но так уж повелось называть человека, ведающего замками Универмага, — ключник...

Могучее здание бывшего Конногвардейского общества, несмотря на многочисленные реконструкции, еще сохраняло аристократическую статью и в эти вечерние часы, опустевшее и тихое, внушало почтение своими многочисленными переходами, нишами, эркерами. Для каждой двери был свой ключ. Многие из них были еще тех времен — с сановитым латунным барашком над гербом общества. Но таких ключей становилось все меньше.

Коридор был узок — двум тележкам не разъехаться. На стене через равные интервалы горели лампочки дежурного освещения. Временами ключник ворошил ботинком груды бумажного мусора — тоже привычка, выработанная годами: не попала ли туда тлеющая сигарета. Говорят, что появились новые приборы — чуют дым задолго до возгорания, тревогу поднимают. Только когда еще их завезут в старый «Олимп»? Правда, люди судачат о коренной реконструкции Универмага, но при таком потоке покупателей любая реконструкция маловероятна.

В лицо пахнуло свежим воздухом. Опять забыли опустить фрамугу в среднем окне... Ключник высунулся наружу, оглядел распластанную внизу крышу: нет ли чего подозрительного? Лет пять назад в Универмаг проникли два парня. По гладкой стене взобрались, стервецы. И хотя бы взяли что путное — так, больше покуролесили на складах да тулупы унесли. Правда, тулупы сейчас в цене. За сторожевой «колокол», считай, три полные месячные зарплаты отваливают. Совсем народ сдурил. Скоро небось и стеганка в моду войдет, надо приберечь из тех, списанных. Если шурануть в сундуке, можно найти и совсем новые, ненадеванные. Выдают раз в два года, а он все одну таскает...

— Что, дед, кислородом запасаясь? — послышался голос за спиной.

Старик оглянулся, хоть он и так знал, кто это: дежурный слесарь-водопроводчик Леон, посторонние тут не шастают.

— Слава богу, кислород-то пока есть, — согласно промолвил ключник. — И в прежней цене.

— Сегодня в прежней, а завтра накинута.— Леон ухмыльнулся всей своей плоской веселой рожей.— Так что дыши, дед, пользуйся.

Они спустились этажом ниже, где размещались склады галантереи и верхнего трикотажа. Дух тут стоял плотный, парфюмерный.

— Чего лыбишься-то? — не выдержал ключник.

— Жизнь хороша, а будет еще лучше,— засмеялся Леон.— Два месяца как работаю в Универмаге, а все не привыкну.— Он хлопнул ладонью по сдвинутому к стене фанерному ящику. Их оставляли в коридоре: на складах не было места.— Мало ли народу ходит, а стенка тыфу, ткни пальцем — и подставляй карман.

— Мысли же тебя одолевают, парень.— Ключник откинул замок на дверях парфюмерного склада, осмотрел контрольку.— Всякое случилось, а чтобы когда из ящиков что стянули, не помню... И потом: сегодня ты меня подвел, завтра я тебя. В торговле так знаешь до чего можно докатиться?

— Понятно. Друг дружку за штаны держат.

— Понимай как знаешь.— Ключник был недоволен своим объяснением. Да и что он мог объяснить этому саблезубому малому?— Напрасно ты с такими мыслями сюда поступил.

Леон провел ладонью по холодной трубе распределителя — не подтекает ли. Кажется, сухо. Выпрямился, достал пачку сигарет, протянул ключнику. Тот отмахнулся.

— Как знаешь. Было бы предложено,— мирно проговорил Леон.— Значит, на доверии держимся?

— Шагай, шагай! — сварливо подхватил ключник.— Скоро дежурные пойдут по линии, а ты свои трубы не осмотрел. И сигарету погаси, не соображаешь?

Леон вскинул брови, словно подтянул лицо к падающей на лоб челке. Его обидели не слова, а тон.

— Не ори на меня, дед. Я на работе.

— Знаю твою работу. В Универмаг поступил, не куда-нибудь. Вы-году ищешь.

Слесарь покачал головой, насмешливо глядя на всклокоченного старика, на его круглые мышинные глазки, сдвинутые к переносице.

— Конечно, выгоду ищу. Трубы дефицитные по чердакам ласкаю.

Леон отошел... Старик и сам не знал, чего это он взъелся на парня. Вроде ничего, старательный. Трубы не текут, не тренькают, как раньше. Но чем-то не нравится ему этот чернявый.

Ключник двинулся дальше, продолжая негодовать сам не зная на кого. Недоволен он тем, что творится в Универмаге. Взять вчерашний день. Уломал себя, подошел к этой ведьме крашеной, Стелле Георгиевне, попросил сапоги для дочери. Не только не дала сапог, но еще и отчитала при всех. Конечно, кто он? Ключник. Не какой-нибудь туз, директор аптеки. Какая от него польза? А раньше-то не так было. Первым делом начальство заботилось о том, чтобы сотрудников своих обеспечить. Обеспечат раз, другой, потом и сам просить постесняешься. А сейчас? Так шуганут, что для простого «здрасьте» мимо пройти не захочешь: как бы чего не подумали... Теперь-то ключник вспомнил, с чего это он взъелся на Леона — при нем просил сапоги для дочери. При нем и отказали. А потом своими глазами видел, как Леон пронес в слесарку белую коробку, не пустую ведь пронес. Его-то Стелла не обидела. За какие такие добродетели, интересно?.. Да, трудно стало работать. И годы не те. Хватит, пора на отдых. Сколько он наскреб к старости, шастая по сусекам бывшего Конногвардейского общества? Шестьдесят три рубля в месяц. Во как! На пару сапог не хватит...

Вот какие мысли теснились в голове ключника универмага «Олимп», маленького человечка с сухой от рождения ногой, Болдырева Степана Лукича, шагавшего вдоль коридора чердачного этажа.

— От пачкуны, от нахалы,— пробормотал Степан Лукич, останавливаясь у склада москательных товаров. Дважды он пенял новому заведующему: смени контрольку, рваная она, порушенная. Хорошо, если все спокойно, а вдруг проверка? Серьезное нарушение режима!

Кряхтя и бранясь, Степан Лукич спустился в приемную директора к дежурному по Универмагу.

Сегодня дежурил главный бухгалтер Лисовский Михаил Януарьевич, мужчина плотный, страдающий одышкой. Но от дежурств Лисовский не отказывался — дополнительные дни к отпуску никому не мешают.

Михаил Януарьевич сидел за столом секретаря директора и ел бутерброд.

— Что, Степан Лукич, нарушение? — Лисовский вскинул голубые навывкате глаза.

— Нарушение,— вздохнул ключник.— Опять на москательном контролька порвана. Старую сажают.

— Распустились, дисциплины не чувствуют,— согласился Лисовский.

Он хотел еще что-то сказать, но отвлек телефонный звонок. Лисовский оставил бутерброд, поднял трубку, стал записывать какое-то сообщение. Ключник почтительно выжидал.

— Из пятого звонили. На две тысячи перевыполнили сегодня.— Лисовский причмокнул толстыми губами.

— Молодцы,— одобрил ключник.— Так, глядишь, и вытянем план. Как мы тот год закончили! Я с премии самовар электрический купил, век мечтал. Вот был год так год... Может, и сейчас бог даст.

Глаза Лисовского недобро прищурились. Но лишь на мгновенье.

— Вряд ли. Импорта нет. Где-то состав затерялся с обувью,— вздохнул он, снова принимаясь за бутерброд.— И трясти неоткуда. Все вытрясли под конец года.

— Плохо.— Ключник шмыгнул носом.— Может, еще найдется состав-то, не иголка.— И, спохватившись, воскликнул: — Приятного аппетита, Януарыч! Кушай на здоровье.

Главбух кивнул.

— У меня, Лукич, диабет сахарный. Пристального внимания требует. Вовремя не поешь — пиши пропало. Хлопотное дело.

— Да, хлопотное,— согласился ключник.— А у меня к осени нога ныть начинает, хоть режь... Как я погляжу, нет сейчас здоровых людей.

— Почему же? — возразил Лисовский.— Возьми директора нашего, Фиртича. Такой сучок, дай бог каждому.

— Константин Петрович? Ну этот да... Опять же лет-то ему сколько? Пятьдесят всего! А вот у меня знакомый есть: восьмой десяток разменял, а полюбовницу держит. Говорю ему: «Платоша», — его Платоном зовут,— говорю: «Платоша, откуда в тебе сил столько? Ты же мамонт, а не человек!» А Платоша мне и отвечает: «От этого силы и растут, Степан. Этим и держусь». То-то...

Лисовский аккуратно завернул остаток бутерброда в газету.

— То, что твой знакомый восьмой десяток разменял и полон сил еще, я как-нибудь напрягусь, поверю. А вот то, что он любовницу содержит, сомневаюсь, извини.

Ключник с размаху хлопнул себя по колену.

— Так ты, Януарыч, спроси, как его фамилия! Сорокин! Платон Сорокин он. Тот, кто на обувной фабрике коммерческим работал.

— Погоди,— встrepенулcя Лисовский.— Он же сидел.

— Когда это было! Еще при старых деньгах... Ну, отсидел свое, вышел... Что там полюбовницу — он, я тебе скажу, театр оперы-балета содержать сможет на припрятанное. Какой он тогда левак гвал!.. Да, голова у него — в этот шкаф не спрячешь.

Несколько минут главбух и ключник молчали, захваченные воспоминаниями.

— Ну что ж, Январыч,— спохватился ключник,— клади подпись на чистый лист. Пойдем наклеим на дверь москательного до утра. Не вызывать же кладовщика из дому. Я и свою подпись поставлю.

Лисовский придвинул бумагу и длинно привычно расписался. Расписался и ключник. Затем взял с подоконника конторский клей, провел по обратной стороне листа.

— Ступай один,— махнул рукой Лисовский.— Доверяю.

— Хо! У тебя одна рука другой не доверяет. Не знаю я тебя, что ли?

Ключник держал лист на весу. Капли клея янтарно натекли к краю — вот-вот сорвутся.

— Опасный ты человек, Степан Лукич.— Лисовский покачал головой.— Все-то ты знаешь.

— А как же! — воскликнул Болдырев.— Я ведь ключник. Ключник!

Лисовский втянул голову в плечи. Остатки рыжеватых волос венчиком легли на воротник потертого пиджака.

— Нет, Степан Лукич, не все ты знаешь, не все... Ступай ладь контрольку, доверяю.

Проводив взглядом ключника, Лисовский поднялся и не торопясь приблизился к окну... Над городом упирались в небо гигантские неоновые буквы, составляющие название Универмага.

Много лет назад в первом этаже Конногвардейского общества размещался спортивный магазин «Олимпийский». Со временем последние буквы этого длинного слова, что приходились на восточную часть здания, были свалены ветром. И горожане привыкли к более короткому и емкому слову «Олимп». Спортивный магазин давно превратился в солидный универмаг, а так и остался «Олимпом»...

Нет, не отвлек Лисовского от мрачных мыслей приход старого ключника. Наоборот... А все короткая служебная записка, что легла сегодня ему на стол. «Не убраться ли тебе на пенсию, Михаил?— думалось Лисовскому.— Хватит, всего ты хлебнул в торговой жизни. Пусть сами выгребают... Представляю лицо директора, когда он узнает о такой пилюле. Именно сейчас, когда этот честолюбец спит и видит свою фамилию, сияющую неоновыми огнями поярче, чем название Универмага. Юбилей затеял. А сам на пороховой бочке сидит...» Пять лет он работал с этим директором, а все не мог составить о нем определенного мнения. Нет, не пойдет он к Фиртичу на юбилей. Нет, не пойдет — ведь такой камень за пазухой держит. «Пусть веселится пока Фиртич, сил набирается. Завтра доложу».

Так решил Лисовский и облегченно вздохнул. Завтра не сегодня.

Тем временем к закрытию готовились и в торговых залах.

Сотрудники Универмага — продавцы, кассиры, уборщицы — казалось, менялись на глазах. Особенно девушки. Усталые, бледные, с прозрачными лицами и руками, они громко переговаривались, делились планами на долгожданные послерабочие часы, не обращая внимания на одиноких припозднившихся покупателей, чем-то все более становясь похожими на них, но все еще цепляясь за исчезающее превосходство, которое обеспечивал им прилавок старого Универмага... Иначе выглядели продавцы постарше. Те казались менее усталыми. Даже наоборот. Оживление их было деловым, напористым. Собираясь домой к своим заботам, они снисходительно, вполуха слушали разговоры младших коллег — когда-то и сами были такими..

Покупатели все чувствовали. Опытный покупатель перед закры-

тием Универмага избегает обращаться к молодой продавщице, если в поле его зрения есть продавец постарше.

Ажурные стрелки главных часов Универмага приближались к девяти вечера, когда в зале первого этажа появился старший администратор Сазонов Павел Павлович, по прозвищу Каланча. В отличном костюме, с торчащим из нагрудного кармана крахмальным платком.

Девушки из секции обуви, заметив администратора, поначалу опешили: казалось, только что Сазонов метался по залу в своем задрипанном пиджаке — и вдруг такая перемена... Прямая и плоскогрудая Татьяна Козлова вытянула шею. Но разглядеть получше администратора ей мешал покупатель, сутулый молодой человек с огромным портфелем. Татьяна даже встала на подставку для обуви.

— Вроде Каланча на свидание собрался, — заметила Татьяна.

— У него жена и сын, — лениво возразил ей голос из секции.

— Подумаешь, жена. Я тоже жена, — донеслось из кожгалантереи.

Девушки переговаривались громко, точно, кроме них, никого не было во всем Универмаге. Молодой человек с портфелем что-то шептал, растерянно уставив близорукие глаза в квадратики ценников. Наконец он набрался храбрости и что-то спросил.

— Господи, ну что вы никак не уйдете?! — бросила Татьяна. — Под самое закрытие прутся.

— Еще десять минут, — попытался защищаться молодой человек. — Я слышал, объявляли.

— Это когда объявляли! Десять минут как вы здесь топчетесь. — Татьяна повысила голос. — Чего надо-то?

— Тапочки, — едва слышно проговорил молодой человек.

— Борис Самуилович! — крикнула Татьяна. — Ваш!

Из-за ширмочки тотчас появился круглолицый коротыш с шарфом, обмотанным вокруг шеи. Казалось, что его вернули с полдороги.

Молодой человек перехватил взгляд Татьяны, направленный то ли на пожилого продавца, то ли на него самого. Холодный, презрительный взгляд высшего существа, разглядывающего какую-то малявку, само появление которой на земле явилось следствием нелепой случайности.

— Ладно, я завтра приду, — пробормотал молодой человек.

— Почему? — улыбнулся коротыш.

Молодой человек пожал плечами, указав подбородком на шарф.

— Ах это? Так у меня же горло простужено, — с радостью объявил продавец. — Что же вы решили купить? Тапочки? Размер?

Они о чем-то зашептались. Потом продавец отстранился от бледной щеки покупателя и сказал доверительно:

— Нога при вас? Тогда о чем мы думаем?

Парень заторопился к кассе. Татьяна ехидно заметила:

— Вам бы, Борис Самуилович, попом работать. Всех ублажаете.

— Вот попом, Танечка, я бы никак не смог, — с нажимом ответил пожилой продавец. — И еще, Танечка... Знаете, кто этот молодой человек? Он физик, Танечка. Кандидат наук. Видимо, башковитый парень. Жаль, что вам этого не понять.

Татьяна смерила продавца взглядом, горящим тихой и нерастроченной злостью. Тот хотел что-то добавить, но резкий звонок оповестил о закрытии торговых залов универсама «Олимп».

К этому времени, как обычно, ключник Степан Лукич Болдырев доложил администратору о том, что им, Болдыревым, сданы на пульт охранной сигнализации все три верхних складских этажа. Можно приступать к осмотру на закрытие торговых залов.

Сазонов кивнул, оглядывая сотрудников, спешащих к главному выходу. Мало кто из них шел с пустыми руками. У всех какие-то свертки, пакеты, сумки...

— А что, Пад Палыч, сегодня никак дефицитом торговали?— почтительно спросил Болдырев.

— Было что-то. Сапоги вроде.

Ключник шмыгнул носом и насутился от обиды. Выходит, не для всех обязателен приказ о том, что продавцы не имеют права покупать дефицит в свою рабочую смену...

А сотрудники все шли и шли. Поток их направлялся к главному выходу Универмага, минуя Сазонова, минуя четверку милиционеров, минуя Лисовского, присутствие которого как дежурного на закрытии было обязательным. Главбух стоял, подперев обширной спиной колонну, и, казалось, дремал, прикрыв дряблые веки.

— Послушайте, Сазонов,— устало проговорил Лисовский,— что это вы так нарядились? Блестите, точно новенький брандспойт.

Сазонов не сразу решил: обидеться или нет? Однако опыт подсказывал, что не стоит обижаться на главбуха, потом это оборачивается неприятностями. Сазонов улыбнулся.

— Собрались чествовать директора? — опередил его главбух.

— А вы не собираетесь к Фиртичу? — вежливо осведомился Сазонов.

— Нет, не собираюсь. Устал. А вы не устали?

— Но он же приглашал,— растерялся Сазонов, словно его уличили в чем-то предосудительном.

— Нет, нет,— проговорил Лисовский.— Интересуюсь... А вот ваша сестра Шурочка не пошла бы. Я так думаю,— с нажимом добавил главбух.

«С чего это он вспомнил Шурочку? — подумал Сазонов.— Неужели она подала свою докладную?» Ведь он просил ее не делать этого... Ай да Шурочка! Такую бомбу подложить всему Универмагу. Да еще в день юбилея директора! А зачем? Сазонов знал этот мир, обжигался, да еще как. В больнице отлеживался с сердечным приступом в тридцать два своих года. Хороший был урок. Они же горой стоят друг за друга. Что Лисовский, что директор... Какая она наивная, его сестра! Но злости на нее Сазонов не чувствовал. И даже не удивлялся ее поступку. Он хорошо знал свою сестру, бухгалтера.

Главный администратор обернулся к поредевшему потоку сотрудников. Вероятно, его движение было слишком резким и не так истолковано. Одна из проходящих девушек — это была Татьяна Козлова из обувного — дерзко распахнула и протянула навстречу администратору сумку, набитую рулонами туалетной бумаги.

Девушки, идущие рядом с Козловой, зашикали: чего лезть на рожон! И так известно, что несут сегодня из Универмага. Вон у тетки из канцтоваров рулоны на веревку нанизаны. Через плечо висят, словно пулеметная лента. Подумаешь, не сапоги ведь, смешно даже. А в городе с туалетной бумагой перебой.

— Не зарывайтесь, девушка,— строго осадил ее Сазонов и добавил: — Я и так знаю, что у вас в сумке.

— Не сомневаюсь.— Козлова щелкнула замком и подмигнула белобрысому милиционеру.— Агентура работает.— И вышла из Универмага.

Пожарно-сторожевая охрана начинала обход с верхнего этажа. Группа из трех человек последовательно обходила все отделы и секции, освобождая ответственных по закрытию,— всё, после охраны уже никто не должен находиться в торговых залах.

Сазонов дал знак милиционерам — они разошлись по двое к каждой половине высоченных крепостных дверей. Ржаво скрипя, сомкнулись створки. Растянулась узорная решетка-гармошка. Степан

Лукич особым, отдельно хранимым ключом поставил последнюю точку. И сразу же глубокий аквариум Универмага наполнился плотной, пронзительной тишиной. Казалось, и город вымер, отсеченный толстыми, метровыми стенами старой кладки.

Сазонов дождался, когда возвратится пожарно-сторожевая охрана.

— Все нормально, Павел Павлович,— оповестил старший группы.— Нигде никого. Смело могучим ураганом.

— Собак привели? — для порядка спросил Сазонов — он и сам уже видел собаководов.

— Так точно,— ответил старший.— В тамбуре дожидаются.

Теперь можно покидать торговый зал и сдавать его на пульт охранной сигнализации.

Первым двинулся Лисовский. Следом потянулись остальные, не отставая и не забегая вперед — все должны быть на виду друг у друга. Инструкция! Конечно, товар в открытой выкладке...

Лисовский взял под руку Сазонова и склонил к нему свою крупную голову.

— Что вы дарите Фиртичу на юбилей? Не дефицитную бумагу?

Сазонов пожал плечами. Вопрос его обескуражил. Кому какое дело, что он дарит директору на пятидесятилетие!

— Не дарите дорогих подарков, приятель. Скромно. С достоинством. На фоне подношений Фиртичу это будет куда заметней. И выгодно вас отличит: человек знает себе цену, не лебезит. Значит, уверен в себе... А богатым подарком этих людей не удивишь. Тем более Фиртича. И вообще, скажите, Павел Павлович, зачем вам идти на юбилей?

Сазонов озадаченно взглянул на плохо выбритое широкоскулое лицо главбуха.

— Почему мне, собственно, не идти? — через силу улыбнулся он.

— Конечно. Вам как молодому человеку... Сколько вам лет?

— Тридцать два.

— И уже главный администратор «Олимпа». Карьера! Хотите совет? Я сейчас добрый, я иду домой... Так вот, Павел, поверьте старому торговому волку: не спешите завязывать дружеские отношения со своим руководством. Может возникнуть ситуация, когда вы доверитесь дружбе и не сможете отказать начальству. Отношения с начальством должны быть официальными и только официальными. Я сорок лет в торговле и кое-что понял... Чему вы улыбаетесь?

— В вас слишком глубоко сидит бухгалтер, Михаил Януарьевич.

— Бухгалтер, молодой человек, сидит в каждом из нас,— усмехнулся Лисовский и толкнул дверь служебного тамбура.

Три овчарки стремительно вскочили с пола, где они дремали у ног собаководов Алтунина.

— Лежать! — скомандовал Алтунин.

Псы нехотя подломили лапы.

— Откормил же собак, Алтунин,— произнес Лисовский.

— Кушают собачки,— согласился старик-пенсионер.— Говорят, с Нового года другие оклады пойдут. Врут небось?

— Врут, Алтунин. И так хватает. Вон зады отрастили.

В Универмаге не было своих собак, приходилось нанимать на стороне. Собаки Алтунина славились свирепостью и умом.

— Хватает,— хмыкнул собаковод и покачал головой.— У вас, бухгалтеров, всегда хватает. Только своей зарплаты не хватает... Да ты понимаешь, Януарьич, что такое служебная собачка? Настоящая. С экстерьером. А ты нам пятнадцать рублей на морду в месяц кидаешь. Отчего они гладкие? С твоих денег, думаешь? Свои докладю... Ты посчитай, какую они тебе прибыль приносят, добро стерегут. Им из золотых мисок есть надо, а ты? — Собаковод замолчал, поджав губы.

— При чем тут я, Алтунин? Статья есть. Тебе сорок пять, им пятнадцать на морду. Статья! При чем тут я? Все вам бухгалтер виноват!

Лисовский не на шутку обиделся — и это на него вешают: собачек обделяет. Он отвернулся и угрюмо засопел.

— Не нравится — скатертью дорога. Вчера один аспирант приходил наниматься. Возьмите, говорит, мою собачку. Медаль у нее, обучена.

— Хо! — воскликнул Алтунин. — Погляжу я на этого аспиранта. Лоботряс, видно... К девяти вечера ставь собачек, в шесть утра снимай. Без выходных, без отпусков. Погляжу я на него, на аспиранта вашего. Нашел себе заработок, на собаках хочет в науку въехать. — Алтунин рассердился не на шутку. — Ладно! Болтать тут с вами. Пора торговый зал заряжать... — И, подняв собак, покинул служебный тамбур, демонстративно сторонясь Лисовского.

Следом вышли ключник и боец охраны.

Этим закончился обычный трудовой день универмага «Олимп». И таких дней в году более трехсот. Ведь приходилось иногда и по воскресеньям заниматься своим будничным делом — торговать.

2

Большой банкетный зал ресторана «Созвездие» размещался под прозрачной крышей нового здания, и когда пригасали верхние светильники, казалось, что зал и вправду взлетал в звездное небо. Только горящие в стороне и выше неоновые буквы универмага «Олимп» разрушали иллюзию, сбивая спесь с напыщенного «Созвездия».

Универмаг был вне конкуренции. И большой город, который окружал его — со своими домами, заводами, театрами, пристанями, вокзалами и аэропортом, со своей мыслью, духом, вкусом и характером, — казалось, существовал лишь в связи с тем, что существует «Олимп». Конечно, нельзя утверждать, что в городе был один Универмаг. Их было много — крупных и мелких, новых и старых, выстроенных еще до войны, а то и до революции. Но «Олимп» был один!

И директор «Олимпа» был один — Фиртич Константин Петрович.

Невысокого роста, спортивного сложения. Гладкие, с седой прядью каштановые волосы разделены точным кинжальным пробором. Широковатый нос придавал лицу жесткое выражение, но глаза, серые, странной, почти прямоугольной формы, смягчали это выражение. И располагали к себе собеседника.

Сегодня, в день своего пятидесятилетия, директор Фиртич снял банкетный зал у другого директора — директора ресторана «Созвездие» Кузнецова...

До прихода гостей оставалось четверть часа.

Почтительно придерживая Фиртича за локоть, Кузнецов направлялся к своему кабинету. Они уже успели перекинуться общими фразами, обменяться новостями. Настал момент решить какие-то свои вопросы.

— Послушай, Костя, мне шерсть нужна голубая. Метров триста. Персонал приодеть. Поможешь?

— Универмаг по перечислению не отпускает, Аркадий.

— Поэтому я и обратился к тебе. — Кузнецов тронул за локоть своего гостя.

— Ладно, будет тебе шерсть. Время выбрал подходящее, хитрец. Добрый я сегодня. Позвони, напомни.

Фиртич все решал быстро и самостоятельно. Хозяин, что бы о нем ни говорили. А говорили о нем разное.

Вошли в просторный и уютный кабинет с высокими, под старину латунными канделябрами и темными обоями.

— Хорошо у тебя,— одобрил Фиртич.— А у меня — сарай с зеркалами.

Кузнецов достал из бара бутылку с роскошной этикеткой, коротким движением скрутил пробку. Коньяк тяжелой струйкой плеснулся в рюмку. Фиртич сделал маленький глоток и прижал язык к нёбу, наслаждаясь терпким коньячным духом.

— Думаешь, зачем я тебя заманил в свой кабинет? — спросил Кузнецов.

— Не без этого,— кивнул Фиртич.

— Слышал я, Константин, что ты всерьез задумал повозиться в своей лавке.

Фиртич окинул Кузнецова летучим взглядом. С чего это вдруг директор ресторана заговорил о том, что более всего заботило Фиртича в последнее время?

— Слышал, слышал.— Кузнецов провел мясистой рукой по коротко стриженным волосам.— Ко мне разные люди заходят, сам понимаешь.

— В наших делах не играют в жмурки, можно лоб расшибить,— обронил Фиртич.

— Ну, Табеев говорил, директор универмага «Фантазия»... Мол, в управлении выделяют средства на новое оборудование. А ты все деньги хочешь уволочь на свой холм, других с носом оставить.

— Не деньги, Аркадий Савельевич, а валюту. Разные вещи... Хочу импортное оборудование поставить в «Олимпе».

Кузнецов присвистнул.

— Фанаберия, Константин. У тебя антиквары рот разевают.

— Мышами пахнет.

— Потому у тебя в Универмаге пахнет, это верно. Теснотища.

Фиртич подобрал ноги, обхватив руками колени.

— Понимаешь, Аркадий, мне необходимо получить всю валюту. Всю! Хочу соорудить первоклассный Универмаг. Никто из них — ни Табеев, ни Павлов, никто другой ничего не сможет сделать. А у меня зуд, Аркадий. Я коммерсант. И хочу делать свое дело широко. Нужна коренная перестройка, а не текущий ремонт. Я бы отгрохал универмаг, Аркадий, я бы отгрохал такой универмаг...

— Изба красна не углами,— усмехнулся Кузнецов.

— И пироги будут. Я бы не слезал со своих поставщиков. Стинул бы появился. А то посмотришь на эту теснотищу, на зеленых без воздуха продавцов... Иной раз радуюсь, когда нет приличного товара. Спокоен, что никого не придавят в моей крепости.

— Мало прекрасных универмагов? А чем торгуют? Смотреть тошно.

— Положим, ты в магазины не заглядываешь. Все сюда приносят...

— Представь себе, и заглядываю,— обиделся Кузнецов.

Фиртич давно отметил одну черту человеческого характера: нередко проходимцы и ловкачи искренне болеют за дело, против которого, казалось бы, направлена их кипучая деятельность... Таким был и Кузнецов. Человек умный, он не слишком злоупотреблял своим положением. Знал границы дозволенного и старался не переступать их. Прекрасно владея искусством балансирования, Кузнецов всегда выходил сухим из воды и в то же время ни в чем не нуждался.

Фиртича в компании подобных людей всегда подмывало спросить, сколько же в месяц они имеют, понимая, что подобный вопрос может быть задан и ему. А искренний ответ, что он, директор «Олимпа», живет на зарплату, вызовет у этих людей ухмылку.

Человек практичный и дальновидный, Фиртич, однако, принимал условия их игры. Он хорошо одевался, бывал в ресторанах. Не забывал и о саунах, когда там собирались люди его круга... Лучше плыть по течению. И в то же время удить в

этой реке свою рыбку. Но надолго ли его хватит? Устал он, очень устал...

— Слушай, Константин,— произнес Кузнецов, смакуя коньяк.— Я могу тебе помочь с иноземным оборудованием... Скажи, Гарусов способен влиять на решение этого вопроса?

— Еще бы! Начальник отдела организации торговли.

— Начальников много. Он вес имеет?

— Тонны две, не меньше,— усмехнулся Фиртич.

— Беру Гарусова на себя, Костя.

Фиртич с любопытством посмотрел на Кузнецова. Этот пожилой мужчина в мешковатом костюме обладал огромными связями. Однако какая корысть Кузнецову заботиться о Фиртиче? Не из тех он людей, которые что-либо делают просто так... И зачем ему, Фиртичу, повязывать себя с этим человеком? К тому же вопрос размещения заказов будет решаться на сессии исполкома. А там наверняка найдутся люди, которые поймут, что лучше все средства сосредоточить в одних руках и сделать крупное дело, чем распылить по нескольким магазинам в погоне за сиюминутным эффектом. Тем более «Олимп» — партнер солидный. На прекрасном счету. Таких успехов достиг в прошлом году, переходящее знамя министерства не пустяк в их торговом деле.

— Нет, Аркадий. Повременю. Не вижу резона обращаться к тебе за помощью,— твердо ответил Фиртич.— Сам справлюсь. Спасибо.

Кузнецов опустил рюмку на стол.

— Гляди, Константин... Вспомнишь о моем предложении — звони. Только не затягивай особенно. Потом мне трудно будет. Сейчас самый подходящий момент, поверь. Самый! Другого такого момента может и не быть...

В коридоре Фиртич остановился у зеркала, оглядел себя. Тронул пальцем едва проступающий на щеке рубец — след автомобильной катастрофы. Поправил торчащий из кармана платочек.

Перед входом в зал у окна на низком диванчике сидела женщина с короткой темной челкой над яркими синими глазами. Узкие покатые плечи охватывал белый атлас длинного платья, из-под которого виднелся сиреневый носок туфельки. Она вскинула навстречу Фиртичу длинные руки и поднялась, вышривив стройную, сдержанно полнеющую фигуру сорокалетней женщины. Фиртич подхватил ее и, склонившись, поцеловал в губы. На мгновение он уловил тонкий привычный запах, который не могли перебить духи: запах родного тела. Он женат более двадцати лет, но этот запах будоражит его до сих пор... Жена это заметила и тихо засмеялась.

— Костя, Костя, ты неисправим. Тебе уже пятьдесят, а ты все не угоманишься.— Елена прошла вперед, увлекая за собой Фиртича.

Появление Фиртича с женой собравшиеся в зале встретили разноголосьем шуток, поздравлений, приветствий... Сотрудники орготдела Универмага во главе со своим начальником энергичной Клавдией Алексеевной Мезенцевой взяли на себя хозяйственную сторону банкета. Мезенцева так повела переговоры с администрацией ресторана, что та сама предложила закупить все спиртное на стороне и загодя занести в ресторан. Администрация это делала, естественно, без особой охоты. Но Мезенцева не даром столько лет работала в Универмаге. Стол обошелся значительно дешевле, чем рассчитывал Фиртич.

Разыскав разгоряченное лицо начальника орготдела, Фиртич подмигнул ей — с самого начала у него завязались с этой женщиной добрые отношения. Деловая Мезенцева была неплохим специалистом и понимала директора с полуслова... Фиртич отметил про себя, что Клавдия Алексеевна усадила рядом с собой Полозова, первого заместителя начальника управления. И вообще все

сотрудницы орготдела опекали кого-нибудь из приглашенных начальников. Лишь Гарусов расположился в отдалении. Рядом с ним сидела блеклая крашенная блондинка с капризным лицом — его жена. Там же сидели и родственники Фиртича: тетки, дядя. Родители Фиртича умерли давно, и его с младшим братом воспитывала мама на сестра тетя Варя... Брат, профессор-биолог, жил в Ленинграде и специально прилетел на юбилей. Жаль, сын Саша не смог прилететь — в институте у него какие-то сложности. Саша учился в Москве в Авиационном институте.

Брат был похож на Фиртича, только тоньше, нежней лицом. Сейчас он — уверенный в себе, с иронической улыбкой — выжидал, когда схлынет возбуждение первых застольных минут.

— Я прошу поднять бокал за Константина Петровича Фиртича, человека, не лишеного недостатков, человеческих слабостей, но доброго, умного. Сегодня он переступил порог своего пятидесятилетия. И я хочу выпить за главное. — Виталий Фиртич обвел взглядом гостей и задумался. — Считается, что главное — здоровье. Неправда. Главное другое, главное — житейская мудрость. Не практичность, нет, это есть у многих. Практичность неплохое свойство, но лишь часть жизненной философии. А целое — это мудрость... За достойное понимание сути вещей. И пусть при этом будет здоровье...

Фиртич слушал младшего брата с насмешливой серьезностью. Казалось, тому нет никакого дела до собравшихся здесь гостей. Всем своим видом подчеркивал независимость, свободу от их мнений. Но тактично, без высокомерия. Это производило впечатление.

— Предлагаю выпить первый бокал за моего брата, за вашего товарища и коллегу, за Константина Петровича Фиртича, стоя. Прошу всех встать.

Предложение было хоть и уместное, но чем-то дерзкое. Однако Фиртич-младший чувствовал, что брат им доволен, что он держится так, как хочется старшему брату. Под взглядом его серых с прищуром глаз отрывали себя от удобных стульев гости. Одни легко, весело, с удовольствием. Другие не торопясь, со скрытой досадой.

— Спасибо, Виталик, ты сказал все правильно, умница. — Елена подошла к младшему брату и поцеловала его в щеку.

Прорвалось. Все хотели произнести здравицу в честь Фиртича. И, признаться, Павел Павлович Сазонов, который опоздал к началу банкета, окончательно пал духом и больше руки не тянул. Он угрюмо жевал ветчину, запивая зеленоватым коньяком. К тому же близость высокого начальства его не слишком воодушевляла, хоть он и был не из робких...

Неожиданно Сазонов услышал свою фамилию. Это застало Павла Павловича врасплох. Он поднял глаза, продолжая жевать.

— Вам, вам слово, — подтвердила сбоку Мезенцева и, не выдержав, добавила: — И вправду Каланча.

Многие засмеялись, глядя на сутулую фигуру главного администратора.

— А с каланчи видней, — ободряюще бросил тамада.

Кое-кто заплодировал. Без ехидства, для веселья. Но Сазонов обиделся.

— Я потом выступлю, — мрачно пообещал он.

— Ну ты даешь, Пал Пальч, — шепнула Мезенцева.

Сидящий рядом с ней заместитель начальника управления торговли Полозов повернул к Мезенцевой мягкое лицо и попросил слова. Та замахала руками, стараясь привлечь внимание тамады:

— Григорий Анатольевич хочет сказать! Полозов просит слова!

Полозов поднялся. Маленький, круглый, он едва возвышался над столом.

— Вот. Я постараюсь компенсировать. — Он кивнул на Сазонова. Все рассмеялись.

Сазонов вздрогнул, огляделся. Он увидел глядящие на него со всех сторон насмешливые лица. Глаза застлала радужная пелена — он, кажется, всерьез опьянел. Нет, просто устал. С утра ездил к приятелю в комиссионку — тот обещал вазу по сходной цене, — потом бегал по Универмагу. Даже пообедать не успел. Хорошо привез на работу свой выходной костюм, иначе вообще бы не успел на банкет. А ради чего он себя так сегодня изнурял?.. Обида стягивала грудь, сбивала дыхание. Правильно сестра говорила: «Не ходи, нечего тебе там делать, будь в стороне, давно шишек не получал, соскутился!» И главбух Михаил Януарьевич советовал...

Полозов привычно вскинул руку и, дождавшись тишины, поднял бокал.

Фиртич слушал первого зама, подперев кулаками подбородок. Он взвешивал каждое слово, стараясь понять, к чему можно отнести всерьез, а что отбросить как благодарность за приглашение на банкет. Он ждал, что Полозов скажет о планах управления по реконструкции старого Универмага. Но, кажется, его надежды напрасны... Фиртич потерял интерес к Полозову и демонстративно потянулся к салату. Да и кто он такой, этот Полозов? Чиновник! Деловые люди, приезжающие в страну из-за рубежа, иной раз и в толк не могут взять: для чего торговле Полозов? А вот Фиртич — это другое дело. Он — директор! Сколько раз на приемах Полозов и его коллеги из управления не знали, куда себя деть, в то время как Фиртича буквально рвали на части...

Константин Петрович уже не думал о Полозове. Он глядявился в сидящих за столом. Нет, Лисовский так и не появился, не пришел главбух на его юбилей. Может, приболел Михаил Януарьевич? Но Фиртич знал, что здесь не случайность, а демонстрация. Почему?..

Тут дверь зала отворилась. И, толкая перед собой тележку с конфетами и фруктами, появилась официантка. Содержимое тележки таяло на глазах.

Полозов недовольно скосил глаза и умолк. Воспользовавшись паузой, Фиртич громко пригласил всех на танцы.

Музыка сбивала гостей в одну массу. Лишь Гарусов остался сидеть на месте подле своей чопорной супруги...

Фиртич танцевал по старинке, отведя в сторону теплую руку жены. Повернувшись, он заметил директора ресторана Кузнецова. Тот стоял в тени, сложив руки на груди, и смотрел в зал.

— Не забудь о моем предложении, Костя! — крикнул Кузнецов.

Фиртич кивнул и склонился к жене.

— Тебе испортил настроение Полозов? — спросила Елена.

— Не так все просто, Леночка, — не сразу ответил Фиртич. — У стариков большое влияние в управлении. Прочные связи, особые отношения. Торговля, сама понимаешь... А многие универмаги действительно нуждаются в обновлении. Другое дело, что толку от этого не будет.

Елена вытянула шею, глядяваясь во что-то поверх плеча мужа.

— Что это они там? Смешные какие!

Фиртич обернулся.

Рядом с эстрадой, окруженные гостями, стояли Мезенцева и Сазонов. Несмотря на веселье окружающих, они, кажется, были настроены серьезно и даже воинственно. Особенно Мезенцева. Ее узкие глаза гневно сверкали под припухлыми веками. Сазонов пытался вырваться из окружения, но Мезенцева преграждала ему дорогу. Долговязая фигура Сазонова выражала отчаяние и беспомощность. Он затравленно озирался, обводя ликующую толпу плывущим взглядом сильно подвыпившего человека. Заметив директора, Сазонов еще больше смутился. Выпрямился, пытаясь придать себе достойный вид, но поскользнулся, едва удержавшись на ногах, чем еще больше развеселил окружающих.

— Она мне гадости говорит,— обидчиво проговорил Сазонов.

Гости вновь зашлись хохотом, привлекая внимание всех, кто находился в зале. Да и музыканты, как назло, перестали играть...

— Что же вы, Клавдия Алексеевна, Пал Палычу гадости говорите? — шуточно укорил Мезенцеву Фиртич.

— Это я-то гадости говорю?! — наигранно возмутилась она. — Все выступали, говорили добрые слова. А он? Самоотвод взял. И напился. Хорош главный администратор!

— Ну и что? — вступился Фиртич-младший, поддерживая общее веселье. — Павел Павлович — человек независимый, гордый! Не подхалим. В отличие от всех нас. Верно, Павел Павлович?

Фиртич бросил укоризненный взгляд на брата.

— Да! Не подхалим! — с отрешенной решимостью воскликнул Сазонов. — Это мне надо над вами смеяться. Да! Один умный человек советовал мне не делать дорогих подарков. Все равно, мол, Фиртича не удивить... И вообще советовал не ходить... Вот!

Сазонов с ужасом вслушивался в свои слова. Но ничего не мог поделать — понесло. Сазонов прошелся взглядом по лицам изумленных гостей.

— А-а-а... Не смеетесь больше?! — воскликнул он в упоительном безрассудстве. — Не смеетесь! Ничего, скоро узнаете, кто ваш кумир. Тоже мне... А мне плевать! Ясно? Мне бояться нечего! Не то что некоторым... Подхалимам, да-с!

Он что-то еще выкрикивал. Уже совсем дикое. Срывающимся пьяным голосом. Но расслышать его никто больше не мог — оркестр, послушный воле младшего брата директора универсама «Олимп», обрушил на зал всю свою электрическую мощь.

А сам директор стоял у юбилейного стола. С бокалом в руке. И, смеясь, что-то рассказывал жене. Та с улыбкой слушала его, стараясь не смотреть туда, где одиноко покачивался Сазонов.

3

За час до открытия толпа закупила все парадные подьезды бывшего Конногвардейского общества. К десяти она уже не умещалась на широком тротуаре, сползла на мостовую и залила противоположную сторону.

Одна и та же картина изо дня в день. Правда, в начале месяца толпа бывает скромнее, но к концу его неудержимо разрастается, ширится, смелеет...

Цыганки в цветном тряпье и сапогах. Узбеки в тюбетейках и китайских плащах. Небритые молчаливые кавказские парни в широких кефи. Женщины в туго повязанных темных русских платках... За этим авангардом — граждане с портфелями, с сумками, с вытянутыми недовольными лицами. Они брезгливо поглядывают на непроницаемые спины первого эшелона, обмениваясь мнениями о спекулянтах, из-за которых честному труженику и к прилавку не пробиться.

— Удивил! — ухмыляется кто-нибудь из впереди стоящих. — Подумаешь, он инженер! Я тоже, может быть, инженер, но молчу.

— Позвать бы милиционера, — возмущаются во втором эшелоне.

— Иди зови, — смело предлагают из первого.

— Почему ругаешься, мать? — произносит толстый узбек в тюбетейке. — Почему я спекулянт? Я трудовой человек. За ковром приехал. Дочку замуж отпускаю. Ночь здесь сидел, чуть не замерз... В Ташкенте такой ковер, честное слово, как золото. А откуда у меня золото?

— Может быть, вы и труженик, — охотно вступает в разговор пожилая женщина. — Только как сюда ни приду, глаза бы не глядела.

— А чо, милая, сама-то кажный день сюды шастаешь? — с подковыркой спрашивает бабка в темном боевом платке.

Все дружно смеются. И вновь привычно и беззлобно принимаются обсуждать, почему сюда засылают ковры, а в Ташкент меховые тулупы.

— Сам покупал, в командировке был. За сто рублей,— доказывает худой русоголовый гражданин.

— Политика, да,— соглашается золотозубый кавказец в кепи.— Хотят, чтобы поезда пустые не ходили. Народ едет туда-сюда...

Постепенно тема разговора захватывает всех, и толпа уже не расслаивается на чистых и нечистых.

— Слушай,— жарко обращается в пространство смуглый гражданин,— почему я должен заплатить спекулянту деньги? Я хочу свои деньги отдать государству. Нет, не хотят у меня брать! Выпускайте товар. Постройте десять фабрик, завалите все коврами.

— Как холодильниками, да,— соглашается кавказец.

— Или возьми автомобили... Не знаю, о чем там думают,— перебивает русоголовый.— Введите коммерческие цены. Дороже, согласен. Но ведь, например, масло в кооперативе продают?! Деньги идут государству, а не спекулянтам. Не обидно.

— Ну! Загнул! — возмущаются сразу человек пять.— И так автомобиль стоит — стыдно цифру назвать.

— Я что говорю,— отбивается русоголовый.— Понимать надо. Рабочим и колхозникам пусть продают как продавали. Даже дешевле. По месту работы. А кооператив сам по себе. Тогда не будет спекулянтов. У кого есть деньги, а нет права — иди в кооператив.

— У кого есть деньги, а нет права, в тюрьму пусть идет,— обрубает узбек.

— Да ладно, дед! С неба ты свалился в своей тубетейке,— обижается русоголовый.— Я знаю таких, которые тройную цену за машину просят. И не стесняются.

— А! — взмахивает руками кавказец.— Поймают — спекулянт, не поймают — честный человек. Так, да.

Гражданин в шляпе трогает за плечо русоголового.

— Вы, любезный, не совсем четко представляете разницу между кооперативной торговлей и государственной. Масло и автомобили — предметы суть разные. А выступаете, простите, как трибун.

Русоголовый снимает. Мало ли кто ошивается в толпе, накличешь неприятностей на свою голову.

И вновь вокруг гомон.

Политико-экономические вопросы решаются в толпе определенно и бескомпромиссно. Все всё понимают. За все отвечают. В ней нет учителей и учеников. Общие заботы сплавляют всех в крепчайшее братство покупателей. И заботы, если говорить всерьез, государственной важности. Даже цыганки стоят притихшие, точно крепятся из всех сил...

Об одном только наглухо умалчивается в этом братстве: какие дефицитные товары ждут их в Универмаге сегодня. А если кто и высказывает предположение, так это люди случайные, дилетанты, нормальные покупатели. Люди же информированные — блатники и спекулянты — предпочитают молчать. Правда, их, этих рыцарей подворотен и общественных туалетов, сегодня собралось немного у дверей Универмага. Видимо, особый дефицит не ожидался. И вообще мелкий спекулянт испытывал серьезные затруднения. Да и навар от мелочевки небольшой — сам товар стал дороже. И приходится кувыркаться, как клоуну в цирке. Стоят бедолаги, ждут своего часа...

И среди тех, кто ждал сейчас своего часа, переминалась с ноги на ногу давняя представительница этого промысла Светлана Бель-

ская, известная среди своих клиентов как Синьора. С ног до головы одетая в фирму, Светлана была одной из немногих, кто не принимал участия в обсуждении экономических проблем: нечего привлекать к себе внимание. Вчера в Доме кино прокатился слух о том, что в «Олимпе» выбросят сапоги. И сейчас, припечатав нос к стеклянным дверям Универмага, Светлана пыталась разглядеть в туманной глубине зала секцию дамской обуви...

Между тем Татьяна Козлова заканчивала утреннюю выкладку товара. Никаких интересных поступлений не было. Правда, вчера поговаривали, что с утра будут торговать импортными сапогами. Но товар уже был спущен со склада в секцию, а сапогами и не пахло. Всё мятые коробки Второй обувной фабрики. Татьяна хотела спросить о сапогах младшую продавщицу Нельку Павлову, но к той перед открытием не подступить — балдеет от усердия. И каждый день словно экзамен сдает. Надо же быть такой ненормальной. Получает меньше Татьяны, а юлит перед покупателями почище толстяка Дорфмана, противно даже. Вот и сейчас — тошно смотреть, как Нелька прикладывает линейку к бортику стеллажа и выравнивает туфли, чередуя носок с пяткой. Честно говоря, ничего получается: даже жуткие изделия Второй обувной и те выглядят сносно, пока покупатель не возьмет в руки...

И напротив в кожгалантерее девочки наводят последний глянец. Кажется, у них что-то появилось интересное. В руках Юльки Дербеневой поблескивают какие-то пакеты.

— Юлька! — крикнула Татьяна. — Что подкинули?

— Перчатки.

— Фирма?

— Нет. Наши. Веры Слуцкой.

«Надо бы взять, — думает Татьяна. — Перчатки фабрики имени Веры Слуцкой — дефицит почище фирмы. И дешевле вдвое».

— Юлька, отложи пару, — просит Татьяна. — Шестых.

— Держать не буду. Плати сразу в кассу, — отвечает Юлька.

«Вот крыса, небось сапоги просила отложить, так я полдня держала в подсобке, рисковала — вдруг нагрянут из орготдела, любят пошуровать под прилавком, хлебом не корми... А эта — пару наших перчаток не может отложить, подруга называется».

И кассиров, как назло, нет на месте. Но Татьяна уже видела: из дверей грузового лифта в торговый зал вывалилась стайка кассиров с номерными чемоданчиками в руках. Сейчас разбегутся по своим скворечникам. Они это делают бойко, все как на подбор бабки с мотором, иначе в кассе не удержаться. Говорят, кое-кто из них в день прихватывает столько, что иной и в зарплату не приносит. Кира Александровна, которая в кассе номер пять обувной секции сидит, наверняка тетка не промах. С виду скромная, в ситцевом халатике, чуть-чуть косметики, а к ушам небось целое состояние подвешено... Рядом с Кировой Александровной, в кассе номер шесть, разбирает чемоданчик Тамара, женщина средних лет. Не такая, правда, бойкая, но красится здорово, видно, не замужем. Вчера полдня у кассы дочь ее вертелась, девчонка лет десяти. И одета была во все отечественное. Видимо, не очень хороши дела у этой Тамары...

Татьяна видит, как Тамара извлекает из чемоданчика разменную монету, ленту, фарфоровую чашку, булку, сырок. Все это аккуратно раскладывает по местам... А Кира Александровна уже готова. Завесила газетами стеклянные боковины кассы от посторонних взоров и зыркает через окошко. Сколько с ней ругаются сотрудники орготдела из-за этих газет. Сорвут со всех стекол, уйдут — Кира тут же вновь навешает.

Татьяна достала из сумки деньги и поспешила к пятой кассе.

Только она успела спрятать купленные перчатки, как раздался резкий, оглушительный звонок.

Едва отвалили стальной брус, что крепил половину двери, как в свободный проем хлынула толпа. Каждый старался попасть в Универмаг раньше другого, поэтому в проеме застряли сразу несколько человек.

Ключник Степан Лукич скакнул в сторону, подтягивая сухую ногу.

— Что за народ! — орал он. — Зашибут ведь из-за шмоток, от народ! Дали б всю дверь открыть-то.

Но вот уже кое-кто из прорвавшихся в Универмаг отходит в сторону, останавливается, точно притормаживая бег крови в жилах. На лицах появляется осмысленность, а вместе с тем и стыд за невольный свой порыв. Точно очищая себя от общего греха, они поправляют галстуки, сбившиеся прически. И уже никуда не спешат. А лишь с презрением наблюдают за теми, среди которых только что были сами, вслух выражая негодование.

Светлана Бельская превосходно освоила технику внедрения в магазин с толпой. Ее худое тело, точно обмылок, выскальзывало при малейшей опасности быть стиснутым. В подобных ситуациях Светлана прикладывала минимум физических усилий — вокруг столько здоровенных мужиков, пусть они трудятся, главное, не сопротивляться. Толпа вынесет. Потом уж она свое возьмет, потом уж она постарается. Только бы очутиться за порогом.

Энергично работая мослами, она несет свое легкое тело к еще безлюдному желанному прилавку. Под изумленными взглядами продавцов, стоящих на своих рабочих местах.

— У человека два сердца, — вздыхает Дорфман. — Посмотрите, как она бежит. Это же чемпион мира, клянусь могилой брата.

Светлана первой достигла того места, откуда обычно запускали на примерку обуви. В течение считанных секунд очередь родилась, выросла на первые тридцать — сорок метров, изогнулась змеей. С маленькой черной головкой впереди, принадлежащей опытной городской спекулянтке Светлане Бельской.

Мелкие, утонувшие в краске глаза Синьоры скользили по знакомым скучным стеллажам и горкам, сползали на пол секции, впивались в темнеющие закутки. Никаких признаков дефицита. Возможно, еще не подвезли. Но наметанный взгляд Светланы уже отметил тележку с мятыми голубыми коробками, из которых вываливалась тупорылая продукция Второй обувной фабрики, — значит, утренний товар со склада уже получен. Если только дополнительный подвоз. А время шло...

Светлана привалилась бедром к стойке, продела сумку под локоть и сцепила замком пальцы. В такой позе она могла стоять часами. Мысли ею владели ровные, много раз повторенные...

Никак не удастся найти верных поставщиков. Все какие-то болтуны попадают. А ведь она честно сдает оброк, адресов не меняет, в бега не ударяется. И клиентура у Светланы постоянная: научно-исследовательский институт, строительно-монтажное управление, Театр музкомедии, цирк, салон причесок... Да, неважные дела. Были когда-то три-четыре директора магазинов, но их прихватили, сидят всерьез, думали откупиться — не удалось. Или тот зав секцией трикотажа, в пригороде, такой, казалось, надежный человек. Развелся с женой, уехал куда-то. Плохо ему было со Светланой? Что хотел делал. Нет, пошел на принцип. Черт разберет этих мужиков... Еще старичок-снеговичок, Платоша, обожатель выискался. Хоть не пристает, и то хорошо. Руку гладит да слюни пускает. Но, видно, богатенький дед. Кольцо недавно подарил. Долго ли будет руку гладить?

В один прекрасный день потребует еще чего-нибудь. Светлана понимала: хитрит дед, не торопится. Приучает к себе. И подарками связывает. Говорит, главный подарок впереди. Вот за главный-то он и потребует своего. Был бы Платоша моложе, лучшего Светлане и не надо. Сидел бы дома, не блудил, как другие, нервы бы ей не трепал. И голова у него светлая. Раньше большим начальником служил. На фабрике обувной. Потом крупный прогар случился. Правда, об этом Платоша говорить не любил, видно, жестко ему пришлось когда-то. Но старик крепкий. Не то что она, Светлана,— тридцать восемь лет, а здоровья никакого. На одних нервах держится. Еще бы, сплошные невезения. Если мужчина пригожий, так на зарплату живет. А когда богат, самостоятельный, так из него песок сыплется. Один раз только Светлане подфартило — с тем, трикотаажником. И работу он ей давал хорошую. Ожила тогда Светлана, кооперативную квартиру построила, барахла поднакопила. Так нет, сбегал, стервец, в другой город... Еще Светлана вспомнила о том, что приятель юности Серега Блинов просил Светлану познакомить его с Платошей. Видел он их в Доме кино. Серега просил привести Платошу вечером в бар «Кузнецик». Светлана согласилась. Зачем Сереге старый Платоша, Светлана так и не поняла...

Из подсобки секции женской обуви вышла Татьяна Козлова. Улучив момент, Светлана подмигнула продавщице: мол, я своя, не подведу. Но худое лицо Татьяны осталось непроницаемым. К тому же к ней подошла другая и что-то принялась шептать на ухо. Лицо Татьяны становилось все пронзительней и острее.

— А мне жаль Каланчу,— громко объявила она.— Ведь уволят. Разве директор простит? Весь праздник ему испортил...

Светлана присела на примерочную банкетку и взяла для отвода глаз какие-то летние туфли. Подозвала Татьяну и спросила негромко как бы невзначай:

— Что, будет фирма?

— Не знаю,— нехотя ответила Татьяна, глядя в сторону.

— Сколько времени убила,— раздосадованно прозудела Светлана.— Ведь не за так. Долю скину.

Татьяна повернула к ней вялое лицо и выругалась.

Светлане часто приходилось получать пинки. Она на это не обращала внимания, как не обращают внимания на производственный шум. Но неумелая, жидковатая брань Татьяны ударила в самое сердце. На мгновение в памяти всплыл образ мальчишки-десятиклассника, с которым Светлана познакомилась на юге. Года два назад. Связь эта показала ей забавной, и Светлана уступила... Был жаркий день. Муха билась о пыльное стекло закрытого окна. Мальчишке, несмотря на прежнюю самоуверенность, в самый момент откровения стало стыдно. Он заплакал, зарылся лицом в подушку. И Светлана принялась его утешать. А потом разозлилась. Действительно нелепо: она, раздетая, в одной австрийской кофточке, утешает истеричного мальчишку. Ей тогда это показалось жутко унижительным... Точно как сейчас. И Светлане впервые за много лет стало жаль себя какой-то особой, бабьей жалостью, как в кино, когда, смахивая слезу, глядишь на чужую беду...

Она поднялась, вернула туфли на место и покинула секцию.

4

В просторной полукруглой приемной директора собирався на диспетчерскую командный состав Универмага. Не хватало, пожалуй, только главного бухгалтера.

— Лисовский у директора,— пояснила секретарь.

Прошло минут пятнадцать после назначенного времени, но решения войти в кабинет не было. Сотрудники недоумевали. Фиртич

славился пунктуальностью. К тому же секретарь не позволила проникнуть в кабинет директора даже первому заместителю — коммерческому директору Индурскому, и тот ушел к себе, демонстративно хлопнув дверью.

Что было фактом уже совершенно странным и непонятым.

Между тем в старомодном кабинете, разделенные громадным столом на резных ножках, сидели Фиртич и Лисовский.

Их фигуры отражались в трех помутневших от времени зеркалах в простенках между окнами... Фиртич давно собирался убрать зеркала — отвлекают внимание, — но все рука не поднималась. Уж больно хороши они были — с путаными геральдическими вензелями на черных резных рамах. Но в данный момент директору было не до созерцания серебристой зеркальной пустоты.

Новость, сообщенная Лисовским, была ошеломляющей. Удар прямую, пославший в нокаут огромный Универмаг. И в самый неподходящий момент: на днях должен решиться вопрос принципиальной важности, вопрос о полной реконструкции старого «Олимпа». Фиртич провел огромную работу, просиживая до глубокой ночи с сотрудниками отделов над схемой размещения нового оборудования. Готовился выступить на коллегии управления торговли. Уговорил приехать в Универмаг начальника управления, ознакомиться с проектом на месте, а это не так-то просто было сделать...

И вдруг такая новость! Конечно, виноват главбух, не мог же он, директор, сам вникать во все бухгалтерские отчеты.

— Когда вы об этом узнали? — проговорил наконец Фиртич.

— Вчера. Бухгалтер Сазонова закончила годовой отчет и составила докладную записку.

— Сазонова? — Фиртич вскинул брови. — Имеет отношение к старшему администратору?

— Каланче? Сестра... Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

— Что-то вы стали часто ошибаться, — буркнул Фиртич, но тотчас взял себя в руки. — Извините.

Он вышел из-за стола. Рассохшийся дубовый паркет отзывался на каждый шаг разнотонным скрипом.

— А когда Сазонова закончила годовой отчет? Именно вчера?

— Нет. Недели две назад. По графику. В начале февраля.

— И ничего не сказала вам о расхождении данных за четвертый квартал с данными годового отчета?

— Нет, не сказала. — Лисовский запнулся, ему тоже показалось сейчас странным, почему Сазонова столько дней держала камень за пазухой.

— И сказала лишь вчера? Официально?

— Представила докладную.

— А тот бухгалтер, что напортила при обработке сметы расходов издержек обращения...

— Она уволилась месяц назад. И тоже неожиданно.

— Неожиданно, — усмехнулся Фиртич. — Обнаружила свою ошибку и поспешила уволиться, зная, чем это ей грозит. Да и вам, главному бухгалтеру. А плановый отдел? Тоже хороши, прохлопать такое.

— Закон свинства. Надеюсь, вы не сомневаетесь в добросовестности Корша, — проворчал Лисовский.

— Я и в вас не сомневаюсь, Михаил Януарьевич.

Лисовский вздохнул и закашлялся. Глухо, глубоко, с короткими паузами. Глаза покраснели и наполнились слезами.

Его тоже можно понять: не станет же он, главный бухгалтер, дублировать работу каждого сотрудника. Тогда зачем отдел? А ошибка эта, простая арифметическая ошибка, дада в итоге завышенные цифры выполнения плана по прибыли... Прохлопал Лисовский, прохлопал. Так не себе же он вручил знамя и грамоты, не присвоил же

премиальные. Он вообще был в отпуске половину ноября, а потом болел весь декабрь. Вышел только в январе, тогда и подписал все представленные бумаги. И та бухгалтер уволилась в январе, до его возвращения. Где она сейчас, неизвестно. Да и что с нее спросишь, если подпись за первое лицо его, Лисовского...

Фиртич остановился у окна, выжидая, когда старик придет в себя... Ну и ситуация! Признаться в ложных данных, вернуть все регалии? Он представил реакцию сотрудников Универмага на предложение возвратить премиальные... А о реконструкции «Олимпа» и заикнуться не смей. Прикрывает свое неумение работать шумихой вокруг реконструкции, ясное дело...

— Значит, так! — проговорил Фиртич. — На мне эта весть должна умереть. Сазонова поинтересуется — скажите, что докладная у меня. Что я собираюсь принять меры. И все! Пора начинать диспетчерскую.

Диспетчерская, как правило, начиналась с переключки, хотя Фиртич и так видел, кто явился, а кто нет...

— Отдел игрушек?

— Здесь.

— Трикотажный?

— Я.

— Обувной?

— Всегда готова.

— К чему вы всегда готовы? — сухо спросил Фиртич и строго посмотрел на заведующую обувным отделом Стеллу Георгиевну Рудину, хорошо сложенную молодящуюся даму.

Рудина не ожидала вопроса. Но не так-то просто ее смутить.

— К работе, Константин Петрович, к работе.

Сотрудники, не придававшие значения формальной переключке, насторожились. Мир Универмага особый мир. Здесь все на виду. В простоте слова не скажут, даже если кажется, что в простоте.

Недовольный срывом, Фиртич продолжал переключку.

После торговых отделов следовали плановый отдел, конъюнктура, отдел труда и зарплаты, кадры, машиносчетная станция, отдел цен, главная касса, строительная служба, комендатура, администрация торгового зала...

— А почему нет Павла Павловича Сазонова? — спросил Фиртич.

В кабинете воцарилось молчание тяжелое и значительное. Фиртич цепко слушал тишину. Это было его первым прямым столкновением с волной, что наверняка уже разбежалась кругами по всему Универмагу... Ему не нужны были слова, он знал цену их искренности. Тишина — напряженная, густая — ему говорила гораздо больше любых слов. И он точно определил: большинство, если не все, от души сожалеют о том, что произошло на банкете в ресторане «Созвездие».

Заместитель директора по кадрам — высокая женщина в костюме защитного цвета — наклонилась вперед и взглянула директору прямо в глаза.

— Даю справку. Звонили из дома. Сазонов болен. — И со значением добавила: — Надеюсь, он принесет бюллетень.

Но Фиртич, казалось, уже не слушал ее.

— А где Индурский?

— Здесь. — Коммерческий директор вошел в кабинет. — Думал, диспетчерскую отменили.

— Партком? Комсомол? Профсоюз? — продолжал Фиртич. — Кажется, все. Слава богу, никто, кроме Сазонова, не болеет. Сейчас бо- леть некогда, февраль — месяц короткий.

Он сидел за столом уверенный, широкоплечий. В каштановых с сединой волосах безукоризненный пробор...

И тишина стала мягче, добрее. Из ее напряженной, густой насто-

роженности возникали и заполняли весь просторный кабинет волны деловой сосредоточенности, объединяющие всех, кто находился тут.

— Как известно, товарищи, мы неплохо закончили прошлый год. Универмаг стал одним из ведущих в стране.— Боковым зрением Фиртич увидел блестящие за очками глаза Лисовского и резко отвернулся в сторону.— Но, к сожалению, мы потеряли темп. План января прорвали на двести тысяч. И в этом месяце положение не легче. Товары поступают с большими перебоями. Транспорт подводит. Я делаю все, что в моих силах...

Фиртич на диспетчерских старался говорить не более пяти минут. Вполне достаточно, чтобы изложить главное, наметить ближайшие задачи. Остальное доскажут сами сотрудники. К тому же он намечал поездку на Кирилловские склады, на товарную станцию, в исполком... Он не любил решать вопросы по телефону. И был убежден, что нет худшего врага для дела, чем телефон. Если хочешь испортить, затянуть, а то и вовсе ничего не добиться — позвони. Привычка эта осталась с молодости, с тех пор, когда он, Константин Фиртич, был рядовым товароведом хозторга и стоил восемьдесят рублей в месяц. Именно тогда он пытался решать вопросы по телефону. А его коллеги садились в собственные автомобили и отправлялись на охоту по базам, торгам, поставщикам. И их улов был значительней, чем результаты телефонных переговоров... «Послушай,— сказал ему завмаг, старый торговый зубр,— товаровед тот же толкач! Дело надо делать с глазу на глаз. А если над тобой не капает — меняй специальность»... Этот завмаг был человеком дела. Ему дали семь лет плюс три года поражения в правах по совокупности статей УК РСФСР. Фиртич узнал об этом недавно. И, честно говоря, пожалел: у того редкие были способности, в его магазин покупатели приезжали из других городов и уезжали в хорошем настроении...

Тем временем диспетчерская шла своим чередом.

Как обычно, направление совещания определяло выступление начальника планового отдела Франца Федоровича Корша.

Франц Федорович был из обрусевших немцев. Среднего роста, в узком пиджачке с хлястиком, Корш напоминал постаревшего школьника. Фиртич переманил его из другого универмага, добился для него в исполкоме квартиры (Корш до этого жил с семьей в коммуналке).

В Универмаге было два человека, без которых Фиртич не мыслил своей деятельности: Лисовский и Корш. Самым поразительным качеством Корша была феноменальная память на цифры.

— Хочу подчеркнуть, что план февраля вполне реальный. В управлении учли все наши заявки. Начну с Азария Михайловича. Швейный отдел получил девяносто четыре процента, сегодня торгует девяносто два. Отстает на три дня к факту прошлого года... Текстильный отдел,— продолжал Корш.— Юрий Аванесович, вы сегодня работаете с отставанием на полтора дня к факту прошлого года. Вас интересуют цифры?

— Не надо. Я верю,— великодушно произнес Антонян, начальник отдела.

В кабинете загомонили. Никто не хотел лишать себя удовольствия лишней раз изумиться этому представлению. Факир да и только. Корш улыбался и с легкостью выбрасывал цифры, точно голубей из шляпы.

Фиртич смотрел на аккуратного начальника планового отдела, а мысли кружились возле одного и того же: «Как же и ты маху дал, Франц Федорович, проглядел ошибку бухгалтерии?..»

Совещание продолжалось согласно заведенному порядку.

Первым после Корша выступил заведующий швейно-меховым отделом Азарий Михайлович Аксаков, старый служака «Олимпа». Стройный, подтянутый, с лихими гусарскими усиками, он словно по-

ступил в «Олимп» по случаю сокращения штатов в Конногвардейском императорском обществе.

— Положение неплохое,— докладывал Аксаков.— Пальто сейчас вновь пошли. По взрослым реализация на пятнадцать тысяч, подростковые на десять. На выборке фондов дело обстоит так.— Аксаков заглянул в листочки.— Меха остается дополучить на сто пятьдесят тысяч... А вот принимать некуда, склад забит.— Аксаков поднял голову.— Просьба, Константин Петрович. Нельзя ли занять до первого красный уголок?

— Что вы?! — воскликнула секретарь комитета комсомола Рита.— У нас там репетиции каждый день. К женскому дню.

Аксаков пожал плечами: мол, глупости какие-то, дело делать надо,— и вновь взглянул на Фиртича.

— Постарайтесь справиться на своих площадях,— ответил Фиртич.

— Гладильщицы жалуются: спрессовано по-железному, не разглаживать костюмы...

Фиртич уже кивнул заведующему текстильным отделом Антоняну.

Солидный, в массивных роговых очках, Юрий Аванесович был похож на профессора медицины. Впрочем, он в своем деле достиг не меньшей квалификации.

— Положение серьезное, Константин Петрович. Я связался по телефону с нашими поставщиками в Ленинграде. Сырье у них есть, нет красителей. Обещали, но как-то неуверенно.

Фиртич сделал пометку в блокноте.

— Кстати, Юрий Аванесович, у вас есть голубая шерсть? Метров триста?

— Есть.

— Отпустите по перечислению ресторану «Созвездие». Они к вам обратятся... Канцелярский отдел!

Заведующая отделом Сударушкина, кривобокая подвижная женщина средних лет, в парике, с которым она не расставалась, вероятно, и ночью, с ходу винтилась в разговор.

— Ну так же нельзя! Гоняют моих девочек! На лестницу выставили с туалетной бумагой. А там сквозняки!

У Сударушкиной от негодования съехал набок парик, но она не обращала внимания, хоть и видела себя в старинном зеркале.

— Вообще все чихают на мой отдел. А у нас одна мелочевка, тетрадки-резинки. Продавцы с ног валяются, а все как пасынки...

Фиртич постучал пальцем по столу, терпеливо дожидаясь тишины.

— Ясно. Но продавать туалетную бумагу будем. Не столько коммерция, сколько тактика: покупатель придет за туалетной бумагой, глядишь, еще что-нибудь прихватит. Надо ставить вопрос иначе: как ее продавать? Может, соорудить у лестницы палатку с электрообогревом?

— Пожарники не разрешат. Бумага и электроплита,— вступил комендант.

— Почему? Есть масляные радиаторы, прибалтийские... Словом, пусть орготдел отработает вопрос и через два дня доложит.— Фиртич сделал пометку в календаре.

— Обувной, вам слово.

Стелла Георгиевна Рудина повела плечами и надела очки. Большие каплевидные стекла придавали ее полнеющему лицу молодость...

Фиртич ценил Рудину. И в то же время что-то его настораживало в ней. Сразу же после своего вступления в должность он уволил трех заведующих отделами. Приглядывался и к Рудиной. Но четкого ощущения опасности, как это было в случае с заведующим от-

делом хозтоваров жуликом Спиридоновым, у него не было. Рудина работала добросовестно и энергично. Да, у нее была своя клиентура, знакомства, обязательства, прочные связи. Но кто на ее месте их не имел бы — жизнь такая. Фиртич этому не придавал серьезного значения. Иначе и нельзя, даже исходя из сугубо служебной пользы. Но иной раз нет-нет да и кольнет Фиртича настороженность, рецидив его прошлых подозрений...

— Положение в отделе сложное. — Голос у Рудиной глуховатый, такой голос беспокоит мужское сердце. — По импорту значительные недопоставки. Вчера, правда, пришел контейнер. Но всего сто пар сапог. Вроде как показали коробки...

— Кстати, о коробках, — встрепенулся комендант. — Был приказ: не держать на глазах у покупателей пустые коробки. Нет, выложат обувь на полки, а коробки валяются. Особенно в канцтоварах.

Вновь в кабинете загомонили. Скрытая производственная вражда между торговыми отделами и администрацией зала вспыхивала, как бензин, от малейшей искры... Посыпались ссылки на тесноту подсобок, неразумные приказы, на бездельников администраторов.

Особенно горячилась Сударушкина.

— Почему у Дорфмана всегда порядок? — оборонялся комендант Васильев. — Ваши девчонки думают о женихах, а не о работе!

Фиртич сидел насупившись, недовольно молчал. Он не любил анархии на диспетчерской. Когда Фиртич пришел в «Олимп», первое совещание его поразило. Все кричали так, точно скопом ловили курицу. А одной, кажется, той же Сударушкиной, стало дурно, ее кормил какими-то лекарствами Антонян. У того всегда полный карман снадобий, словно Антонян работал не в Универмаге, а в больнице... Фиртич понял, что подобная свара не только наследие прежнего руководства, но и испытание его, Фиртича, на твердость. Он тогда не стал призывать к порядку, а просто вышел из кабинета...

Постепенно мрачный вид директора охладил возбужденных сотрудников. Стало тихо.

— Так. Мария Михайловна, вы хороший работник, я вас очень ценю, — произнес Фиртич. — Но прошу вас покинуть мой кабинет. Я предупреждал не раз: базара в кабинете не потерплю. Вы сегодня второй раз устраиваете мне кучу малу.

Сударушкина поднялась. Щеки ее пылали. Из-под дикого парика натекли на лоб крупные жаркие капли. Вид у нее был потешный, и в кабинете раздалось сдавленное хихиканье.

— Тогда почему Васильева не прогоняете? Он первый начал.

— А я тут при чем? — испуганно проговорил толстый и лысый Васильев. — Я только сказал, и все. А вы подняли бузу.

Грохнул смех. И первым засмеялся Фиртич — широко, по-мальчишески. Действительно как в школе. Взрослые люди...

Сударушкину любили в Универмаге, жалели. Заведующих такими отделами, как трикотажный или обувной, узнавали на улицах, добивались их внимания и благосклонности. А кому нужны канцтовары? Несерьезно... Поэтому-то боги «Олимпа» и испытывали некоторую неловкость перед Сударушкиной с ее париком, к тому же кривобокой от рождения.

— Ладно, садитесь, Мария Михайловна, — произнес Фиртич. — Но чтобы это было последний раз.

— Нет уж. Раз выгнали, нечего! — серьезно обиделась Сударушкина и, переваливаясь, вышла из кабинета.

Мягко стукнула черная резная дверь.

— Можно мне сесть? — игриво проговорила Рудина.

Фиртич нахмурился, шутка грозила затянуться.

— Почему не прислали образцы полученной обуви?

— Товаровед приходила. Но вы совещались с главным бухгалтером.

Существовало правило: дефицитный товар при получении должен быть показан директору. И шел в продажу после его подписи.

Фиртич досадливо поморщился: да, все так... Он резко обернулся к председателю профкома Лауре Степановне. Та сидела, закинув ногу на ногу, положив для удобства блокнот на колено.

Лаура была старой девой. И весь нерастроченный пыл своего сердца она отдавала Универмагу. Конкурсы на всевозможные звания: «лучший по профессии», «отличник выкладки товаров»... Движение за культуру обслуживания. Декада вежливости. Праздник улыбки. Месячник стояния на ушах перед покупателем. И так далее.

Но священную свою задачу Лаура Степановна видела в улучшении быта сотрудниц. Пользуясь в этом вопросе особым покровительством дирекции, она вела «картотеку отношений». Все серьезные люди из собеса, из обкома профсоюзов занимали в картотеке надлежащее место. И регулярно навещались в «Олимп», прямо в кабинет Лауры... А что делать? Если торговые работники — как пасынки. А болеют они и устают не меньше других, если не больше. Именно благодаря Лауре Степановне Универмаг не нуждался ни в яслях, ни в детских садах. Даже жилплощадь подкидывали...

— Прошу вас, Лаура Степановна, составьте список на распределение между сотрудницами девяноста пар импортных сапог. К женскому празднику. Особо обеспечить отдел канцтоваров. Обиженных быть не должно... Надеюсь, у парторга и комсомола не будет возражений против праздничной продажи сотрудникам дефицита?

— Что вы! — воскликнула комсорг Рита и сконфузилась.

— А вы, Тимофей Харитонович, как насчет продажи сотрудникам дефицита к женскому дню? — нетерпеливо спросил Фиртич.

Парторг Тимофей Харитонович Пасечный был человек вялый, безынициативный. Он понимал, что должность его временная, что попал он на нее случайно — как член бюро подменил перешедшего в управление прежнего парторга, — и тосковал по своему москательному складу. Кладовщиком он считался хорошим, каждая шетка была на учете. И в парторгах сохранил это качество. Все содержалось в образцовом порядке: плакаты, лозунги, циркуляры, приказы, кубки, призы... Так он и сидел в кабинете, как в москательном складе, порой даже синий халат натянет для успокоения души...

— Одобряю, — махнул рукой Пасечный.

И Лаура Степановна своим видом выказывала полное одобрение.

Да и кто бы мог возражать против этого? Смешно. Но согласие руководителей Универмага Фиртичу было необходимо для подстраховки. Существовал строгий контроль общественности и органов ОБХСС за продажей остродефицитных товаров. И только глупцы демонстрируют свою независимость. И рано или поздно за это расплачиваются...

Коммерческий директор Универмага Николай Филимонович Индурский был полной противоположностью Фиртича. Как внешне — высокий, крупный, с большим животом и мясистыми руками, — так и по характеру: болтлив, импульсивен, а главное, обидчив и злопамятен. Фиртича иной раз это тяготило, но не заботило. Индурский — прирожденный коммерсант, гибкий, головастый, настойчивый. Ни один директор фабрики, ни один заведующий складом или базой не мог избавиться от Индурского, не удовлетворив его заявку. Проработав в торговле без малого тридцать лет, Индурский имел обширные связи и знакомства и пользовался ими без излишней скромности. Фиртич тоже был человек со связями, но он, выражаясь языком военных, стратег. Индурский же — тактик. Фиртич никогда не позволял себе скандальных тяжб с директорами фабрик из-за каких-то недопоставок. Для этой цели он держал при себе Индурского. Если же тому не удавалось довести до конца задуманную операцию, то на

плацдарм, подготовленный дотошным Индурским, для завершающего удара вступал Фиртич...

Вот и сегодня Фиртич собирался на Кирилловские склады.

Неделю назад туда ездил Индурский, пронюхав о крупной партии дубленок. По разнарядке дубленки могли попасть в другие универмаги, расплыться. Фиртичу нужна была вся партия. Индурский сделал свое дело — выбил фонды, лихо заполучил необходимые резервы управления. Но чувствовал Индурский, по носу управляющего оптовой базой чувствовал: подставит тот ножку. Поэтому и передал дело Фиртичу — пусть директор сам наносит последний удар. А в том, что Фиртич закончит сражение с блеском, Индурский не сомневался. Вообще при всем своем тщеславии Индурский преклонялся перед директором. Но обижался часто. И сегодня за всю диспетчерскую Индурский не проронил ни слова, демонстрируя обиду: директор и главный бухгалтер явно что-то скрывали от него, второго человека в Универмаге...

— Хотите что-нибудь сказать, Николай Филимонович? — Фиртич словно не замечал обиженного выражения на лице Индурского.

— Нет! — колыхнул просторным животом Индурский. — Все сказано без меня...

Получив информацию о состоянии дел на счетно-вычислительной станции, в главной кассе и в отделе цен, Фиртич объявил совещание законченным и попросил секретаря вызвать служебную машину.

Сотрудники покидали кабинет. Один Лисовский еще глубже вдавил рыхлое тело в кресло.

— Совещание окончилось, Михаил Януарьевич, — повторил Фиртич.

— Я ждал, что вы расскажете... Хотя бы Коршу, хотя бы Индурскому. Вы обязаны их посвятить.

Лисовский видел, как побелел рубец на щеке директора.

— Во что посвятить? — негромко проговорил Фиртич. — Я вас не понимаю. Разве что-нибудь произошло?

Тяжело ворочаясь, Лисовский вытащил себя из кресла. Сделал несколько шагов к дверям, остановился.

— Мне думалось, Константин Петрович, что я знаю вас. Оказывается, я совершенно вас не знаю. И, возможно, не узнаю никогда.

Фиртич углубился в какие-то бумаги, не обращая внимания на главбуха. И Лисовский мог поклясться, что директор его не слышит, если бы не предательски побелевший рубец на щеке, след давней автотрагедии...

Да, Фиртич его слышал. В сущности, все совещание он думал о том известии, что принес Лисовский. И теперь, оставшись один, он уперся локтями в стол и сжал ладонями виски. Можно только удивляться коварству судьбы...

Фиртич подвинул телефон, набрал несколько цифр. И вернул трубку на рычаг. Не торопиться, не пороть горячку.

Сколько лет он знает Кузнецова? Не менее десяти. Но все так, «здрасьте — до свидания». Чем-то Кузнецов был ему антипатичен. Интуиция — часть пронизательности, от нее нельзя отмахнуться. Но всецело полагаться на интуицию значит обезоружить себя. Сколько людям вредила их слепая вера в собственную пронизательность!

Честно говоря, Фиртичу было интересно: как директор ресторана может повлиять на решение управления торговли? Он знал множество историй, когда вмешательство сильных людей меняло ситуацию — вопреки логике, вопреки ожиданиям, вопреки интересам дела. Фиртич и сам был безгрешен. Взять хотя бы историю с бывшими каретными сараями, в которых драматический театр хранил реквизит. Именно благодаря влиянию Фиртича их передали под обувные склады, как ни сопротивлялось управление культуры...

Не претендуй на импортное оборудование директора других универмагов, Фиртич сообразил бы, как поступить и без Кузнецова. Конечно, можно подождать, уповая на разумное решение сессии исполкома. Но сообщение Лисовского внесло существенные коррективы. Теперь все может сорваться. Оказать доверие очковтирателям! Такую бучу поднимут братья-директора, до самых верхов дойдут. А там неизвестно, как на это посмотрят, там люди серьезные... Время сейчас работало против него.

Фиртич вновь поднял трубку и набрал номер.

Долгое ожидание едва не поколебало его решимость. Даже услышав голос директора ресторана «Созвездие», Фиртичу пришлось собрать всю свою волю, чтобы не бросить трубку.

— Послушай, Аркадий,— проговорил он.— Хочу вернуться к нашему разговору.

— Я ждал твоего звонка, Константин,— ответил Кузнецов.— Все будет сделано в лучшем виде. Считай, что весь пакет заказов оставлен за твоим Универмагом. Я слов на ветер не бросаю.

Уверенность Кузнецова неприятно кольнула Фиртича. Он понимал, что вопрос его сейчас прозвучит наивно, но не мог удержаться:

— Чем же ты так обольстишь управление торговли?

— Допустим, не все управление, — нехотя отозвался Кузнецов.— Есть люди, Константин, есть люди. Они все могут.

— Ясно.— Фиртич чувствовал себя пристыженным школьником.

Еще не поздно, можно отказаться, сказать, что пошутил, что в никакой сомнительной помощи не нуждается. В конце концов, не для себя лично старается... Но вместо этого проговорил:

— Во что мне обойдется твоя любезность, Аркадий?

— Пустяки, Костя, мелочи.

— Все же. Может, мне и не стоит ввязываться.

— Ладно. Будет тебе условие,— коротко засмеялся Кузнецов.— Позволь моим людям продавать в Универмаге всякую ерунду с лотков. Пирожки, пончики, булки... Гоняет их твоя администрация.

Просьба Кузнецова была не пустяковой, как могло показаться. В Универмаге тесно. Толпа вокруг лоточников создаст пробки и в итоге нанесет ущерб основной торговле... Кроме того, Фиртич догадывался, откуда берутся эти пирожки-пончики. Конечно, он не был в этом уверен, но не исключал подобного варианта. Впрочем, какое ему до этого дело? Не ему отвечать, а Кузнецову...

— Сколько лоточников?

— Пятнадцать.

— Восемь, Аркадий. Причем мои люди сами определяют им места.

— Ладно, Костя. Договорились. Пока!

Фиртич, казалось, видел усмешку Кузнецова. А в тоне директора ресторана он вдруг уловил новую для себя ноту. Слово Кузнецов давал ему понять о каких-то особых отношениях, что их теперь связывали.

5

Бар ресторана «Созвездие» размещался в глухом подвале. Поначалу, когда Кузнецов предложил соорудить здесь бар, управление сопротивлялось. Но Кузнецов добился своего. Стены бара отделал деревом, вместо столов и стульев вкатил замшелые пни. Бармена представил лешим в каком-то маскировочном халате, обляпанном травой и тиной. На голове — тюрбан из листьев. Так он и стоял почти три месяца, вызывая изумление посетителей своим диким видом. А официантки, одетые лесными феями, в полупрозрачных платьях, привлекали в бар мужчин самого разного возраста. Девушки простужались, но стойко держались, не бюллетеня, не прогуливая. Бар будет золотым дном, они это понимали. А пока надо набрать темп, переманить

дует. А то ведь знаешь, как к нашему брату относятся. Одно название: торгаши.

— И часто заслуженно.

— Заслуженно,— заворчал Мануйлов.— Ты б уж помолчал, Костя. Дело ты делаешь государственное, хочешь как лучше. А я? День и ночь голова работой занята... А эти, подлизалы, в глаза ластятся, а за спиной одни мерзости плетут.

— А ты, Мануйлов, друзей выбирай.

— Их выберешь! Все ради барахла липнут... Помнишь, слух прошел, что меня с должности убирают? В прошлом году. Сразу кое-кто и здороваться перестал.

— Я не перестал. Я до конца здороваюсь, пока приказ не увижу.

— Ты человек достойный.— Мануйлов пропустил шутку Фиртича.— Господи, какие же гниды попадают. Только с такой должности, как у нас, и видно. Как они нас презирают, когда за пазухой что-нибудь, выклянчив, унесут. Порою и кинешь им что-нибудь, лишь бы отвязались скорей.— Мануйлов поднял голову и сделал заказ подошедшей официантке: — Два коктейля. Покрепче... — И добавил тихо, глядя ей вслед: — Красивых баб затянул в эту нору старый барсуک.

Дождавшись коктейлей, управляющий базой стал жаловаться на какую-то фабрику. Он забраковал тысячу ватных одеял, а фабрика разозлилась и вовсе прекратила поставки. Каково?! Мануйлов слал телеграммы во все инстанции — никакого эффекта. Предъявил фабрике штраф, а те чихают на любые штрафы. Положили штраф на картотеку, ждут, над ними не каплет. Или переслали одеяла в другой город, там с руками оторвут...

— Конечно, юридически наши права равны. Но вот попробовал я откатиться от дрянной продукции — сразу по шапке дали. А все почему? — Он тронул Фиртича за руку. — Да ты и без меня знаешь почему. Фабрику эту за выполнение плана в рублях милостями осыпают, даже если она пиджаки без рукавов выпустит. А случись у нее прокол, пусть на десятую долю процента, из-за того, что решила людей порадовать добротным изделием, — беды не оберешься... Так и получается: количество орет во всю Ивановскую, а качество шепотом говорит... Господи, учит нас жизнь, учит, а мы все прем по дурной дороге. Отчего это, Фиртич, скажи на милость? Там ведь тоже люди сидят ответственные.— Мануйлов ткнул корявым пальцем в потолок. — За что же они отвечают?

Мануйлов прикрыл глаза, помолчав, добавил:

— Болтовни у нас много, Фиртич. Не захлебнуться бы в собственных словах, потом никакое искусственное дыхание не поможет.

— Поговорим о деле,— переменял тему Фиртич.

Мануйлов придвинул бокал, вложил в него соломинку.

— Поговорим, Костя, поговорим... Дело-то давно началось, недавно же твой Индурский икру метал в управлении и у меня на базе.

— Мне нужна вся партия дубленок. Все пятьсот штук.

— Что ты, Фиртич, вперед всех забегаешь? — Голос Мануйлова звучал серьезно, без шутейных интонаций.— И деньги все на реконструкцию себе забрать хочешь.

— Проведал уже.

— Господи, так я где работаю? Все директора ко мне шастают.

— Я знаю, чего хочу, Василий Васильевич.

— А они не знают, ишь какой.

— Я встретил с тобой не коллег своих обсуждать... Мне нужна вся партия дубленок. Вся! Твои условия?

— Э-хе-хе... Мои условия.— Мануйлов вытащил соломинку и отхлебнул коктейль, как воду.— Ладно. Что там темнить. Дам я тебе всю партию. Условие одно.— Мануйлов достал из кармана сложенный листок.— Думаешь, не знал, зачем ты встречи со мной добивался? Но

я согласен. Во-первых, ты человек верный. Во-вторых, хозяин... В списке этом люди, которые меня за горло схватили. Работать не дают, по мелочам цепляются, крупное ищут. Сам понимаешь, упущения везде найти можно, поискать только. Откажу им — перегрызут и выплюнут... Четверо из управления. Из исполкома кое-кто. Из пожарной инспекции, совсем заел штрафами, паразит. Словом, сам понимаешь... Только один человек в списке — ну, лично мой, что ли. Хирург, Марию мою от смерти спас. Ты уж меня, Костя, не подведи, дай ему, чтобы душа радовалась. А тем кидай что хочешь... И кто придумал дубленки на нашу голову, а?

— Лучше скажи, кто придумал столько начальников?

— Если бы только они,— вздохнул Мануйлов.— А то жены, дети, любовницы... Особенно боюсь я жен ихних. Это ж какая-то орда всеядная. Ничем не брезгают... Приехала однажды ко мне одна вся в мехах, я таких даже не видел. Вытащила список и давай шпарить. Говорит, приданое дочери. И тоном таким, знаешь. Мол, снизошла, сама пришла к торгашам... Я аж затрясся. Вскочил. Кричу ей: «Вон из кабинета!» Потом звоню самому. Тот зашелся весь. Правильно, говорит, Васильич, ты бы ее с лестницы спустил... Потом жаловался мне на партактиве: давно, мол, развестись хочу с ней, да такое мне прицепят по всем линиям. Вот и живу, говорит, с классовым врагом в одной квартире.

— Хорошо еще мужик нормальный попался,— вяло поддержал Фиртич.— Другой бы охотился за тобой, как за кабаном.

— И такое бывало. Да ты и без меня знаешь, сам небось страдаешь из-за них... Заложим еще по одному коктейлю?

— На улицу хочу, душно здесь.

Мануйлов полез в карман. Фиртич перехватил его руку, достал деньги, положил на стол и направился к площадке, от которой уползала вверх лестница. Пропустил Мануйлова вперед и двинулся следом.

У Мануйлова туфли на высоком каблуке, низы штанин потрепаны, но аккуратно подшиты. И видны серые в полоску носки. Он медленно переставляя ноги, точно испытывал терпение Фиртича...

В это время с улицы в гардеробную спускалась черноволосая женщина с серыми беспокойными глазами в сопровождении сухощавого старика с прямой спиной.

Получив тулуп, Мануйлов посторонился, пропуская пару.

— Знаешь, кто это? — спросил Мануйлов, едва те скрылись за лестничным поворотом.— Известнейшая когда-то личность. Сорокин Платон Иванович, бывший коммерческий директор обувной фабрики. Петушком еще прыгает. Девчонок на буксире водит. А ведь ему за семьдесят.

Фиртич что-то когда-то слышал об этом человеке, но так и не вспомнил что.

Платон Иванович помог Светлане снять шубу, сбросил на стойку гардероба свое пальто и, не дожидаясь номерка — его тут хорошо знали,— поспешил за своей приятельницей.

Сидящие в полумраке за длинным столом подняли от бокалов лица навстречу спешащей к ним Светлане Бельской.

— Синьора, сюда! — крикнул Серега Блинов.— Место держу! — И когда Светлана приблизилась, тихо спросил: — Привела деда?

Впрочем, Серега Блинов и сам уже заметил Платона Ивановича. Тот ступал по зеленоватому ковру бара, пытаясь разглядеть, куда подевалась его стремительная спутница.

— Платон, я здесь! — Светлана подняла над головой сумочку.

По-доброму улыбаясь, Сорокин направился к столу. Молодые люди были ему незнакомы — слишком велика разница в возрасте. Это было новое поколение «мастеров»: со своей хваткой, своей мето-

дикой, незнакомой старому коню Сорокину, человеку консервативных взглядов. Сорокин не одобрял их образа жизни, их открытого цинизма, их прущего наружу довольства, их усышанных безделушками лимузинов... Было еще что-то, что мешало Платону Сорокину понять этих саблезубых молодцов. В памяти все чаще всплывали воспоминания о тех далеких годах, когда он сам считался молодым человеком. Нет, он был другим в их годы. Скромнее, честнее, искренней. Это потом все скособоилось. Сорокину уже перевалило за сорок, когда он занял должность коммерческого директора обувной фабрики. И довольно долго работал нормально, пока не погряз в леваче... Было что вспомнить Платону Сорокину. Многие хотел бы он забыть, но память упрямо вытаскивала такое, что томило его длинными стариковскими ночами. Тоска подступала к сердцу — один на свете, даже родственники покойной жены разбежались после его возвращения из тюрьмы. Правда, потом объявились, разнюхав, что не все пропало у мудрого Платоши, кое-что сумел он сокрыть от всевидящего ока судебных исполнителей. Но ничего им не отвалилось — как объявились, так и сгнули...

— Представляете?! — возмутилась Светлана. — Совсем обнагел вышибала, не хотел меня пропускать. Если бы не Платон Иванович...

— Ты лучше познакомь нас, — перебил ее Серега Блинов, глядя на тихого Платошу, и первым протянул руку. — Мы с вами коллеги. Я ведаю сбытом на Второй обувной. Решил совета у вас просить.

Платон Иванович вытянул тощую шею, изображая полное внимание.

Серега поднялся из-за стола, жестом приглашая Платона Ивановича к далекому пустому пню. Разговор предстоял серьезный, не для посторонних ушей.

6

Проводив Мануйлова, Фиртич взял такси. Предстоял еще один разговор...

Фиртич сверил адрес на бумажке с номерами квартир, выходящих на площадку. Пятая забила в самый угол, к мусоропроводу. На грязной двери виднелись потеки краски.

Фиртич позвонил.

После копошения, звяканья цепи и грохота задвижки показалось простоватое женское лицо.

— Вам кого? — спросила женщина и осеклась, узнала.

И Фиртич припомнил в этой женщине одну из сотрудниц Универмага. Та самая, Сазонова, вскрывшая приписку в отчете...

— Добрый вечер. Мне бы Павла Павловича, — сдержанно произнес Фиртич. Он не ожидал, что Сазонов живет в одной квартире со своей сестрой. Что ж, тем лучше.

Женщина исчезла. В растерянности она даже забыла пригласить директора войти. Так он и стоял перед дверью. Но недолго...

— Ремонт вот затеял, понимаете, — вместо приветствия пробормотал Сазонов и, точно осознав, кто пришел к нему с визитом, шагнул в сторону, пропуская гостя в коридор.

Фиртич снял пальто, передал хозяину и прошел в комнату.

Сазонов забежал вперед, убрал с кресла брошенный костюм, мягкую сорочку, галстук и предложил Фиртичу сесть.

В комнате был беспорядок, какой обычно сопутствует ремонту. Сдвинутая в сторону мебель, накрытая газетами, запах краски...

— Что, Павел Павлович, болеете? — спросил Фиртич.

Сазонов пожал плечами и смущенно улыбнулся.

«А он приятный малый», — подумал Фиртич. Раньше он как-то не обращал особого внимания на старшего администратора — справляется с работой, и ладно..

— Выписали больничный.— Сазонов поднял над столом голубенький листочек.— Давление подскочило. Хотели даже госпитализировать, я отказался. А сегодня ничего... Может, завтра и выйду.— Сазонов вздохнул.

— Выходите, выходите,— доброжелательно сказал Фиртич.— Чего дома топтаться, если все в порядке. Работы невпроворот.

— Спасибо.— Впалые щеки Сазонова зарделись. Выдержав паузу, он добавил: — Я уж, признаться, отчаялся.

Фиртич сделал вид, что не расслышал этой фразы.

— Обои клеить будете? Или красить?

— Ага,— невпопад ответил Сазонов, благодарно взглянув на директора.

— Если нужны приличные обои, могу помочь.

— Спасибо. Я достал. Я ведь раньше работал в хозторге... Правда, не сработался, как говорится. Чуть под статью не попал... Грели руки, а меня заложником держали...

— Вы работали администратором?

— Нет. Я был красный директор.

— Тем более. Директор без материальной ответственности.

— Да, но...— Сазонов замылся.— Я вообще-то с самого начала хотел уйти из торго в Универмаг. И порядка больше и зарплата выше. Несправедливо, конечно. Делают одно дело, а...

— Когда-то организовали систему Главунивермаг. Главк и выбил себе привилегии. Потом главк разогнали, а привилегии остались. Ведь небольшие магазины никому хлопот не доставляли, вели себя скромно. Подальше от начальства. Внимания не привлекали.

— Известно почему,— вздохнул Сазонов.— От левака деваться было некуда. Получали, как законный товар, с накладными. И всегда в мою смену. И пятиться некуда... Еле ушел.

— А что возили?

— Да что угодно. От холодильников до половых щеток.

— Поражаюсь отчаянности этих людей,— проговорил Фиртич.— Ведь на сэкономленном сырье левак не особенно настругаешь.

— «На сэкономленном»,— усмехнулся Сазонов.— Да они кондицию получают. И тоже левую.

— Это мне известно, не новичок.

— И не только вам...

Фиртича кольнул тон Сазонова. Та молодая женщина, открывшая ему дверь, наверняка представила директора Универмага злодеем в глазах своего брата. И вправду, не могла же такая липа в квартальном отчете ускользнуть от директорского глаза. Значит, знал и молчал. Значит, свой интерес имел директор.

Сазонов уловил настроение Фиртича. Он поднялся, сделал несколько шагов. Сквозь взмокшую рубашку проступили острые мальчишеские лопатки... Визит директора тяготил его. «Чаем угостить, что ли? — лихорадочно соображал он.— А может, выпить предложить? Угроздило жену уйти с сынишкой, все вечера дома сидят, а тут ушли... Может, шепнуть Шурочке?»

— Чем вы так взволнованы, Павел Павлович?

— Знаете,— окончательно растерялся Сазонов и неожиданно для себя сказал: — У меня сын, шестиклассник... В школе им задали сочинение на тему «Я горжусь своим отцом». И он написал, что ему стыдно: его папа — торгаш.— История с сыном несколько дней мучила Сазонова, вот он и выплеснул. Невольно.

— Значит, всех в одну кучу,— проговорил Фиртич.

— Именно,— вздохнул Сазонов.

— Ничего нет удивительного. Вы ведь тоже...

— Что? — встrepенулcя Сазонов.

— Всех в одну кучу валите. Меня, например...

Кровь схлынула с пунцового лица Сазонова, он, словно ища опо-

ры, привалился к стене. Вид у него был решительный и потерянный одновременно.

Фиртич встал с кресла и вплотную приблизился к несчастному молодому человеку.

— Слушайте внимательно, Сазонов,— жестко проговорил Фиртич.— Вы испортили мне праздник. Юбилей. Вы были пьяны, но это ни в малейшей степени вас не оправдывает...

Сазонов подавленно молчал, опустив голову.

— И не только мне вы испортили праздник. Вы оклеветали многих достойных людей, которые работают вместе с вами. Так же честно, как и вы. Поначалу я хотел вас убрать из Универмага. И я бы это сделал. И никакой местком вам не помог бы, уверяю вас.

Молодой человек скорбно кивнул.

— Более того, я бы постарался сделать так, чтобы вас никуда не взяли в системе торговли, поверьте мне.— И, не удержавшись, Фиртич добавил: — Кстати, у вас бы появилась возможность прямо смотреть в глаза своему мальчику... Но мне, милейший Павел Павлович, не хочется заниматься этим малопочтенным делом. У меня в жизни другие цели. Надеюсь, вы обдумаете смысл моего визита к вам и сделаете вывод.

Фиртич круто повернулся и вышел из комнаты. Следом заспешил ошеломленный Сазонов.

За приоткрытой кухонной дверью мелькнули светлые ребячьи глазенки.

— У вас двое детей? Этот малыш не похож на шестиклассника.

— Это сын сестры. Она работает у нас бухгалтером.

— Вот и пусть продолжает работать,— с нажимом произнес Фиртич, одеваясь.— Так же, как и вы, Павел Павлович.

Скомкав у горла рубашку, Сазонов смотрел, как Фиртич спускается по лестнице. Надеясь, что Фиртич взмахнет на прощанье ему рукой. Но не дождался.

Фиртич был недоволен собой.

Одна причина определенная: разговор с Сазоновым. Тактически он поступил верно. Его визит формально нельзя истолковать как ультиматум, он пришел выразить обиду за испорченный праздник... Но не дураки же они, должны понять: нечего лезть на рожон да трепать языком о липовых успехах Универмага в прошлом году. Накануне решения вопроса, столь важного для «Олимпа». Или лучше открыто с ними поговорить, растолковать свои планы, привлечь в единомышленники, а? С братом он бы еще договорился. А с сестрой? Интуиция ему подсказывала, что она орешек непростой. Что ж, время покажет...

Вторая причина недовольства была неконкретна, расплывчата. Память выталкивала то директора ресторана Кузнецова в мешковатом костюме, то Мануйлова с озабоченным лицом.

Елена уже спала.

Фиртич тихонько просунул руку под горячую щеку жены. Та шевельнулась, уstraиваясь удобней... Он не помнил ни одного случая за все годы их совместной жизни, чтобы Елена расспрашивала его, почему задержался, где был, с кем. Даже если они и дулись друг на друга, это ночное прикосновение вытесняло обиду из ее памяти. И не было тогда человека более благодарного и преданного, чем он. Даже если Фиртич и не считал себя виновником ссоры.

С удивительной проницательностью Елена угадывала состояние мужа: желание одиночества или бегство от него. Даже погруженная в глубокий сон, она всегда пробуждалась.

И он знал это. Ждал своей минуты, не пытаясь нарушить покой жены. Не торопя ее. Как она угадывала его состояние, оставалось для

Фиртича загадкой. Да и для нее тоже. «Душа вдруг затомится,— объясняла Елена.— Удержу нет...»

...Потом они лежали поодаль друг от друга.

— Знаешь, я вдруг вспомнил, как наш мальчик застал нас. Помнишь? — промолвил Фиртич.— Столько лет прошло, а все помню.

Они тогда были молоды и неутомимы. И втроем занимали одну комнату. Однажды Фиртич, обернувшись, увидел в белесой ночной полутьме своего двухлетнего сына, стоящего в длинной рубашонке в кроватке. Кажется, никогда в жизни Фиртич не испытывал такого острого чувства — нет, не стыда, а страха. У него даже пропал голос, как при жутких сновидениях. Елена не поняла, что произошло. «Он... смотрит», — наконец выговорил Фиртич. И почувствовал, как деревенеет его тело. А мальчик сел в кроватке и заплакал. И никто из них не решался подняться, успокоить его...

— Ты послала ему денег? — спросил Фиртич.

— Еще позавчера. Костюм бы ему подобрать, тот совсем пообтрепался. Стыдно. Студент третьего курса.

— Подберем. Приедет на каникулы, подберем.

— Ты все сердишься на него?

— Здравсьте, с чего ты взяла? — удивился Фиртич.

— Меня не обманешь. Обиделся, что сын не приехал на юбилей.

Фиртич любил сына. И то, что Сашка не приехал на юбилей, действительно ударило его в сердце. Хоть он и скрывал это.

— Мог бы и прилететь, конечно. На один вечер,— вздохнул он.

— Как воспитали.

— Что мы, плохие родители? Или я плохой отец?

— Нет. Отец ты хороший. Только... Ладно, не будем об этом...

— Нет, почему же? — Фиртич приподнялся на локте.— Говори уж!

— Ты на Сашу сердишься. А сам? На юбилей тети Вари...

— Ну! — перебил Фиртич.— Тогда я был в Москве, решался вопрос о моем назначении.

— Мог бы прилететь. На один вечер,— передразнила его Елена.— Всю жизнь она на вас с братом положила. И болела тяжело...

— Ну знаешь... — начал было Фиртич, но неожиданно согласился.— Хорошо, я виноват, но ведь были причины. А Сашка? Взял билет да прилетел... Просто он весь в тебя. Равнодушный тип!

Елена молчала. Продолжение этого разговора непременно привело бы к резкостям, а ей этого не хотелось. Она лежала в свободной позе, подперев голову рукой. Глаза ее сейчас казались темными и глубокими.

— Знаешь, Фиртич, у меня никогда не было зуба мудрости.

— Вот еще. Он есть даже у самого отъявленного болвана.

— А у меня не было.

— Почему ты вдруг?

— Не знаю. Потому что позволяю тебе всячески унижать себя.

Ты и не задумываешься над этим. Почему?

— Потому что я тебя никогда не брошу.

— Даже когда умрешь, Фиртич?

— Даже тогда. Поэтому и злюсь на тебя.

— Странная логика.

— Сам понимаю. Но это так.

Помолчали.

— Ты уволишь того парня? Старшего администратора.

— Нет. Передумал.

— Правильно. Ты умница... Он тебе предан. Просто что-то случилось. Не гони его, Фиртич... даже потом.

Фиртича пронзила пронизательность Елены. Ведь она ничего не знала, он мог поклясться, что ничего...

— Что ты имеешь в виду?

— Я хорошо тебя знаю, Фиртич. Ты не прощаешь обид.

7

Кирилл Макарович Барамзин уже много лет занимал должность начальника Управления торговли промышленными товарами. Работа поглотила его целиком. И он уже не мыслил себя никем иным, кроме как каким-то маховиком, задающим режим всей громоздкой машине.

Как бы в стороне жила женщина, носящая ту же фамилию, его жена. Была еще девочка, его дочь.

Потом, после довольно натянутой и не очень шумной вечеринки, в его трехкомнатную квартиру явился молодой человек в кожаном пиджаке, его зять...

Так шли годы.

Однажды во время короткого воскресного дня Барамзин обратил внимание на внешность дочери. Да, подтвердила жена, мы ждем внука.

Весть ошеломила и обрадовала Кирилла Макаровича. Впервые он подумал, что приближается пора ухода на пенсию. Тогда-то он и заживет для себя...

Появился внук. Барамзин стал чаще бывать дома. Он нашел приятность и успокоение в самых, казалось бы, прозаических вещах. Барамзину, например, нравилось купать малыша. Делал он это с величайшим мастерством и ловкостью... И всех это устраивало: наконец-то семья видит деда дома. А ссылки на бесконечные совещания-заседания, рейды, инспекции и прочее теперь расценивались как отговорки. Была бы, оказывается, охота.

Но «маховик» всего лишь замедлил обороты, с тем чтобы потом наверстать свое.

Случилось это ночью.

Барамзина и раньше поднимали с постели, мало ли что приключалось в огромном его хозяйстве! Кражи, пожары, стихийные бедствия. При особо серьезной ситуации его присутствие было необходимо...

На этот раз бульдозерист повредил магистральный водопровод. Вода стала заливать склады меховых и электрических товаров, принадлежащие его ведомству. В основном Кирилловские склады занимала база Росторгодежды, она не подчинялась Барамзину, руководство базы находилось в Москве, оставив своим заместителем Мануйлова. А вот четыре кирпичных двухэтажных барака принадлежали управлению торговли. И один из них сейчас заливала вода...

Тусклый свет фонарей с трудом освещал часть просторного двора. Белели свежеструганые ящики, контейнеры, бочки, штабеля стройматериалов. Посреди двора рядом с черным земляным отвалом стоял бульдозер и лупил мощным световым лучом в зияющую щель траншеи. Рядом копошились какие-то люди. Они почтительно расступились, заведя Барамзина.

Покореженную бульдозером трубу не было видно, ее покрывал слой темной воды, поверхность которой вскипала серыми пузырями.

— Аварийку вызвали? — бросил через плечо Барамзин.

— Сразу же, — ответил старший дежурный по охране. — Пока не приехала. Пять раз звонили. Ругаются. Объясняют, что слили воду, радиаторы машин прихватывает.

— Что?! — взъярился Барамзин. — Какие сейчас морозы, весна на носу! К тому же аварийная служба, готовность номер один.

— А черт их знает, — вздохнул дежурный. — Пьют, наверно, с готовностью номер один.

Барамзин уже не слушал его. Широкими шагами он нес свое костлявое сутулое тело к зданию склада. По дороге узнал, что дежурный, патрулируя объект, обратил внимание, что за складскими дверями скулит собака. Дежурный включил контрольное освещение и через глазок увидел, что пол залит водой...

При полном свете складское помещение являло собой тревожную картину. Вода уже поднялась сантиметров на пять и продолжала прибывать. Только как она попадала в помещение из траншеи, непонятно... О товарах, лежащих на полатах, беспокоиться не приходилось. Но обшитые материей тюки, что громоздились на полу, набухли, посерели. Картонные ящики намокли.

Все прибывшие на склад, не дожидаясь приказа, бросались к тюкам и коробкам, с тем чтобы найти им подходящее место.

Барамзин поспешил к телефону. Он решил просить пожарников откачать воду, пока приедет аварийная служба... Бодрый голос далекого бойца противопожарной охраны был преисполнен готовности ликвидировать любой очаг возгорания в пределах контролируемого района. Но послать отряд на Кирилловские склады он отказался: вода не огонь.

— С вами говорит начальник управления торговли, депутат горсовета. — Барамзин редко прибегал к подобной саморекламе.

— Не могу, товарищ депутат. Вызывайте аварийку. Инструкция! — Он замялся и спросил участливо: — А что, большие ценности заливают? — И, упреждая гневный разнос, вздохнул: — Ладно, вызову офицера. Он и решит.

Едва дождавшись разъединения, Барамзин набрал номер аварийной.

— Кто? Кирилловские? — перебила его дежурная. — Выехали, выехали. Надоели уже! — И бросила трубку.

Барамзин озадаченно смотрел на телефон. Видимо, без вмешательства исполкома и горкома не обойтись...

Едва он успел прийти в себя, как с порога крикнули, что прибыла аварийная машина.

Людей на аврале заметно прибавилось. Подоспели складские рабочие, живущие поблизости, вохровцы, шоферы-рейсовики, ожидающие погрузки-выгрузки...

— А чо, робя, вроде не така уж и холодная водичка, — поделился мужчина в синей гимнастерке без погон, волоча тюк килограммов на сто.

То, что вода не столь студеная, как полагалось быть воде магистральной системы в это время года, заметили все. Но не придали этому значения, порешив, что в помещении и нагрелась.

— Где просыхать-то будем? — кричал парень с вислыми, как у моржа, усами.

Удивительный народ! Ни за какие рубли не заставишь их так потеть в рабочее время. Ясно, конечно, сейчас особая ситуация. Но что им эти тюки с мехами? Кто из них носил подобные меха? Чувство ответственности перед обществом за материальные ценности? Вряд ли! Просто добро пропадает — вот в чем причина. На глазах гибнет... Иной раз не слишком прилежной работой они наносили обществу ощутимый урон без особых угрызений совести, но сейчас, ночью, поднятые с постелей... Добро гибнет! На глазах! И навалились всем миром. Без рангов и должностей.

Барамзин примеривался, к чему бы приложить и свои силы. Тут подоспел запыхавшийся Мануйлов.

— У меня все нормально. Чего с кровати сдернули? — проворчал он.

Мануйлов что-то еще хотел сказать, но его перебил нагловатый молодой голос. Голос спрашивал главного.

Барамзин повернул голову. Он увидел длинного патлатого парня в ватнике поверх замызганного джинсового костюма. Растянутый ворот свитера оголял тонкую шею. Позади парня стоял завскладом Рябинин. Мокрый, перепачканный известью, лицо растерянное.

— Вот что, дядя, вода здесь не наша,— произнес парень.

— Как? — не понял Барамзин.

— Не наша вода проникла в помещение. То, что бульдозер разворотил, к затоплению отношения не имеет. Совпадение...

— Вот и выясните! — жестко оборвал Барамзин.

— А где схема? — с подковыркой проговорил парень.— Мы уже лазали-лазали, бока ободрали.

— Я же показывал,— вставил завскладом Рябинин.

— Ваша схема пятилетней давности. С тех пор этаж надстроили. Где новая схема?

Барамзин наливался злостью, но еще сдерживал себя. Он видел тощую шею парня, словно винченную в ворот свитера...

— Кирилл Макарыч,— вкрадчиво пояснил Рябинин,— вода прибывает из-под стены в последней секции. И теплая.

— Я и говорю: не наша вода,— повторил парень.

— Что значит ваша — не ваша! — воскликнул Барамзин.— Вы зачем тогда приехали? Немедленно приступайте к делу.

— Фу-ты ну-ты... Командир нашелся! — задиристо ответил парень.

Рябинин откинул влажные волосы с потного лба.

— Ты как разговариваешь? С самим Кирилл Макарычем?!

— А мне плевать. Схему гоните. А то уедем.

Барамзин внимательней взгляделся в лицо парня. Он и вправду пьян. Не всерьез, но явно принял...

— Послушайте, молодой человек. Здесь товарный склад. Под угрозой порчи огромные ценности.— Барамзин решил не начинать с парнем спора, проку будет мало. Главное сейчас — остановить поступление воды.— Понимаю, отсутствие схемы затрудняет вашу работу, и я сделаю соответствующие выводы. Но сейчас надо ликвидировать аварию. И откачать воду.

— Качалки все равно нет, испорчена качалка. Компрессор вызывать надо. Мне было сказано приехать на объект и закрутить-прикрутить... А до ваших тряпок мне дела нет. Их все равно в магазине не купишь. А если и покупать, то считайте, сколько мне месяцев на ваши меха горбатиться надо.— Парень обвел стоящих перед ним усталых пожилых людей хитрыми глазами: мы, мол, понимаем что к чему... — К тому же, повторяю, вода не наша. Полное право распрощаться имею.

— Не наша, не наша! — вскипел Мануйлов.— А чья, турецкая?

— Может, и турецкая, дед... Наша вода на улице, до водомера. После водомера другое ведомство. Что бульдозер своротил, мы латанули. И все! Стенку разбирать не наша забота.— Он ухмыльнулся, показав крепкие зубы.— Закурить бы дали. А то кашель схватишь с вашими ваннами.

Рябинин достал портсигар и услужливо раскрыл его навстречу парню. Грязными пальцами тот вытянул две папиросины: одну заложил за ухо, другую бросил в рот.

— За труды наши. Награда.— Он подмигнул Рябинину, выжидая, пока тот найдет зажигалку.

Барамзин протянул руку, вырвал изо рта парня папиросу и швырнул в воду.

— Курить на складе запрещено,— внятно проговорил Барамзин.— Это во-первых. Во-вторых, вы сейчас приметесь за обнаружение причины аварии. И ликвидируете ее.

Парень молча смотрел на Барамзина. Ярость тихо мерцала в мелких запавших глазках. Обида исказила мятое личико.

— Вы это зачем, а? Я ради вас на брюхе ползал, а вы папиросу, значит, в воду! Стоите тут сытые, чистенькие...

Барамзин в бессильном гневе сжимал кулаки. Дорога каждая минута, а он топчется перед этим сопляком. Он, человек, отвечающий за огромное хозяйство, жизнь проживший! Конечно, он не оставит этого: завтра же свяжется с руководством аварийной службы. Но сейчас, в эту минуту... Что толку от него, высокого начальства, если такого же результата могли добиться и Рябинин и дежурный охраны. Нет, подняли его, Барамзина, привезли в надежде на авторитет, влияние. А он стоит перед патлатым, вертлявым, чумазым стервецом, стоит, скрывая растерянность от своих подчиненных...

Парень достал из-за уха вторую папиросу и похлопал себя по карманам, разыскивая спички...

В следующую секунду — Барамзин даже не успел разобраться толком, что произошло,— парень ойкнул и, точно доска, плашмя опрокинулся на пол в воду. Вертко крутанул башкой в сторону грузчика с вислыми, как у моржа, усами.

— Ты что?! Таракан! — Парень подтянул ноги, пытаясь подняться.

Усатый шагнул к парню, наклонился и с оттягом, смачно, всей раскрытой ладонью отвесил затрещину. Голова парня дернулась, кожа на скуле лопнула, показалась кровь. К усатому подскочили несколько человек, вцепились ему в плечи, стараясь оттащить в сторону.

— Убью гада! Тварь! Руки-ноги переломаю, падла! — Усатый пытался вырваться.— Не перекроешь дыру — в собственном дерьме вымажу, гад! Любой суд меня оправдает!..

Водитель включил передачу, и автомобиль, неуклюже переваливаясь, выполз на чистую дорогу, фыркнул и понес себя к городу.

Барамзин провел перчаткой по запотевшему стеклу. Четко проступили очертания сиреневых рассветных домов. Шесть утра.

Мануйлов дремал, привалившись к окну. Расстегнутый тулуп распался по сиденью сивыми завитками меха.

Барамзин вздохнул. Он не мог спать сидя. А раньше мог. Даже на ходу, в строю. И сны видел под аккомпанемент шагов многочасового перехода...

Он вспомнил молодого офицера-пожарника. Тот прикатил на спецмашине, проанализировал обстановку. Вдвоем с водителем подключили насос и откачали из склада воду. Потом подъехала аварийная машина с хватким, деловым мастером.

Барамзин уже не чувствовал злости — утихла. А мысли сонно омывали то один эпизод минувшей ночи, то другой. И все они замыкались на том малом с тонкой шеей в растянутом ворота грязного свитера.

— Ну его к бесу, Макарыч,— проворчал Мануйлов.— Забудь!

— Думал, ты сны цветные видишь,— проговорил Барамзин.

— Брось, брось, Макарыч,— повторил Мануйлов.— Тот усач, что ему по морде жажнул, тоже не кончал благородных курсов. И вроде бы одногодки по виду. Только один совестливый, а другой — мразь. Генетически, понимаешь. От рождения... А ты сидишь мучаешься.

— И мучаюсь, Вася, мучаюсь! — искренне воскликнул Барамзин.— Точно мордой меня об стенку. И мы были молодыми, Вася, я же помню, мы были молодыми...

— И среди нас такие же попадались,— перебил Мануйлов.

Барамзин отвернул расстроенное лицо.

— Понимаешь, авария, катастрофа... А тут приезжает пьяный, наглый... Как вспомню о нем, так все в другом свете представляется. Как великая беда. Не-по-пра-ви-мая.

— Поправимая, Макарыч, поправимая. Меры нужны. И серьезные. Чтобы мразь безнаказанности не чувствовала! — горячо воскликнул Мануйлов. — Выкидывать к чертям собачим с работы! И не принимать, не унижаться перед дрянью. Пусть потыркаются.

— Рук везде не хватает. Подберут,— обронил Барамзин.

Водитель вежливо полуобернулся к ним, не сводя глаз с дороги.

— Я вот интересуюсь, с вашего позволения. Чем вам тот парень не угодил?

— То есть как? — даже растерялся Барамзин.

— А так. Инструкцию не он придумал. Наоборот! Все бы делали то, что обязаны, рай бы наступил... А ему по шее за это.

— Так он пьян был, каналья! — вскричал Мануйлов.

— Пьян — это плохо. — Водитель примолк, подумал. — Только то, что выпимши был,— вот и вся его вина.

Мануйлов вытянул короткую шею и почти коснулся лбом щеки водителя.

— А в войну? Люди телом вражьи амбразуры прикрывали!

— То война,— спокойно ответил водитель. — А сейчас? Один бездельничает, паразит, а другой его ошибки исправляет, жизнью рискует. Героизм? По мне, это покрывательство. Статья за это есть, уголовная.

Мануйлов резко откинулся на спинку сиденья, запахнул тулуп и ткнул локтем Барамзина.

— Ну и кадры у тебя, Макарыч... Да этот хуже того, патлатого. Тот хватил, а этот размышляет...

— Верно, размышляю,— обрадовался водитель. — Вы же сетовали, что люди мало думают. А вот он я! И тут же против меня повернули, вместо того чтобы подумать хотя бы... Неблагородно! Или за собой не замечаем?

— На дорогу гляди,— буркнул Барамзин. — За рулем сидишь, философ. — Но в голосе его не было строгости. Наоборот, какое-то умиротворение и покой...

Несколько минут ехали молча.

— Затылок тянет,— пожаловался Мануйлов. — Снег, должно быть, повалит, верная примета. — И, обернувшись к Барамзину, добавил игриво: — Что ты, Макарыч, что взгрустнул? Да ну их к бесу, мысли разные. Жизнь-то короткая... Как внук-то? Лопотун?

— Лопотун,— улыбнулся Барамзин.

— Ох эти цыплята. Послать бы все дела к едрене фене. Сидеть бы с ними день-деньской, ей-богу. Санаториев не надо. У меня две внучки, знаешь, Катя и Даша. Как в романе.

— Знаю,— кивнул Барамзин. — Катя и Даша. Хорошо. А что ж ты на пенсию не уходишь при таком романе?

— Да вот надо бумаги собрать. Страх берет, сколько беготни. Хочу на республиканскую потянуть. Дадут, не дадут...

— Дадут. Как не дать! Кому тогда и давать? Управление поддержит. Хоть ты и не наш человек.

— А чей же я человек?

— До водомера наш, а после — неизвестно чей,— не выдержал шофер.

И все громко рассмеялись. А пуще всех сам Мануйлов.

— Блех ты, мать честна! Цирк — и только: работаю здесь, а подписи ставлю в столице.

— А то... Надо же им там зарплату получать,— смеялся Барамзин.— Централизация, брат, не шутейное дело...

И все неприятности минувшей ночи им, прошедшим огонь, воду и медные трубы, казались сейчас таким пустяком, над которым нормальному человеку не то что печалиться — задумываться и то зорно. Смеяться, и только...

— Будет, будет нам,— успокаивал всех Барамзин.— Чего доброго, грызу наживем или в кювет сиганем... Так что, Васильич, говорят, ты крепко разбогател?

— Отдал уже все. До последнего малахая.

— Кому?

— Фиртичу.

— От пострел! Сумел-таки... Его коммерческий, Индурский, мне издали в пояс кланялся, молитвы шептал, всех моих замов настроил. Ну, думаю, отвяжитесь вы от меня — подписал все что надо. Надеюсь, что Мануйлов им дулю покажет... А ты им все и отдал. Ай да Фиртич!

Мануйлов не понял, доволен начальник управления директором «Олимпа» или нет.

— Кому много дано, с того и спрос больше,— неопределенно проговорил Мануйлов.

— Спрос со всех одинаков, в том-то и дело... А я вот иной раз думаю: не слишком ли тяжелую ношу взвалили на Фиртича? Такой универмаг, не надорвется ли?

— До сих пор не надорвался,— ответил Мануйлов.— А в прошлом году вообще молодцом. В один из лучших универмагов страны вышел. И тебе, Макарыч, славу добыл.

Барамзин посмотрел в окно. Скоро и дом...

Что это они все о Фиртиче пекутся? И Гарусов, начальник отдела организации торговли управления, настаивает на предоставлении «Олимпу» нового оборудования. Дескать, пора городу иметь не только Универмаг, но и «культурный центр» на уровне мировых стандартов. Интересно, чем он заполнит этот музей? Товарами с мануйловской базы? Конечно, там есть что выставить на прилавок. Только хватит ли хотя бы одному «Олимпу»?

— Беда просто,— вздохнул Барамзин.— Приму снотворное — или просплю, или буду под балдой. А не приму — и вовсе не усну.

— Ты под душ залезь холодный,— посоветовал Мануйлов.— Поможет.

Автомобиль остановился у подъезда Барамзина.



За четверть часа до начала конъюнктурного совещания Кирилл Макарович Барамзин в сопровождении сотрудников управления, Фиртича и других директоров универмагов осматривал выставленные в зале экспонаты.

Вдоль стен на отдельных стендах лежали образцы обуви, которую выпускали пять иногородних обувных предприятий, объединение «Весна», Дом моделей. Стенды принадлежали универмагам или специализированным обувным магазинам и в свою очередь делились на секции. Подле каждой секции на шесте красовалась надпись: «Спрос», «Ограниченный спрос», «Отсутствие спроса», «Брак»... Тут же на полках лежали образцы продукции кожзавода «Прогресс» и трех фурнитурных предприятий.

Ближе к сцене разместилось представительство универмага «Олимп».

Продавцы обувного отдела во главе со своей заведующей Стеллой Георгиевной Рудиной заканчивали выкладку товара...

Перед самым входом в зал Фиртич столкнулся с директором универмага «Фантазия» Табеевым, громоздким мужчиной с масляными сонными глазками. Табеев стиснул ручищами плечи Фиртича и проговорил свойским тоном:

— Братьев впотьмах обскакать хочешь? Не вывихни ноги, Константин.— Он не стал вдаваться в подробности, расчет прост: пусть Фиртич думает обо всем сразу.

Фиртич изобразил удивление и отошел. «Встревожился муравейник,— думал он,— возможно, и совместный план составили». Но вряд ли, слишком велико соперничество между директорами, чтобы сколотить общую платформу против Фиртича. Что их сейчас больше тревожит? Намерение Фиртича прибрать к рукам весь пакет на заказ импортного оборудования? Или широкий жест старика Мануйлова?

Фиртич отстал от группы, остановился у ближайшей выкладки и взял в руки дамские сапоги. Легкие, мягкие, изящного силуэта, с пластмассовой «молнией». Многие импортные образцы оставит позади по внешнему виду...

Оглянувшись, Фиртич заметил высокую девушку в сапожках и тронул ее за руку. Девушка обернулась, испуганно заморгала.

— Скажите, вы носите импортные сапоги?

— Да, Константин Петрович.

— Вы из «Олимпа»? Как вас зовут?

— Татьяна... — Девушка запнулась, умолчав фамилию.

— Вам нравятся эти сапоги?

— Ничего,— ответила Татьяна Козлова.

— Почему же «ничего»? Смотрятся лучше ваших черевичек.

— А колодка? Ногу выворачивает.— Татьяна бросала по сторонам растерянные взгляды, словно ища поддержки.

Фиртич хотел было уже оставить девушку, как подошел старший продавец отдела Дорфман. Поздоровался.

— Имеете что сказать, товарищ директор?

— А что, Борис Самуилович, вам нравятся эти сапоги?

— Для жены? Для посторонних?

— Считайте, для жены,— улыбнулся Фиртич.

— Для жены? — Дорфман поправил яркий галстук.

— Для жены,— подтвердил Фиртич.

— Я бы воздержался.

— Видите! — обрадовалась Татьяна.

— Ша! — воскликнул Дорфман.— Я бы воздержался. Вы спросите: почему? Я отвечу. Берем в руки образец.— Он бережно взял пальцами сапожок.— Что мы видим? Во-первых, разный товар...

— Разный? — удивился Фиртич.— Совершенно одинаковый!

— Для вас да, для меня нет. Проведите рукой по коже. Чувствуете? Правый сапожок ползет, чувствуете?

Фиртич провел ладонью. Действительно, черт возьми, правый сапожок пожиже, что ли. А с виду совершенно одинаковые.

— Из разных кусков, уверяю вас. Правый быстрее сносится. Теперь каблук. Смещен относительно своего места. Видите?.. Подкладка, подкладка. Что мы имеем насчет подкладки? — Дорфман просунул руку и принялся что-то щупать, прикрыв глаза.— Тоже не ах, я вам скажу... Словом, Константин Петрович, я вас уважаю, я бы воздержался...

Но если человек не понимает, то и так сойдет. Будет носить и благодарить бога.

Фиртич теперь смотрел на сапоги другими глазами. Сколько прошло через его руки образцов обуви, прежде чем поступить в продажу...

— А колодка? Вот Танечка говорит...

— Что колодка! Все кивают на колодку. Я другое вам скажу. Среди наших колодочников есть такие мастера — ни в какой загранице не найдешь!

— Что вы говорите, Борис Самуилович! — заволновалась Татьяна. — Поносили бы вы эти сапоги.

— Что я говорю! — воскликнул Дорфман. — Я говорю: колодочники у нас есть классные, скульпторы. А это вымирающая профессия. На Кавказе, говорят, хороший колодочник живет, как царь, но это другой разговор... Все дело в культуре производства. Все дело в клее. Чтобы они были живы и здоровы, но они столько кладут клея, что сапог превращается в колоду. Ногу в нем печет, как в гробе.

— Здрасьте. При чем тут клей! — вмешался незнакомый молодой человек с красивым капризным лицом. — Дело не в клее. Дело в подкладке. Иностранцы кладут кожу. А мы что? Синтетику.

— Именно иностранцы сажают синтетику! — гордо поправил Дорфман. — А мы кожу, нам не жалко. И какую еще кожу, чтоб я пропал.

— Иностранцы на подкладку делают более тонкий срез, поэтому она и мягче, — вмешалась женщина в очках.

— Теперь я скажу: здрастьте! — разволновался Дорфман. — Все всё знают. А я, можно сказать, с детства стою в обувном отделе.

— Подумаешь! — Белолицый красавец метнул в Дорфмана насмешливый взгляд. — Что толку? Правильно девушка говорит: колодки наши ни к черту.

— Кто вы такой? — Дорфман не шутя рассердился. — Идите себе! Вы не из нашего Универмага, так идите себе. Тут разговаривают свои люди. Слова нельзя сказать, чтобы тебя не подслушали. — Он повернулся спиной к незнакомцу, отпихнув того от Фиртича. — Я приведу вам человека, Константин Петрович. Это наш старший бракер Зотов. Не верите мне — поговорите с Зотовым. А слушать, что болтают всякие, я бы не советовал.

Дорфман ухватил Фиртича за чуговицу и потянул в сторону.

— Борис Дорфман знает об обуви все, что может знать человек об обуви... Теперь вы посмотрите на мои ноги. Сегодня праздник. Сегодня конъюнктурное совещание. В чем пришел на праздник Борис Дорфман, человек, который всю жизнь имеет дело с обувью? Скажете, это Италия? Три года с ноги не снимаю.

Дорфман потянул вверх штанины просторных брюк и продемонстрировал коричневые туфли.

— Вторая обувная фабрика, — ехидно произнес за его спиной белолицый красавец. — И сейчас выпускаем этот артикул, но другой фасон.

Дорфман удивленно взглянул через плечо на молодого человека. Тот улыбнулся Фиртичу и представился:

— Сергей Алексеевич Блинов, начальник отдела сбыта Второй обувной фабрики. — Он покосился на Дорфмана. — А человек, который носит коричневые туфли и зеленые носки, не имеет права издать звук.

— Я торопился, — потутился Дорфман.

— Подумаешь! Начальник сбыта Второй фабрики! — фыркнула Татьяна.

— Ша! — одернул ее Дорфман.

— Что «ша»! Вы против него академик, Борис Самуилович... Какую они сейчас обувь гонят? Ортопедическую! А то, что вы носите, так это когда было! Три года назад.

Дорфман смущенно повел плечами в сторону Козловой: что она там говорит?

— Разрешили, я бы эту Вторую фабрику...

Фиртич тронул за локоть Татьяну и поспешил к своему месту.

— Что это тебя занесло, милая? — Серега Блинов повернулся к Татьяне.

Он готов был убить эту девчонку. Столько раз пытался поближе познакомиться с Фиртичем, и все неудачно. Последний раз он видел Фиртича в баре «Кузнечик», но присутствие Мануйлова сковывало Серегу: старик его хорошо знал, и не с лучшей стороны.

— А то! Стою за прилавком с вашими лаптями как дура, — ответила Татьяна. — Идемте, Борис Самуилович. Начинается.

Дорфман повернулся и покатил круглое свое тело к секции. Уши его возмущенно пылали, седенький хохолок вздрагивал. Рядом шла Татьяна.

— Мерзавец! Он в день зашибает столько, сколько вы за месяц. Слышала я о делах на их фабрике...

Общегородское конъюнктурное совещание по каждой из групп товаров проводилось раз в год. Его можно было сравнить с прохладным душем в знойный летний день: пройдет время — и жара вновь сонной одурью свяжет тело. А благие намерения тех, кто собрался в выставочном зале, позабудутся в слепой погоне за «экономическими показателями». Только по какому-то бесовскому наваждению показатели эти из стимула прогресса зачастую превращались в его оковы...

Фиртич слышит, как срывается на крик женщина в голубом костюме. Она держит перед собой изящный дамский сапожок.

— Этот образец получил в Брюсселе Большую медаль. Мы оставили позади французов, англичан, даже итальянцев, законодателей моды на обувь. Всех! — Художница оставила сапожок и достала из чемодана другой. Тусклый, с припухлым, точно простуженным мыском. — А вот сынок брюссельской красавицы. Дитя любви! — Она подняла сапожок над головой.

В зале негодуяще зашумели. А сапожок все дрожал в вытянутой руке художницы, голос которой изменился, погас. Стал домашним, тихим.

— Я хочу сказать... Есть ли более печальная судьба, чем у наших художников-модельеров? Когда на глазах уродуют твоего ребенка...

Женщина умолкла, пытаясь справиться с собой. Зал сочувственно молчал. Молчали и те, кого сейчас укоряла главный художник Дома моделей. Конечно, они могли ответить, да толку что? На фабрику из объединения присылают верхний крой, присылают нижний крой, подкладку, клей в бочках, нитки, шнурки, план в рублях... Они все это скрепляют, сшивают, склеивают, прячут в тонкие коробки, которые и от взгляда сминаются...

А те, кто кроил верх. Или низ. Или стельки резал... Дают им кожу, к примеру. Правда, они просили цветную — им завезли черную. Они просили облагороженную — им всучили простую. Они просили образцы, взятые из последнего альбома, — им навязали из предпоследнего, а из последнего будут выпускать через год... И с кожевенника тоже спрос маленький, он человек зависимый. Прислали сырье, он обработал. Шкура-то какая была? Толстая, жесткая... Так ведь забил скотину преклонного возраста. А что делать? Телят забивать невыгодно, мяса мало. Думать надо в государственном масштабе, а не то что натянул мягкие сапоги — и гуляй себе. Не гибнут?

ся, дави сильнее! А если насчет окраски, так при чем тут кожевенники, если красители им химия поставляет? Это вообще другое министерство!

Но все же по совести: не вся кожа плохая, есть и хорошая, просто отличная кожа. Есть! Но есть и плохая. И кто-то же виноват, что есть плохая?

Никто не виноват!

Не могут же люди, чувствующие себя виноватыми, иметь такие невинные лица, такие чистые голоса.

Послушать хотя бы выступление представителя фурнитурной фабрики — как раз он сейчас держит оправдательную речь. Святые люди эти фурнитурщики! Змейка не застегивается на сапоге? Чепуха! Зато какая яркая, тяжелая — железнодорожный состав, а не змейка! Пряжки сгибаются, тонкие? Чепуха! Согнуть что угодно можно: сила есть — ума не надо. И вообще при чем тут они? Такой прокат им присылают, отходы. К тому же просили латунь — прислали белое железо, просили брезент — всучили бязь, просишь одно — навязывают другое... А сами по себе фурнитурщики молодцы ребята. Дают же они фурнитуру на выставочную обувь или, скажем, на экспорт. Грязью облить кого угодно можно...

Так что на круг никто не виноват. Никто!

Конъюнктурное совещание шло своим чередом. Участники обменивались информацией о ходе поставок обуви, о состоянии товарных запасов, о результатах реализации...

Прервав на полуслове тягостное бормотание представителя фурнитурной фабрики, Барамзин поднялся из-за стола.

— У меня есть один общий вопрос к совещанию, но прежде я хочу поговорить о другом. — Он взял в руки изящную женскую туфлю. — Поглядите, какая прекрасная туфелька, верно? Обычная серийная туфелька. Не на экспорт... Кто здесь из «Весны»?

Отозвался кряжистый мужчина в костюме со старомодными ватными плечами.

— Скажите, в этой модели есть нарушения ГОСТа?

Мужчина молчал, силясь понять, куда клонит Барамзин.

— Есть, — наконец решился он. — Но мы согласовали вопрос в министерстве.

— Спасибо, — кивнул Барамзин. — Вот. Люди из «Весны» рисковали, беспокоили министерство, договаривались. И в итоге, нарушив ГОСТ... Я подчеркиваю: нарушив Государственный стандарт, выпустили прекрасную туфельку... Более того, запустили модель в серию. Более того, модель и в серийном производстве не потеряла своих качеств. — Барамзин поставил туфельку на стол. — Теперь вернемся к совещанию... Хочу задать один вопрос. — Он жмурил веки, колкие от бессонной ночи. — Почему возникают перебои с обувью, выпуск которой давно освоен, и кто в этом виноват?

Фиртич хорошо видел крупный лоб Барамзина, узкие губы большого рта, ямку на подбородке. Он знал этого человека много лет. Это Барамзин предложил коммерческому директору хозмага Фиртичу должность руководителя «Олимпа». Это он вел его кандидатуру по коварному фарватеру высоких инстанций, вызывая кривотолки и позорения.

Коллега, директор крупного магазина, все пытался вызвать Фиртича на откровенность: «Слушай, чем ты отблагодарил Барамзина за кресло в «Олимпе»? Я же не ребенок, просто так на подобное место не назначают. Хоть чем-нибудь ты был ему полезен? Его жене, его дочери, его теще, его собаке?.. Небось Барамзину такие подарки дарят, на которые жизнь прожить можно». «Ты дарил? Лично?» — спрашивал Фиртич. «Дружок рассказывал». Фиртич лишь пожимал

плечами. Он понимал, что его молчание вызовет недоверие у коллеги, поставит под сомнение искренность их отношений. И не ошибся. Они перестали встречаться, а до этого дружили много лет.

И сейчас Фиртич вспомнил тот давний разговор.

Но ведь с ним-то, с Фиртичем, никто из управления не играл в такие игры. Возможно, люди из управления полагают, что Фиртич — человек Барамзина, и не докучают ему излишним вниманием. Но Фиртич знал, что он ничей, что он сам по себе. Может быть, Барамзин его придерживает для каких-нибудь более серьезных дел, не тревожит до поры? Или Барамзину нужен такой светляк для отвода глаз?.. А почему не допустить мысль о том, что злые языки клеветуют на Барамзина? Возможно, он крепко мешает кому-то. Почему Фиртич должен верить своему коллеге, а не самому себе, своему опыту общения с начальником управления?..

Барамзин вытнул шею, выскывая кого-то. И в зале принялись оглядываться, словно помогая ему искать.

— А, Константин Петрович! — проговорил Барамзин, заметив наконец Фиртича. — Не желаете ответить на мои вопросы?

Фиртич поднялся. Точный, профессиональный ответ, который вправе ждать специалист от специалиста, сейчас не получится — он слабо знаком с обувной конъюнктурой.

— Извините, Кирилл Макарович... Общие рассуждения, полагаю, тут неуместны. Я бы попросил выступить человека более компетентного. Дорфмана Бориса Самуиловича, старшего продавца отдела обуви.

В предложении Фиртича проглядывала дерзость: вместо себя, директора Универмага, он выставил начальнику управления старшего продавца... Фиртич заметил, как вспыхнули щеки Рудиной. Предложение Фиртича ударяло по самолюбию и престижу заведующей отделом. Кто как не она должна освещать вопросы конъюнктуры по обуви! При чем тут старший продавец?

Дорфман поднялся. Ему было не по себе оттого, что он оказался в центре внимания такого зала. Все проблемы в его голове от неожиданности и волнения спутались в один клубок. Он с ужасом чувствовал, что по привычке начинает говорить издалека.

— Что я могу сказать? Мой отец, Самуил Дорфман, был жилеточник...

В зале возник легкий шум. Губы Барамзина дрогнули в улыбке. Он знал Дорфмана столько лет, сколько проработал в торговле.

— Борис, — произнес Барамзин, — о чем ты говоришь? У нас конъюнктурное совещание по обуви.

Но в круглых глазках Дорфмана уже появился маниакальный блеск. Он не слышал реплики начальника управления.

— После революции люди перестали носить жилеты. И Самуил Дорфман стал безработным. Он был согласен на любую работу. Не то что сейчас. Человек перестал дорожить своим местом, если он не имеет с него какой-то навар... Но мой отец никогда в жизни не отчаивался, а было из-за чего, поверьте. Он имел руки и голову. Он стал холодным сапожником. Он снял подвал на углу Драгунского и Вдовьего, сейчас это улица Третьего Интернационала. Платил налог финорганам и ремонтировал старую обувь: красил, прибывал набойки, правил задник. И делал он это так, что обувь было жаль взять в руки. На нее смотрели издалека. Ее не узнавали владельцы! А что мы имеем сейчас? Покупатель бежит от прилавка, и удержать его — большое искусство. Поэтому многие продавцы ходят на работу не с большой охотой. Им противно продавать такой товар, люди имеют гордость... Я не скажу вам за все фабрики. Возьмите продукцию некоторых московских или ленинградских фабрик. Или, скажем, «Ма-

сис» из Армении. Когда идет такой товар, я надеваю галстук и хорошо бреюсь. А что нам возит Вторая обувная фабрика?.. Кстати, в зале сидит представитель этой фабрики. Интересно, что у него на ноге?

Дорфман говорил без тени улыбки, даже печально.

— Уважаемый Кирилл Макарович спрашивает, почему наблюдаются перебои с обувью, выпуск которой давно освоен. Я вам отвечу. Перебои с плохой обувью почему-то не бывает. Перебои наблюдаются только с ходовой обувью. Промышленности невыгодно выпускать хорошую обувь... Здесь плакала женщина, главный художник Дома моделей. И я понимаю ее слезы. Я видел их музей. Это ж с ума сойти можно от счастья, какая там обувь. А что присылает нам Вторая обувная фабрика? Работая, между прочим, по образцам Дома моделей.

Дорфман повернул круглую голову, орлом оглядел зал. И зал одобрительно зашумел.

Когда Дорфман сел, Барамзин вышел из-за стола и приблизился к краю сцены.

— Мы собрались для важного дела: уточнить сегодняшнюю конъюнктуру.— Он сделал паузу.— Здесь больше говорили о плохом. Конечно, плохое всегда жжет. Хорошее и так хорошее.. Взгляните на эту выкладку. Сколько удачных моделей ходовой обуви! Разве подобное мы могли себе позволить хотя бы три года назад?..

Солнечный свет заливал стенды с выставленной продукцией.

— И что примечательно, друзья,— продолжал Барамзин.— Плохая обувь выпускается за счет отклонений от ГОСТа. И в то же время лучшая обувь, самая красивая и ходовая, также идет за счет нарушения Государственного стандарта. Возникает мысль: не является ли сам ГОСТ сводом косных, устаревших правил?.. Полагаю, что пора создать комиссию по пересмотру ГОСТа. ГОСТ нужен, но он должен быть гибким...

Совещание продолжалось.

(Продолжение следует)

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ



НАШ СОЮЗ РАЗНОПЛЕМЕННЫЙ

Шарде амте! ¹

 Как за брата,
Мы за Шинкубу Баграта
Выпьем все до одного.

Нам дана ума палата,
Чтобы невитиевато
Грянуть слово в честь его.

До едина помним свято
То, что Симонов когда-то
Приводил к Баграту нас,
Чтобы здравствовал исконный
Наш союз разноплеменный
И звучал бы дружбы глас.

Ловчий душ,
 вернувшись с лова,
Евтушенко просит слова.
Еще молод — подождет!

Встал Кайсын — сама поэма,
Пусть он, горец из Чегема,
Скажет слово наперед.

Вслед Гамзатов, сын Гамзата,
В кубке неба таровато,
Звездно вспенит облака.

Шарде амте!
 За Баграта!
И на лезвии булата
Отпечаталась строка.

А над угольем заката
Обретает цвет агата,
Вечерея, синева.

И гора с луной двурогой
Нависает над дорогой,
Словно бычья голова.

Но горит заря в стакане
У Реваза Маргиани:
— За Россию и Кавказ,
Чтобы здравствовал исконный
Наш союз разноплеменный
И звучал бы дружбы глас!

Аббас-Кули Ага

...Приехал к нам Бакиханов... Льву и Александру
он очень понравился... Я его искренно люблю.

Н. О. Пушкина, письма.

Вы, в бездну века прошлого не канув,
Представились — отчества слуга:
— Имею честь... Полковник Бакиханов...
— Я знаю вас, Аббас-Кули Ага.

Окинув даль с дымящихся утесов
Во времена Кавказа бурных лет,
Ценил Ермолов то, что вы философ,
И чтил Паскевич то, что вы поэт.

¹ Самого прекрасного! (Абхазск.)

К переговорам,
 многое изведав,
 Они склоняли давнего врага.
 И вел переговоры Грибоедов,
 Вы были с ним, Аббас-Кули Ага.

Прошли года. И за грядой туманов,
 В Кубе оставив близких и родных,
 С Кавказа вы, полковник Бакиханов,
 Россией мчались на перекладных.

То лес к дороге подступал, то поле,
 И вспоминалось вам под стук копыт,
 Что был Ермолов уличен в крамоле,
 Что Грибоедов в Персии убит.

В черкеске с боевыми газырями,
 Вы не искали славы и утех,
 Ученостью своей не козыряли
 И разом очаровывали всех.

И в пору ту, как благовест исторгли
 В лиловых колокольчиках луга,
 Не зря от вас случилось быть в восторге
 Всем Пушкиным, Аббас-Кули Ага.

А на Кавказ, хоть он бурлил, как плавка,
 Не рвались к воронцовскому шатру:
 Вам наконец дарована отставка,
 Звала она к раздумьям и перу.

И там, где проплывающих кругами
 Птиц отражают млечные снега,
 Мне в час зари пред вечными снегами
 Приснились вы, Аббас-Кули Ага.

Случилось это в Киеве

Горилки вдоволь выхлестав
 И доверяя челяди,
 Затмившие антихристов,
 Разбойничают нелюди.

Занятие не новое,
 Но собственного облика.
 И поднялось багровое
 Над Бабьим Яром облако.

Подумала игуменья:
 «Отступницей не стала я.
 А выдадут врагу меня —
 Самой-то что? Я старая».

Привычно пахнет ладаном,
 Где слышится моление:
 «Еврейкам, мною спрятанным,
 Пошли, господь, спасение».

Она уставу следует,
 Монашек исповедует.

Одна явилась давеча:
 — Ой, матушка, ой верите,
 Боюсь я. Вдруг, пытаючи,
 О всем прознают нелюди.

— Ступай! Молись, негожая,
 И знай, слуга церковная:
 Мария, мать божия,—
 Сестра евреям кровная...

И, в клобуке, как в кивере,
 Ей в очи грозно глянула...
 Случилось это в Киеве,
 Когда война нагрянула.

Рождение В. А. Жуковского

Немолод был помещик Бунин,
 Ему унять бы прежний пыл,
 Да бес в ребро:
 он, кровью буен,
 Крестьянских девушек любил.

Святой невинности угроза,
 Но в жизнь опять ворвалась
 проза:

Война на юге. И, толков,
 Для маркитантского обоза
 Сам отобрал он мужиков.

Они в пути припоминали,
 Что барин, бог его прости,
 Просил их истинно, шутя ли
 Ему турчанку привезти.

За серебро, а может, силой
 Им под Бендерами как раз
 Исполнить, господи помилуй,
 Его потрафило наказ.

И не играли музыканты
 Под небом мишенской земли,
 Когда в дом барский маркитанты
 С войны двух пленниц привезли.

Напоминавшая подранка,
 Звалась Фатьмой одна турчанка.
 С ней обращались по-людски,
 Но плен есть плен, и басурманка
 Угасла вскоре от тоски.

Другая, старшая, вдовою
 Была в свои шестнадцать лет,
 Именовалась Сальхою
 И тайный излучала свет.

О ней проявлена забота,
 Ее сам барин, а не кто-то
 Приставил нянчить дочерей.
 Ах нянька царственной осанки!
 Он с луноликой мусульманки
 Все чаще не сводил очей.

И кофей пить ему носила
 Османа юная вдова
 И все вольней произносила
 При этом русские слова.

Сверкали молниями грозы,
 Звенели тройки по зиме,
 Светились белые березы,
 Светилась церковь на холме.

Сальху крестили в церкви этой:
 — Да низойдет к ней
 благодать! —
 И нарекли Елизаветой
 И дали крест поцеловать.

А барин собственные лета
 Забыл.
 Нет, песнь еще не спета,
 Пронзай, Амурова стрела!
 И мальчика Елизавета
 В январский полдень родила.

И в доме Буниных старинном,
 Екатерининских времен,
 Жуковским, бедным дворянином,
 Младенец был усыновлен.

И оставался грешный барин
 Перед супругой не опален.
 Великодушна и невздорна,
 Она была судьбе покорна.

Но вдруг недуг разверзнул
 бездну,
 В имении переполох —
 И слух промчался по уезду,
 Что Афанасий Бунин плох.

И на одре перед иконой,
 Верна была покуда речь,
 Он завещал жене законной,
 Как сына Васеньку беречь.

ВЯЧЕСЛАВ КОСТЫРЯ

★

ПЕСНЯ ГОРОЖАНИНА

I

От природы только небо,
Мне осталось только небо.
Снизу камень, рядом камень.
Каменная голова.
На природу надо мне бы,
На свободу надо мне бы,
В изумруд листвы шумящей,
В малахит волны звенящей,
На забытые веками
Острова.

II

Хоть и знаю — заскучаю,
Заскучаю, лишь причаю.
Снизу море, рядом горы,
Каменная синева.
Лодку молча бриз качает,
Бессловесны крики чаек,
Нет ни уличного шума,
Нет ни телека, ни ЦУМа...
С кем пуститься в разговоры?
Острова!

III

От природы только небо,
Мне осталось только небо.
Снизу камень, рядом камень.
Каменная голова.
На природу надо мне бы,
На свободу надо мне бы,
В изумруд листвы шумящей,
В малахит волны звенящей...
Переправить в город как мне
Острова?!

* * *

Я — как город. Ему безразлично,
Что на улице — ночь ли, рассвет...
Он — во власти проблемы жилищной,
Мне — от жизни спокойствия нет.

Я готов на любую отвагу,
 Лишь бы выяснить, что и к чему.
 Я с опаской гляжу на бумагу:
 Может, нынче вот все и пойму,
 Может, вскроется бездна такая,
 Что кидайся и камнем легка,
 Безрассудно всему потока
 И бесцельно сгорая в пути.
 Мне бы чувство реальной претрады!..
 Непонятен мне день преходящий,
 Бытовой суматохи разгон.
 Колыбель превращается в ящик,
 Радость смеха — в безрадостный стон...
 Ну зачем, ну зачем же такое?!
 Очень многие просто молчат,
 Быстротечное счастье людское
 Видя в счастье бездумном внучат.
 А по-моему, счастье — в дерзанье,
 Для меня — в той нелегкой строке,
 Что таит абсолютное знание
 И сверкает жар-птицей в руке.

Старый друг

Со старым другом — время в скрутке.
 Он, как волшебник, жизни пласт
 Вдруг выдернет из глуби жуткой
 И дню бегущему отдаст.
 И ты — вослед, как жеребенок,
 Телегу бросив, сняв хомут,
 Сверкая золотом коронок,
 Вдруг видишь в омуте — уют,
 Готов на дыбу за идею,
 Грешешь, не чувствуя вины.
 Ну, словом, сразу молодеешь.
 Друзья, как ветер в зной, нужны.
 Пусть осени пылает охра,
 В отличьях рыться недосуг.
 Профессор или сторож ВОХРа —
 Не важно. Важно: старый друг!

* *

Нам вполцены все то, что близко, Но не вернуть того, что за спиной. Штрихи летящего со мной — Моя во времени прописка. Мгновенны по воде круги Как отзвуки сердцебиенья.	Не потому ль нам дороги Запечатленные мгновенья. Они опорами в пути Среди круженья мирового. Где только те слова найти, Что зазвучать способны снова?
---	--



РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ПОТОП*

Роман

Глава двадцать шестая

За четыре дня и пять ночей бешеной работы, никого не видя, если не считать коротких молчаливых встреч за обедом, наглогавшись кофе, не гуляя, если не считать нескончаемого вышагивания по комнате и разминки по улицам Фидлерсборо по ночам, а иногда и на рассвете, подстегиваемый этим необычным, злым ощущением своей силы, он написал восемьдесят страниц сценарной разработки. 1 июля в половине четвертого утра он стоял у дверей комнаты, занимаемой Яшей Джонсом, держал папку в руке и чувствовал себя замечательно. Он знал, что тут все винты завинчены и гайки на месте.

Он мысленно обежал сделанную работу, не ее содержание, а на редкость четкую форму, и даже восхитился стройностью ее конструкции. Такое ощущение бывает, когда гладишь шею и мускулистое плечо породистой лошади или проводишь пальцами по гладкому, как шелк, бедру девушки. Это наслаждение, подумал он, существует само по себе, не имеет отношения ни к до ни к после.

Он просунул папку под дверь комнаты Яши Джонса.

Господи,— подумал он,— а ведь уже июль.

Он вернулся к себе, несколько раз присел и отжался на руках, побрился, чего не делал уже три дня, пожегал в теплой ванне, принял снотворное, задержал шторы и лег спать.

Проснулся он поздно, оделся, пошел вниз, чувствовал он себя свежим, только как-то не очень твердо держался на ногах, и наелся до отвала. Когда он с сигаретой в руке допивал третью чашку кофе, ощущая приятную пустоту в голове, вошел Яша Джонс. На нем было черное японское кимоно. Здоровая часть его черепа — та, где не было шрама,— блестела, как хорошо ухоженный, отполированный металл.

— Ну и гошку вы устроили,— сказал он.— Как себя чувствуете?

— Хорошо.

— Пошли наверх, поговорим,— сказал он.

— Хорошо.— Бред выглянул из окна в сад. Ну и денек будет, настоящее пекло.

Было настоящее пекло, а он стоял на кирпичном тротуаре за воротами дома Фидлеров. Он поглядел на часы. Было без четверти девять. Много времени Яше Джонсу не потребовалось.

Бред подумал: Немного же надо времени, чтобы обозвать вещь дерьмом!

Но Яша Джонс сперва походил вокруг да около.

— Мастерски сработано,— сказал он.— Ничего более мастерского вы еще не делали. И в Голливуде мне такое мастерство не встречалось. Но это — не вы. Это только тот вы, который владеет мастерством.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4—7 с. г.

— Я же вам говорил в ту ночь возле памятника, — возразил Бред, — я же вам, черт возьми, говорил, что, может, я совсем не то, что вам надо.

— Помню. И вы сказали, что, может быть, тут слишком много всего произошло, а я вам ответил: не важно, что бы тут ни произошло, подойдите к этому с другого конца, и вы напишете прекрасную вещь.

Бред, кривя рот, паясничая, пропел:

— Dawns leug see-lawnce...

— Это правда, — серьезно продолжал Яша Джонс, — и так это и будет. Придет время, когда не надо будет рассказывать, что произошло, — отпадет даже необходимость не рассказывать. Вы почувствуете свободу, и все ваши ощущения сольются в видение того, чем жизнь Фидлерсборо могла бы быть. Видите ли, Бред... — Он замолчал.

— Вижу. Но вижу только тот предмет на столе, который вам кажется дерьмом.

— А в том, что у вас есть сейчас, — продолжал Яша Джонс, словно не слыша его слов, — нет свободы от фактических событий. Но это и не погружение в реальные события для того, чтобы обрести свободу отношения к ним. Грубо говоря, — и он длинным указательным пальцем дотронулся до папки на столе, — это пародия на то, что произошло в действительности.

— Ладно, — сказал Бред, чувствуя, как внутри у него все сохлось и стало рушиться, — пусть это пародия.

— Давайте посмотрим на все это просто. Старик в полуразрушенном доме... скажем, аристократ, похожий на вашего друга Блендинга Котсхилла, но бедный, чалека в кресле на колесах. Сын в тюрьме, вроде Калвина Фидлера. Невестка — как видно, похожа на Мэгги — ухаживает за стариком, который понимает и ее и то, что случилось. У старика навязчивая идея — убедить сына, который должен скоро выйти, примириться с женой. Вторая идея — жить по-прежнему, то есть сохранить дом до возвращения сына. Но их город вскоре затопят. Старик борется против этого. Отказывается двигаться с места. Правительство посылает инженера его уговорить. Тот влюбляется в невестку. Воды поднимаются. Бунт в тюрьме. Тогда... — Он помолчал, снова потрогал папку. — Потом заключенные бегут из тюрьмы. Муж, обезумевший от дошедших до него слухов... — Он замолчал. — Послушайте, Бред... — начал он опять.

— Нет, это вы послушайте. Как ни странно, такой бунт и бегство из тюрьмы — довольно обычное дело.

— Совершенно не важно, бывает так или нет, — уже с нетерпением возразил Яша Джонс.

— То есть как это не важно, бывает так или нет?

— В том смысле, что важна атмосфера. А где же атмосфера, которая нам нужна? — Он снова потрогал рукопись. — Где Фидлерсборо?

— Ну, если надо, я подброшу вам несколько второстепенных персонажей, — сказал Бред. — Это мы запросто. Проще пареной репы. Выведу целые роты негров на Ривер-стрит, и все будут петь спиричуэлс. Полковник с рекламы виски будет плакать у подножья памятника солдату Конфедерации, а вода уже будет плескаться о его костлявые щиколотки. Но вы же режиссер. Вы — гениальный режиссер. У вас же в руках киноаппарат. Вы им так замечательно владеете. Создайте атмосферу при помощи вашей знаменитой кинокамеры.

Яша Джонс погрузился в задумчивость.

— Вы ведь разрабатывали сюжет, в центре которого должен был быть брат Погс, — сказал он немного погодя. — Могу я это посмотреть?

— Получилось дерьмо, — сказал Бред и злорадно захохотал. — Дерьмо, и я его порвал.

Мысль в ту минуту казалась ему необычайно смешной. Теперь же, когда он стоял у ворот в середине дня, который и в самом деле был пеклом, она такой смешной уже не казалась. Ничто не казалось ему очень смешным.

Не казалось ему смешным и то, что, не удержавшись от искушения поддеть Яшу Джонса, он его спросил:

— Вы видели «Сон Иакова»? — И прежде чем тот успел ответить, лихорадочно продолжал: — Да, конечно, видели, и вам фильм не понравился, поэтому вы ни разу о нем не упомянули. Но, черт возьми, почему же вы меня наняли?

И Яша Джонс ответил:

— Я хотел с вами работать не из-за «Сна Иакова». Я хотел этого потому, что в конечном счете вы — это вы.

— Ладно, я — это я, — сказал он и повернулся к двери, а Яша Джонс подошел к нему и положил руку ему на плечо — да, он даже положил ему руку на плечо — и сказал:

— Помните, Бред, я могу ждать.

Бред пристально смотрел на руку, которая словно выражала упрек, обиду, обвинение и от которой поэтому хотелось избавиться. Он высвободился из-под руки и сказал:

— Ну а если я не могу ждать?

И вышел за дверь.

И уже закрыв дверь, за которой остался Яша Джонс, он спросил себя: Не могу ждать чего?

Этого он не знал.

А сейчас у ворот он посмотрел на толстый черный том, который держал в руке, и подумал, что есть, по крайней мере, одно, с чем он не может ждать: надо поскорее унести эту проклятую книгу из дома. Она пролежала на стуле, куда он ее швырнул, четыре дня и пять ночей, и он видел, что она там лежит.

Он поглядел на часы. Было пять минут второго. Только англичане, бешеные собаки и Бредуэлл Толливер стоят под палящим полуденным солнцем. Он просто тут уже пятнадцать минут. И тогда он сел в машину и медленно покатил по Ривер-стрит, а доехав туда, куда хотел, вылез из машины, поднялся по темной лестнице, встал перед столом из золотистого дуба, на котором покоились ноги Блендинга Котсхилла, и положил толстый черный том.

— Простите, я немного его потрепал. Я... я его уронил.

Человек в грубой голубой полотняной рубашке с расстегнутым воротом и приспущенном черном галстуке поглядел на книгу, из которой вываливались отдельные листы.

— Не играет никакой роли, — сказал он. Его голубые глаза, устремленные на Бреда, вдруг прищурились, словно он вглядывался в заросли или в тень деревьев. — Вряд ли я получил бы особое удовольствие, его перечитывая. А зачем вы его читали?

— Мне показалось, что пора это сделать.

— Вы с вашим Джонсом хотите вставить это в свой фильм?

— Нет. В каком-то смысле мы вообще ничего не вставляем в наш фильм. Передать общую атмосферу, понимаете, ощущение того, что вокруг, — вот чего мы хотим. Поэтому я и читал эту чертову штуку. Хотел принахаться к мизмам Фидлерсборо.

Он уселся в одно из потертых кожаных кресел и, прислушиваясь к своему голосу, произносящему эти слова, почувствовал, как внутри у него все сохлось, рушится, почувствовал ощущение утраты.

— А знаете, — сказал Блендинг Котсхилл, тыча тростниковым мундштуком своей трубки в черную книгу, — эта штука была водоразделом для многих из нас. Процесс. Ну конечно, для бедного Калвина, Мэгги, старой миссис Фидлер, для вас и для вашей жены. Но и для меня. Если бы не этот процесс, я был бы губернатором. Может, сидел бы уже и в сенате США. И дело не в том, что мне на это наплевать. Я ведь, в сущности, не заражен тщеславием. Просто мог бы делать что-то для себя подходящее. Играть какую-то роль. Быть persona, как говорил старый профессор Уилбро по-латыни. — Он уставился на черную книгу. — Знаете, в те времена, когда я вернулся из Франции, где защищал устои демократии, тут у нас, на юге, тысяч по десять молодых пижонов оканчивали каждый год колледжи, медицинские или юридические факультеты, даже такие пижоны, вроде меня, кто уехал с юга учиться юриспруденции, — сам я окончил Йель, — и ни черта не желали делать кроме того, что делал я. Большинство из них и поступали точно, как я, или в этом же духе. Заводили ферму в верховьях реки, контору на площади — в моем случае в Фидлерсборо, — подходили к людям, сидящим на короточках под кленами, и обменивались с ними парой слов, охотились, ловили рыбу, натаскивали охотничьего пса, объезжали лошадей, может, иногда и бало-

вались политикой, наблюдали, как меняются времена года, растут дети и готовятся делать то же, что делают они. Думаю, что человеку казалось, будто такая жизнь дает ему ощущение цельности, гармонии в себе самом и с окружающим миром. — Он снова ткнул трубкой в черную книгу. — И вдруг это.

— Да, — сказал Бред. — Это.

— Знаете, когда начался процесс, я был уверен, что дело в шляпе. В соответствии с местными обычаями, нравами и неписанным законом — иначе и быть не могло. Верно, он этого парня застрелил. И пусть себе прокуратура устанавливает все обстоятельства дела, но потом стоит вам вывести к присяжным этого милого, стройного, одухотворенного, вежливого молодого доктора, да к тому же и местного уроженца, который вернулся домой, чтобы помочь своим землякам, а не уехал за наживой в Чикаго, — стоит ему доверчиво поглядеть им в глаза и сказать, как он сам потрясен и не понимает, что на него нашло, просто какое-то наваждение. А ведь, клянусь богом, так оно и было. И есть. — Он помолчал, глядя на черную книгу. Потом продолжал: — Дело и было в шляпе. Но Калвин выбил у меня почву из-под ног, Мелтон Спайр поддел его, и он не выдержал. Выбил у меня почву из-под ног. Может быть... — Он снова помолчал, глядя на черную книгу. — Может быть, он и не хотел оттуда выходить, не хотел на свободу. Может быть, он хотел, чтобы его заперли в тюрьму, где уже все не имеет значения.

Бред наклонился к нему поближе. Он почувствовал, как в нем болезненно шевельнулась, зародилась какая-то мысль, которую он не мог уловить.

— Вы думаете, это так? — спросил он. — Вы думаете, он действительно этого хотел?

— Шут его знает! — рассердился Блендинг Котсхилл. — Беда в том, что Спайр был для меня слишком хитер. Перехитрил меня по всем статьям. Все обернул в свою пользу. И неписанный закон и прочее. Если бы дело касалось только Мэгги, мы бы выиграли. Она хорошенькая, даже по-своему красивая, из тех, кого так и хочется взять под защиту. Но тут была замешана и Летиция, и когда присяжные смотрели на Летицию, на ее ноги, им вовсе не хотелось брать ее под защиту. Им никого не хотелось брать под защиту. Они смотрели на ее ноги и пускали слюни, все мужики поголовно; у них просто сердце заходило, так они млели от этих ног, воображая, как они могут тебя обхватить. По их лицам видно было, что с ними происходит. Я-то их понимал, сам не избежал этой напасти. Но вот в чем беда. Они сообразили, что эти ноги не про их честь. А такое безнадежное томление может обратиться в сгусток жгучей ненависти. Надо было ее на ком-то выместить. Надо было отплатить за свою обездоленность, за гибель честолюбивых замыслов и юношеских мечтаний, за то, что дома у них жены с ногами, как колбасы, заезженные хозяйственными дрязгами, пропахшие скисшим молоком. Что ж, тут можно было отомстить. Калвин Фидлер и сам подставил горло под нож. Да, бедняга Калвин один из тех, кто напрашивается, чтобы его покарали. И Мелтон Спайр все это учел. Он направил все здешние земельные участки, их жажду мести против Калвина. Я пытался отвести удар. Но к тому времени, когда Спайр кончил свою речь, они отыгрывались уже не на Калвине Фидлере, они судили всех Фидлеров, когда-либо живших, за то, что у них был большой дом, судили старую даму Фидлер за то, что она из Нового Орлеана и задирает нос, судили меня за то, что я — двоюродный брат Амоса Фидлера и у меня тысяча акров заливных земель, вас за то, что ваша мать была со мной в родстве, а отец едва только вылез из болота, как заграбастал все здешние земельные участки, а потом отдал чернокожим методистскую церковь, отняв ее по закладной у белых, но, главное, за то, что вы умеете читать и писать, а вашу жену — за то, что у нее такие ноги. Да-а, Мелтон Спайр сумел внушить нашим горожанам ненависть к нам, особенно к вам и ко мне, за то, что мы больше водимся с болотной рванью и цветными, чем кое с кем из них. И он же заставил наших болотных товарищей и цветных дружок нас возненавидеть, внушив им, что мы над ними смеемся за их спиной. Помните, когда он прочел отрывок из одного из ваших старых рассказов, это нам не больно-то помогло.

— Да, черт бы его побрал! — взорвался Бред. — Я ведь совсем не то имел...

— Не кипятитесь. Все это было двадцать лет назад. Я-то понимаю, что вы имели в виду. Но когда этот полуграмотный горлан кончил свою речь, не знаю, кому бы удалось сохранить уважение к себе и ко всем вокруг. Кроме, натурально, Спайра, он-то разгадал загадку и шел напрямиком в Конгресс. Да-а, он ловко обнаружил уязвимые места у всех у нас. Но знаете, что... — Он помолчал. — Знаете, если говорить честно, в Фидлерсборо были эти уязвимые места, и он просто ткнул в них пальцем и выставил напоказ.

Он опять помолчал.

— Черт возьми, — сказал он, — такие уязвимые места, такие трещины есть везде. В самой любящей семье. Весь вопрос в том, сколько человечности надо, чтобы их замазать. Чтобы здание не развалилось.

Он снова замолчал, тяжело дыша.

— Это убило мою жену, — сказал он. — Понимаете, это ее доконало. А я остался здесь. Во-первых, сын любил ферму, а я, в сущности, для него старался. А потом — Арнхем. Он был десантником. Его сбили в воздухе.

Он помолчал.

— Когда Теда убили, вот тогда, наверное, трещины начали зарастать мхом. Люди стали меня жалеть. И я продолжал заниматься фермой. Хотел сделать ее образцовой. Затянул всякие эксперименты. Зазывал фермеров, старался их заинтересовать. Ну и денег поднажил тоже.

Он помолчал.

— Хотел оставить хозяйство штату, — продолжал он, — образцовую опытную ферму. Назвать ее в честь Теда. А теперь они все эти мои труды затапят.

Он помолчал.

— Да-а, я там жил помаленьку... Были у меня и дружки — охотники, рыбаки, да и не только они. Но люди мрут, друзей у тебя остается все меньше. Не успел оглянуться, а единственный, с кем теперь могу поговорить по душам, — брат Пинкни. Тайком ведем беседы.

Он снова замолчал.

— Ну и?.. — спросил Бред.

— Ну и адвокатской практикой понемногу занимаюсь. Хоть для заработка она мне и не нужна. После этого, — он жестом показал на черную книгу, — люди денежные поначалу ко мне не обращались. Поэтому я приноровился брать дела у людей, не имеющих денег. У болотных жителей, маломощных фермеров и цветных. Приноровился. А потом привык. Имейте в виду, никаких идей на этот счет не имею. Просто так жить веселее. К тому же есть у меня одна страстишка: иногда хочется, чтобы тебя осуждали. Тогда все как бы приобретает истинную окраску. Да, бывало, у входа в суд какой-нибудь тип пыхтит, хочет мне что-то высказать. А я только гляну на него, и все. Вы же знаете...

Он невесело ухмыльнулся.

— Слыхали небось сплетни насчет меня и Розеллы?

Бред кивнул.

— Знаю, они тут чешут языки насчет меня и этой негритянки. Да ну их всех к дьяволу. В древности религия этого не воспрещала. Павел и Сила¹ не гнушались язычниками, да, кажется, и дед мой тоже, а значит, и мне можно.

Он помолчал, а потом заговорил снова:

— Она прекрасная женщина, хорошо ко мне относится. И красивая, кстати, такого бронзового цвета. И если какой-нибудь сукин сын у входа в суд осмелится меня обругать «полюбовник черномазой», ну уж я...

Он задумался.

— А знаете, если люди чувствуют, что вам наплевать, они перестают к вам цепляться. Боятся, что переломаю хребет.

Он ухмыльнулся уже веселее.

— Вот так я тут и сижу. И когда повольготнее — читаю Тацита и Светония. Надо оправдать учение в университете. Я ведь ночами потел над лекциями профессора Уилбро. А сейчас сижу и читаю про то, как Рим сгинул в тартарары. Сгинет и Фидлерсборо. По всей нашей стране видно, что ей скоро крышка. Поэтому даже приятно читать про Рим. Возьмите, к примеру, президента

¹ Деяния апостолов, гл. 15 и 18.

Эйзенхауэра, Айк ведь — самое что ни на есть дешевое издание императора Гальбы, а Гарри в нероны не вышел. А здесь, в Фидлерсборо, выгляни в окно и видишь, как жалкие дуралеи из кожи вон лезут, стараются как лучше — по их, конечно, тупым понятиям. Видишь, как по Ривер-стрит шагает брат Пинкни, потому что только в Фидлерсборо он может закрыть глаза и представить себе дряхлую руку матушки, опускающую монету в бигый кофейник на полке. Поэтому то, что можно назвать пафосом мирских забот, чуток снижает мое злорадство при чтении.

Он улыбнулся уже с оттенком настоящего веселья и стал молча набивать трубку.

— А теперь нас затопят, и это распутает множество узлов. Может, стоило бы затопить всю страну — от штата Мэн до Калифорнии.

Бред встал.

— Спасибо за беседу, — сказал он.

— Какая ж это беседа! Это исповедь, подписанные и заверенные печатью показания, но дающее их лицо больше не произнесет ничего.

— Ладно, дающее показания лицо, мне все равно было интересно. Однако надо идти.

Хотя он и сам не знал, куда ему идти.

Он заметил, что Блендинг Котсхилл смотрит на него, как обычно, прищуриив голубые глаза, словно вглядывается в заросли, ожидая, что там кто-то шевельнется.

— А вот вы, зачем вы возвратились в Фидлерсборо? — спросил он. — Вернуть себе цельность? Прийти в гармонию с собой и с окружающим миром?

— Черта с два! — сказал Бред. — Я вернулся, чтобы сделать фильм.

Он пошел к двери.

— Пока, судья.

— Когда я вас спросил, вернулись ли вы сюда, чтобы обрести цельность, я не говорил тебе рь. Я говорил — тогда.

Блендинг Котсхилл показал рукой на черную книгу.

— Почему я знаю? — спросил Бред, с возмущением воззрившись на собеседника.

Глава двадцать седьмая

Он стоял на площади под окнами конторы, из которой только что вышел. Солнце отсвечивало на верхушках кленов, как на жести. Между кленами оно падало на траву, редкую, некошеную, уже буреющую траву. Под кленами стояли тяжелые деревянные скамьи, а на них — он это видел даже отсюда — были вырезаны инициалы тех, кто многие годы тут просиживал, но сейчас скамейки были пусты. Дверь суда была заперта на тяжелый засов. В одном из стекол зияла дыра — туда попал камень. Часы над колоннами замерли на восьми тридцати пяти.

Восемь тридцать пять, но какого дня?

Он стоял, не зная, куда пойти. Он подумал, что не знает и где он. Что, озираясь вокруг, не понимает, что стало с Фидлерсборо.

Потом он опустился на сиденье машины, медленно обогнул площадь, снова выехал на Ривер-стрит и свернул налево. Ему почему-то привиделось, что он выезжает на бетонку и несется сквозь слепящий, раскаленный воздух. Уж это, во всяком случае, ему доступно. Но тут он увидел ее.

— Будь я неладен, если это не Леди из Шалотта, — сказал он себе под нос.

Она стояла перед аптекой Рексолла, одетая еще более нелепо, чем всегда, — на макушке поверх великолепной копны волос торчала широкополая соломенная шляпа, завязанная под подбородком прозрачным голубым шарфом; на ней было некое подобие блузы, будто скроенной из мешка, если бы не крупные голубые горохи, а подол чересчур длинной ярко-голубой юбки обвис. Он заметил — и сразу же ее пожалел, — что она обута в белые туфли на высоких каблуках, с очень узкими носами. Под мышкой она держала ярко-голубой сверток — явно жакет от ярко-голубого костюма. Возле белых туфель, в которые она была обута, — а подъехав ближе, Бред еще больше ее пожалел, — лежал плетеный чемоданчик.

— Ау,— окликнул он ее, сбавив скорость, так что мотор лишь слабо урчал,— вы уезжаете?

— Жду автобуса в Паркертон,— сообщила она.— Хочу навестить подругу. Но автобус опаздывает.

— Не нужен вам этот автобус.

Неправдоподобные бледно-алые розы расцвели у нее на щеках.

— Ой!

— Да, детка,— сказал он весело,— лезьте сюда, и я вас помчу во всю нашу прыть.

Он вылез, схватил чемоданчик и протянул ей руку — помочь сойти с высокой обочины.

— С удовольствием, но боюсь, что оба вы так заняты... зачем вам мешать...

— Тут только один я,— сказал Бред.— И не исключено, что, сам не ведая того, я только что дал обет никогда больше ничем не заниматься. Входите, детка.

Она влезла в машину, чинно уселась, поставив ноги в белых туфлях на очень высоких каблуках рядышком на коврик, сложила на коленях руки, придерживая белую лакированную сумочку, и погрузилась в свою глубокую, бархатистую, беспросветную темноту. Он поглядел на это зрелище, захлопнул дверцу, сел на свое место. Но едва он пустил машину, как она сказала:

— Простите... Мне так неловко... но не смогли бы вы на минутку подъехать к моему дому? Я забыла одну вещь.

Они подъехали к ее дому. Он постоял возле машины, ожидая ее возвращения. Терраса была пуста. Под ее затейливой резьбой не было видно шерифа Партла в его блестящем кресле на колесах. Поэтому Бреду не пришлось с ним здороваться.

Она вышла, и они выехали обратно на Ривер-стрит, потом молча свернули на дорогу к перевалу.

Они долго ехали молча. Наконец она тихонько спросила:

— Вы не сердитесь?

— Нет. А какого черта мне сердиться?

— Мужчины обычно не любят, когда девушки что-то забывают.

— Чепуха, не все ли нам равно, как провести время.

На подъеме он снизил скорость насколько позволяла дорога. Мощный «ягуар» лениво взбирался вверх. На них медленно наплывали пятна света и тени.

— Бред... Вы не возражаете, если я буду звать вас Бредом?

— Не возражаю.

— А в тот день, когда вы к нам пришли,— произнесла она тем же тихим, беззащитным голосом,— и я завела пластинку, вы тогда разошлись?

— Нет.

— После этого вы пропали... и вы и мистер Джонс. Я, конечно, и не ждала... но вы, по-моему, очень рассердились. Когда вы ушли и...

Голос ее совсем замер. Он не смотрел на ее лицо, но видел, как ее сложенные ладонями кверху руки неподвижно лежат на сумочке. Он видел, какой необычайно белой была кожа на ее запястьях. Жилки там были тонкие, путанные и голубые.

— Я был занят,— сказал он.— До вчерашнего дня не спал пять ночей.

— Фильм?

— Да, проклятый фильм,— ответил он и въехал на петлявшую дорогу, проплывая то сквозь свет, то сквозь тень.

Слева тянулось польное поле. Справа стоял лес, сухой, жаркий, душный июльский лес, он террасами поднимался вверх, крапчатый от солнца и тени. Лес зудел от злого металлического тиканья саранчи, словно само время отстукивало у тебя в голове.

— Вы его кончили? — спросила она.

— Игра окончилась вничью.

— То есть как?

— То есть я его кончил, а он прикончил меня.

— Не понимаю.

— Я написал то, что называется разработкой — рассказ, из которого по-

том делают сценарий,— показал своему дорогому коллеге и заказчику, а он говорит, что это — дерьмо. Вернее, он сказал, что это чересчур мастеровито.

— Но ведь...

Он прервал ее:

— А ну-ка снимите эту шляпу.

Она покорно наклонила голову, развязала концы прозрачного голубого шарфа, положила шляпу на колени.

— Но ведь мастеровито — это значит хорошо?

— Не для Яши Джонса,— сказал он и засмеялся.— Поэтому я с этим делом покончил, а оно доконало меня, во всяком случае положило конец моим стараниям не быть мастеровитым, а поэтому мне лучше убраться к чертовой матери туда, где я хотя бы могу быть мастеровитым.— Он помолчал.— Думаю, это прикончило для меня и Фидлерсборо.

Солнце и тень медленно проплывали мимо.

— Значит, вы уезжаете? — спросила она немного погодя.

— Да.

— Но ведь можно начать сначала.

— Послушайте,— сказал он,— если человеку оторвало ногу, вряд ли ему стоит отращивать новую. Лучше достать красивый протез в Комитете помощи ветеранам войны и как следует поупражняться, чтобы танцевать на нем румбу, а потом выступать в госпиталях, внушая бодрость калекам. И тогда ваш портрет напечатает в газетах. Вот это и значит мастеровитость. — Он засмеялся, уставившись на дорогу.— Ну да, мастеровитым называют человека, который умеет управляться с искусственной ногой почти так же хорошо, как с настоящей.

Помолчав, она спросила:

— Мистер Джонс, наверно, хочет, чтобы вы попробовали снова?

— Хочет.

— Мне вот придется начинать сначала,— тихо произнесла она, подольше помолчав.

— То есть в каком смысле? — спросил он, не глядя на нее.

— В Фидлерсборо я могу ходить повсюду. Я знаю, куда я ставлю ногу. Всегда знаю, каждую минуту, где я нахожусь. Но в Лейк-Тауне, куда нас переселят... — Она запнулась.— Вам надо сделать этот фильм. Пусть люди знают, как себя чувствуют те, кого хотят затопить и вынуждают уехать. Вы должны его сделать.

— Ни черта подобного! Я же вам сказал, почему я не буду этого делать! — воскликнул он, вцепившись в руль.

Она уронила голову. Потом еще более слабым голосом нерешительно сказала:

— Я-то все равно не смогла бы его увидеть. Но хотя бы...

Она помолчала.

— Что?

— Могла поставить пластинку. Я купила себе такую же, как в «Книге для слепых». Ее вчера прислали по почте. Теперь, когда нас поселят в Лейк-Таун и мне захочется вспомнить, как мы жили в Фидлерсборо, я смогу поставить свою пластинку.

Он молча смотрел на дорогу.

— Вы сердитесь?

— Нет.

— У вас сердитый голос.— И помолчав: — Я не хочу, чтобы вы сердились.

Он ничего не сказал.

— Если вы сердитесь, я не смогу вас ни о чем попросить.

— О чем?

— Помните, я вам говорила про то, как первый раз услышала ваши рассказы из «Книги для слепых» и как вдруг почувствовала, что узнала Фидлерсборо... и какие тут люди.— Она не сразу решилась продолжать.— Понимаете,— сказала она тихо и нерешительно,— это помогло мне еще и вот в чем. Дало мне веру, что и я тоже могу жить. Как все люди. Из-за той пластинки мне захотелось сойтись с другими людьми. Сойтись и жить.— Она снова сконфузилась. Потом спросила еще тише и более нерешительно: — Вы не сердитесь, что я вам это говорю?

— Нет, — сказал он резко. — Нет.

— Когда нас переселят в Лейк-Таун, — сказала она, — и я захочу завести мою пластинку... то... если...

— Если что? — спросил он.

— Моих друзей, людей, которые мне нравятся, я знаю. Знаю, какие у них лица. Понимаете, я трогала их лица пальцами. Это ведь у нас вроде зрения. Так я вот к чему говорю: когда нас переселят и я заведу пластинку, если бы я смогла вспомнить... — Она замолчала. — Вы сердитесь?

— Нет.

— Это ведь одна секунда...

Она выжидала. Машина еле-еле двигалась. Он на нее не смотрел.

— Если бы вы согласились... — сказала она.

Он вывел машину на обочину и чересчур резко затормозил. Обвел взглядом окрестность. Впереди растилалась дорога, слева горело на солнце польное поле, справа темнел прореженный солнечными пятнами лес.

— Ладно, — сказал он каким-то скрипучим голосом.

Она сидела сзади очень прямо на дорогом сиденье, держа за поля соломенную шляпу с голубым шарфом. Он неловко перегнулся и подставил лицо. Глаза ее, ярко-синие и спокойные, казалось, были устремлены на него. Пальцы отпустили край соломенной шляпы и медленным, очень мягким, ощупывающим движением поднялись к тому месту, где должно было находиться его лицо.

Он ждал, чтобы пальцы его нашли.

Они нашли его.

Положив ладони ему на щеки, она пальцами обхватила его лицо. Пальцы нащупали уши, очертили их форму. Нащупали челюсть, потом двинулись вверх по щекам, равномерно с обеих сторон пробегая по ним мягкими, прохладными, но уверенными прикосновениями. Пальцы очертили изгибы лба, выступы над глазами впадинами. Бред закрыл глаза, и пальцы, легкие, как дыхание, описали очертания его глазных впадин. Потом побежали вниз, прикасаясь к его рту, подбородку.

Сидя с закрытыми глазами, он вдруг явственно услышал металлический неугомонный треск саранчи.

Он открыл глаза.

Ее глаза были закрыты. Лицо было поднято, оно выражало задумчивость, безмятежность, погруженность в себя; было отрешенным и независимым, а нижняя губа слегка влажной. Казалось, она не дышит. Он решил, что она, наверно, сдерживает дыхание. В этом залитом ослепительным светом и наполненном стрекотом саранчи мире лицо ее и закрытые глаза были защищены тенью от дерева.

Из горла его вырвался хриплый стон. Он перегнулся, схватил ее и прижался губами к ее рту. Кончики ее пальцев все еще лежали на его щеках и подбородке... Потом он обнял ее и, не владея собой, отчаянно уткнулся лицом ей в грудь, прижав губы к хрустящей ткани блузки. Пальцы ее легко ощупывали его голову под короткими, редящими волосами.

Белая лакированная сумочка и шляпа соскользнули на пол.

Прижимаясь лицом к тонкой хрустящей материи, он закрыл глаза и старался расслышать, как бьется ее сердце. В какой-то момент в этой темноте до него доносилось тарактеное и дребезг проехавшей мимо старой машины. Он представил себе, как таракшились на них из этой развалины воспаленные глаза какого-нибудь бедняка-фермера или мутно-желтые глаза старого негра. Он слышал треск саранчи, которая никак не унималась.

Потом он сказал, все так же уткнувшись в ткань, уже влажную от его губ, от его дыхания:

— Ну скажи «да».

Она не ответила. Пальцы медленно, мягко скользили, ощупывая его череп.

— Ну скажи «да», — повторил он хрипло.

Мгновение спустя он услышал ее голос, далекий, недоумевающий, неторопливый, словно в раздумье:

— Вот уж не думала. Вот уж не думала, что так будет. Так будет со мной.

Он рывком поднял голову и посмотрел в спокойные глаза.

— Послушайте,— сказал он,— поедemте со мной? Сейчас. Поедем сейчас?

Она повернулась, вытянула правую руку. Нашла его левую. Взяла ее своими обеими, старательно расправила пальцы и прижала их к вырезу блузки, где открывалась впадина между выпуклостями груди. Улыбка ее была как легчайшее дуновение воздуха, оживлявшее гладь воды.

Когда они выехали на шоссе, Бред подвел машину к аптеке Биллтауна и, не выключая мотора, забежал туда. Выйдя, он молча сел за руль. Она тоже ничего не сказала.

А вот и он — Бубенчик. Вот он стоит — одна нога красная, другая желтая, камзол из детской сказки,— ковыряется в бензоколонке. Бредуэлл Толливер поставил машину правее колонки. Бубенчик неторопливо подошел к ним.

— Да-с, сэр? — произнес он с идиотской ухмылкой.

— Я везу жену к доктору в Нашвилл,— вылезая из машины, сказал Бред.—

Но у нее новый приступ. Ей надо прилечь. Поскорее устройте нас, пожалуйста!

— Да-с, сэр, вам надо сперва сходить в контору. К мистеру Буррусу, он...

— Ложись,— приказал Бред Леонтине,— приляг на минутку.

Пройдя шагов сорок до двери в контору, он оглянулся. Леонтина откинулась на сиденье. Ему не было видно, открыты ли у нее глаза. Бубенчик с необычайной старательностью обтирал ветровое стекло.

Мистер Буррус — приземистый, как жаба, жирный, желтый, как от желтухи, лысый, с редкими черными волосиками, прилипшими к потному желтому черепу, — явно не мог справиться с силами, чтобы стереть каплю пота, дрожавшую на стекле очков, но все же сделал усилие и пододвинул к посетителю ручку и регистрационный листок. Бредуэлл Толливер нацарапал нечто похожее на Р е ф ф и л л Т е л ф е р, Л о с - А н д ж е л е с и вернул ему листок.

— Четырнадцать долларов,— сказал мистер Буррус.

Передавая бумажки в десять и пять долларов, Бред сказал:

— Дайте, пожалуйста, сдачу мелочью. У жены приступ, мне надо позвонить в Нашвилл, сказать доктору, что мы запоздаем.

— Все равно четырнадцать долларов, даже если вы пробудете четверть часа.

— Я же вам дал пятнадцать,— сказал Бред.— Мне нужна только мелочь. Для автомата.

В конце концов он получил сдачу. Монеты были склизкими от потных ладоней мистера Бурруса. Бред подошел к стенному автомату, опустил монету и, сделав вид, будто звонит в Нашвилл, сунул еще сорок центов, а когда его соединили с несуществующей приемной, объяснил положение несуществующей секретарше и повесил трубку.

Когда он отошел от телефона, мистер Буррус сообщил:

— У нас есть лед и крепкие напитки.

— Спасибо, не надо.

— Лед бесплатно. За напитки надо платить.

— Нет, спасибо,— повторил Бред и, зажав в руке ключ, почти бегом кинулся к машине, где в своей крошечной тьме его ждала Леонтина, а Бубенчик с необычайным старанием тер ветровое стекло.

Бред отдал ключ Бубенчику, сказал Леонтине, чтобы она на него оперлась, провел ее к «Шоколадному коттеджу» позади «Пряничного домика», а когда Бубенчик отпер дверь, ввел ее в комнату и, пока тот поправлял жалюзи, включал кондиционер, телевизор и ночник под розовым абажуром, пододвинул к кровати кресло и усадил ее туда.

Надо ли принести чемодан, спросил Бубенчик, и Бред ответил, что не надо, он хочет поскорее устроить даму поудобнее, на что Бубенчик сказал:

— Да-с, сэр, удобней...

Он показал на никелированный ящик на столике возле кровати с красной кнопкой и отверстием, над которым красными буквами было написано: «Только монеты в 25 центов».

— Да-с, сэр,— ткнул в него пальцем Бубенчик.— Вот, удобней не бывает.

— Что? — спросил Бред.

— Разве не видали вывеску — там же написано. У нас она первая на всем Юге, кровать с массажем. Электрическая. Швырк, шварк, вверх, вниз. Качает, мотает. Аж за нутро берет. Не видали, что ли, вывеску? — И не дожидаясь ответа: — А знаете, как ее прозвали? Мечта лентяя! Ха-ха! — Он одарил его красивой дурацкой улыбкой.

— Ради бога... — начал было Бред, но сдержался.

— А всего-навсего четвертак, — сообщил Бубенчик. — Швырк, шварк...

— Ради бога! Спасибо. Спасибо. Моя жена...

— Ну да, устройте ее удобнее. Кровать электрическая... — Перехватив взгляд, осекся. Но набравшись духу, заговорил снова: — У нас есть лед и напитки. Лед бесплатный.

— Не надо, спасибо, — пробормотал Бред и сунул ему долларовую бумажку.

Когда Бубенчик вышел, он шагнул, запер дверь на задвижку, и прижался к ней лбом. Вот болван, думал он, что этот болван наделал, зачем он сюда приперся? Сердце у него глухо, неровно стучало. Немного погодя он, не оборачиваясь, опустил жалюзи большого окна. Потом повернулся.

На зеленом ковре у низкой стандартной кровати желтого дерева, покрытой розовым вязаным покрывалом, еще более розовым от лампы под розовым абажуром, неподвижно стояла, сложив на талии руки, Леонтина Паркл. Она поднялась с кресла, как только он повернулся к ней спиной. За ней в другом конце комнаты черно-бело мерцал плохо настроенный телевизор; из него звучали далекие отчаянные крики — казалось, их выпускают глотки, которые постепенно забиваются глиной.

На мгновение Бред усомнился, — он ли это, Бредуэлл Толливер, стоит здесь, в комнате мотеля «Семь гномов» в штате Теннесси, с этой увечной и малознакомой особой в ярко-голубой юбке и белых, чересчур остроносых туфлях, которая так терпеливо его ждет. Потом, не глядя на нее, пересек комнату и выключил телевизор.

Склонившись над телевизором, он услышал ее голос.

— Где вы? — спросила она.

— Выключаю телевизор, — сказал он.

Он подошел к ней почти вплотную.

— Бред... — произнесла она тихо.

— Что?

Он остановился. Что-то заставило его остановиться. Он услышал жужжащие кондиционера.

— Вы можете...

— Что? Что могу?

— Вы могли бы... вы могли бы выйти, пока я... — Она замолчала. — Дело в том... — начала она.

— Дорогая! — воскликнул он. — Только не волнуйтесь!

На глаза его навернулись слезы.

Выйдя в ванную, он закрыл дверь. Он стоял, вспоминая, что назвал ее дорогой. Потом стал раздеваться, все еще недоумевая, почему ее так назвал. Движения его были замедленными, деревянными, сердце болело, казалось спелым, налитым, как плод, готовый упасть.

Он поглядел в зеркало, стоя уже голый у раковины, и потрогал свое лицо. В зеркале было видно, как пальцы ощупывают это лицо. Он закрыл глаза, почувствовал, как пальцы движутся по коже, и спросил себя, что же они рассказывают ему об этом лице.

Он открыл глаза, снова увидел свое лицо и подумал, сколько же, сколько всего прячется за этим лицом, сколько оно прожило. Сел на край ванны, устал, встал на коврик мотеля «Семь гномов» — бледно-зеленый, с коричневым гномом, который ловит рыбку, — но не видел того, на что смотрит.

Потому что в эту минуту Бредуэлл Толливер был не здесь. Он опирался на подоконник своей комнаты в старом доме; была ночь, и он — сколько же ему тогда было лет: четырнадцать? пятнадцать? словом, целую вечность назад — смотрел на весенний лунный свет, падавший на серебряную реку, на землю за этой рекой, где белые хлопья тумана опутывали ветви кустарников, у него щемило сердце, и на глаза его навертывались слезы, которых он не мог пролить.

Но когда он снова дотронулся пальцами до своего лица, он вспомнил, где он находится сейчас. И кто он. В том лунном свете, который заливал весь беспредельный мир, тянувшийся на запад, жила какая-то надежда. Куда она делась? На миг ему почудилось, будто он слышит топот, приглушенный дальний топот копыт во тьме по дерну; но тут же понял, что это только кровь стучит у него в висках. И подумал, что ведь еще можно как-то обрести мир.

Что-то еще можно спасти. Все еще можно искупить.

Он встал, налил воды в раковину, взял бледно-зеленое полотенце с коричневым гномом и стал медленно мыться. С чувством глубочайшего покоя в душе он думал о том, какой еще может стать его жизнь. Женится на Леонтина Партл. Построит там, наверху, дом с видом на озеро. Будет заботиться о ней, и когда нога ее ступит на незнакомый камень, он будет держать ее руку в своей.

Когда он вышел из ванной, она лежала, закрыв глаза и вытянувшись, на спине, под розовым вязаным покрывалом, словно хотела стать незаметнее. Розовый ночник был зажжен. Он тихонько подошел к кровати, словно боясь ее разбудить, и откинул розовое покрывало. Заметил, как аккуратно сложена ее одежда на стуле: ей ведь надо точно знать, где что лежит, — и почувствовал жалость и потребность от чего-то ее оградить.

Он посмотрел на нее. Под тонкой, туго натянутой простыней, которая едва обрисовывала тело, Леонтина казалась меньше, чем он думал. Волосы она не распустила. Он наклонился, вынул шпильки и старательно расправил волосы на подушке. Когда он их укладывал, она заулыбалась, но все еще с закрытыми глазами; улыбка была слабая, затаенная, как у спящей, которая видит хороший сон. Он подошел к левому краю постели, где любил спать, и осторожно скользнул под простыню.

Он лежал на спине, пока еще до нее не дотрагиваясь и даже не придвигаясь, и воображал, будто их несет медленное течение. Он знал, словно видел это воочию, что руки ее лежат по бокам ладонями кверху, и минуту спустя взял ее левую руку, притянул к себе и прижал ладонь к губам. Стал нежно целовать эту ладонь. Пальцы чуть касались его лица. Под их прикосновением ему хотелось плыть и плыть по течению. Если вот так плыть, течение принесет тебя в тихую заводь, где ты будешь лежать рядом с ней, а течение пройдет мимо, унося с собой все, что было, как сносит паводком мусор.

Чуть погодя он приподнялся на правом локте, осторожно вернул ее руку на место, вдоль тела, и, видя, как она покорно лежит, наклонился и стал целовать ее губы. Жизнь была только в них. Другой он теперь не хотел. Он посмотрел на полукоткрытые губы, которые ждали поцелуя. Приблизил свой рот, но сперва не коснулся им ее губ, а, задержав дыхание, позволил ее дыханию ласкать свой рот.

Потом он перестал ее целовать и, согнув левое колено, туго натянул простыню, как тент, а правой рукой придержал материю у них над головами. Теперь они оба лежали как в шатре, а весь мир был снаружи. При бледном свете, который пробивался сквозь ткань, он видел лежавшее рядом тело во всем его изяществе — и там, где оно округлялось, и там, где сужалось и белело неподвижное, если не считать легко вздымавшейся груди. Тут, под навесом, он указательным пальцем дотронулся до выпуклости правой груди, потом провел им по изгибу талии и крутизне бедра. Рука его дрожала. Он почувствовал, что и дыхание его стало прерывистым.

Он увидел шрам. Это был давно заживший шрам после умелой операции аппендицита. Осталась только тоненькая полоска и легкая сморщенность кожи на гладком совершенстве тела, переливчато отсвечивавшего в полутьме. Неожиданно для себя самого его рука легла на шрам, а пальцы безжалостно впились в живот, захватив горсть мягкой плоти.

— Ой! — вскрикнула она. — Ой!

Он едва успел пробормотать: «Дорогая, прости, прости!» — как все переменялось. Время обратилось в цепочку бездыханных мгновений, отсеченных друг от друга, ярких, бездумных, не имевших в своей отрывочности общего смысла, но потом этот смысл вдруг ворвался в сознание...

Все мгновенно приобрело смысл, и он почувствовал, как возбуждение спадает.

— Боже мой... — пробормотал он.

А она в это время говорила:

— Разве я тебе не нравлюсь?.. Не нравлюсь...

И произнесла эти слова почти со стоном, потому что ей не хватало дыхания, а стон был ответом на вопрос, который с этим стоном перестал быть вопросом...

Что ж, промелькнуло у него в голове, значит, все в порядке.

Он схватил правой рукой копну распущенных волос и, потянув их назад, запрокинул ей голову так, что белая шея выгнулась дугой, и прижался ртом к белой выпуклости шеи.

Ладно, сейчас он ее убаюкает.

Он услышал, как она что-то ему говорит...

Шел уже шестой час, когда они вышли из «Шоколадного коттеджа» и, миновав «Пряничный домик», подошли к «ягуару». Бубенчик стоял, опершись на бензоколонку. На стоянке, где раскаленный гравий немного прикрыло тенью, больше никого не было.

Пока Бредуэлл Толливер усаживал девушку в машину, Бубенчик старательно начищал правую фару. Бред вышел к нему.

— Спасибо, — сказал он, машинально опуская руку в карман.

А Бубенчик улыбался ему прямо в лицо, и в улыбке его теперь уже не было ничего идиотского. Он шепнул, улыбаясь:

— Эй, дядя, хороши ведь слепые девки, а?

Бред на секунду застыл, вытаращив глаза на его ухмыляющееся и теперь уже вовсе не идиотское лицо.

— Ах ты сволочь, — сказал он, — ах ты...

Но не успел досказать того, что хотел.

Быстрым кошачьим движением Бубенчик сбил его с ног.

Лежа на горячем гравии, Бред дотронулся до онемевшей скулы, злобно поглядел вверх на Бубенчика, который продолжал улыбаться, а потом тяжело поднялся на ноги и двинулся на него.

Бубенчик, пританцовывая, принял боксерскую стойку и еще шире осклабился.

— Отвали, дядя, — остерег он его дразнящим шепотом, в котором не было признака идиотизма, — отвали, у меня же первый разряд по боксу, слышь, дядя?

И, позвякивая бубенцами, грациозно отступил на шаг перед тяжеловесным напором противника.

— Говорю тебе, дядя, — шептал он, — лучше отвали. Старикан ведь... помирать пора...

Бредуэлл Толливер замедлил шаг. На секунду замер на месте, потом двинулся снова, свернул направо мимо стоявшей наизготовку фигуры и твердым шагом пошел в контору. Бубенчик следовал за ним с левого бока, продолжая нашептывать:

— Выгнать меня не удастся. Я тут и сам закругляюсь. В шесть вечера получаю расчет и качу в Чикаго.

Бред молча шел, гравий трещал под его шагами.

— Можешь, конечно, звякнуть шерифу, — шептал Бубенчик, — и он меня заберет. Но помни, дядя, суд Линча нынче не в моде в таком передовом штате, как Теннесси. Поэтому меня будут судить. Гласно. А я вызову в свидетельницы слепую шлюху.

Бредуэлл Толливер повернулся, но тот, пританцовывая, отступил и, ухмыляясь, занял позицию.

— Осторожно, дядя, — шептал он. — Давай не делать *bêtise*, то бишь глупства, прошу прощенья, я хочу сказать, не стоит щеголять южным рыцарством, ей-богу же, твоя шлюшка Леонтина...

Бредуэлл Толливер набычился и тупо уставился на Бубенчика.

— Кто же не знает мисс Паркл? — шептал Бубенчик. — Тут, видно, многим

по вкусу слепые девки. А вы, мистер Толливер,— еще бы, конечно, я знаю ваше имя,— вы мне вот что скажите, мистер Толливер...

Бредуэлл Толливер поглядел на очень красивое, ухмыляющееся лицо, которое придвинулось к нему с сочувственной фамильярностью,— кожа ярко золотилась, где на нее падали косые солнечные лучи. Потом быстро отвел глаза на раскаленный гравий, куда уже упала тень, на взгорок, где заходящее солнце сверкало на известковой вершущке и кедрах, на «Пряничный домик» и «Шоколадный коттедж», на всю эту причудливую бутафорию, на громадную вывеску, где сказочный принц в пижаме склонялся над пышной подругой, на рекламу электромассирующего матраса и Блаженства для лентяя, которого Бредуэлл Толливер теперь уже порядком вкусил, на другую вывеску, откуда черная образина вещала:

**ЗАВТРАК ПОДАЕТСЯ В КОТТЕДЖ
КОПЧЕНАЯ ГРУДИНКА ПОД КРАСНЫМ СОУСОМ
СЛУШАЮСЬ, БОССИ!**

Он отвернулся и зашагал к машине.

А Бубенчик, не отставая, шептал:

— Мне так любопытно, мистер Толливер. Ну скажите как мужчина мужчине, презрев разницу в цвете кожи и всю эту муру, ну поделитесь, поделитесь со мной...

И вдруг Бубенчик исчез. Бред подошел к машине, где сидела, наклонившись вправо и вцепившись в дверцу, очень бледная Леонтина и тихонько повторяла:

— Что случилось? Ох, я знаю, что-то случилось. Что случилось, что?

— Успокойтесь,— сказал он тихо.— Ничего особенного не случилось. Немножко поспорили из-за сдачи.— Он помолчал, садясь в машину.— Но они оказались правы.

Он вывел машину со стоянки на бетон.

— Вот именно, дали сдачу! — сказал он.— Здорово, а?

Он повторил слово «сдача» и захохотал. И, смеясь, почувствовал, что не только смеется сам, но что посмеялись и над ним. Однако он был рад, что кто-то еще способен смеяться.

Мортимер Спарлин, он же Бубенчик, стоял, провожая взглядом уносившийся на запад белый «ягуар». Он стоял, освещенный заходящим летним солнцем Теннесси, еще полный яростного возбуждения, чувствовал, как кровь стучит у него в ушах, ощущал пустоту и легкость в животе, странный кисло-сладкий металлический привкус во рту, словно ночной запах после грозы, и все время глотал слюну. Когда машина скрылась, он подошел к «Шоколадному коттеджу» и открыл дверь. Потом защелкнул за собой задвижку. Кинулся ничком на смятые простыни под розовой лампой.

Мортимер Спарлин закрыл глаза и почувствовал, что возбуждение ушло. А что осталось после этого, он не знал. Он прижался лицом к простыне, еще хранившей запах плоти и плотских утех. Ему чудилось, что он погружается в черноту, потому что не знает, что у него осталось.

Нет, он знал, что осталось: с т р а х. Страх не перед тем, что существует в мире. Страх перед чем-то в себе самом, но он не умел этого назвать. Не знал, что это, но, лежа тут, ощущал, что оно в нем живет. Он подумал: *Что-то должно случиться.*

Он услышал жужжание кондиционера как дальний сигнал о том, что однажды что-то непременно случится. Он услышал, как у него колотится сердце.

Мортимер Спарлин, двадцати четырех лет от роду, чье обаяние и чувство собственного достоинства отмечали все университетские характеристики, был необычайно способным студентом, изучавшим романские языки. Получив диплом с отличием в Чикагском университете, он проучился год в университете Фиска— знаменитом негритянском учебном заведении в Нашвилле, родине Юбилейных Певцов Фиска, выступавших перед коронованными особами. Один из тамошних профессоров работал над темой, которая интересовала Мортимера, к тому же ему хотелось испытать, как себя чувствует негр на Юге. Теперь он это знал.

Знал это по себе. По тому, что чувствует сам.

Но со всем этим было покончено. Через две недели, получив стипендию в Римском университете, он полетит в Рим. Он надеялся, что в Риме все будет по-другому.

А теперь, лежа на кровати под розовой лампой и уткнувшись лицом в уже неподвижный электромассирующий матрас, он дрожал при мысли, что сам он и в Риме не будет другим. И в Риме он останется самим собой, вот в чем беда, и неизвестно, сможет ли он это вынести.

Они двигались на запад, в Паркертон, со скоростью шестьдесят миль в час, и она наконец заговорила — впервые с тех пор, как они выбрались из мотеля «Семь гномов».

— Бред!

— Что? — спросил он, щурясь на заходящее солнце.

— Бред... — робко заговорила она, как ребенок, который надеется, что его похвалят. — Бред... я ведь вас немножко обманула, правда?

— Да, милочка, что и говорить...

Чуть погодя она подвинулась и неловко прижалась к нему — мешали сиденья. Она закинула его правую руку себе на плечо, потянула ее вниз, к вырезу блузки, и положила на правую грудь. Разведя указательный и средний пальцы, сунула в них сосок. Потом сжала пальцы и отпустила их. Повторила эту процедуру три раза, проделывая ее крайне методично.

— Можешь побаловаться, если хочешь, — шепнула она.

Рука лежала неподвижно.

— Чертовски трудно ехать против света, — сказал он. — Лучше, пожалуй, не отвлекаться.

Он вцепился в руль обеими руками, а она все прижималась к нему.

— А ты не сумеешь, — спросила она наконец, — заехать за мной в Паркертон и отвезти домой в пятницу?

— С удовольствием.

— Я тебе дам телефон подруги.

— Очень буду рад.

Немного погодя она подняла голову и выпрямилась.

— Я тебе больше не нравлюсь?

— Что ты. Ты мне очень нравишься, детка.

Голос его в эту минуту был хриплым от волнения, потому что Леонтина Паркл была Леонтиной Паркл, а Бредуэлл Толливер был Бредуэллом Толливером, и в этом было все дело. Он даже надеялся, что она поверит в то, что он сказал.

Глава двадцать восьмая

Аббот Спригг, упершись животом в стойку кафе «Вовек не пожалеешь», читал театральный раздел воскресного «Нью-Йорк таймс». Обычно он держал последний выпуск газеты под стойкой, и когда не было посетителей, а их, как правило, не бывало, упирался животом в стойку и самозабвенно прочитывал все, что там печаталось о театре.

Вернее говоря, читал, если папаша, старый Спригг, владелец кафе, который был тут за повара, этого не видел и не придумывал для него какого-нибудь занятия. Или, что еще хуже, не приставал с вопросом, почему человек, который уже побывал в Нью-Йорке, ошивался среди всяких янки и прочих подонков и с треском там провалился, любит вспоминать о своем провале, и тратит кровные деньги на газету, где пишут о тех, кто добился успеха. Или же, поглядев на его живот, туго обтянутый белым пиджаком не первой свежести, спрашивал, где еще, кроме как в цирке, будут платить деньги, чтобы поглазеть, как бочонок с требухой, набитой пирогами и пивом — ведь на сожранные им пироги и пиво уходит, почитай, вся выручка кафе «Вовек не пожалеешь», — кривляется в городе Нью-Йорке?

Но старик Спригг был на кухне и сидел там на стуле, уронив голову на доску для рубки мяса, а Аббот Спригг читал театральные новости, когда Бредуэлл Толливер вошел в кафе и заказал рубленый бифштекс с кровью и пиво.

— И вы выпейте со мной,— пригласил Аббота Бред и, пока жарился бифштекс, выпил с ним пива.

Аббот небрежно, как профессионал профессионалу, сообщил ему, что недавно прочел в «Таймсе» о том, как большие расходы на постановки в театрах вдали от Бродвея губят искусство.

— А вот когда я там работал,— сказал он,— в этих театрах жили только искусством. Там была полная самоотдача.

Он поднял голову и посмотрел сквозь стекло на Ривер-стрит, где уже спустились летние сумерки. Голова его была до странности двуклой: лицо красивого мальчика с горящими темными страдальческими глазами, блестящими черными волосами и бледным, гладким, как мрамор, лбом, поверх которого надета маска с толстыми обвислыми щеками и подбородком цвета размякшего сала. Аббот Спригг вдохновенно вскинул голову, горящие глаза на заплывшем салом лице были устремлены вдаль.

— Да, сэр, там царил полная самоотдача,— повторил Аббот почти шепотом.

Бифштекс был готов. Бред выпил еще пива и пригласил Аббота выпить с ним. Аббот откупорил новую бутылку, уперся животом в стойку и стал негромко рассказывать. Когда он оставил среднюю школу в Мемфисе и поехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером, у него был неверный подход. Он старался выразить в роли себя.

Он рад, что ему пришлось вернуться в Фидлерсборо и встать за стойку, где жарят котлеты, потому что тут он каждый день видит разных людей. Он наконец понял, что нужно для того, чтобы стать актером. Нужно смирение. Теперь он это знает. Он несколько раз повторил слово «смирение». И слово «сострадание» он тоже повторил несколько раз.

Бред заказал яблочный пирог с кофе, и Аббот Спригг, вернувшись, перегнулся к нему еще ближе, еще сильнее уперся животом в стойку. Он спросил, теперь уже совсем шепотом, не сможет ли мистер Толливер поговорить о нем с мистером Джонсом. Не согласится ли мистер Джонс, чтобы он прочитал ему какой-нибудь отрывок. Когда они будут снимать фильм о потопе, не даст ли ему мистер Джонс возможность попробоваться на роль.

Бреду хотелось, чтобы этот балбес не пригибался к нему так близко и не дышал в лицо. Смотреть на этого балбеса он не мог, потому что в темных блестящих глазах балбеса сквозила неприкрытая боль. Он молчапил кофе.

Аббот Спригг говорил, что когда Фидлерсборо затопят, отец его больше работать не будет. Ноги у него отказывают — слишком много приходится стоять. Он уже достаточно стар, чтобы получить пенсию. Сам-то он ушел со сцены в Нью-Йорке только для того, чтобы как-то утешить отца, когда скончалась мать, но стоит отцу выйти на пенсию — и он снова уедет в Нью-Йорк. Теперь уж он знает, что надо, чтобы стать великим актером. Нужно смирение. Нужно сострадание.

Бред встал. Он не произнес ни слова. Взял свой счет и заплатил деньги. Потом посмотрел на жирное лицо взрослого человека, откуда смотрели темные блестящие мальчишеские глаза, из которых вот-вот потекут слезы. Словно приступ тошноты, к сердцу вдруг подкатила жалость.

— Послушайте,— сказал он, и голос его мог по ошибке показаться злым. — Я сделаю что смогу. Поговорю с Яшей. Будем надеяться. Пока.

— Мистер Толливер, ах, мистер Толливер! — приговаривал Аббот Спригг, выйдя из-за стойки и провожая его до двери. — Я так буду стараться! Я выложу весь, мистер Толливер, я, мистер Толливер, вас не подведу...

Бред увидел, что теперь в его глазах действительно блеснули слезы. Он понял, что надо отсюда поскорее уматывать. Он сунул Абботу руку, они молча обменялись рукопожатием. Не успел Аббот открыть рот, как Бред выскользнул за дверь.

Бред поглядел на Ривер-стрит, где сгущались сумерки, и закурил сигарету. Ему хотелось, чтобы жалость, одолевавшая его, как тошнота, поскорее прошла.

Он не знал, что, если заглянуть в будущее, жалость его покажется совершенно неуместной. Не мог предвидеть, что через несколько лет прочтет на театральной странице газеты большую статью о новом комическом актере, который

пользуется огромным успехом на Бродвее. Этот актер, «пользуясь своей толщиной и неуклюжестью, необычайно талантливо выражает мужество и разбитые надежды, царящие повсюду вокруг нас». И, по словам знаменитого критика, он «выработал в себе душераздирающую, возвышающую душу гармонию смеха и слез».

Не имея возможности это предугадать, Бредуэлл Толливер еще разок заглянул в пустое, ярко освещенное кафе «Вовек не пожалеешь», двинулся к старому парходному причалу, отцепил свою лодку, запустил подвесной мотор и поехал вниз по реке.

Он больше не думал об Абботе Спригге. Он думал о Бредуэлле Толливере.

Он думал о том, как Бредуэлл Толливер подвез Леонтину Партл к дому ее мерзкой подружки-разводни, которая раньше жила в Чикаго, а теперь носила черные кружевные чулки и размахивала отвратительным длиннющим мундштуком с фальшивыми камнями, и о том, что он больше никогда не увидит Леонтину Партл.

Стояла звездная, но безлунная ночь. Берега были темные, и вода возле них чернела, но течение посредине реки, казалось, вбирало, а потом отдавало весь оставшийся свет, напоминая блестящее во тьме лезвие. Бред оглянулся и справа через плечо увидел редкие городские огни, а над ними на холме — черную массу и прожекторы тюрьмы.

Он отвернулся и стал глядеть вниз по течению реки. Влево можно было разглядеть еще более густую черноту — там тянулись болотные заросли. Чуть дальше он заметил сияние. Оно, казалось, висело над темнотой леса. Он повел лодку в ту сторону, медленно подъехал и, тихо покачиваясь, остановился невдалеке.

— Эй! — позвал он. — Лупоглазый!

— Это ты, Бред? — Голос донесся из тени, сбоку от огня.

— Я.

— Иди сюда, — хрипло и невятно пробурчали в ответ.

Бред подплыл к плавучему домику, привязал лодку, перелез на палубу. Над огнем самодельной жаровни, — старым тазом с продырявленным дном, поставленным на кирпичи, — на короточках сидела женщина. Она осторожно встряхивала над пламенем сковороду. Жир шипел и потрескивал. Позади нее Бред обнаружил и Лупоглазого — тень, присевшую в тени домика.

— Привет, — сказал Бред тени, которая была Лупоглазым. Потом обернулся к женщине. — Вкусно пахнет.

— Зубатка, — сказала она. — Днем поймал.

— Неужто поскорей не можешь поджарить? — спросил Лупоглазый.

— Да почти что готово.

— Садись поешь, — предложил Лупоглазый.

— Сяду, — сказал Бред и на короточках прислонился к стенке, — но я уже поел.

Женщина положила пласт зубатки на большую жестяную тарелку, полила сверху жиром, подложила туда же кукурузную лепешку и железную вилку и подала Лупоглазому.

— Поставь, — приказал он, достал из-за спины кувшин и повернулся к Бреду. — Может, ты и поел, да еще не выпил, если на ногах стоишь. Бери.

Он передал ему кувшин.

— Ничего не имею против, — сказал Бред.

Взял кувшин, продел большой палец в ручку, прокатил посудину по согнутому локтю, медленно поднял локоть и выпил. Напиток меньше напоминал по вкусу горящую нефть, чем он предполагал.

— Ничего себе, — сказал Бред и передал кувшин Лупоглазому, который выпил и отрыгнув, сказал:

— От него волос растет.

Он поставил кувшин рядом, взял жестяную тарелку, вытащил из кармана складной нож, щелчком выпустил лезвие и кончиком разделал кусок зубатки. Пренебрегая вилкой, он ловко насадил кусок на острие ножа и отправил в рот. Лепешку раскрошил в жире и уже оттуда куски доставал вилкой.

Женщина принесла и оставила возле него жестяную кружку с кофе. Бред от кофе отказался. Женщина снова присела у жаровни. Бред прихлопнул комара.

— Подкинь в огонь,— распорядился Лупоглазый.

Женщина принялась подкладывать сырые дрова. Пламя немного прибило. В неподвижном воздухе дым стоял облаком, лениво завиваясь в последних проблесках света. А с болота доносился стрекот и звон миллиардов жителей тьмы.

Женщина, присев возле огня, открыла консервную банку. Выждав, когда Лупоглазый доест рыбу, отнесла банку Лупоглазому и забрала пустую тарелку. Лупоглазый отер нож о штаны, воткнул его в половинку персика и поднес ко рту. Потом выпил сок.

Женщина снова присела к огню и стала молча, равнодушно есть сама.

— Как поживает маленький? — спросил ее Бред.

Она, казалось, не слышала и продолжала медленно, но часто двигать челюстями, уставившись в жаровню.

Минуту спустя Лупоглазый ответил:

— Не прижился он.

Он сменил нож на железную вилку. Сунул половину персика в рот. Женщина глядела на них поверх дымящегося огня.

— Если бы он протянул лето,— сказала она,— может, и выжил бы. Но у него понос начался.— Взгляд ее снова был устремлен на огонь.

— Тут еще кусок персика и немного сока,— сказал Лупоглазый.— На, бери.

— Уже наелась,— сказала женщина.— Спасибо.

Из темных болот доносились стрекот и звон. То и дело там, в темноте, утробно, гулко квакала большая лягушка, а потом клацала, словно что-то перемальвала деснами, как далекий океан перемальвает гальку. Лупоглазый передал Бреду кувшин. Потом и сам как следует глотнул.

— Волос от него растет,— сказал он и рыгнул.

Все трое молчали, а какое-то время спустя Лупоглазый снова передал Бреду кувшин. Женщина встала и, тихо переступая босыми ногами, подошла к борту, перегнулась и стала мыть в реке жестяные тарелки, чашки и сковороду. Потом сказала, что, пожалуй, приляжет. Лупоглазый распорядился, чтобы она поправила огонь. Сделав это, она проскользнула мимо них в темноту бесшумная, как выходящий дым.

К полуночи кувшин, когда его встряхивали, стал издавать полый звук. Лупоглазый сполз пониже по стенке, о которую опирался. Он держал в правой руке нож, время от времени нажимал кнопку и смотрел, как выскакивает лезвие, лоя на нем отблески огня. Теперь уже подкидывал дрова в огонь Бред.

Присаживаясь в очередной раз на корточки к стене, он сказал:

— Я тут читал насчет процесса. Протокол, который в суде вели.

Ему показалось, что Лупоглазый не слышит. Но тот снова, щелкнув кнопкой, поглядел при свете разгоревшегося в жаровне огня на лезвие и сказал:

— Он с ней баловался под кустами.

— Так и говорили на суде,— сухо заметил Бред.

— Под теми большими, с цветками.

— Гортензии. Поздняя осень была, а они все цвели.

Лупоглазый снова передал ему кувшин. Бред выпил, потом отхлебнул Лупоглазый. Поставил кувшин рядом и стал смотреть на дымный огонь. В руках он держал нож; время от времени нажимал кнопку, и лезвие выскакивало наружу. Но Лупоглазый уставился на огонь и на лезвие не глядел.

Не поворачиваясь и произнося слова еще более хрипло и невнятно, он сказал:

— Музыка ночью будто на месте застряла; завела одно и то же, как дура. Ты с твоей бабой уже смылся, уволок ее. А парень, которого кокнули,— как там его?

— Альфред Татли. Его прозвали Тат.

— Тат,— пробормотал Лупоглазый себе под нос и как будто еще ниже сполз по стенке, глядя в огонь жаровни.— Музыка,— сказал он опять,— она все одно шпарит, а парень уже с ней не крутится, с твоей сестрой. Оба стоят. Потом

он вдруг как застонет — заболело у него, что ли. Он ее держит, но не тискает. Вид у него, будто сейчас с катушек долой.

Он снова помолчал и сполз еще ниже, все так же глядя в огонь.

— Ну? — тихо подстегнул его Бред.

— Он ее не тискал, — еле слышно выговаривая слова, повторил Лупоглазый, — чего не было, того не было. Вроде взял за руку у плеча и вроде как хочет за руку поднять. Как чайную чашку за ручку, да так аккуратно держит — аж бы не пролить. А у нее ноги до пола не дотягиваются. И вот таким манером ведет он ее к двери. А она будто плывет, плывет у него в руках. И повел он ее туда, к кустам, я-то уже знал, что он над ней сделает. Видел, что нет у него терпелу. Ну а она, она — ни гу-гу. А тогда... тогда...

Голос его замер. Он закрыл глаза и погрузился в себя.

— Ну? — прошептал Бред. — Ну? — Он чувствовал, как что-то давит ему на грудь.

Лупоглазый очнулся.

— Ну а я пополз по полу и слышу их. Хвастать не буду — один шорох да вздохи, ни он, ни она ни гу-гу. А видеть я их так и не видал. А раз не видал, чего зря говорить...

Бред встал на колени, схватил его за плечи и потряс.

— Слушай-ка, слушай-ка, ведь ты же поклялся в суде, будто был пьян и спал мертвецким сном! Клялся, что ничего не видел!

Лупоглазый повернул к нему голову. Огонь озарил его потное лицо, отбрасывая на него красные блики. Потом широкая лягушачья пасть без подбородка над торчащим кадыком скривилась в хитрую ухмылку, и выпученный глаз прищурился.

— Так ведь то в суде...

И снова ушел в себя.

— Так ты не спал? — тряс его, спрашивал Бред.

Лупоглазый медленно повернулся к нему.

— А то, — сказал он. — Лежал. Будто сплю. Зажмурился и подглядывал. Ага.

Он помолчал, переведя взгляд на пламя в жаровне, потом заговорил снова — речь его теперь была еще невнятнее, еще безразличнее:

— Видал, как вы там танцуете. Видал, как скакали, крутили задом. И как та рыжая трясла и виляла задом. Зад у ней был что надо. — Он помолчал, потом забормотал снова: — Видал, как ты с ней возле меня крутишься. И что ты в темноте себе позволяешь. С ней то есть балуешься. Она вырывается, а ты хвать ее за мягкое место. Ага.

Он совсем сполз вниз. Бред потряс его за плечо.

Лупоглазый шевельнулся, открыл глаз.

— Ага. Как ты с ней балуешься. Раз вы встали совсем со мной рядом, когда музыка замолчала, и она прямо тут дышит...

Он больше не смотрел на Бреда.

— Ну да, и как ты ее утаскивал, видел. Понятно, чего тебе было надо. Она-то кобенится, назад тянет. А ты, видно, совсем закинулся, гори все огнем. Она еще и босая. Видал я — она босая, а ты ее тащишь. Потом уволок. — Помолчал, он опять заговорил: — А тот парень, которого кокнули. Он с твоей сестренкой был. Я пополз и все слышал, да леший с ними, мне-то что до нее? Ни зада у ней, ни длинных этих ног. А ведь как на эти ее ноги поглядишь, тебя во как разбирает. Прямо терпелу нет.

Он глядел на опадающее пламя.

— Ноги у ней длинные были, ну точь-в-точь молодые деревца, — произнес он, и голос его стих.

— Проснись, чертов сын! — Бред нагнулся над ним и стал его трясти.

— Ага, — медленно заворочал тот языком, — я-то пополз по полу и в дом. Сапоги скинул, поставил у пианины. Темно было на лестнице, а шуметь не хотел...

— Ты?.. — уставился на него Бред. Он облизнул губы и начал снова: — Ты... ты поднялся наверх?

— Как на них поглядишь, так тебя и разбирает,— бормотал Лупоглазый. Потом чуть опомнился и посмотрел Бреду прямо в глаза.— Что, не так?

Бред отвернулся и стал смотреть на темную реку.

— Прошел переднюю. Темно, хоть глаз выколи. Я-то не знал, где дверь, но иду на ощупь. Шуметь не хотел. Не из тех я, кто шум поднимает. Думаю: вот подойду к двери и открою. Подхожу. Открываю.

— Будь ты проклят! — метнулся к нему Бред, схватил за грудки и за-тряс.— Ты открыл дверь?

Лицо Лупоглазого было еще более тупым и безразличным, чем прежде, большой глаз остекленел и смотрел на него снизу.

— Разбирают они мужика...

— Ты...— снова начал Бред.

Но лицо вдруг пропало. Голос шел откуда-то из глубины.

— Отворил я дверь,— произнес этот голос,— а там малость разглядеть можно. Из окна свет. Лежит она на спине, поперек простыня перекинута. А ты... ты лежишь у ней на руке, боком к ней притулился. Рука твоя ей на живот положена поверх простыни. И ничего ты не чувствуешь, пьяный в стельку. Пыхтишь— рот раскрыл. А я стою. Сам не пойму, как сюда попал. Смотрю — в руке у меня нож. И лезвие на свету блестит. А чего я тогда хотел сделать — не пойму. Как найдет такое на человека — сам не знает, что может натворить. Эти ноги ее длинные, разбирает меня от них, незнамо как... Стою, и похоже — вот сейчас войду. Могу даже зарезать. Или же заколоть. Тебя, это, зарезать. А не то заколоть.

Бред вскарабкался на ноги и потный стоял в тени плавающей хижины. Он прислушивался к дыханию человека в темноте. Тело Лупоглазого сползло так низко, что теперь он упирался головой в доски. Бред нагнулся.

— И почему этого не сделал? — шепотом спросил он.

Он потряс его, и вылупленный глаз, как глаз лягушки, возрился на него, тускло поблескивая из полутьмы.

— Почему не сделал? — повторил Бред.

— Ну...— с трудом выговорил тот.— Ну... Должно, луна из-за облака вышла. В комнате светло стало. Свет на лицо ей упал. Похоже было, что вот войду я, а вошел свет, и что ж я вижу: глаза у ней открыты, а из них слезы текут. И тут понял я, что не войду.

Голос стих. Лупоглазый уронил голову на помост. Глаз, похожий на глаз лягушки, закрылся. Но невнятный, словно из-под воды, грустный голос зазвучал снова.

— Не-а,— произнес он,— не-а, войти я так и не вошел.

Бред стоял, обливаясь потом. Потом голос произнес еще глуше и печальней:

— А если бы вошел... мог бы... мог бы и зарезать...

Голос замер.

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул Бред.— Вот и зря не вошел!

Он проглотил комок в горле и овладел собой.

— Господи, какая жалость,— сказал он свистящим шепотом,— какая жалость, что ты не проткнул меня насквозь!

Ответа не последовало. Дыхание человека там, внизу, стало тяжелым, пыхтящим, как хлюпанье болотной жижи. Бред поднял голову и посмотрел на лес. Он услышал стрекот и треск мошкеры, которая наполняла весь темный болотный мир.

Он поднял глаза к небу. Медведица уже завалилась за чашу болотных зарослей. Вега — дальше к западу и северо-западу — высоко и ярко сияла. Но жужжание и беспощадный скрежет, раздававшийся из болотной тьмы, казалось, поднимались до самых звезд.

Бред стоял, обливаясь потом, — он вдруг вспомнил события той ночи, которые никогда за все эти годы не мог толком припомнить. Теперь они стояли у него перед глазами.

Женщина вышла из темной лачуги. Посмотрела на лежавшего человека, спросила:

— Насосался?

Бред кивнул.

— Не доволоку я его,— сказала она.— Когда он упьется до того как завалится домой, я его тут так и бросаю. Подкидываю дровец от мошек. И все.

• Я помогу его внести,— сказал Бред.

Они с трудом затащили тело в лачугу и свалили на кровать. Бред стоял в глухой темноте дома, вдыхал зловонный воздух и думал, что сейчас потеряет сознание. Но пересилил себя.

— Пожалуй, я двинусь,— сказал он.

— Нет, с рекой вам такому не сладить.

Он старался унять дурноту.

— Лягте там, на койке,— предложила она.

— Спасибо, большое спасибо, но лучше я посижу на воздухе.

Он нащупал дверь, вышел, присел возле дощатой стёны. Женщина стояла в темном пролете двери и смотрела на него сверху. Он чувствовал это, не поворачивая головы.

— Одному она тебя учит,— сказала она.

— Чему? — спросил он, так и не повернув головы.

— Что мир кругом прямо вспух от беды. Вздулся, как кровавый пузырь.

Жизнь — она и есть одно дерьмо, кроме беды ничего от нее не дождешься.

Она ушла к себе в лачугу. Он и это понял, не поворачивая головы. Посмотрел на звезды, вспоминая, как называются те, которые знал. Но стрекот, жужжание и зудящий звон из темного болота звучали у него в черепе.

Поэтому немного погодя он потянулся за кувшином.

Глава двадцать девятая

Когда на следующий день Бред привел лодку в затон, уже смеркалось. Он поставил ее на прикол и двинулся вверх по старому каменному скату. Какой-то человек в белом костюме, резко выделявшемся на фоне ветхих неосвещенных зданий Ривер-стрит, стоял наверху и глядел на запад, на реку, где в небе таял последний багрянец.

— Привет,— сказал Блендинг Котсхилл.— Как жизнь?

— Ужас. Пил с Лупоглазым.

— Ну, тут и жизни не хватит,— сказал Котсхилл.

— Да я и пил-то всего одну ночь. Но чуть не очурился. Отрава. До полудня не мог очухаться. А когда очухался, меня вывернуло наизнанку.

— Он теперь уже ничего не делает. Стыд и срам.— Котсхилл помолчал.— А ведь таких охотников я больше не встречал, но руки у него так дрожат, что и в сарай промажет. Помните, я вам рассказывал, какую охоту на уток я тут закатывал? Я вот устрою еще одну, для своего утешения. Двадцать лучших стрелков из тех, кого знаю, наберу отовсюду. Вне зависимости от чинов и званий. Черт возьми, ко мне ведь приезжали и сенаторы, и банкир, и отставной адмирал, и Лупоглазый — славная получалась компания. Даже три-четыре негра, бывало, охотились. Правда, есть их сажал за отдельный стол. Приспособил там нечто вроде алькова. И ставил стрелять в отдельном укрытии. А вот от Лупоглазого пришлось отказаться. Еще только подгребаю к укрытию, а он уже в стельку.

Он смотрел на реку.

— Знаете, а ведь затвор плотины уже закрыли. Пока еще незаметно, но вода поднимается. Она ведь медленно поднимается.

Бред тоже смотрел на реку, скользившую мимо; посреди протоки еще алели последние лучи. Но промолчал.

— Осенью в последний раз созову гостей,— сказал Блендинг Котсхилл.

— Куда думаете переселяться? — спросил Бред.

— Да вот прикидываю насчет Шотландии.

— Шотландии?

— Отличная охота на куропаток. Олени. Хорошая рыбная ловля.

— Звучит заманчиво,— сказал Бред, мечтая только о том, чтобы у него перестало стучать в висках.

— Да нет, мне просто тамошний народ нравится. С тех пор как я был связным при Шотландском полку в тысяча девятьсот восемнадцатом, три раза туда ездил.— Он задумался.— Отсюда я, во всяком случае, смоюсь. Не хочу

в здешние дела впутываться. Во все эти перемены. Когда заселят Лейк-Таун, начнется большая заваруха из-за совместного обучения черных и белых. На школу ведь идут федеральные средства. Сейчас пока помалкивают, ждут переезда в Лейк-Таун. А знаете... — Он осекся.

— Что? — спросил Бред.

— Они же меня попросят взять на себя защиту.

— Кто они?

— Как кто? Брат Пинкни и компания.

— И возьмете?

Котсхилл вглядывался в небо. Казалось, он не слышал вопроса.

— Мне-то плевать, хорошая у меня репутация или нет, — сказал он чуть погодя. — Я от нее не завишу. И никаких сукиных детей не боюсь. Просто вдруг почувствовал, что старею. Не желаю я больше ни во что впутываться. — И добавил: — А может, просто сам запутался. — Он помолчал, раздумывая. — Понимаете? Человек ведь может запутаться, сам того не сознавая.

Он обернулся, взглянул на темнеющую громаду тюрьмы, где как раз в этот миг зажглись угловые прожекторы.

— А вы знаете, что сегодня за ночь? — спросил он.

— Нет.

— Сегодня ночью включают ток под Красавчиком. Если губернатор его не помилует.

— А он помилует?

— Да нет же. Нет для этого оснований. Красавчик убил бедную старушку. Проломил ей череп гвоздодером. Новехоньким, он лежал в лавочке, под рукой. Вошел в такой раж, что не мог остановиться. Зверское убийство. Но если ты адвокат, все равно проделываешь что положено. Я вот попытался опереться на психиатров, доказать, что он ненормальный. Но Красавчик не сумасшедший, по крайней мере с точки зрения закона. Он ненормальный во внеюридическом смысле. В том самом внеюридическом смысле, в каком свихнулся весь наш распротряпанный мир. Но Красавчик из глухомани, поэтому он псих на наш теннессииский манер. А штат Теннесси, который сам сходит с ума по-теннессииски, его спалит.

Он вдруг со злостью повернулся к Бреду.

— А знаете, почему я здесь стою?

— Нет.

— Накачиваю себя, чтобы сходить туда проститься с этим несчастным душегубом, с этим заплаканным, запятнанным кровью, бестолковым и никчемным, безграмотным, играющим на банджо черным сукиным сыном.

После того как Бред ушел, Блендинг Котсхилл еще долго стоял на причале. Он знал, что ждать ему еще долго. Он стоял, раздумывая с том, как для Красавчика тянется время. Он думал о том, не спасует ли, как говорят в городе, Красавчик без посторонней помощи.

Ведь после того как брат Пинкни заставил Красавчика помолиться, в Красавчике, как видно, весь запал кончился. Одни слезы остались, и текут, пока глаза не вытекут. «Поглядите на мои штаны, — говорил брат Пинкни Блендингу Котсхиллу, заходя к нему по вечерам в контору, — они насквозь промокли от слез. Каждый божий день он обнимает меня за колени и плачет».

Как-то раз, сидя под вечер в конторе над пустынной площадью, брат Пинкни сказал: «Не хочу богохульствовать, но что-то я у него отнял, а взамен ничего не дал. И теперь у него ничего не осталось, кроме слез, которые капают на мои штаны, пока не вытекут совсем».

Вспоминая его слова, Блендинг Котсхилл стоял в надвигавшейся темноте и понуждал себя подняться на холм. Наконец он побрел вверх. Если поехать на машине, он будет там слишком рано. Он утешал себя тем, что если Красавчик не спасует, все кончится очень быстро.

На полдороге вверх он остановился. Ему не хватало воздуха. Он снова подумал, что стареет. Поглядев на городские крыши, на юг, на прибрежные земли вверх по реке, он подумал, что этой осенью там, у него в поместье, будет его последняя утиная охота. Он стоял, ощущая прилив волнения, какое испытываешь, видя, как высоко над чернолесьем из молочно-белого рассвета вылетают утки и

летят с криком по небу. Он почувствовал, как глаза его застилают слезы. Разве есть что-нибудь прекраснее на свете.

Но вдруг все переменялось.

Вдруг все переменялось: он мысленно увидел светлое небо, усеянное пузырями парашютного шелка. Он увидел рассветное небо, зацветшее этими белыми пятнами, и подумал, что сердце у него сейчас разорвется, но не от счастья. Ведь его только что сорвали с неба. Далеко внизу загрохотали пушки и сорвали Теда Котсхилла с неба. Блендинг Котсхилл увидел в воздухе удивленное лицо. Увидел тело, повисшее на стропках. И с криком стал спрашивать: было ли это быстро, было ли это быстро, о господи, было ли это быстро? так же быстро, как у Красавчика?

Немного погодя он зашагал в гору. Он думал, что не знает, состоится ли этой осенью его утиная охота. Думал о крови. О всей той пролитой крови, какую видел в жизни.

Потом он внутренне собрался — невысокий человек с широкими прямыми плечами и чересчур крупной головой; белая фигура в темноте,двигающаяся вверх по холму. Будь она проклята, эта жизнь, — сказал он себе, — я же знаю, что это за мир. Я в нем жил.

Чуть выше, когда он подходил по каменным ступеням к большим воротам, он подумал, что ему не вечно придется жить в этом мире. И захотел разобраться в том, как он к этому относится.

Бредуэлл Толливер доехал по Ривер-стрит до южной окраины города и остановился. Поставив машину на обочину, он представил себе, как Блендинг Котсхилл идет по темнеющим улицам к тюрьме. Подумал, что и сам ведь собирался присутствовать на отважной у Красавчика. Впрочем, еще не поздно. Он успеет. Мистер Бадд его пустит.

При этой мысли он вдруг почувствовал возбуждение. Он не может этого пропустить. Ничего такого он еще ни разу не видел. Он должен это увидеть. Ведь он же писатель, верно?

Писатель, — подумал он.

И подумал: дерьма-пирога.

И подумал: все писатели — дерьма-пирога.

Потом оглянулся и поглядел на город. С этого места за крышей аптеки Рексолла открывался большой простор — там, под ночным небом чернела громада тюрьмы и при ярком свете прожекторов на больших воротах можно было разглядеть широкие каменные ступени, спускавшиеся к верхней дороге. Он вглядывался в это пространство. Освещенное пространство, казалось, плыло в воздухе над темными крышами.

Прошло немало времени, прежде чем в ночной темноте он разглядел белое пятно — это там появился Блендинг Котсхилл. Белое пятно недолго простояло у каменных ступеней, прежде чем двинулось дальше к освещенным воротам. Лучи света падали на длинные ступени, по которым взбиралось белое пятно; но над этим светом, прорезавшим небо, стояла непроглядная тьма. Наконец белое пятно исчезло в темноте ворот.

Бред Толливер сидел в «ягуаре» — его обуревали зависть и ощущение отверженности. Он чувствовал себя отринутым жизнью. Он завидовал человеку, который мог по праву подняться на холм, взойти по каменным ступеням и войти в темную дверь. У него этого права не было.

Он медленно поехал к дому, постепенно сознавая — и сознание это приходило к нему словно оттуда, где падал редкий снежок, — что в тот миг, когда он, взволнованный, подумал, что тоже может пойти в тюрьму, лицо, которое он мысленно увидел, лицо с черным колпаком над головой, вовсе не было лицом Красавчика. За снежной пеленой воображения лицо, которое он тогда увидел, было лицом Бубенчика. И хотя невидимые руки держали над этим лицом черный колпак, лицо Бубенчика торжествующе ухмылялось ему сквозь сетку падающих снежинок.

Он медленно поднял руку и пощупал ссадину на подбородке, куда его ударил Бубенчик.

Что ж, даже если черномазый и сбил тебя с ног, это еще не значит, что тебя посетит видение!

Похоже, брат Потс прав: надо было добиться, чтобы он плюнул мне в лицо. И стерпеть, не вытереть плевка. Пусть высохнет под ветерком, на солнышке. Надо бы обсудить это дело с Бубенчиком. От этой мысли ему стало даже весело. Но ему недолго было весело.

Он почувствовал слабость и утомление. Он вспомнил, какое поило пил вчера ночью. Вспомнил, как, лежа на досках плавучей лачуги, смотрел на звезды и старался назвать их по именам. Ну да, сейчас он поедет домой, достанет какой-нибудь еды из холодильника, чтобы утихомирить желудок, и ляжет спать. Он не хотел ни о чем думать помимо того, что ляжет спать. Не хотел думать о завтрашнем утре, о том, что надо будет вставать.

Слева от него тянулось кладбище. Он подумал, что так и не отыскал могилу старого Изи Гольдфарба. Он вспоминал, как тысячу лет назад Изя Гольдфарб сидел на плетеном стуле перед своей портяжной мастерской на Ривер-стрит и глядел за реку, на запад, а на его спокойное лицо падали последние закатные лучи, освещая прозрачную кожу на тонком лице. Непонятно, почему он так и не нашел его могилу.

Завтра, решил он, надо сделать еще одну попытку.

На перевале в лесу все время ухала сова.

Когда он вошел в темную прихожую, он увидел, что сквозь широкую арку, ведущую в столовую, падает свет. Он знал, что уже поздно; в доме, наверное, спали, уже около десяти, однако на светящийся циферблат своих часов смотреть не стал. Ему не хотелось знать, сколько еще времени до полуночи.

Он стоял в прихожей, ощущая пустоту дома. Она была осязаемой, как густой, хоть и невидимый туман, который холодно оседает в темноте на щеках. Ночь стояла жаркая, типичная июльская ночь в Западном Теннесси, но он стоял, чувствуя, как темная пустота дома давит на него и оседает на щеках холодными каплями тумана.

Однако дом не мог быть пустым. Во-первых, наверху спит старушка, а Мэгги никогда не оставляет ее одну; когда Мэгги уходит, она поручает ее кухарке Айрин или кому-нибудь еще. Наверху непременно кто-нибудь есть. Но тут он подумал, что сама старушка — тоже своего рода пустота. Она часть того невидимого тумана, который наполняет дом. Да и Айрин тоже только часть этой пустоты. Он знал, что ее зовут Айрин, но, кроме имени, не знал о ней ничего — только имя и коричневый большой палец на белой тарелке, которую перед ним ставили, большой палец с очень белой лункой у ногтя. Он вдруг вспомнил, что имя Айрин означает покой. Айрин — это покой. Но мысль тут же пошла вкось, словно вдруг перекосило рот: черт возьми, но ведь покой — это тоже пустота?

Он пересек прихожую и вошел в столовую. По обе стороны камина горели канделябры — другого освещения не было, — и хрустальные подвески поблескивали. Несмотря на свет, комната тоже была наполнена пустотой. Он почувствовал себя водолазом, который в своей громоздкой оснастке и в шлеме, кивающем в воде как в кошмаре, с бесформенно раздутым серым туловищем и тяжелыми от свинцовых подошв ногами вползает в давно стоящую на дне подводную камеру. Словно пустота была не отсутствием, а присутствием — она, как поднышавшая вода, затопила дом. Он почувствовал, что дом, город, а может, и весь мир были давным-давно затоплены, а он в этой оснастке из кошмара мучительно вползает в комнату тяжелыми, свинцовыми, неподатливыми шагами.

И тут он увидел его.

Увидел на каминной доске большой конверт, прислоненный на самом виду к позолоченным бронзовым часам в стиле Людовика XVI. Он был подперт вазочкой или чем-то в этом роде. И хотя издали Бред не мог ничего прочесть, он знал, что на конверте написано его имя.

Взяв конверт, он вскрыл его не сразу. Прочел, кому он адресован, — конечно же, ему. Узнал руку Мэгги.

Справа от часов позолоченный сатир сидел на позолоченном камне и дул в позолоченную дудочку. Слева позолоченная нимфа в соблазнительной наготе испуганно убегала, волоча позолоченный шарф, от не менее позолоченного сати-

ра. Глядя на эти позолоченные фигуры, Бредуэллу Толливеру казалось, что внезапное затмение покрыло тенью залитый солнцем зеленый луг.

Переводя взгляд то на одну, то на другую фигурку по бокам от часов, он отодвигал минуту, когда надо будет вскрыть конверт. Но Бредуэлл Толливер понял, что на самом деле отводит глаза от циферблата часов. И сообразил, что отводит не зря. Часы стоят уже много лет. Неизвестно, были ли они испорчены или просто никто не трудился их заводить.

Часы показывали четыре часа двадцать две минуты, но никто на свете не знал, в какой день они остановились и было ли это днем или ночью. Он вспомнил городские часы на здании суда, ведь никто не знает, когда остановились и те часы — днем или ночью. Мир был полон часов, которые стоят, и никого не интересовало, когда это случилось.

Красавчик — его часы остановят другие.

Он вскрыл конверт, вынул лист белой писчей бумаги. Мэгги карандашом писала:

Дорогой Вред.

Сегодня вечером я уезжаю с Яшей. Мы вернемся завтра или послезавтра. Наверное, глупо уезжать; мы могли бы остаться и здесь, но ты все поймешь.

Я бы сказала тебе раньше, если бы было что сказать. Все шло очень медленно, и я боялась поверить, что это происходит. Пока сегодня среди бела дня мне не показалось, что я ослепла от слишком яркого света.

Может быть, я все еще боюсь. Может быть, я боюсь, что не смогу быть ничем, кроме того, чем была. Но, Вред, ты мой родной любимый брат. Пожалуйста, помоги мне поверить, что все правильно. Помогни мне быть счастливой.

С любовью

Мэгги.

PS. Мы ждали до сих пор — до 9 часов, — надеясь, что ты придешь и мы сможем сами тебе сказать. С мамой Фидлер я все устроила. Айрин побудет у нас и за ней присмотрит, так что тебе не о чем беспокоиться.

М.

Он взглянул на дату — 2 июля. Вчера. Что ж, они еще не вернулись. Черт, теперь он наверняка не увидит их целую неделю. Ей ведь надо наверстать время.

Держа в руке лист бумаги, Вредуэлл Толливер поднял голову, он почувствовал радость. Он был счастлив оттого, что счастлива она, одно это давало счастье — светлое, яркое чувство, словно удвоенное зеркальным отражением. Он стоял, пораженный тем, что счастлив оттого, что счастлива она.

Потом что-то с ним произошло. Радость еще жила, но это была уже не щедрая радость оттого, что рада она, это была эгоистическая радость оттого, что доказано наконец, что он был прав. Видит бог, он старался — ну, разве он не старался? — заставить ее отсюда вырваться, пуститься во все тяжкие, закусить удила. Вот из-за этого они и поссорились тогда, когда он вернулся домой с разбитым коленом, так и не попав на войну. Что ж, теперь она пустилась во все тяжкие. Тоже ведь живой человек.

Да, он вел себя правильно. И он чувствовал облегчение. Вся ее жизнь, без малого двадцать лет — нет, всегда, — была ему сплошным упреком. А то, что она никогда не сказала ни слова, было еще худшим упреком. Весь ее образ жизни был упреком более громогласным, чем слова. И хуже, гораздо хуже, чем слова, потому что слова определяют вину. Поэтому ее упрек, который оставался невысказанным, был безмерным. В чем бы он ни был. Бред всегда жил с ощущением вины.

Но теперь он больше никакой вины чувствовать не будет. Потому что она пустилась во все тяжкие.

Да, ей даже пришлось для этого уехать из дома. Она бы не могла сойтись с Яшей Джонсом в этом доме. В этом доме она лежала бы в темноте на кровати

холодная, как лед, и если бы тело Яши Джонса прижалось к ней, оно бы тоже было только грузом темноты и пустоты, которые наполняли этот дом и мешали дышать, пустоты, погружающейся в пустоту, темноты — в темноту. Он чувствовал, что он оправдан, он испытывал облегчение, зная, что ей, даже ей нужно было убежать из этого дома.

Он стоял тут, в Фидлерсборо, дрожал, несмотря на жаркую июльскую ночь, и думал, что сам он, несмотря на то, что столько лет убегал отсюда, так и не смог убежать из этого дома. Вот он и сейчас ощущает пустоту и темноту, царившие над ним и вокруг него. И вдруг заметил, что свет в комнате меркнет.

Он поглядел на канделябры по бокам от камина, сначала на один, потом на другой, на лампочки в хрустальных подвесках. Да, свет безусловно померк. И подумал: Весь свет ушел на Красавчика. Они включили его для Красавчика.

Но... это же невозможно.

Там другая линия.

Вероятно, включился большой старомодный холодильник в буфетной.

Да и время неподходящее. Не может быть, чтобы уже была полночь — час, когда Суки пустят в ход.

А насчет того, что свет померк, Бред сообразил, что он не меркнет даже в тюрьме, даже в полночь. Это суеверие. Не имеющее под собой оснований. Если кто-нибудь и в тюрьме и вне ее будет ждать, чтобы свет померк, когда Красавчик садят на электрический суд, никто так ничего и не узнает.

И стоило ему это подумать, как там, на холме, завывли сирены. Тогда он сообразил, что они воют уже довольно давно. Он слышал шум, но не сознавал, что слышит его.словно тот дальний вой на холме был частью его душевного состояния и не существовал вовне. Даже сейчас, если бы он мысленно от всего отвлекся, этот звук был бы скорее проявлением того, что он чувствовал, чем зовом внешнего мира.

Он услышал, как в прихожей хлопнула входная дверь.

Глава тридцатая

Бредуэлл Толливер замер с листком в руке, поняв, что шаги доносятся из прихожей. Потом сообразил, чьи это шаги.

Перед ним, как при вспышке магния, возникло лицо Мэгги. Оно словно плыло в темноте, сияя, как алебастр, пронизанный светом. Оно ему улыбалось.

Когда он услышал, что шаги по темной прихожей приближаются к нему, он почувствовал, как к горлу подступает крик. Этот крик был криком жажды: он жаждал, чтобы к нему вернулось счастье оттого, что она счастлива. Он чувствовал, что стоит ей появиться в дверях, как этот крик, который он глушил в себе, вырвется наружу.

И вот они с Яшей возникли в широкой арке двери — она в темном ситцевом платье с короткими рукавами, он в мятых фланелевых брюках и полотняном пиджаке. Ночь была жаркая, и его череп лоснился. Бред вглядывался в них, пока они там стояли на фоне темной прихожей.

Они стояли, словно только что вышли из сада, где провели вечер у полуразрушенного бельведера: пора было ложиться спать и вот они вошли в дом. Странно было только то, что они держались за руки. Они стояли не очень близко друг к другу, как видно, стеснялись, но руки их были сцеплены, чтобы чувствовать один другого.

Бред уставился на эти руки, потом на их лица. словно выжидал, чтобы они заговорили. Но он ждал не этого. Он ждал, что произойдет в нем самом.

Мэгги ему заулыбалась. Но улыбка была несмелая и ничего не выражала. Эта улыбка будто кровоточила, жизненные силы, питавшие ее, вытекали в окружающую темноту прихожей быстрее, чем могли восстановиться изнутри.

— Мы хотели все тебе рассказать, — произнесла она.

— Не важно, — сказал Бред. Он ждал, когда почувствует ту прежнюю радость.

— Ждали тебя вчера вечером, но ты не пришел.

— Да, я не пришел.

Она отпустила Яшину руку и подошла к Бреду. Постояла перед ним, потом, протянув руку, потрогала листок бумаги, который он держал.

— Я правда так думаю,— сказала она.

— Что ты думаешь?

— Что ты мой любимый брат.

Он посмотрел на ее лицо — какое оно спокойное! — и почувствовал, что крик, подкатывая к горлу, душит его. Если он сможет крикнуть, радость от ее радости к нему вернется. Он вдруг сообразил, что сирены там, в темноте, больше не воют.

— Поцелуй меня,— попросила она и подставила щеку.

Он нагнулся, чтобы ее поцеловать. Но, прикоснувшись к щеке, почувствовал, что губы у него холодные, потрескавшиеся, жесткие. Губы, к его удивлению, ничего не ощущали. Они были только неким придатком к его лицу. Он подумал: «Губы — не мои». Он поднял голову. Но язык высунулся, чтобы облизнуть губы, как будто губы были на самом деле его и настоящими.

То, чего он ждал, не произошло. Крик не вырвался. Крик был глубоко запрятан и придушен внутри, загнан в боль. Радость не вернулась. Он уже никогда ее не обретет.

Он стоял, держа в руке листок бумаги — ее письмо,— и знал, что губы его сейчас что-то произнесут. Он чувствовал, что в голове что-то скапливается, бьется; он чувствовал, как у него сдавило грудь, и понял, что губы сейчас что-то произнесут. Произнесут то, что копилось у него в голове и давило грудь. Губы зашевелились.

И произнесли:

— Да... ага... знаю. Теперь знаю.

Оба они не сводили с него глаз.

Он рванулся мимо сестры к Яше Джонсу. За Яшей гемнела прихожая.

— Думали, что не узнаю? — услышал Бредуэлл Толливер, как произносят его губы, и замолчал, онемев от ужаса, зная, что ничего не знает, и в то же время глубоко ощущая то, что накипало под этим его неведением. Он ждал, что произнесут дальше его губы.

— Не узнаете чего? — спросил Яша Джонс.

Бредуэлл Толливер почувствовал, как смех вырывается у него из горла, почувствовал, как мускулы лица кривятся в гримасе, которой и надо было ожидать, как губа непослушно вздернулась, чтобы издать звук.

Губы произнесли:

— Думали, что я не узнаю, почему вы отклонили мой сценарий? Мой сценарий для нашего знаменитого фильма.

— Господи спаси! — воскликнул Яша Джонс, глядя на него во все глаза. Потом сдержанно, осторожно объяснил: — Я отклонил вашу наметку сценария потому, что не считал и не считаю ее достойной вашего таланта. Если бы я не думал, что вы обладаете большим дарованием, я бы никогда...

— Допустим, что это не пустая вежливость,— услышал Бред, как произносят его губы,— но вы, видно, считаете, что я недостаточно одарен для самого простейшего умозаключения. В сорок четвертом году я начал писать роман, связанный с... нет, лучше сказать, навеянный определенными событиями, которые произошли в Фидлерсборо. И моя сестра, обнаружив это...

Его восхищал спокойный тон, которым губы произносили эти слова. Он был таким же сдержанным и осторожным, как у Яши. И его восхищала логика того, что он собирался сказать. Он не знал, что он скажет, но уже предвкусил спокойную жестокость своей логики. Он, а вернее, какая-то его часть, вовсе не причастная к тому, что он говорил, уже ощущала наслаждение, какое ощущает математик от стройности своих доказательств. И с восхищением услышал, как губы его произносят:

— ...и огорчившись тем, что сочла публичным использованием семейного позора, убедила меня...

— Бред! — закричала она и двинулась к нему через комнату.

Он обернулся с изысканной вежливостью, сознавая ее изысканность.

— Бред,— повторила она, подойдя к нему,— я была не права. Я была ду-

рой, это была моя слабость, и я о ней жалею. Но я уже говорила тебе, что жалею, а теперь...

— Не жалею,— произносили его губы,— потому что ты отослала меня из Фидлерсборо, из этой мусорной свалки, чтобы я научился ремеслу делать замечательные фильмы, и чтобы мне за них хорошо платили. И вот наконец я заслужил и от Яши Джонса — по-видимому, твоего будущего супруга — признание в мастеровитости со всеми вытекающими из этого звания правами, привилегиями и хулой. И тот факт, что я мастеровит, снова гонит меня вон из Фидлерсборо. Но есть и другая тому причина, хотя Яша Джонс и считает, что, будучи пагубно оглушен позывными реальной действительности, я не способен уловить тончайшие отзвуки легкокрылого видения, какое и есть истина. Подлинная причина... — он наклонился к ней, — подлинная причина — это ты!

Она смотрела на него широко открытыми глазами, и, казалось, прошло много времени, прежде чем она спросила ледяным тоном:

— Я? — Потом еще тише: — Я?

— Да, да! — весело подтвердил он. — И до чего же все логично! Из-за моего наброска сценария.

— Я же тебе сказала! Я же говорила, как мне жалко, что тогда тебе помешала... в то время... но теперь мне все равно, о чем ты там напишешь.

— Ну да, это ты говорила мне. А что ты говорила ему? — И он ткнул пальцем в Яшу Джонса.

— Но... — с трудом выдавила она. — Ему я ничего не говорила.

— Говорила, говорила, — спокойно повторил он, глядя на нее из бесстрастного далека. — Давай не употреблять этого слова. Давай, моя дорогая, заменим его словами намекнула, внушила, дала понять. Я ведь и не подозреваю, что ты сознательно, так сказать, посоветовала ему...

— Бред... — перебила она. Имя его она произнесла едва слышно, но оно заставило его замолчать.

Она стояла против него в темном ситцевом платье, уронив руки ладонями наружу и подняв к нему лицо, в гладко зачесанных волосах, блестевших на свету, была заметна седина. Глаза у нее были расширены и устремлены на него. Лицо, освещенное сзади, казалось застывшим. Но потом он заметил, что губы ее дрожат. Он увидел, как слезы набегают на большие карие глаза.

И тут он услышал голос Яши Джонса.

— Бред!

Услышав этот голос, он с облегчением почувствовал, что пути перерезаны. Он теперь может повернуться в ту сторону. Может отвести взгляд от лица женщины со слезами на глазах.

Яша Джонс вышел на середину комнаты и встал возле стола из красного дерева спиной к камину. Свет канделябров отсвечивал от его голого черепа.

— Бред! — повторил он.

И когда Бред повернулся к нему, он сказал:

— Мы используем ваш сценарий. Давайте так и решим.

— Даете за нее выкуп, а?

— Ее не у кого выкупать.

— Тогда, значит, уступка?

— Нет, не уступка. — Яша подумал. — Нет, не уступка. Это было бы оскорбительно. Но наблюдая вас сейчас, в этом странном, простите меня, состоянии бессмысленной злобы, я вдруг понял, что, быть может, глубочайшее чувство, то чувство, которое сейчас может выразить себя только в злобе, проявится и в сценарии, когда вы его доработаете. Правильно! — воскликнул он. — Правильно — не элегия, а злость.

Бредуэлл Толливер был совершенно холоден, словно его парализовало. Он ощущал, как кровь стучит у него в висках, но звук был далеким, словно доходил из темной пещеры. Он вдруг почувствовал себя вышотрошенным, обобранным. Он пытался заговорить, но губы ему не повиновались. Он чувствовал, что, если бы они зашевелились, если бы только они хоть начали шевелиться, они смогли бы что-то произнести и преодолеть сковавшее его оцепенение.

Яша Джонс сказал:

— Нужны, конечно, изменения, кое-что должно быть развито, на этом этапе

всегда так бывает. Но только те изменения, которые вы сами сочтете нужными. Времени у нас хватит...

Послышался неясный звук, и все трое повернулись к арке, ведущей в прихожую.

Секунд десять они смотрели на него в полной тишине. Мэгги медленно поднесла руки к лицу, слегка прикоснулась к щекам и из этой рамки неотрывно смотрела на человека в серой бумажной куртке. Она первая нарушила молчание.

— Калвин,— произнесла она.

Без всякого выражения. Слово глухо повисло в воздухе.

Но человек в серой бумажной куртке на него не обернулся. Он уставился на Яшу, который стоял цагах в десяти от него между столом красного дерева и восточной стеной. На остальных он не смотрел.

Не смотрел он и на никелированный револьвер, который держал в вяло повисшей правой руке. Кисть высовывалась из серой матерчатой трубы, облежавшей руку. Кисть, казалось, существовала отдельно от тела.

Далеко в темноте снова завывли сирены.

— Сирены,— сказал Бред и посмотрел на человека в серой бумажной куртке.

Калвин Фидлер наклонил набок голову, словно прислушиваясь к далеким звукам. Изящный гребень седых волос был такого же цвета, как куртка. Лицо под высоким лбом, поднятое словно в знак вежливого внимания, тоже было серым.

Сирены смолкли. Наступила тишина. Потом тишина перестала быть тишиной, наполнившись непрокким зудением июльских мух в темных деревьях, словно по нервным окончаниям настойчиво, аккуратно водили пилкой для ногтей. Калвин Фидлер снова уперся взглядом в Яшу Джонса, чье лицо было слегка в тени, потому что свет канделябров по обе стороны от камина падал ему на спину.

— Вы сказали, что времени вам хватит? — сказал он Яше.

— Да,— сказал Яша и сделал к нему шаг, словно желая завести с ним беседу.

— Не подходите,— сказал Калвин Фидлер,— я не хочу, чтобы вы ко мне приближались.— А потом объяснил: — По-моему, я никогда не любил, чтобы ко мне подходили слишком близко.

Яша больше не сделал ни шагу. Он стоял совершенно спокойно под направленным на него взглядом, но Бред заметил, что он чуть-чуть согнул колени.

— Вы ведь физик? — спросил Калвин Фидлер.

Яша засмеялся.

— Когда-то изучал физику,— объяснил он.— Очень давно.

— Разве ученым-физикам не приходится задумываться над природой времени?

— Говорят, да.

Калвин Фидлер продолжал его разглядывать.

— Но я всего лишь врач...— Он помолчал, покачав головой.— Был врачом. А врачи не ученые, как вы, они не сильны в теории, как вы, ученые-теоретики. Но...

Яша почти неприметно двинулся вперед.

— Не подходите ближе,— сказал Калвин Фидлер.

Он погрузился в глубокое раздумье. Потом встряхнулся.

— Но...— снова начал он. И опять замолчал.

— Но что? — тихо спросил Яша Джонс.

Калвин вышел из забытья, поднял голову.

— Но если я в теории времени и не силен, у меня было его достаточно. Я целых двадцать лет о нем думал.

— Да? — спросил Яша и наклонился, вслушиваясь.

— Пожалуйста, не подходите ближе,— сказал Калвин, голос его звучал просительно.

— Вы говорите, что у вас было много времени, чтобы думать о времени,— с интересом сказал Яша.— И что же вы открыли?

— Вы, пожалуй, сочтете это трюизмом,— сказал Калвин.— Но это не так.

Я могу сказать, что время — это мера жизни, а жизнь — мера времени, и если вы не проводили дни и ночи, пытаетесь измерить эти несоизмеримые величины, измерить их друг другом, тогда вы ничего о них не знаете. И ничего не знаете о себе.

Яша Джонс легонько кивнул. Вид у него был серьезный, задумчивый.

— Вы меня поняли? — спросил Калвин, впившись взглядом в лицо Яши Джонса. Свет, падавший сзади, блестел на высоком лысом черепе, глянцево от ночной жары.

— Да, — помолчав, сказал Яша.

— Нет, не поняли, — брюзгливо бросил Калвин, словно возражая тупому ученику. — Ни черта вы не знаете. Если бы я мог вам объяснить. Нет, если бы я мог вас ввести в мою личную лабораторию, которая в просторечии зовется тюрюгай, где бы вы подверглись опыту, который я... — Он замолчал, размышляя.

— Думаю, что все мы имеем представление об этой лаборатории, — мягко возразил Яша Джонс, — и зовется она вовсе не тюрюгай. Она зовется...

Вдалеке снова завывли сирены.

— Воют сирены, — сказал Бред.

Калвин Фидлер секунду прислушивался. Сирены смолкли. Он снова повернулся к Яше Джонсу.

— Как же она зовется? — спросил он у него.

— Моим «я».

Калвин Фидлер снова брюзгливо помотал головой.

— Послушайте, если вы дни и ночи пытаетесь соизмерить несоизмеримое, вы мучительно жадете того момента, когда, если перефразировать Библию, несоизмеримое обретет соизмеримость. — Он требовательно наклонился к Яше. — А вы знаете, когда это бывает?

— Когда?

— В тот миг, когда обе несоизмеримости перестают существовать, но еще не достигли несуществования. Скажите, мистер Джонс, ну да, вы, Яша Джонс, неужели даже при всей вашей малоопытности вы никогда не жаждали этого момента?

Глаза Калвина Фидлера сверкали. Он весь напрягся.

— Отвечайте же! — приказал он резко, вся его вежливость пропала.

Потом он овладел собой. Он казался смущенным, испуганным собственной грубостью.

— Извините, — сказал он. — Я чересчур разговорился. — Он снова помолчал. — Я ведь не разговоривать сюда пришел.

И вдруг Бредуэлл Толливер расхохотался. Он затрясся от смеха, рот на погрубевшем лице, желтом от усталости и тошноты, был разинут, и оттуда вырывался смех. Он тыкал пальцем в Калвина Фидлера, но, преодолевая смех, говорил Яше Джонсу:

— А ведь все сбылось, Яша, все сбылось!

Калвин Фидлер уставился на него с неприязненным любопытством.

Но смех, вырвавшийся из горла с клеточком, как кашель, не унимался.

— Ага, Яша Джонс, — с трудом выговаривал Бред, — вы отвергли мою разработку сценария, сказали, что не важно, как что-то происходит в жизни, — так ведь вы говорили? Ну а что вы теперь скажете, Яша Джонс? Ведь все сбылось!

Яша Джонс молчал.

Его слова подхватил не он, а Калвин Фидлер; он повторил их для себя, словно стараясь их себе объяснить, голосом, в котором звучали и озадаченность и возбуждение.

— Все сбылось...

Потом с мучительным недоумением посмотрел на свою правую руку, державшую никелированный предмет. На секунду в темноте стихли даже июльские мухи.

Потом, вздернув голову, он выкрикнул:

— Да, да! Точно! Все сбылось!

И, наклонившись к Яше, заговорил отрывисто, торопливо, хотя тон был тихий и доверительный:

— Да, мистер Джонс, там, наверху, когда я узнал про вас и Мэгги, вот тогда и сбылось то, что и должно было произойти. Я ведь это знал и двадцать лет назад в то воскресное утро, когда ехал из Нашвилла в Фидлерсборо со всей этой рухлядью, наваленной в машину, и раскрашенной жестяной корзиной для бумаги, набитой всякой всячиной... — Он помолчал, как будто сбитый с толку, но потом спросил: — Да откуда же вам это знать?

— Что? — тихо спросил Яша Джонс, слегка наклонясь вперед.

— Хорошо! — воскликнул уже очень возбужденно Калвин Фидлер. — Хорошо! Пусть все и сбудется! Сейчас же! Сейчас!

Бредуэлл Толливер посмотрел вниз и увидел, что никелированный пистолет поднимается.

— Калвин! — окликнул он его как бы невзначай.

Калвин поглядел на него.

— Калвин, помнишь, когда мы были мальчишками, в моей комнате стояли «конструктор», чучела птиц и животных, помнишь?

Калвин Фидлер кивнул, хотя и не сразу.

— Так вот, помнишь, как я набивал чучело большого старого енота?

Калвин Фидлер кивнул.

— А на какую руку я тогда шаркнул тебе склизкие мозги того старого енота? — спросил Бред почти шепотом, наклоняясь к нему еще ближе.

Человек с изящным гребнем седых волос над серым лбом поглядел на свои руки — сначала на одну, потом на другую. Слегка повернул ладонь вверх и развел пальцы. Никелированный пистолет лежал теперь на ладони.

И вот тогда Бредуэлл Толливер рванулся к нему всем телом и упал на него неуклюже, нескладно, сокрушительно, словно подорванный кирпичный дымоход.

Но он не успел пригнуть книзу руку, державшую никелированный револьвер, — раздался выстрел. А потом, когда он ее пригнул, или, вернее, когда он всем весом своего тела судорожно обрушился на эту руку и прижал ее книзу, раздался еще один выстрел.

Тогда он выпустил руку.

Не успела Мэгги крикнуть, не успел Яша добраться до Калвина Фидлера, как тот выпустил из рук револьвер, и он упал на пол у лежавшего там тела. А Калвин стоял и смотрел на это тело, и тут Мэгги закричала, а Яша прыгнул. Но, прыгнув, замер с вытянутыми руками, будто готовился к схватке и так и застыл на месте.

Потому что Калвин Фидлер вдруг опустился на колени возле тела. Он слегка повернул голову Бреда — тело лежало на спине -- и решительно сунул правый большой палец под челюсть, откуда лилась кровь.

— Вечная ручка? Есть у вас вечная ручка? — почему-то повторял он этот дурацкий вопрос.

Яша Джонс нацупал у себя в пиджаке дешевую пластмассовую шариковую ручку.

— Сломайте ее, — приказал Калвин Фидлер, — сломайте! Мне нужна трубка. Быстро!

Жужжанию июльских мух вторило негромкое сопение и клетот.

Яша принялся за ручку. Тонкие сильные загорелые пальцы методично работали над ней. Он что-то отвернул и, посмотрев на то, что осталось, сунул конец в рот и откусил. Теперь в руках у него была трубка.

— Кончик с зазубринами, — сказал он.

Стоя на коленях, Калвин неловко левой рукой воткнул ровный конец трубочки в дыру с левой стороны горла.

— Идите сюда, держите ее, — приказал он.

Яша Джонс присел на корточки, но к нему подбежала Мэгги.

— Нет, дай мне, — говорила она, — это я должна держать!

— Не надо, Мэгги, — спокойно сказал Калвин Фидлер, — пусть держит он. Ты лучше знаешь местные дела, иди к телефону, поскорее вызови врача и «скорую помощь». Слушай внимательно. Объясни, что рана — прободная на шее. Сильное венозное кровотечение. И трахеотомия. Мне нужен набор инструментов

для неотложной помощи и отсасывающая машина. И поторопи карету. Запомнишь?

— Да,— сказала она.— Да, трахеотомия.

— Пусть в больнице приготовятся к срочной операции. И немедленно едут сюда. Неизвестно, сколько мы еще продержимся.

Она побежала в буфетную, к ближайшему телефону.

— Вторая пуля,— сказал Калвин Фидлер своему ассистенту,— судя по тому, как он лежит, похоже, раздробила бедро. Венозное кровоизлияние, но не критическое. Когда Мэгги вернется, она сможет наложить жгут.

И только когда Мэгги поднялась, наложив жгут, она заметила в полутьме прихожей старуху, которая стояла в нескольких шагах от двери. Мэгги почему-то была уверена, что стоит она там уже давно.

Она подошла в темноте к старухе, обняла ее за талию. Не противясь, безмолвно старуха позволила себя увести.

КНИГА ПЯТАЯ

Глава тридцать первая

— Видать, я повел вас чересчур быстро,— сказал надзиратель и замедлил шаг.

— Вероятно,— признался Бред.

Он постоял, крепко воткнув наконечник палки в гравий, и расслабил правую ногу. Он чувствовал, как солнце — уже горячее, хотя лето еще не настало,— печет сквозь свободно болтавшуюся теперь на нем одежду и покалывает кожу. На минуту ему показалось, что это кости свободно плавают в телесной оболочке, словно стали для нее чересчур малы, так же как тело стало чересчур маленьким для одежды. Несмотря на солнце, костям было холодно.

Какая глупость — нанять в Нашвилле машину без шофера и править самому.

Потом из самого нутра, где в темном углу зашевелился черный зверь, пришла мысль: Какого черта я вообще приехал?

А потом другая мысль: Чего я вообще здесь не видел?

И при этой мысли, хотя солнце и пекло его плечи, он почувствовал в глубине души знобкое дыхание той черноты.

Но он научился тому, что можно уживаться с чем угодно, и за долгие месяцы угрюмо примирился с черным зверем, поросшим шерстью, холодной, как косматый лед, со зверем, который дремал в темных недрах его существа, а иногда просыпался, и фыркал, и вдруг даже дыбился, вот как сейчас, и обдавал своим ледяным дыханием. Нет, он не просто с ним примирился; в долгие ночи в нашвиллской больнице, где в его белой келье не было видно ничего, кроме ночника, тусклого и холодного, как гнилушка, и не слышно ни единого звука — даже шуршания накрахмаленной юбки в коридоре, даже свистящего шарканья резиновой подошвы о кафель, — он чувствовал к этому чудищу даже нечто вроде привязанности. В предрассветные часы зверь, устав от рычания и грызни, ложился с ним рядом и свертывался калачиком, словно хотел жалобно припретаться у того тепла, которое еще оставалось у Бредуэлла Толливера.

И вот теперь он стоял, опираясь на палку, под апрельским солнцем, припекавшим ему плечи, несмотря на пиджак, возле клумбы с каннами — листья у канн были еще бледные, глянцевого цвета, как целлофан, и только что распустились, а бутоны еще не налились — и оглядывал двор, кирпичные стены, приземистые башни по углам, небо над головой и спрашивал себя, какого черта, в сущности, он сюда приехал.

А надзиратель, ничуть не страшный пухлый мужчина средних лет в засаленной синей форме, жуя зубочистку, задал вопрос:

— Что же, вы теперь так навсегда и останетесь калекой?

— Нет, доктора обещают, что поправлюсь.

— Сколько раз он в вас пальнул? Три как будто?

— Два.

— Бывает, — хихикнув, кивнул надзиратель, вынул изо рта изжеванную зубочистку и осмотрел ее. — Человек в вас стреляет, а вы к нему ездите, яхшаете с ним. — Он снова хихикнул.

С излишней осторожностью, словно пристраивая неплотно набитый мешок, Бред опустился на скамью против клумбы с каннами. Надзиратель крутанул бедрами, тоже собираясь присесть на скамью.

— Можете меня не ждать, — сказал Бред. — Я дорогу знаю.

Он снял старую панаму, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. Минуту спустя он услышал скрип шагов по гравию — надзиратель недовольно уходил прочь. Солнце пригревало ему веки, и он видел цвет собственной крови.

Комната выходила на юг и была залита утренним апрельским солнцем, но человек стоял спиной к окну, и Бредуэлл Толливер не мог разглядеть его лица, хотя ему этого и хотелось. Изыщная холка седых волос, кажется, стала еще седее, почти белой, но ему надо было видеть лицо. Бред сидел, спрашивая себя, для чего он этого хочет: убедиться в том, как изменилось лицо, которое спустя столько лет стало просто лицом седого мальчика, или же он этого боится?

Он удержался и не потрогал свое собственное лицо. Да не к чему было его и трогать. Тут не в чем было убеждаться. Он знал, как обвисли щеки, как стянулась кожа возле рта и висков.

Он сидел и думал о том, что всякий человек — твое зеркало, а ты — зеркало каждого из людей. Зеркало сидит против зеркала. Но зеркала эти несоизмеримы, подумал он, вспомнив, что говорил Калвин в ту ночь насчет несоизмеримых величин. Он не сводил глаз с Калвина Фидлера.

А Калвин Фидлер сидел, улыбаясь застенчивой, смущенной, по-мальчишески трогательной улыбкой, положив на колени ладони и слегка поглаживая длинными пальцами белую парусину брюк. Бредуэллу Толливеру хотелось, чтобы он заговорил. Но сам он не знал, что сказать. Они пожали друг другу руки, сказали «привет», просто «привет» и все, и сели в молчании, которое было свидетельством того, что прошлое досконально известно им обоим. А может быть, думал Бред, это молчание — свидетельство их полнейшей неспособности понять это прошлое?

— Погляди! — вдруг воскликнул Калвин Фидлер, вскочив со стула и обведя рукой светлую комнату. — Погляди, что у меня тут есть. Держу пари, что даже в Джонсе Гопкинсе лаборатория не лучше.

— Здорово! — сказал Бред.

— Пойдем посмотрим амбулаторию, — сказал Калвин.

И провел его по коридору в соседнюю комнату, где помещалась амбулатория, а потом они снова вернулись в ту комнату, где солнечный свет сверкал на стекле и никеле.

Они постояли немного, снова загнанные в молчание. Потом Калвин с бесцельным жестом, тут же прерванным, вернее, просто не доведенным до конца взмахом правой руки сказал:

— Надеюсь, ты понимаешь, почему я тебе все это показываю?

— Нет.

— Потому что не могу придумать, что тебе сказать. — Он задумался. — Смешно, что после того, как я тебе написал и заставил сюда приехать, потому что мне это было невероятно важно, мне нечего тебе сказать. Может, мне и не надо было просить тебя приезжать.

— Чего там, — сказал Бред, — я бы все равно приехал.

И он вдруг понял, что да, приехал бы.

— Зачем? — спросил Калвин.

— Поблагодарить тебя, — угрюмо улыбнулся Бред. — За то, что ты спас мне жизнь.

— В забавном мире мы живем — человек в тебя стреляет, а ты потом говоришь ему спасибо за то, что он спас тебе жизнь.

Калвин стал испытующе вглядываться в его лицо взглядом диагностика, взглядом судьбы. Такого взгляда Бред у него никогда не видел.

— Но ты правда приехал бы только для этого? — по-прежнему не сводя с него глаз, спросил Калвин.

Под этим взглядом Бред съежился, сам не понимая почему.

— Послушай, — сказал он ворчливо, — я могу только вот так ответить на твой вопрос. Давай будем объективны. Отбросим предвзятость. Эта сцена — между тобой и твоим слугой покорным — кульминационная, как выражаемся мы, сценаристы. Без нее не обойтись. Неизбежная конфронтация. Необходима для симметрии. Ее требует внутренняя логика. Давай же и мы, бедные марионетки, подчинимся закону симметрии и внутренней логике, а тогда слова сами, непрошенные, придут на язык. И смысл их проявится... — Он вдруг осекся. — Господи! — сказал он. — Я понимаю, что это не сценарное совещание. А настоящее. Ж-и-з-н-ь.

— Единственная, которая нам дана. — тихо вставил Калвин.

Бред стоял, он был подавлен. Болела нога.

— Сядь, — сказал Калвин, — не надо перетруждать ногу.

Бред сел на стул. Он следил за тем, как Калвин подошел к столу и стал вертеть ножницы.

— Как поживает Мэгги? — внезапно спросил он, продолжая вертеть ножницы.

— Хорошо, — сказал Бред. — Они живут на каком-то греческом острове. В Эгейском море. Ну да, в пастушеской хижине и читают Софокла. Во всяком случае, Яша его читает, и ручаюсь, что в подлиннике, а Мэгги в это время одной рукой раздувает костер из хвороста, помахивая высохшим крылом чайки, а другой мешает суп, думаю, что ложкой, искусно вырезанной из козлиного рога. Кстати, она беременна.

Человек, возившийся с ножницами, положил их на стол, поднял голову и спокойно взглянул на Бреда.

— Я рад, — сказал он.

— Но вернемся к гениальному Яше, — продолжал Бред, — он там собирается снимать фильм. Что-то целомудренное по чувству и классическое по форме.

Он услышал, каким тоном он это сказал, и пожалел, что это сказал. Таким тоном разговаривали в определенном кругу. Он не мог припомнить, что это был за круг.

Но тем же тоном, словно себе назло, он продолжал:

— Понимаешь, пронизанный солнцем шедевр на фоне сверкающего гранатового моря.

— А что с твоим сценарием? — спросил Калвин.

— Положен на полку. Потом, когда оказалось, что я вроде оклемался и...

— ...и, следовательно, меня не посадят на электрический стул за «убийство номер два, совершенное бешеной собакой Фидлером», — прервал его Калвин, не глядя на него и легонько пощелкивая ножницами. Он замолчал, задумчиво покачивая ножницы на пальце. — Неверно, — сказал он, — это было бы номером три.

— То есть как?

— А моя мать?

— Ты что, с ума сошел? — вскипел Бред. — Она умерла во сне. Через две недели.

Калвин круто к нему обернулся.

— Ты же знаешь, когда двадцать лет назад бешеный пес Фидлер погубил свою первую жертву, старушка этого не перенесла. Видит бог, ей и так солоно пришлось в последние годы, когда отец стал морфинистом, а потом он умер, и оказалось, что он почти совсем разорен. Но я вернулся, и она поверила, что теперь будет не жизнь, а малина. Но разлюли-малины не получилось, и она просто спятила, да так, что не желала верить в мою вину, считая, что все это заговор против меня и скоро меня оправдают, а виновных осудят. Вот какая каша была все эти годы в ее бедной старой голове. Но знаешь что?

— Что?

— Иногда даже сумасшествие не спасает. Поэтому в прошлый раз, когда она из темной прихожей воочию увидела, как я стреляю — бах, бах! — она взяла и померла, как померла бы еще двадцать лет назад, если бы не исхитрилась и

не сошла с ума, чтобы сохранить «веру в единственного сына». Поэтому ее смерть тоже, как ты в ту ночь удачно выразился, сбылась.

Он помолчал, разглядывая ножницы на пальце. Потом, словно спохватившись, что вел себя бестактно, выпалил:

— Но как же твой сценарий, мы ведь говорили о твоём сценарии!

— Что говорить? Когда Яша от него отказался, его, как я уже сказал, положили на полку. Но вот вчера...— Он поймал себя на том, что его левая рука словно ищет подтверждения и украдкой шарит во внутреннем кармане пиджака, — я получил телеграмму от продюсера Морта Сибоба, где говорится, что ему нравится мой сценарий, так что дело теперь двинется на всех парах.

— Я очень рад, — сказал Калвин. — Правда.

Но внимание его явно отвлеклось. Он выглянул в окно, поглядел на ясное небо. — Вода, — наконец произнес он. — Говорят, она поднимается? — Он обернулся к Бреду. — Ты видел, она поднимается?

— Да.

— И уже высоко?

— До Ривер-стрит еще не дошла.

Калвин Фидлер снова задумался.

— Говорят, что дом сломали, — сказал он чуть погодя. — И вот-вот спалат. Ты его видел?

— Нет, я поехал через горы прямо сюда. Но хочу туда смотаться, взглянуть в последний раз.

— Жаль, что не могу поехать с тобой, — сказал Калвин. А потом добавил: — Я мог бы почувствовать... почувствовать себя совсем свободным.

Под окнами, откуда лился солнечный свет, птица издала жалобный звук, и Калвин повернулся туда, прислушиваясь.

— Под окнами кусты. Буль-де-неж. — Он помолчал. — В сущности, кроме как за ними да за каннами, тут укрыться негде. В тюрьме не должно быть укрытий. Чтобы со стены предупредить — ты же воевал, в армии так, кажется, говорят? — все возможности нападения. — Он опять помолчал. — Дрозды сюда прилетают каждый год. — Он подошел к окну, выглянул наружу. — А может, я чувствую себя достаточно свободным, хоть и не видел, что дома больше нет, — сказал он, все так же стоя спиной к собеседнику. — Знаешь, — продолжал он, не поворачиваясь, — как только я в тебя выстрелил, нет, вернее сказать, как только у меня в руке выстрелил револьвер, потому что, по-моему, так оно и было... — Он снова помолчал, а потом круто повернулся к Бредуэллу Толливеру. — Я хочу сказать, что как только револьвер выстрелил, я понял, что к этому, то есть к тому, что я не застрелю Яшу Джонса, все вело с самого начала. Снова пользуюсь твоим выражением — и это тоже сбылось... — Он помолчал. — А когда все в конце концов сбывается, может, тут ты и чувствуешь себя свободным. — Он помолчал, уйдя в свои мысли. — Но мне жаль, что тогда и то сбылось, — сказал он, быстро взглянув на собеседника. — Жаль, что я в тебя стрелял.

— Думаю, что у тебя на то были причины, — сказал Бред.

Ему вдруг стало холодно в этой комнате. Он почувствовал, как пот выдыхает на нем под рубашкой. Все на свете казалось ему далеким.

— Да нет, особой причины не было... — возразил было Калвин.

— Из-за меня тебя выставили из футбольной команды, — сказал Бред и невесело засмеялся. — Дважды.

— Да разве это имеет значение? Какой-то особой причины не было. Даже той, что ты отнял мой дом, отнял у меня Фидлерсборо, отнял Мэгги, — нет, не в самом конце, не тогда на вечеринке, а задолго до того, когда я видел вас вдвоем с Летицией, видел, как ты себя с ней ведешь, и Мэгги вас видела, а я смотрел на лицо Мэгги и понимал, что это тоже способ ее у меня отнять... и ты ее отнял... И это тоже не причина... — Он сделал паузу. — Послушай, когда я учился в Джонсе Гопкинсе и прочел в газете, что ты уехал воевать в Испанию, я чуть было не бросил университет — мне тогда казалось, что вот еще одно, что у тебя есть, а у меня нет. Вера. Такая вера, что ты можешь пойти и убивать за нее. Или быть за нее убитым. Нет, что ты просто можешь убивать и дать себя убить. А я не могу. Впрочем, ведь я буду целителем! Может, я ненавижу тебя за то, что был обречен стать маленьким целителем.

Под окнами за его спиной птица защебетала снова, жалобно присвистывая, как скрипучая ржавая петля. Калвин, казалось, слышит лишь этот звук.

— Я не хочу сказать, что теперь тебя ненавижу. Нет. Может, я потому и попросил тебя приехать, чтобы взглянуть на тебя и убедиться, что больше тебя не ненавижу. — Он помолчал и нервно помотал головой. — Нет, нет, причина не в том. Ты послушай, послушай — в ту ночь, когда у меня в руке выстрелил револьвер и все, что зрело годами, сбылось, в ту минуту, когда я стоял и смотрел на тебя, лежавшего на полу, нет, не на тебя, а на тело, то, что тогда, казалось, не имеет к тебе никакого отношения, в чем не было ничего твоего, в тот самый миг все для меня переменялось. Знаешь... — Он задумчиво помолчал, подошел к столу, снова взял ножницы и стал их вертеть. — Знаешь, — помолчав, сказал он. — Я ведь дошел до того, что боялся лечить даже самые простые болезни. Тут у одного арестанта был гнойный аппендицит, они никак не могли достать врача, и я дал ему умереть, потому что у меня не хватило мужества... или чего-то еще. Каждую ночь, лежа на койке и закрыв глаза, я старался мысленно перечитать свои старые медицинские учебники, как я это делал перед экзаменами. Вот по ночам здесь, в гюрьме, я их видел яснее ясного, мог читать про себя наизусть. Но когда наступал день, все пропадало. Как туман с восходом солнца. Такое ощущение, что я вот-вот провалюсь на экзамене.

Он ушел в себя, продолжая покачивать на пальце ножницы.

— Но как только раздался выстрел, все переменялось. Я стоял, смотрел вниз, видел рану в горле, и в тот же миг передо мной возникла страница книги — большой, старой, растрепанной «Анатомии» Пайрсола в красном переплете, которой пользовался еще мой отец, книги, которой и я пользовался, потому что так делал он. Да, я отчетливо увидел в уме страницу, и на ней было напечатано: «В случае ножевого ранения или при лечении аневризмы можно прибегнуть к сжатию пальцами, нажимая под передним краем грудино-сосцевидной мышцы на уровне...»

— Счастье, что ты увидел эту страницу, — сказал Бред. — Для нас обоих.

— Тогда я этого не думал, — покачал головой Калвин. — Когда ждал.

— Ждал, умру я или нет? Посадят ли тебя на электрический стул?

— Пойми меня правильно, — сказал Калвин. Он перестал играть ножницами и поглядел ему прямо в глаза. — Я не хотел, чтобы ты умер. Я сам хотел умереть. Хоть таким способом.

Бредуэлл Толливер тяжело поднялся со стула.

— А теперь ты хочешь умереть? — хрипло спросил он, злобно уставившись на собеседника. — Черт бы тебя побрал, теперь ты хочешь умереть?

Бредуэлл Толливер стоял, задыхаясь, вопрос его повис между ними в воздухе, а снаружи голубело бескрайнее небо, на нем висело пушистое облачко, под окном щебетал дрозд, а Бред и сам не знал, какой ответ он хочет услышать.

— Садись, — спокойно приказал Калвин. — Садись, и я тебе скажу.

Бред сел.

— Я был в одиночке, — сказал Калвин Фидлер. — И не знал, выживешь ты или нет. Мне ничего не говорили. Я считал, что меня все равно ждет электрический стул. Ведь когда мы бежали из тюрьмы, при мне убили надзирателя. Думал, что мне навесят еще и это. Только месяц назад казнили Бампуса, его так и звали — Бампус, это был большой костлявый вахлак, четыре года назад я его вылечил от воспаления легких, нет, не вылечил — в то время я робел лечить, — но выходил, таскал горшки и прочее, и мне сказали, что его показания обелили меня. Но я не хотел, чтобы меня оправдали, я хотел умереть.

Бред тяжело зашевелился на стуле.

— Нет, помолчи, я тебе расскажу. Так вот, в одиночке начинаешь думать, что можешь обособиться. Вудто каким-то образом существуешь ты, отличный и более высоко организованный, чем тот объект, которого засадили в одиночку. Теоретически говоря, неясно, почему тебе просто не броситься на койку так, как бросают ненужную тряпку, закрыть глаза, расслабиться, может быть, умереть, нет, пусть над тобой плывет тишина, а подлинного тебя подхватит этим потоком тишины и понесет, как река щепку. Отсутствие стимулов — что тут ужасного? Чем это не блаженство? Но потом выясняется...

Бред снова зашевелился и открыл рот, собираясь что-то сказать.

— Молчи, — сказал Калвин. — Но потом ты закрываешь глаза и думаешь, что все, что ты знал в жизни помимо себя самого, невысказано в буквальном смысле этого слова, думать об этом нельзя. Приведу пример. Предположим, в двадцать лет кто-то точно предскажет, каким ты будешь в двадцать пять — кем и чем ты станешь на самом деле. Это будет не только невероятно, но и невысказано. Или в двадцать пять лет тебе скажут, во что ты превратишься в сорок пять. Это было бы невысказано. Так вот, в одиночке ты решаешь: вот я закрываю глаза на все, кроме того, что, как мне кажется, действительно существует. Но закроешь глаза — и то, что было невысказанным, вдруг сбывается. Оно полыхает вокруг тебя, как лесной пожар. Полыхает, как горящий бензин. Пылает в темноте у тебя в мозгу. И при этой вспышке ты осознаешь, что никакого тебя не существует вне связи со всем невысказанным, чем является жизнь. И что есть ты сам. И вот тогда ты плачешь.

Он сделал к Бредуэлли Толливеру шаг и нагнулся к нему.

— Ты когда-нибудь плакал? — спросил он тихо. — Вот так плакал?

Бред пошевелил губами, словно собирался ответить. Но Калвин вдруг отступил от него.

— Тс-с-с! — сказал он гневно. — Не отвечай. Слушай. Я сам тебе скажу. Я должен объяснить, что произошло. Если ты не поймешь, я не буду уверен, что это произошло. А я должен быть уверен. Видишь ли, если я не буду уверен... — Он не смог продолжать. Сел. Лицо его вдруг показалось очень усталым, но спокойным. — И вот когда до тебя дошла вся невысказанность жизни и тебе хочется только умереть, ты вдруг начинаешь все ощущать по-другому. Воспринимать по-другому. И жизнь, которой лично у меня никогда не было — то ли был атрофирован какой-то нерв, то ли произошло короткое замыкание, — я вдруг понял, что жизнь, то есть та среда, в которой ты существуешь, как рыба в воде, что жизнь прекрасна. Странное дело: вот ты лежишь, плачешь, хочешь умереть и вдруг в то же самое время понимаешь, что жизнь прекрасна. Прекрасна — это единственный эпитет, который я могу для нее найти, и смешно ведь, что этот эпитет вдруг стал для меня реальностью, потому что раньше никогда для меня толком ничего не значил — я ведь не принадлежал к заядлым любителям природы. Видно, был чересчур поглощен тем, что делается у меня внутри, чтобы выглянуть наружу. Во всяком случае, жизнь теперь виделась мне как в зеркале, однако перед этим зеркалом не было ничего, что могло бы в нем отразиться. Можно сказать, если что-то в нем отражается, это какие-то смутные возможности. Словно невидимый глазу призрак просвупает в зеркале в виде некоего образа, вроде отражения какой-то туманной красоты.

Он посидел, от всего стрешившись, потом покачал головой.

— Нет, словами ничего не расскажешь...

Потом наклонился вперед и посмотрел Бреду в глаза.

— Но если тебе самому не было дано этой красоты, а ты знаешь, что она есть, и счастлив просто оттого, что она существует, тогда тебе надо как-то об этом рассказать.

Он в возбуждении поднялся со стула. Он дрожал.

— Вот оно что, — сказал он и облизнул пересохшие губы. — Вот в чем дело!

— В чем?

— Вот почему мне надо было тебя увидеть, вот почему я тебя вызвал. Чтобы я мог... — Он снова пригнулся к Бреду и понизил голос, словно сообщал какую-то тайну. — Понимаешь, когда узнаешь что-нибудь подобное, об этом надо рассказать. А тут нет никого, кому я могу рассказать. И...

Он замолчал, подошел к окну, взглянул на небо, потом вернулся на место.

— И когда ты, ты, Бредуэлл Толливер, встанешь и уйдешь, тут уже больше не будет никого, кому можно это рассказать. Никогда.

Он заходил по комнате, глубоко задумавшись, словно Бред уже давно ушел и он остался один. Но теперь он выглядел совсем спокойным. Он подошел к рабочему столу в углу комнаты и стал рассматривать какую-то жидкость в закрытой пробирке. Внутри был припаян термометр.

— У меня поставлен опыт, — сказал он, не оборачиваясь.

— Это здорово!

— Теперь я веду врачебную работу в тюрьме, но у меня хватает времени и на это, — сказал он, показывая на два аппарата. — У меня запущены три опыта. Но на одну и ту же тему. Всегда была тяга к такой работе.

— Я уверен, что ты мог добиться больших успехов.

— Наверно, если бы не Фидлерсборо, вернее сказать, если бы не ощущение, что я должен сюда вернуться, вернуться туда, где моя защитная окраска может меня защитить, но не защитила... Я бы, вероятно, занялся исследовательской работой. Что ж, — засмеялся он, — теперь у меня есть и то и другое — и Фидлерсборо и научная работа. — Он повернулся к Бреду. — Иди сюда, я тебе покажу.

Бред пересек комнату.

— Я занимаюсь печенью. С ней связана уйма нерешенных вопросов. Даже теперь, судя по тому, что я за последнее время прочел. Видишь ли...

Голос его замер.

— Извини, не хочу морочить тебе голову. Все это чересчур специально. Не поймешь ты всю эту абракадабру.

— Да. Боюсь, что не пойму.

Калвин подошел ближе, положил ему руку на рукав.

— Но то, другое, ты понял?

— Что?

— То, что я тебе рассказывал насчет одиночки и потом... — Он замолчал, смеялся, но тут же овладел собой и продолжал: — О том, как все вдруг переменялось. Это ты понял, да?

— Да, — сказал Бред. — Безусловно.

Позднее, торопливо шагая по тюремному двору мимо клумбы с каннами, чтобы поспеть к прощальному богослужению по Фидлерсборо, Бред раздумывал, что бы сказал Калвин Фидлер, знай он, что представитель адвокатской фирмы, ведавшей делами Яши Джонса, посетил тюремное начальство в Нашвилле и договорился об анонимном пожертвовании на медицинское обслуживание фидлерсборской тюрьмы.

Глава тридцать вторая

Бред сидел на молодой апрельской травке, которой порос кладбищенский пригорок, и смотрел через дорогу на церковь. Толпа была чересчур велика, церковь не могла ее вместить, и поэтому в последнюю минуту стали сооружать кафедру снаружи. Грузовик поставили боком к церковным дверям, из церкви вынесли кафедру, чтобы водрузить ее на платформу грузовика. Вытащили даже пианино. На кабине виднелась надпись:

**ДЖЕК МАККУМБ
СКОТ, ЛЕС И ПРОЧИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФИДЛЕРСБОРО, ТЕННЕССИ, ТЕЛ. 401**

Сейчас они подвязывали ветки цветущего кизила и багрянника к шасси и кабине, чтобы спрятать под ними имя Джека Маккумба. Вдоль бортов устанавливали цветы в горшках, пальмы и столетники. На грузовике орудовали мужчины. Они выглядели непривычно в воскресных синих костюмах и белых рубашках.

В стороне другие мужчины расставляли столы на козлах. Женщины застилали грубые доски белыми скатертями, и белоснежная материя сверкала на солнце, как цветы кизила. На скатерти выкладывали содержимое больших корзин, расставляли запеченные окорока, блюда с жареными цыплятами, пироги, бисквитные и шоколадные торты, фисташковые пирожные, медовый напиток. После проповеди, песнопений и слез все сядут закусывать. Потом снова поплачут и разойдутся.

Выше за церковью Бред увидел кран. Завтра мужчины вынут витражи, вынесут крытые лаком светлые сосновые скамьи; потом огромный чугунный шар, подвешенный на тросе, задумчиво качнется, и кирпичная стена зашатается, вздыбится, как набегающий вал, на миг повиснет в воздухе, и время будто выключится, миг станет вечностью, а потом рухнет, и кирпичи почему-то до странности разной формы красной чередой потекут в синем воздухе, словно понатянутся с ледяной горки. Несколько ударов — и ничего не останется, кроме груды битого кирпича.

Но это будет завтра, а завтра Бредуэлл Толливер будет уже далеко. И назад, сказал он себе, он никогда не вернется.

Он поднял глаза и поглядел за церковь, за толпу, на реку. Нет, уже не реку, а озеро. Вода пенилась вокруг черных стеблей сухой польни в нижнем конце выпаса Мэррея, за негритянской церковью, которая когда-то, до того, как старый Ланк Толливер опротестовал закладную, была методистской церковью белых. Дальше к западу вода заливала всю равнину. Кусты живой изгороди, разделявшие дальние поля, торчали из воды. А над черными стволами деревьев, стоявших в поблескивающей воде, поднимались нарядные, воздушные венцы молодой листвы, сверкающие зеленые облака, пронизанные солнечными бликами. Вода стояла еще невысоко, это было заметно. Кое-где она была глубиной всего в несколько дюймов. Но она поднималась. Даже если не видно, как она поднимается, ты это знаешь.

А еще дальше на запад за водным простором земля поднималась вверх. Еще недавно там стоял лес; за низиной тянулся зеленый или лиловатый барьер темноты. Когда-то Бред хорошо знал эти леса, каждый шаг их густой полутьмы. Теперь большинство лесов вырубил, лишь кое-где остались отдельные купы деревьев. Глядя туда, где будет западный берег озера, он ловил мгновенные вспышки, похожие на сигналы гелиографа, — солнечный луч отражался то в стекле, то на никеле автомобиля, который несся по новому шоссе. Дорогу эту строили три года. Но только сейчас вырубил заслонявшие ее деревья.

Он огляделся вокруг. Земля кое-где была свежеперекопана, черный перегной был исполосован красной глинистой подпочвой. Большинство могил уже были пустыми. Гробы — или то, что осталось от гроба, или то, что осталось от того, что когда-то было гробом, когда от гроба уже ничего не осталось, — перевезли в Лейк-Таун и закопали на новом кладбище. И памятники увезли тоже. Останки или то, что осталось от останков Ланкастера Толливера и Люси Котсхилл Толливер, тоже увезли. Об этом, конечно, позаботилась Мэгги.

Южная сторона кладбища и та, что выходила на перевал, были самыми старыми, там уже несколько поколений никто больше не трудился косить траву или подрезать кустарники. Деревянные доски с именами, вырезанными охотничьим ножом, свалились и истлели еще полтора века назад. А буквы, выбитые на плитах — плиты тоже давно повалились, — заросли мхом, но если мох скосырнуть, то скорее всего на них прочтешь фамилии Гримшоу, Грайндер, Хэнкс, Шенкинс, Маунтджой или какую-нибудь другую фамилию давно вымершего рода, из тех, что ушли в болота, в горы и либо растворились в людском потоке, либо остались на этой земле в виде названия речушки или дорожного перекрестка. Но даже там, в той части кладбища, кое-где виднелась свежеперекопанная земля.

Да, там были свежие ямы, потому что кто-то в Мемфисе или Чикаго — из тех, кто прилично зарабатывал на продаже недвижимости или в качестве вице-президента банка, и если он действительно разбогател, а к тому же удачно женился, то дочку его выбрали королевой хлопкового карнавала и первый бал ей давали в Хрустальном зале или даже в клубе казино, — вдруг узнал, что Фидлерсборо (а об этом городе он не вспоминал лет сорок) собираются затопить. И вот этот человек, — кто бы он там ни был — просыпается ночью от гнетущего ощущения в груди и удушья. И наутро первым делом приказывает секретарю принять меры и вывезти прадедушку или прабабушку. А может, даже не захочет посвящать в это секретаря и благочестиво возьмется за дело сам.

Но, как видно, ни один Гольдфарб не проснулся среди ночи от гнетущего чувства. А может, Гольдфарбы повымерли. Может, они переменили фамилию. Или просто разорились. Во всяком случае, сегодня, когда брат Потс закончит прощальную службу, Бредуэлл Толливер наконец-то отыщет могилу старого Иззи. И сам распорядится о перевозке тела на сушу в Лейк-Таун. Этим он, как говорится, подведет черту и будет готов — хоть и сам не знает как — пойти своей дорогой.

Дорога эта приведет его прямо в контору Морта Сибома; слуга-филиппинец нажмет кнопку, дверцы стеного бара бесшумно раздвинутся, Педро поставит перед ними два бокала с виски, и Морт Сибом, отпив глоток, отрыгнет мягко, как в черную бархатную подушечку в витрине у Тиффани, на которой покоится «Кохинор», а потом они обсудят детали. Но самое важное уже оговорено: сто

двадцать пять тысяч долларов плюс семь процентов с чистой прибыли. Его агент об этом договорился. Морт визжал, но «стиль Толливера» высоко котируется. Фред уже по трем картинам участвовал в прибылях.

Бред снова поймал себя на том, что его левая рука украдкой лезет во внутренний карман, проверяя, действительно ли там лежит телеграмма. Но он отдернул руку и положил ладонь на молодую травку. Она опустилась туда покорно и уныло, как побитая собака. Черт возьми, он же знает, что проклятая телеграмма там!

Но хотя он это и знал, рука снова оторвалась от травы и машинально полезла в карман.

Однако нащупала она там и неожиданно для себя вытащила не телеграмму, а длинный тяжелый белый конверт явно американского происхождения, но обклеенный экзотическими марками. Он посмотрел на свое имя, написанное рукой Мэгги Толливер Джонс, которая была сейчас далеко отсюда, на греческом острове. Письмо, обклеенное экзотическими марками, было не распечатано.

Весь вчерашний вечер он провел в кинотеатре, глядя в темноте на двигавшиеся по экрану фигуры, а вернувшись домой в свой номер отеля «Эндрю Джексон», почувствовал такую усталость, что не смог даже разобрать почту. Он заказал в номер куриный бульон, принял снотворное и свалился в постель. А утром проснулся в довольно хорошем настроении.

Вот если бы у него и сейчас было такое хорошее настроение.

Там, на краю толпы, солнце поблескивало на чем-то металлическом; он сообразил, что это отсвечивает никель на инвалидном кресле шерифа Партла, и не сразу, а с какой-то странной тупой оттяжкой, словно тяжелый камень погружался в грязь, осознал, что женщина, которая толкала кресло, стараясь пробраться поближе к кафедре, — Леонтина. Он пытался проанализировать, что он при этом чувствует, но толпа расступилась и поглотила кресло вместе с Леонтиной.

Он продолжал смотреть на толпу, которая так легко, естественно приняла, впитала блестящее никелированное кресло, его груз и девушку. Он глядел на мужчин, которые украшали белоснежными цветами кизила грузовик Джека Маккумба, и вспоминал давний день в аптеке на Сансет-бульваре. Он тогда только что познакомился с Сьюзи Мартайн, встречался с ней всего несколько раз на вечеринках; пригласил как-то раз на свидание, но получил отказ. И вот выйдя из киностудии в отличном настроении, потому что утром сделал последние поправки к своему замечательному сценарию, он вдруг живо себе ее представил: узкое, тонко вылепленное, бледное, как мел, лицо с ярко-алыми, волнуяще подвижными и влажными губами, косым разрезом черных глаз и хитрым, дразнящим взглядом; варварскую курчавую шапку сухих, пахнущих мускусом волос чернее ночи над этим белым, как мел, лицом. Черт побери, подумал он, давай-на сделаем еще один заход...

Он позвонил ей, и она сказала: да, конечно, с восторгом, будет очень рада.

Еще держа руку на трубке, он сидел довольный в аптеке возле телефона, вспоминал складную, хорошо тренированную, как у акробатки, фигуру знаменитой художницы-декоратора Сьюзи Мартайн в другом конце комнаты и пытался представить себе ее взгляд, если бы он внезапно утратил свою хитрость и глаза бы широко распахнулись, открыв всю их бархатную черноту; он думал, как по-кошачьи остры ярко-красные ногти на ее маленьких чахоточно-белых ручках с длинными пальцами, как они могут вонзиться в тело, в твое тело, но ты этого даже не заметишь; он думал о черных, как у жителей Фиджи, курчавых волосах, пахнущих мускусом, — интересно, всюду ли у нее такие чернильно-черные и жесткие волосы, окруженные белой, как мел, плотью?

Он сидел, держа руку на телефонной трубке, потому что отнять ее значило бы порвать связь со Сьюзи Мартайн. Глаза его смотрели на окружающих, но их не видели — всех этих обычных людей, старых, молодых, пожилых, безымянных людей с их безымянными желаниями и нуждами, которые заставляли их слоняться по аптеке или стоять, заглядевшись на какой-нибудь предмет, который им нужен или о котором они мечтали. И вдруг он их увидел...

Он увидел их всех с пугающей ясностью, в мельчайших подробностях — перекрученный чулок на толстухе, багровую бородавку на щеке у старика. Он видел их сквозь стекло телефонной будки так отчетливо, как видишь летнюю зе...

день, когда высоко в небе собираются фиолетовые тучи, но солнце еще льет свой мистический свет, перед тем как грянет гроза. Загнанный в стеклянный ящик с его льдистым блеском, он с трудом дышал. Ему казалось, что он обречен, заперт здесь навечно, а воздуха становится все меньше и меньше. Он еще мог закричать, но никто на свете, ни один из этих людей за стеклом его не услышит.

И вот теперь, сидя в Фидлерсборо под апрельским солнцем на весенней траве, он смотрел на толпу через дорогу — и к нему возвращалось то же ощущение. Словно сова махнула на него крылом в темном лесу.

Потом это чувство прошло.

Он взвесил на руке конверт. Можно подумать, что Мэгги сочинила целую книгу. Правда, он устал, но письмо, пожалуй, лучше прочесть. Пока они там копаются, готовясь к великому плачу.

В письме говорилось, что Мэгги здорова и Яша тоже, а фильм, над которым он работает, как раз такой, какой ему хотелось снять, он уверяет, что все равно не сумел бы снять картину о Фидлерсборо как следует, а теперь ему кажется, что он задумал то, о чем мечтал всегда, а белый камень на острове блестит на солнце, трудно даже вообразить, до чего лиловато-синее тут море и как она счастлива! Но она только в двух словах хочет сказать, как любит своего негодного братца, как желает ему скорее поправиться и — пусть он не сердится! — как ей хочется его еще раз поблагодарить.

Бред закрыл глаза. Ага, значит, опять благодарят. Они пришли к нему в больницу попрощаться, когда окончательно выяснилось, что он выкарабкается, и Яша благодарил его и крепко жал ему руку, а Мэгги благодарила его и плакала. Несмотря на растерянность, он сумел им что-то пробормотать, а они это явно приняли за подобающую мужчине стеснительность. Но растерялся он по другой причине. Что тут скажешь, когда тебя благодарят за поступок, который ты совершил, сам не сознавая ни что тебя на него толкнуло, ни какой в нем смысл.

А теперь, оторвав взгляд от письма, он смотрел на толпу и думал, что до сих пор не понимает, за что Мэгги его благодарит. Это был один из тех поступков, смысла которых он сам до сих пор не понимал.

Он снова принялся за письмо. Там было сказано, что Мэгги шлет свою записочку вместе с письмом, хотя оно адресовано ей, но, в сущности, предназначено для него. И надеется, что письмо его порадует. Ее оно очень обрадовало — в каком-то смысле.

Он развернул приложенное письмо. Оно начиналось: Дорогая Мэгги, моя дорогая маленькая Мэгги — и в глаза ему бросился хорошо знакомый решительный почерк; чернила на белой бумаге замерцали черным огнем.

Что ж, напомнил он себе, это же — Фидлерсборо. Как уместно, что именно в Фидлерсборо он получил это письмо. Интересно, знает ли она — Летиция Пойндекстер Толливер или как там ее теперь зовут, — что никакого Фидлерсборо не будет? И зная это, сможет ли она спать спокойно, легче ли ей будет погрузиться в свой внутренний мир, то есть в сон, если она будет знать, что где бы она ни была, с кем бы ни лежала в темноте, воды вот-вот сомкнутся над Фидлерсборо, не оставив от него и следа?

В письме, между прочим, говорилось, как она была потрясена, прочтя в июле прошлого года о том, что случилось. Ей тогда казалось, что даже написать им было бы бестактностью, но теперь, когда, как сообщают газеты, все обернулось к лучшему и Мэгги вышла замуж за этого замечательного человека, который явно понимает, какая замечательная женщина Мэгги, ей захотелось написать, что и Мэгги и все они постоянно живут в ее сердце и в ее молитвах.

Да, в молитвах, хотя тебе это может показаться смешным. И мне самой это иногда смешно. Я даже хихикаю, будто это шутка, но счастливо хихикаю, как маленькая девочка, запертая в интернат и ужасно одинокая — я-то хорошо помню, как это бывает! — когда ей вдруг присылают из дома ящик с уймой противных, приторных сладостей! Я никогда не получала из дома подарков, мне присылали чек. В этом звучит жалость к себе и злость — наверно, так оно и

есть, ты меня прости. Моя мать, вероятно, делала все, на что была способна, и я не хочу ее осуждать. Я только надеюсь, что тридцать лет назад, когда она погибла в авиационной катастрофе (на частном самолете человека, с которым она не имела права быть), у нее оставалась хоть секунда, чтобы осознать божью благодать. Жаль, что я не могу ей сказать, что хотела ее полюбить, даже если и была недостойна ее любить. Дорогая Мэгги, до чего же трудно быть достойной когонибудь любить! Но ты с твоим верным любящим сердцем можешь этого и не знать.

Однако я тебе хоть коротко расскажу о себе. После всего, что случилось в Фидлерсборо и я оставила Бреда (напиши мне о нем хоть немножко — нет, лучше все и пусть только хорошее!), уж и не знаю, что бы со мной могло стать при такой безудержной дурости, если бы...

— Это ты, дорогой? — послышался голос. Голос Блендинга Котскилла. — Ну, друг мой, до чего же приятно видеть тебя на ногах! — говорил Блендинг Котскилл, стоя рядом с ним в мешковатом коричневом костюме и голубой булавочной рубашке с черным галстуком; за ним шел сеттер.

— Конечно, хорошо быть на ногах, — согласился Бред, с усилием поднимаясь, чтобы пожать ему руку.

Котскилл, положив ему руку на плечо, не дал встать.

— Сиди, мальчик, — приказал он и опустился рядом на корточки, как фермер, который присел поболтать у дороги.

Сеттер подошел и лег перед ним, положив морду на передние лапы.

— Выглядишь ты лучше, — сказал Котскилл, — лучше, чем на больничной койке.

— Знаете, — сказал Бред, чувствуя, что у него перехватило горло, — я был очень тронут тем, что вы приезжали ко мне в Нашвилл.

— Чепуха, — бросил Котскилл, взглянув на него из-под седых бровей. жестких, как кустики ежевики, подернутые инеем. — Мы, старые фидлерсборцы, должны друг за друга держаться.

По ту сторону дороги заиграла музыка. На грузовике Маккумба миссис Пратфилд села за пианино. Люди запели.

— Хоронят Фидлерсборо, — сказал Котскилл. — Да-а. А когда Фидлерсборо уйдет под воду, боженька цапнет наши удостоверения личности. Мы станем людьми без роду, без племени. Перемещенными лицами на веки вечные и даже дольше. Навсегда потеряем себя.

Он долго глядел туда, где толпился народ.

— Я здесь провел почти всю жизнь, — сказал он потом. — И как начнешь вспоминать прошлое в таком городишке, как Фидлерсборо, видишь, что есть в нем своя тайная логика. То, что случается тут с людьми — ну хотя бы с тобой, с Мэгги или Калвином, да и со мной, — могло ведь случиться с кем угодно и где угодно. Но в Фидлерсборо все происходит по-своему. Все тут связано одно с другим по-иному. И приобретает призрачный характер — идет какое-то мистическое просачивание в твою жизнь. Возьми хотя бы Красавчика, он...

— Красавчик? — прервал его Бред. — Я рад, что он не спасовал.

— В чем?

— Ну, что не пришлось его тащить силком...

— Да, он не спасовал, — сказал Котскилл. А потом продолжал: — У мистера Бада есть свои достоинства. В ту ночь там ведь поднялся суший ад. А все этот старый вахлак и дуболом Бампус. Из-за того, видите ли, что Красавчик помолился. Помнишь, это же Бампус поднял тогда кутерьму — так он обрадовался, что Красавчик плюнул на священника. Но Красавчик сдрейфил и стал молиться. И похоже, что Бампус со своей неуемной, чисто бандитской натурой стерпеть этого не смог. Красавчик его, видишь ли, предал. Он ведь считал, что хоть кто-то должен устоять против бога и штата Теннесси. И это была его идея заполучить два разобранных на части револьвера — их передали ему в бисквит-

ных тортах, испеченных любящими руками его домашних. И это была его идея довести Калвина до такого состояния, что он решится бежать, его идея заставить залупанного расконвоированного задержать грузовик с заключенными, которые поздно возвращались с тюремной фермы, как раз у главных ворот, и его идея... А впрочем, черт побери, ты и сам все знаешь... Но тут Бадд и взвился — уязвлено было его профессиональное самолюбие! Правда, разве он виноват, что не заставил подчиненных перековырять каждый кусок бисквита в передачах? И доносчики подкачали — не то струхнули, не то начала подниматься вода и на них это подействовало. Во всяком случае, Бадд просто обезумел. Кинулся на толпу с пеной у рта, пытался взять их голыми руками. Но, повторяю, у Бадда есть свои достоинства. Как только они схватили Калвина — они, конечно, сразу догадались, где его искать, — и спустили собак на тех троих, что убежали в лес, Бадд занялся Красавчиком. Он просрочил время, но не пожалел этого времени на, можно сказать, моральную поддержку. Стоял в камере, положив Красавчику руку на плечо, пока брат Пинкни читал отходную молитву, а потом...

— Он и тогда плакал?

— Нет, Красавчик не плакал. Молитва, так сказать, прошла всухую, а потом он пошел своим ходом. Брат Пинкни с одного бока, Сапог Бадд — с другого. Только разок, у двери, засбоил. Но Бадд своим сержантским тоном скомандовал: «А ну-ка двигай свои лапищи, шагом марш!» И он вошел.

По ту сторону дороги толпа пела: «Пусть шумят, вздымаются воды!»² Музыка миссис Пратфилд звучала бледно и невыразительно, теряясь в прозрачном небе. На открытом воздухе каждая нота в отдельности блекла, как блекнет и тает пламя спички при солнечном свете. Брат Потс тоже пел, стоя в кузове грузовика.

Когда пение кончилось, Котсхилл зашевелился и погладил сеттера.

— Видно, брат Пинкни все же обставил брата Потса, — сказал он.

— В чем?

— Поговаривали, будто сразу после проповеди брат Потс объявит, что пойдет туда, — он кивком показал на дорогу к негритянской церкви, бывшей когда-то методистской церковью белых, — и помолится вместе с черными: ожидали, что утром будет прощальное богослужение и там. У брата Потса была идея прогуляться по пустырям с теми, кого ему удастся на это подвигнуть в последний день официального существования Фидлерсборо и помолиться вместе с неграми, чтобы бог даровал им всем милосердие, терпимость и прочее, дабы исправить ошибки истории. Но, как вы можете заметить, — ухмыльнулся Котсхилл, — негры не пришли. Никого из них нет. Брат Пинкни перехитрил брата Потса.

Возвышаясь в кузове грузовика, брат Потс молился. Он воздел свою единственную руку, зажмурил глаза и молился; солнце освещало его обращенное к небу лицо.

Когда молитва кончилась, Котсхилл сказал:

— Нет, брат Пинкни не допустит, чтобы брат Потс или кто-нибудь из белых — на случай, если двое или трое из нас до того зарвутся, — взяли да и пошли помолиться вместе с неграми под открытым небом. Он не позволит, чтобы кто-нибудь так легко очистился не только, как говорится, от органического непереваживания черномазых, но и от всякого прочего душевного несварения путем такого дешевого слабительного взамен другого, более уместного и, быть может, более болезненного средства. Видишь ли, мой друг Леон Пинкни — человек башковитый, он понимает про меня с тобой больше нас самих. Он знает, что белые тоже люди, даже если они белые, и знает поэтому, что мы любим дешевые, легкие способы внушать себе, какие мы хорошие. Ну, к примеру, помолиться с неграми.

Бред посмотрел на него. Но тот глядел за реку.

— А вы? — спросил Бред. — Вы бы за ним пошли туда? В негритянскую церковь?

На миг ему показалось, что тот его не слышит. Но потом, по-прежнему глядя вдаль, Котсхилл ответил:

* Псалтырь, 45, 4.

— Ты хочешь спросить, пошел ли, будь я верующим? — Он засмеялся, но тут же оборвал смех. — Разве заранее знаешь?

А брат Потс уже произносил проповедь. Его голос, глухо звучащий издавна, говорил о том, что все они вместе жили тут, в Фидлерсборо. О том, что все они должны вместе помолиться Господу, понять, что жизнь их была благодатью.

Блендинг Котсхилл, положив руку на голову сеттера, сказал:

— Может, брат Пинкни отменил свое прощальное молебствие и сбежал из города вовсе не по той причине, о которой я говорил. Может, это было не только потому, что он не пожелал дать нам, белым, возможность очиститься, помолвившись с ним. Леон — человек башковитый, но он человек честный. Может, он не считал, что сам готов к тому, чтобы молиться с нами, белыми. — Он вдруг поднялся. — А вообще-то кто и когда бывает готов молиться вместе с кем бы то ни было? — резко спросил он.

Он стоял, напряженно выпрямившись, как столб. Дыхание у него было тяжелое. Он несколько раз громко, с трудом вобрал в рот воздух, словно его хватил паралич. Казалось, он силится что-то сказать и не может.

Наконец у него вырвалось:

— Она меня бросила! — Голос его был похож скорее на сдавленный крик, глаза прикованы к мутной полноводной реке. — Розелла меня бросила.

Он медленно опустил на корточки. Минуту спустя снова положил руку на голову сеттера.

— Взяла и ушла, а куда — я не знаю. Оставила записку, будто это не потому, что меня не любит. А именно потому, что любит. Вот и все. — Он помолчал. — Вот и все, не считая орфографических ошибок. В сущности, одной. «Патому». И меня почему-то больше всего ушибла эта маленькая ошибка. Ну не смешно ли, что такая малость ушибла меня больше, чем главное?

— Она знала, что вы собираетесь в Шотландию?

— Да какая там Шотландия! Если и была у меня такая мыслишка, то недолго. Какого черта мне делать в Шотландии? Застрелить несколько зверушек? Сидеть в оружейной комнате какого-нибудь продуваемого сквозняком разрушенного аббатства и пить виски с красивым седовласым старым лордом с рыбьими глазами, который с трудом вспомнит, как меня зовут? Ночью получить инфаркт в постели какого-нибудь старинного трактира, чтобы наутро меня нашли мертвым? Ни в какую чертову Шотландию я и не собирался. Да куда может деться человек после Фидлерсборо? И чувствовать себя человеком?

Он, казалось, ушел в себя. Даже рука и та замерла на голове у сеттера.

— Нет, — продолжал он. — Я поехал и купил себе другую ферму. В Бентонс-валли. Так-то.

С этими словами он снова поднялся на ноги, и опять рывком. На этот раз он как-то сердито уставился вниз, на Бреда.

— А ты знаешь, почему она меня бросила? — спросил он.

— Нет.

— Она бросила меня, потому что не хотела, чтобы я о ней беспокоился. О том, что с ней может сделать какой-нибудь ку-клукс-клановский дегенерат.

— Но что...

— Господи! — воскликнул Блендинг Котсхилл с мучительным, неизвестно на кого обращенным гневом. — Неужели ты не можешь догадаться?

— Догадаться о чем?

— Я ей не сказал ни слова, но она догадалась. Догадалась раньше, чем я понял это сам. Догадалась, что я возьму это дело. О школе в Лейк-Тауне.

Тяжело дыша, он смотрел на реку. На секунду он, казалось, забыл о Бреде. Потом сказал:

— Помнишь, тогда... Ну когда я рассказывал тебе о Розелле?

— Да.

— О том, как в старину относились к язычникам? Об оттенке ее кожи? О бронзовом оттенке ее кожи?

— Да.

— Ну разве я стал бы так рассказывать о белой женщине?

Произнеся эти слова, Блендинг Котсхилл повернулся — казалось, он больше

не мог оставаться здесь ни минуты. Лицо его было неестественно воспалено, голубые глаза блестели как от лихорадки. Но он овладел собой и осведомился, когда Бред уезжает, что слышно о фильме, и, узнав о телеграмме от Морта Сибома, сказал: вот и хорошо, мой мальчик, вот и прекрасно! Он даже похлопал Бреда по плечу и предсказал, что фильм наверняка получится отличный.

Потом он крепко пожал Бреду руку и ушел — коренастый человек в коричневом костюме, с чересчур крупной головой и венчиком растрепанных седых волос — в сопровождении своего сеттера. Ушел вверх по Ривер-стрит, туда, где никого уже не было.

Глава тридцать третья

Бред долго глядел ему вслед, пока он не скрылся из виду. Интересно, куда же направился Блендинг Котсхилл в этот ясный апрельский день по пустому городу, где многие здания уже превратились в груды развалин? Потом Бред понял. Блендинг Котсхилл пошел еще раз посидеть в своей конторе и поглядеть на покинутую площадь, где остановившиеся часы на куполе суда последнюю весну высаты над набухшей листвой кленов.

Что ж, Блендинг Котсхилл заслужил хотя бы это.

Бред снова перевел взгляд на письмо у себя на коленях. Он перечитал фразу, где было сказано, что Летиция Пойндекстер и не представляла себе, что с ней могло стать, когда она его оставила, при ее безудержной дурости, при ее суетности...

Безудержная дурость, — думал он.

Суетность, — думал он.

Он не понимал смысла этих слов. Применительно к Летиции Пойндекстер. Он сидел и пытался увязать с ней эти слова. Если бы он смог, ему было бы легче. Но он не мог.

Поэтому он стал читать дальше: как для нее вовремя пришла война, как она научилась ходить за ранеными, как ее послали в госпиталь на Тихом океане, в Новую Гвинею, где ей пришлось нелегко. Но она не спасовала.

...потому что я, в сущности, девка очень выносливая, и то, чего я там насмотрелась, меня спасло. Я ведь была так глупа, что мне надо было многое увидеть своими глазами, хотя людям помудрее достаточно кинуть взгляд, чтобы вообразить все остальное. Что же, когда видишь, во что может превратиться человеческое тело и душа, сама становишься другой. Становишься другой, когда поймешь, что в теле живет душа, даже если слово «душа» еще тебе чуждо и лишено содержания. Становишься другой, когда поймешь, как драгоценно само по себе это тело. Драгоценно в том смысле, о каком ты и не подозревала.

Но не в том смысле, чтобы так уж его холить и лелеять, это свое тело. Помнишь, Мэгги, как по-идиотски я: с ним возилась: мазалась маслом, лежала голая на солнце, чтобы покрыться ровным загаром, как жареный на вертеле цыпленок; делала гимнастику, чтобы сохранить талию, которой так щеголяла... «Сбережешь талию — все твое!» — помнишь, как я говорила? Часами выщипывала брови и душилась дорогими духами; чтобы раззадорить Бреда. Ну какая же я была дура, самовлюбленная дура! И не думай, будто я теперь не понимаю, что эту безудержную дурость от других не скроешь, а я еще так ею бравировала!

Но тебя я, Мэгги, любила, и ты меня прости.

Эх, посмотрела бы ты теперь на эту смешную старуху! Талии, моя детка, нет и в помине. Я большая грузная старая дама (весом чуть не в 170 фунтов,

ей-ей!), хожу с трудом, а волосы почти совсем седые и коротко острижены, потому что у меня не хватает времени даже их мыть; не то что с ними возиться; у меня вспухшие вены на ногах, и приходится носить резиновые бинты, что вряд ли радует глаз, а руки у меня красные от вечной стирки, и одета я обычно в нечто вроде серого ситцевого балахона. Кажется, в том, что я пишу, звучит даже самодовольство — с обратным знаком, конечно, — словно меня только что выбрали мисс Вселенной в Атлантик-сити или где там их выбирают.

Бред положил листки на колени, закрыл глаза, мысленно увидел грузную женщину с тяжелой походкой, короткими седыми волосами, вздутыми суставами рук и резиновыми бинтами на вспухших ногах, и ему стало тошно. Но он сразу же увидел и высокую девушку с зачесанными назад рыжими волосами, перевязанными белой тряпчочкой, с грязным пятном на левой щеке и обломанным в суете красным ногтем; девушка стоит внизу, у лестницы из погреба, держит большую корзину со всяким хламом, и луч света падает сверху на ее лицо. Видит, как он вырывает у нее корзину, берет и ставит на пол, рассыпав половину хлама. Видит ее лицо, полное комического ужаса, слышит ее крик: «Ну вот, рассыпал весь хлам, когда же наконец в этом доме можно будет жить!» Видит, как он обнимает ее за талию, а она, отвернув лицо, говорит: «Ох ты эротоман несчастный, павиан синезадый, когда же мы кончим уборку?» Но он хватается за нее в объятия тут же в темном погребе старого фидлеровского дома в городе Фидлерсборо.

Что ж, они вычистили погреб и убрали дом. Они в нем жили. А теперь он сидит на траве, и образ девушки с узкой талией и обломанным ногтем, которая стоит, задыхнувшись, в темном погребе, а луч света падает сверху на ее лицо, сливается с образом грузной женщины с резиновыми бинтами на ногах. И, спрятавшись в темноту за опущенными веками, он чувствует, как весь мир закружился перед ним. И хотя он вцепился руками в траву, мир все равно продолжает идти кругом. Что же творится с этим миром, а?

Он открыл глаза.

Вверх по реке несутся глиссер. Глухое, сердитое, возбужденное гудение доносилось все громче. Взбитая в пену волна шла треугольником следом. Лодка — как видно, двухмоторный большой «Лаймен Айлендер» — все приближалась. Но за ней на водных лыжах не летела высокая девушка с золотой кожей, радостно смеясь, как на рекламной картинке, и ветер не относил назад ее рыжие волосы. Тут он вспомнил, что в те дни это был акваплан, а не лыжи.

Лодка промчалась мимо. И за стихающим шумом через дорогу снова донесся голос брата Потса, хотя слов нельзя было разобрать.

Бред опустил глаза на белый лист бумаги.

Но я забегая вперед. После войны мне надо было решать, как я буду жить дальше, и каким-то образом — я же говорила, что жизнь опять сыграла со мной шутку, — я в один прекрасный день проснулась католичкой и одной из мирских прислужниц в доме для престарелых тут, в Чикаго. Монахини, когда я убила их, что это у меня не прихоть, позволили мне вложить деньги в свое заведение. И разрешили помогать. Я постоянно что-то мою, это, пожалуй, единственное, что я умею делать, потому что теннис, французский язык, верховая езда и танцы тут не очень нужны, и я счастлива.

Ей-богу, счастлива, Мэгги. То, что я делаю, не епитимья. Ведь то, что ты делала для матери Калвина, как я потом узнала из газет, было тоже не для того, чтобы зажить грех, правда? Быть может, это внутренняя по-

требность. но ведь такая потребность тоже дает радость, верно?

Я не хочу сказать, что только так можно быть счастливой. Бог дарует нам самые разные радости, и такой радостью могла быть для меня жизнь с Бредом. Если бы мы ее не проворонили. Нет, если бы ее не проворонила я, потому что я должна была ему помочь, когда он в этом нуждался...

Бред оторвал взгляд от бумаги.

Помочь, — подумал он.

Он не нуждался ни в какой помощи. Ни тогда, ни теперь.

Но глаза его отыскиали ту же строчку:

...в этом нуждался. Может быть, это и привлекало меня в Бреде — он хоть и был сильным, ему что-то было нужно, он был раним, и...

Раним, — подумал он, — чушь! Но глаза его нашли ту же строчку:

...раним, и, может, то, что он не был таким уж рослым, имело значение. Во всяком случае, если бы я что-то поняла, мы могли бы жить вместе, иметь Пепито — всех моих Пепито — и быть счастливы, даже если бы я стала старой и неповоротливой, потому что мы любили бы друг друга.

Он перестал читать. И больше не смотрел на лежавший на коленях листок. Он вспоминал Центральный парк, голубя, прыгавшего по гравию возле урны для мусора, голову и торс безымянной женщины, обрамленные листвой, которые поднимались и опускались в сдержанном, но все ускоряющемся ритме, словно кто-то отпускал вожжи, готовясь к прыжку. Он вспоминал, каким дымчатым вдруг стал казаться свет в конце этого дня, косо падавший на парк и дальние небоскребы. Он вспоминал страдальческое завывание сирены где-то далеко в обреченном городе, которое прорвалось сквозь назойливый рокот и вой машины.

А теперь, сидя на весенней траве в Фидлерсборо, он почувствовал вождеделение, потому что снова увидел лицо Летиции Пойндекстер таким, каким видел его в тот далекий июньский день, когда она, откинув голову, закрыла глаза, а черты этого лица были страстными и чистыми, как у святой.

...плохо начали. Но я думаю, что всякое начало бывает плохим или, во всяком случае, несовершенным, потому что мы только люди, но это не имело бы значения, если бы мы, если бы я постаралась научиться тому, чему мне надо было научиться. Я где-то читала, что в средние века люди верили, будто дьявол любит застичнуть мужчину и женщину во время совокупления, и тогда им суждено вовеки быть привязанными друг к другу, как там было сказано, *поге сапано*³. (Ну да, я тебя обманула, я ведь выучила кое-что по-латыни в Шипли!) Думаю, что смысл этого старого поверья в том, что нечто подобное происходит с людьми, которые остановились на том, с чего начали.

Ох, почему я хотя бы этого не поняла и не сделала Бреда счастливым! Я не хочу, чтобы прошлое вызывало у меня одни сожаления, мне кажется, что было бы грешно (разве я не права?) не помнить о том счастье, какое мне было дано, но благодарю Бога и за

³ По-собачьи (лат.).

то, что смогла познать ту радость, какую испытываю теперь. Но как же, однако, это совместить? Вот где нужна молитва, чтобы знать волю Божию.

Понимаешь, ведь такой низменный человек, как я, должен до всего дойти трудным путем. Такой безмозглый человек, как я, должен быть насильно подведен к тому, что зовут Обретением Веры. А сейчас впервые за много лет я вспомнила кошмар, который мне как-то приснился. Наутро в Фидлерсборо я рассказала его Бреду, и помню, какой у него стал ужасный вид, ужаснее даже, чем сам этот сон. Нет, я тебе не стану его рассказывать, он слишком постыдный и грязный, хотя, впрочем, расскажу, потому что тогда...

Но Бред мог этого и не читать. Она рассказала ему сон тем давним весенним утром в Фидлерсборо, когда они еще лежали в постели; в саду пели птицы, солнечный свет заливал комнату, а ее нагое тело, вытянутое под простыней, как струна, еще больше напряглось, пока она, глядя в потолок, рассказывала ему этот сон.

Ей снилось, что она просыпается в хорошо обставленной комнате, в таком отеле, в каких ее мать жила во Франции или в Италии, оставляя ее неделями одну на няню. Она проснулась в этой приснившейся ей комнате поздно ночью уже не ребенком, а взрослой. И, почувствовав мучительное одиночество, вышла через нарядные апартаменты все в зеркалах и позолоте в холл. Там было темно, и она откуда-то знала, что все это огромное помещение, а может, и весь мир безлюдны. Томясь, она бродила по холлу босиком, в одной ночной рубашке, но словно и сейчас еще чувствовала ковер под босыми подошвами как наяву.

Она завернула за угол и там увидела их. Но не удивилась. Она будто всегда знала, что в этом безлюдном огромном отеле, где повсюду зеркала, тени, мягкие ковры и позолота, они должны ее ждать. И они были тут.

Она словно всегда знала, какие они будут (как итальянские bravi⁴ эпохи Возрождения) — три бандита в камзолах и коротких штанах, камзолы бархатные, яркие, но засаленные, а у пояса кинжалы. Один высокий, тощий, с длинной узкой головой и большими костистыми руками, другой низенький и прихрамывал, а третий дородный, среднего роста, широкоплечий, с круглым, грубо вылепленным черепом. Но лиц их она не видела и не ждала, что увидит. На них были маски, будто они собрались на карнавал или шли убивать. Она знала, для чего были эти маски.

Потому что увидела у одного из них — у высокого — веревку; у нее пошли мурашки по телу при мысли, что они ее удушат или подвесят к карнизу, чтобы она там болталась, пока не умрет. «Но нет, видит Бог, — подумала она, — если уж меня убьют, то не так непристойно». А как — будет решать она сама, поэтому она властно закричала им на иностранном языке, но на каком, она потом забыла и вообще не помнила, был ли то язык, который она знала: «Эй вы, послушайте, ступайте за мной, я вас поведу!» И повела их за собой, каждую секунду ожидая, что они накинут ей петлю на шею.

Она повела их через пышные тихие залы и гостиные, через огромную столовую, где белые скатерти отсвечивали в темноте и угадывались розы в серебряных вазах, и через буфетные в темную, как пещера, кухню. Там горела одна тусклая нищенская лампочка. Плиты были без единого пятнышка, но холодные, мрачные. На полках зловеще поблескивали длинные ряды медных кастрюль. Но штукатурка на стенах была грязная, а на потолке — трещины. Да, она заранее знала, что тут будут чугунные трубы, которые тянутся по стенам, только не знала, водопроводные или отопительные. Свет единственной лампочки отбрасывал на потолок огромные узоры теней, они ширились и сливались с полутьмой.

Она пододвинула табуретку к длинному столу — его доски были белесыми и шершавыми от долгого трения кирпичом и содой — и, не заботясь о приличиях,

⁴ Наемные убийцы (итал.).

вскрабкалась на него. Босые ноги ощущали шершавость дерева, тонкая рубашка прилипала к влажному телу, она дрожала от страха и возбуждения. Но она повернулась к ним лицом и на языке, который знала во сне, приказала подать ей веревку. Высокий послушался. Потом по ее приказу подал ей и табурет.

Три черные маски выстроились в ряд по росту и, откинувшись назад, молча следили за тем, как она с трудом (мешала веревка) карабкалась на табурет, — но уж позвольте, раз это ее похороны, хозяйничать тут будет она, и, закинув конец веревки за трубу, она завязала петлю. Потом слезла с табурета — он был довольно высокий — и постояла, соображая, что делать дальше. Надо спрыгнуть с табурета прямо на пол, чтобы рывок был как можно сильнее. Надо постараться упасть сразу и в то же время не достать ногами пола.

Да, Бред помнил, как она ему все это обстоятельно рассказывала в то утро; и теперь, сидя на траве, пока с той стороны дороги до него глухо доносилась проповедь брата Потса, вспоминая, как, прервав свой рассказ, она приподнялась на локте и, вглядываясь в него, спросила: «Почему у тебя такое лицо? Послушай, оно у тебя просто ужасное! Глупенький, это ведь только сон!»

А он в то давно прошедшее утро вдруг почувствовал, что теряет ее, что теряет и себя, он почувствовал себя преданным, ревнивым, беспомощным и хрипло крикнул: «Ну говори дальше!»

Она взяла его за руку — рука была холодная, как рыба, и почему-то не могла пожать руку ей в ответ — и продолжала.

Бред Толлнер поднял лежавший на коленях листок и перевернул его, зная, что он там найдет. Она рассказывала сон, рассказывала дальше.

...и приладила ее как сумела. Так как в первый раз влезать на табурет мешала веревка, теперь я повесила ее на шею. Я не дам им дотронуться до меня своими грязными руками, кто бы они там ни были, лучше все сделаю сама! Но в тот же миг они мягко, как кошки, не издав ни звука, тоже вспрыгнули на стол и стали на меня смотреть. Они прыгнули одновременно, как марионетки, которых дернули за веревочки, и встали в ряд по росту: высокий, среднего роста и коротышка. А я перебирала пальцами на шее веревку, как ожерелье, ощущала, что она трет мне кожу, и смотрела на них — в прорезях масок блестели глаза. И тут я вдруг испугалась, что неверно рассчитала высоту, и, вместо того чтобы залезть на табурет, стала смотреть через край стола вниз, на пол, проверяя, не ошиблась ли я в расчете. Вот тогда все и произошло.

Может, и лучше, что все случилось именно так. Нет, в сущности, этого сказать нельзя, ведь в действительности не произошло ничего — только во сне, но во сне, когда это происходило, хоть я и злилась, что меня, как я ни рассчитывала, все равно обманули, я почувствовала какое-то облегчение: теперь мне уже больше не грозило торчать на этом табурете, боясь в последнюю минуту прыгнуть, не суждено стоять там, дрожа и обливаясь потом.

И вот как это произошло. Я повернулась — поглядеть через край стола на пол. И один из них — я откуда-то знала, что это тот, среднего роста, — меня толкнул. Да так сильно толкнул, что я полетела вниз.

Я спрыгнула, а они захохотали, они прямо лопались со смеху, даже шлепали себя по ляжкам. В ту секунду попутно со всем другим, о чем я подумала, во мне заговорил страх: я прыгнула со стола, а что, если здесь окажется недостаточно высоко и я так и буду болтаться, цепляясь руками за воздух?

Но пол вдруг куда-то провалился. Я падала в темноту, веревка терла мне шею, но она становилась все длиннее, длиннее, длиннее, а я все падала, падала. Мне казалось, что я падаю без конца и жду, когда же петля наконец затянется у меня на шее.

Но тут я проснулась.

Она рассказала ему это двадцать лет назад весенним утром, держа его за руку, отчаянно ожидая — он и тогда это понимал — услышать, что же он ей скажет. Но он не нашелся, что ей сказать.

Будь я проклят, — думал он теперь, — но что же я мог ей сказать? Тогда, да и когда бы то ни было?

Он посмотрел на листок.

Чего ради я стала все это тебе, Мэгги, рассказывать? А ведь не могла остановиться. Потому, наверное, что вот к чему я в конце концов в жизни пришла. Раз не сумела осмыслить ни свою жизнь, ни себя. А все беды, которые тогда произошли, заставили меня прыгнуть. Если уж ты такая дура, значит, тебя надо тащить на веревке... Пусть это звучит богохульством, но я все же скажу — тебя надо на веревке тащить к Богу. Да, если ты так глупа, что...

Он с трудом поднялся на ноги. Опираясь на палку, он почувствовал, что у него кружится голова. И поймал себя на том, что смеется.

— На веревке приволокли к богу! — закричал он и захохотал, сам не зная почему.

Глиссер, который прошел вверх по реке, теперь возвращался вдоль самого берега. Сердитое гулкое чавканье становилось все громче и еще сердитее. Яркий солнечный свет, заливавший небо, казалось, вдруг задрожал от этого могучего, пронзительного гневного звука. Губы брата Потса там, в кузове грузовика, шевелились, но гудение не давало расслышать ни слова.

Глиссер ушел по направлению к Кентукки. За ним перекатывалась вода, вздымаясь и опадая, волны, расцвеченные фиолетовыми призмами, казались прошитыми золотом. Будто вода, взвиваясь, превращается в фиолетовый воздух и золотой свет.

— На веревке потащили к богу, — сказал Бредуэлл Толливер и, смяв листки, сунул их в боковой карман — его снова разбирал дикий смех.

Потом он перестал смеяться. Он постепенно стал ощущать, как ощущаешь признаки тупой головной боли, что впервые за все эти годы, даже за годы совместной жизни и объятий, общих надежд и слитого дыхания Летиция Пойндекстер стала для него реальным человеком. Она действительно существовала. Где-то по-своему она существует и теперь. Он медленно осознал этот поразительный факт. И так же глубоко и болезненно поражался тому, что за все годы так этого и не понял. И почему ему ни разу не пришло в голову отправиться к ней, пусть хоть за тысячу миль, и сказать, сказать ей, что наконец-то он понял, какая она есть на самом деле?

Но он ведь этого не знал. Как же он мог к ней поехать и что бы он ей сказал?

Потом он подумал: не означает ли то, что он не сознавал, какая она есть на самом деле, отсутствия подлинной сущности у него самого?

Головокружение прошло, но он чувствовал себя вялым, отупевшим. Он тяжело опирался на палку. Господи, неужели он так и останется калекой? Но доктор Харрис сказал, что нет, он будет здоров, как прежде.

Здоров, как прежде, — подумал он, и, несмотря на солнце, его пробрала холодная дрожь — он представил себе поступки, которые ему вновь и вновь придется совершать: ложиться спать и вставать, чистить зубы и мыться, сцарапы-

вать с подбородка отраставшую щетину, которая будет какое-то время расти и после его смерти, открывать рот, чтобы производить какие-то звуки, открывать рот, чтобы класть туда пищу, и так далее...

Он поглядел через дорогу, увидел народ и подумал: все, что он делал и будет делать, делали и они, а они ведь это терпели и теперь стоят на апрельском солнце и поют. Какая же сила есть у них, которой нет у него?

И тогда его левая рука скользнула во внутренний карман пиджака, где лежала телеграмма от Морта Сибома.

Но прежде чем пальцы ее нащупали, погладили, убедились, что она здесь, он вдруг внутренне запротестовал. Но я ведь делал и хорошее.

Он старательно перечислял себе все случаи, когда он проявил доброту, нежность, великодушие, много работал, был верным другом, давал деньги на достойные цели, не трусил, рисковал жизнью, когда он...

В этот миг он снова с дотошной отчетливостью увидел мертвеца, на которого когда-то смотрел в Испании,— его спокойное лицо на белых камнях взорванной миной стены. Он видел это лицо и жалел, что это не его лицо, а кого-то другого. Если бы это было его лицо, люди бы знали, за что он умер, им пришлось бы поверить...

Поверить во что?

Во что людям пришлось бы поверить, умри он в июле прошлого года от пули, выпущенной в его горло Калвином Фидлером?

Им не во что было бы поверить.

Он поглядел через дорогу, где стояла толпа. Бледный, худой брат Потс с мокрым от пота лицом стоял высоко в кузове грузовика и зывал к народу, с мольбой воздевая руки. Бред напряг слух, чтобы расслышать слова. И услышал: «...Давид возносит хвалебную песнь: «Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои...» И пророк Давид говорит: «Да рукоплещут реки...»⁵. Но, други мои, помогите же возрадоваться мне. Помогите! Воспойте со мной вместе и помогите мне, ибо я слаб и полон греха и заблуждений. Помогите мне осознать, что жизнь, прожитая мной, была благодатью. Если я лишусь этого, что останется мне? Так пойте же со мной, братья!»

И брат Потс поднял к небу страдальческое лицо, закрыл глаза, воздел к вышней синеве единственную руку, и солнце обдало его своим светом. Миссис Пратфилд играла на пианино, и все хором пели гимн, который сочинил брат Потс:

Когда любимый город мой
Уйдет в пучину вод,
Молясь, я буду вспоминать,
Как нас любил Господь,
И захлестнет всю жизнь мою,
Всех нас один потоп...

Бредуэлл Толливер слушал, как они поют. Он думал о том, что завтра брат Потс ляжет в больницу и уже не вернется оттуда, что ему никогда больше не придется стоять знойным апрелем в темной кухне и есть холодную свинину с бобами из консервной банки, зажатой под обрубком левой руки. А потом он подумал, что брат Потс все же выиграл свое состязание с потопом. Брат Потс исполнил то, что хотел.

А с этой мыслью пришла и мысль о том, что все, что сам он когда-либо делал — и хорошее и дурное, — напоминает гримасы, позы, жестикуляцию безумца, который, соблюдая видимость действия, снова и снова старается восстановить связь, нарушенную, когда наледь порвала провода.

Господи! — сказал он гневно.

Господи, подумал он, как ни безумен человек, к чему ему дергаться, скулить, бормотать и гримасничать, называя все это поступками? Человек может хотя бы не лгать.

Хотя бы.

⁵ Псалтырь, псалмы 92 и 97.

Он вдруг сунул руку во внутренний карман и вытащил телеграмму. Выпустив из рук палку, схватил телеграмму обеими руками и разорвал ее пополам. Аккуратно сложив половинки, разорвал их снова, а потом пустил обрывки по ветру, и они полетели по траве, когда народ по ту сторону дороги допевал свой гимн.

Он стоял и слушал, как они поют. Сколько лет он мотался по свету, кляня Фидлерсборо за то, что он не был целым миром, а следовательно, и не существовал, и кляня весь мир за то, что он не был Фидлерсборо, а следовательно, и не существовал. Он просто не доверял тайной подсознательной жизни человека, а она ведь и есть истинная его жизнь, которая и больше и меньше отдельной минуты, той, например, когда мальчиком он ехал в лодчонке по полноводной реке и видел, как алое солнце садится за черным болотным лесом, или той, когда сухая, как подметка, темная, как подметка, рука старухи в Испании протянула ему хлеб, или той минуты, когда он увидел, как отец, наплакавшись, уткнулся лицом в черную болотную грязь и спит. Потому что жил, смехотворно руководствуясь тем, чего достиг или не достиг.

И поэтому в душе он сказал себе: Я не могу найти связи между тем, чем я был, и тем, чем я стал. Я не нашел того, без чего человек не может жить.

Он понял, что вот это ему и необходимо найти.

Но он знал и то, что сейчас, в эту минуту, ему нет необходимости искать могилу Израиля Гольдфарба. Старик Гольдфарб и не захотел бы, чтобы он пытался ее найти. Старик Гольдфарб ждал, чтобы над ним сомкнулись воды, как сомкнутся они над всеми безымянными людьми, которые жили здесь, творили добро и творили зло.

Нет, ему больше не надо искать эту могилу. Он может уйти отсюда туда, куда ему надо пойти. Когда-нибудь он, пожалуй, даже вернется в контору Морта Сибомы, когда-нибудь он, может, даже вернется в Фидлерсборо, вернее, к краю воды, покрывшей Фидлерсборо.

Потому что это его родина.

И тут он вдруг почувствовал невольную, безотчетную, мучительную тягу к тем людям по ту сторону дороги, которые скоро сядут за стол, будут есть ветчину, цыплят и пироги, а потом, поплакав и распрощавшись друг с другом, разойдутся в разные стороны.

Он подумал: Родина — она в нас.

Ему почему-то казалось, что глаза его мокры от слепящего отблеска солнца на металле и стекле машин, мчащихся вдалеке по новому шоссе за водохранилищем.

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ,
доктор психологических наук



ВСТРЕЧИ С ОРБЕЛИ

Первый учебник психологии продиктовал еще Аристотель, прохаживаясь со своими слушателями по Ликее в древних Афинах, но лишь в конце прошлого века энтузиасты объявили психологию независимой областью знаний. Впрочем, тогда один из них, Уильям Джемс, написав книги, которые и ныне изучают в американских колледжах, сказал, что психология не наука, а надежда на нее. Главными знатоками человеческого сердца оставались художники и моралисты.

Тем не менее интерес к изучению психического мира людей средствами науки рос постоянно. Его диктовала практика — школа и клиника, производство и криминалистика. «Нарисованную корову нельзя доить», — заметил молодой психолог в ответ на реплику, что художественное изображение личности, портрет человека куда тоньше передает его душевный строй, чем таблицы и вычисления.

В годы, когда великий физиолог И. П. Павлов размышлял о феноменах, приведших к учению об условных рефлексах, в Военно-медицинской академии учился пылкий юноша, вскоре ставший ближайшим и любимым учеником Ивана Петровича. Это был Леон Абгарович Орбели (столетие со дня рождения его отмечалось в июле этого года). Манера чтения лекций была у Павлова необычна. Он настойчиво рекомендовал студентам перебивать его (профессора с мировым именем), если в изложении что-либо непонятно.

Однажды Орбели задал вопрос, на который Павлов ответил: «Знаете что, я не могу дать ответа, это требует фактической проверки, а так сразу сказать не могу. Если вас это интересует, приходите завтра в мою лабораторию в Институте экспериментальной медицины, мы поставим вместе с вами этот опыт, получим ответ на ваш вопрос и на следующей лекции объясним курсу». Многого выступило в этом, казалось, незначительном эпизоде, обнажившем существо подлинного человека науки. Прежде всего убежденность в том, что в «республике ученых» все искатели истины равноправны. Здесь никакого значения не имеет внешний статус, будь то возраст, место в ученой иерархии или какие-либо регалии. Предельная честность и никаких попыток прикрыть незнание словами, призванными охранять честь профессора как лица, владеющего недоступными другим отмычками к кладезю мудрости. Никаких авторитетов, кроме, как любил говорить Павлов, «господина факта».

На следующий день студент пришел в назначенное время в Институт экспериментальной медицины. Собака для опыта уже была приготовлена. Профессора ждать не пришлось. В белом халате он стоял у станка, и они совместно приступили к выяснению вопроса. Через полвека, протекшие с тех пор, Орбели вспоминал, как Иван Петрович «меня очень крепко отчитал за то, что капля сока оказалась на столе, протекла мимо». Эта малая капля запомнилась ему на всю жизнь.

Не специальными поучениями или инструкциями — всем складом своей личности, поведением и в студенческой аудитории и у экспериментального станка Павлов преподавал молодому человеку уроки, которые воспитывали в нем ученого, ставшего после кончины Ивана Петровича лидером его школы. Вопрос об отношениях между Павловым и Орбели представляет не только исторический, мемуарный интерес. Эти отношения можно рассматривать как своего рода модель для ориентации в столь актуальных ныне (не только для материального, но и духовного производства) проблемах наставни-

чества, связей между учителем и учеником, традиций и новаторства, смены поколений. На этой модели прослеживается важная роль непосредственного воздействия личности ученого (а не только передачи им знаний, умений, навыков) на становление творческой индивидуальности тех, кто продолжает его поиск, без чего невозможен дальнейший процесс познания, а тем самым обесмысливается и его собственная жизнь, ибо ее ценность определяется причастностью к этому процессу.

Научное познание и научные общении нераздельны. Ибо только в общении раскрывается и предметное содержание науки (ее теории, гипотезы, методики и т. д.), и непосредственно выражаемое личностно-причастное отношение к ней, одержимость, стойкость перед лицом испытаний и поражений.

Орбели, как немногие из молодых врачей, работавших в павловской лаборатории, впитал в себя и идейное кредо учителя, и его бескорыстную страсть, и стиль поведения в мире науки. Возможно, что именно этим объясняется их удивительная личностная совместимость на протяжении десятилетий (в особенности если принять во внимание своеобразие, а порой и нетерпимость Павлова).

Занявшись условными рефлексам, Павлов одну из главных разработок поручил Орбели. Была поставлена задача строго объективно определить характер восприятия животным окружающей среды. Избегать, например, домыслов по поводу того, что видит или слышит собака, выяснить это по ее условным рефлексам.

Во время одного из опытов произошел такой случай. Лабораторию Павлова посетили принц Ольденбургский и британский посол сэръ Никольсон. Выслушав объяснение Павлова об условных рефлексах, связанных с воздействием посторонних раздражителей на работу слюнной железы, посол спросил: «Значит, можно и на пиковую даму получить слюноотделение?» Принц захохотал и перевел вопрос Ивану Петровичу. «Можно и на даму»,— ответил профессор. После их ухода Иван Петрович сказал: «Давайте изучать рефлексы на цвета». Полтора года просидел Леон Абгарович над этой задачей, включив полученный материал в свою докторскую диссертацию, ставшую событием в учении об органах чувств.

Это была работа, открывшая перспективы изучения чувственных восприятий объективным методом. Ведь животное не способно дать отчет о своих психических образах. Из подхода Павлова и его учеников многие его противники сделали вывод, будто психика у животных вообще отрицается и что Павлов возвращается к мнению старого Декарта, будто они представляют собой рефлекторные автоматы. Но эта оценка игнорировала действительный павловский замысел. Ведь он был направлен против того, чтобы судить о поведении, исходя из того, что знает о психическом мире наблюдающее за ним человеческое «я». Этот мир имеет сложнейшее строение, и распутать его нужно объективными методами. Так учил Павлов. И Орбели следовал за ним. Оба были физиологами, людьми естественнонаучного склада ума, веры во всемогущество знания, контролируемого экспериментом. И оба строили вместе с тем новую объективную психологию.

Значение работ павловской школы для психологии высоко оценивалось и в нашей стране и за рубежом. Хотел бы подтвердить это несколькими фактами. Когда подводились итоги развития нашей науки за первое десятилетие Страны Советов, обзорную статью о путях психологии в СССР заказали Л. С. Выготскому. Что же он оценил как главное достижение советской психологии? Учение Павлова. Правда, оно зародилось еще в начале века. Однако, подчеркивал автор, при старом строе оно расцвести не могло. Лишь «революция усыновила новую психологию», как говорил Выготский. Ведущий психолог страны считал учение Павлова главным успехом своей науки. Огромное влияние оказало это учение и на мировую психологическую науку.

В 1929 году Павлов и Орбели выехали в США на два международных конгресса — физиологический и психологический. Напомню, что дипломатических отношений с этой страной у нас тогда не было. Естественно, что на обоих конгрессах большинство составляли американские ученые. Когда Павлов на первом заседании появился в президиуме, разразилась овация, несколько минут она сотрясала зал заседаний, и смущенный председатель не знал, как открыть конгресс.

«Американцы,— вспоминал Орбели,— внесли предложение заслушать доклад Ивана Петровича на его родном языке, хотя русский язык не считался тогда международным языком. Очевидно, хотели наблюдать Павлова свободно произносящим доклад, видеть его жестикаляцию, мимику и т. д.»

Сходная картина возникла на другом — психологическом — конгрессе. Здесь об отношении к Павлову говорили не только овации. Один из крупных американских психологов (Карл Лешли) высказал в своем докладе критические замечания по поводу механизма условных рефлексов. Павлов немедленно попросил слово для возражений. И хотя это начисто нарушало регламент, его просьбу сразу же удовлетворили. Восьмидесятилетний ученый стремительно вышел на трибуну и произнес темпераментную полчасовую речь. Переводчик не мог поспеть за порывистым старцем и резюмировал павловскую аргументацию одной фразой: «Профессор Павлов сказал: нет!»

Это «нет» относилось к концепции Лешли, согласно которой за отдельными участками мозга не закреплены определенные функции. Выходило, что мозг впитывает впечатления и мысли подобно тому, как губка воду. Павлов же стоял на том, что при выработке условных рефлексов в коре больших полушарий проторяются и локализуются нервные пути.

После Международного физиологического конгресса в Соединенных Штатах следующий состоялся в Италии (1932). Открытие задерживалось. Ждали Муссолини. Когда он появился, чернорубашечники выкинули руки, приветствуя его фашистским жестом. И в этот момент раздался услышанный всем залом голос Ивана Петровича: «Eine bedingte Reflex» (условный рефлекс). Это слово в устах Павлова означало автоматическую реакцию, не требующую участия сознания. Но мы знаем также, что ни он, ни Орбели никогда не сводили поведение к этим реакциям, общим мозгу животного и человека. «...и сам Иван Петрович,— отмечал Орбели,— и многие из его учеников, в том числе и я, постоянно подчеркивали, что человек едва ли будет гордиться тем, что его нервная система способна осуществить то, что осуществляется нервной системой собаки».

Вернувшись из Рима, Павлов позвонил Орбели и за чайным столом сказал: «Вот, Леон Абгарович, я пригласил следующий конгресс к нам на 1935 год... Я ставлю такое условие: если вы согласитесь быть моим заместителем, фактически организовать конгресс и провести его, то я оставляю мое приглашение в силе. Если вы не согласитесь, то я напишу отказ, скажу, что передумал».

Орбели выполнил просьбу Ивана Петровича. Конгресс стал триумфом нашей физиологической науки. На нем Павлов был удостоен уникального, единственного за всю историю физиологии звания старейшины физиологов мира. При открытии конгресса он выступил с речью, пафос которой остро ощущаешь и в наши дни: «...война по существу есть звериный способ решения жизненных трудностей, способ, недостойный человеческого ума с его неизмеримыми ресурсами... И я счастлив, что правительство моей могучей родины, борясь за мир, впервые в истории провозгласило: «Ни пяди чужой земли»... А как искатели истины, мы должны прибавить, что в международных отношениях необходимо строго соблюдать справедливость».

Орбели в те годы был крайне загружен множеством обязанностей. Он пришел к изучению новых проблем.

Начиналось интенсивное освоение стратосферы, подводного мира. Это было за несколько десятилетий до того, как проблемы освоения космоса стали актуальными. Небольшие группы ученых готовили то, что через поколение приобретет великое значение для всего человечества. Группу физиологов в нашей стране возглавлял Орбели. Под его руководством изучалось влияние стратосферных условий на организм. Под его руководством разрабатывалась техника безопасного выхода из погруженных подводных лодок. Увлеченный исследованием глубоководных спусков, он не находил времени для отдыха. Нарком Ворошилов даже вынужден был отдать ему приказ как начальнику кафедры Военно-медицинской академии уехать в санаторий. Орбели подчинился, но вскоре сбежал в Балаклаву, где группа его сотрудников изучала режимы спуска и подъема водолазов.

Сейчас эти работы называют прикладными. Но одна из особенностей творчества Орбели заключалась в умении соотносить актуальные запросы практики с результатами и проблемами фундаментальных исследований. Как биолог-эволюционист он рассматривал организм, каждую его функцию сквозь призму его исторической «биографии». Согласно «паспорту» эволюции органы имеют различный возраст. Молодые (наиболее ценные и хрупкие) органы подчиняют себе более древние. Но стоит только организму оказаться в обстоятельствах, которые выводят из строя высшие отделы, как «лента прокручивается в обратном направлении» и приоритет захватывают реакции низшего уровня развития.

Поэтому полет в стратосферу или глубоководный спуск, ставя организм в чрезвычайные условия, оказывались не только техническим, но и биологическим экспериментом, проверявшим теоретические воззрения на эволюцию физиологических систем, на представления о том, какая из них в целостном живом организме моложе или древнее. Ведь первая должна страдать в первую очередь. Но «удары», которые нанесли по организму в критических для его существования ситуациях, показывали и другое. Они выявляли его жизненные резервы, возможности, которые в нем таятся. Изучение этих биологических возможностей позволяло понять общие закономерности развития живого (предмет фундаментальной науки) и в то же время создавать способы их использования в практике подводного плавания, высотных полетов и т. д. (прикладные исследования).

Поэтому Орбели не приходилось размышлять о том, как связать науку с практикой. Эта связь (непрерывный ход — от теоретической идеи к ее применению в кругу вопросов, с которыми сталкивали людей их повседневные нужды, и от этого земного круга к высотам теории) органично пронизывала строй его мысли.

Столь же органичным для него являлось соотнесение проблем, касающихся нервных процессов, с тайнами субъективного мира человека, физиологии с психологией. Это была павловская сверхзадача, воспринятая им в юности. После кончины Павлова созданные им мощные научные центры осиротели. Их надо было передать в руки, способные продолжить дело Павлова. Выбор пал на Леона Абгаровича, которому предстояло теперь возглавить весь фронт физиологических работ, в том числе и по изучению высших нервных механизмов, порождающих психические процессы. В связи с этим и возникли контакты Л. А. Орбели с психологами.

Душевная щедрость Орбели, широта его интересов, деятельная чуткость к умственным запросам каждого — все это влекло к нему научную молодежь, не только физиологов, но и начинающих свой путь в других областях знания.

В моей жизни было несколько встреч с Орбели. Запавшие в память в силу их личностной значимости, они вместе с тем отражают различные моменты как творчества выдающегося ученого, так и развития той науки, где он являлся лидирующей фигурой.

Вряд ли я ошибусь, если отнесу первое публичное выступление лидера павловской школы среди психологов к 1940 году. Это произошло в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена в связи с тем, что Леона Абгаровича пригласили оппонировать по диссертации А. Н. Леонтьева, будущего лауреата Ленинской премии, полученной через много лет за книгу, которая выросла из этой диссертации.

Если бы «машина времени» позволила переместить защиту в наши дни, пожалуй, трудно было бы найти аудиторию, способную вместить желающих на ней присутствовать. Но тогда конференц-зал заполнила горсточка членов ученого совета да мы — несколько аспирантов кафедры психологии.

Защита отличалась от многих нынешних по внутреннему накалу научного спора. Это был праздник мысли, великолепный поединок умов. Предметом полемики служила проблема происхождения психики. В конце прошлого века один из крупнейших физиологов, Э. Дюбуа-Реймон, отнес ее к тем мировым загадкам, которые никогда не разрешит человеческий ум. Немецкий натуралист Э. Геккель назвал эту проблему центральной психологической тайной. Подходы к ней искал диссертант.

Простейшим элементом психики является ощущение. Оно первоисточник знания о мире. Организм снабжен осязательными, зрительными, слуховыми и другими «снарядами» ориентации в среде. Каждый из них имеет древнюю историю. Индивид получает их от природы в готовом виде.

Чтобы выявить, как живая ткань, которая прежде не ощущала, начинает ощущать, нужно было создать новый орган чувств, способный работать (то есть порождать ощущения) на глазах экспериментатора. Ставилась задача научить ладонь руки, которая является органом осязания, взять на себя работу глаза — различать световые сигналы. При определенных условиях изолированная ладонь руки испытуемого начинала «видеть», воспринимать воздействия светового луча (именно света, а не теплового излучения, которое элиминировалось). Эти необычные для этого органа ощущения создавались методом условных рефлексов, причем необходимым условием являлась также направленная поисковая активность субъекта.

Уже тогда обсуждался модный ныне вопрос о так называемых экстрасенсорных восприятиях, то есть об особой чувствительности к раздражителям, которые не воспринимаются известными органами ощущений.

И диссертант и оппонент были единомышленны, отклоняя спекуляции по этому поводу. Оба считали, что речь должна идти о подпороговой, то есть не осознаваемой человеком восприимчивости организма к реальным физическим агентам, об отражении, которое происходит за порогом сознания. Тем самым возникал уже совершенно новый вопрос: как неосознанные ощущения преодолевают этот порог и входят в сознание человека. Ведь испытуемые, у которых ладонь начинала ощущать свет подобно глазу, могли об этом рассказать. Здесь уже выступило нечто такое, что не укладывалось в классическую схему условных рефлексов, вырабатываемых у животных. Я отважился обратиться за разъяснениями к Орбели. Придало же мне смелости то, что характер общения именитого ученого с аудиторией отличался подкупающей простотой и открытостью. Никакой аффектации, манерности, уважительное отношение к чужой мысли даже при несогласии с ней. Как я впоследствии понял, это была павловская школа с ее высоким демократизмом, обостренным вниманием к каждой неясности, в чьей бы голове она ни возникла.

Леон Абгарович, спокойно выслушав, спросил, знает ли молодой человек о второй сигнальной системе, поставив меня тем самым в тупик, поскольку в нашей литературе это понятие тогда не фигурировало. Оно давно зародилось еще у Ивана Петровича в связи с необходимостью объяснить различия между деятельностью мозга человека и животных. Оно упоминалось на знаменитых средах, когда раз в неделю в институте Павлова собирались не только его ближайшие сотрудники, но многие ученые, чтобы принять участие в разборе экспериментов и выслушать суждения знаменитого ученого по самым разнообразным вопросам, в том числе литературы, искусства, человеческого бытия. Публикации — уже в послевоенный период — стенограмм сред мы обязаны Орбели. Мог ли я знать, что именно там на суд коллектива Павлов выносил свои напряженные раздумья о роли слова в регуляции поведения людей, об особой системе речевых сигналов, качественно отличных от сигналов, посылаемых окружающей физической средой. Он искал мост от царства животных в мир человеческой культуры, понимая, что человек отличается от животных не тем, что обладает душой как особой бестелесной сущностью, а тем, что всей своей плотью он сплавлен с этим миром. Для Орбели такая ориентация стала определяющей, и он после Павлова обращает взоры ко вторым сигналам, соотнося их со своеобразием субъективной жизни личности, ее переживаний, стремлений, творческих порывов. Сам И. П. Павлов относился к суждениям о второй сигнальной системе с большой осторожностью. В «Павловских средах» я натолкнулся на любопытный диалог между Иваном Петровичем и одним из его учеников. Павлов готовил для Медицинской энциклопедии статью «Условные рефлексы», где, по собственной оценке, вместил в 30 страниц всю работу за тридцать пять лет. Статью он зачитал сотрудникам с просьбой обсудить сказанное, предложить дополнения. В стенограмме записано: «Э. А. Асратян. О сигнальных системах. И. П. Павлов. Это пока не стоит». Такова была высокая требовательность великого естествоиспытателя. Ведь уже много лет он не только размышлял об этих системах, но и вел длительные наблюдения за поведением душевнобольных, у которых, как он полагал, нормальная связь между системами нарушена.

Об этом Орбели, маститый академик-физиолог, рассказывал мне, начинающему научному работнику в другой области, ничего, конечно, не ведавшему о том, что происходило «за кулисами» оставленного Павловым «хозяйства». Не могу детально воспроизвести все, что выслушивал, идя с Орбели по набережной Мойки. Смысл же заключался примерно в следующем:

— Вот мы спорили на защите диссертации о происхождении ощущений, о зарождении психики в биологическом мире. Но ведь существует и другая, еще более важная и для теории и для практики задача — найти механизмы превращения простых человеческих впечатлений в работу мысли, высшим проявлением которой выступает научное и художественное творчество. Изучение того, как первая сигнальная система трансформируется во вторую, а затем как они связаны, позволяет физиологии решить сверхзадачу, ради которой Павлов занялся экспериментами по условным рефлексам. В свой тридцатипятилетний опыт он вложил одну неукротимую страсть: постичь в конце концов высшие тайны человеческой личности.

В ответ на это я сказал, что невозможно объяснить мышление и другие сложные процессы условными рефлексами.

— У вас, психологов,— усмехнулся Орбели,— сложилось крайне упрощенное воззрение на дело Павлова. Вы усматриваете его истинный смысл только в выработанных реакциях слюнной, или, как выражался Иван Петрович, «паевой железки». Но пока еще не можете или не хотите увидеть за этим кончик прочной нити, ведущей от произвольных умствований о психических процессах к их научному объяснению. Эти процессы появляются у человека, по-вашему, опять же скажу павловскими словами, «ни отсюда, ни отсюда». Кстати, можете ли вы, учась в аспирантуре, рассказать что-нибудь толковое о мышлении?

Я ответил, что, конечно, могу изложить известное психологии об операциях, посредством которых решаются умственные задачи,— анализе и синтезе, индукции и дедукции и т. д.

— Позвольте, но ведь об этих операциях я читал еще в гимназии в учебнике логики. Психология как эмпирическая наука должна предсказывать ход явлений и властвовать над ними. В этом отношении она должна брать пример с физиологии, которая каждую свою гипотезу проверяет опытами. Любой, кто пожелал бы, может их проверить. Поэтому,— заключил Орбели,— если займетесь физиологией, польза будет двоякая. Познаете природу нервной ткани, в глубинах которой рождаются психика и сознание. Но не менее полезно настроить свое мышление на естественнонаучный лад. Обратите внимание на то, что связь между нервными процессами и психикой можно понять по-настоящему только тогда, когда подойдем к ним с точки зрения общей картины развития живого.

В последней фразе, мной в ту пору еще недостаточно осмысленной, был выражен лейтмотив всего творчества Орбели. Любое явление жизни он рассматривал как всплеск в великой реке эволюции. Таким всплеском являлось и рождение ощущений, о котором шел спор на только что закончившейся защите. От простейших ощущений мысль Орбели продвигалась к психике человекообразных обезьян, от них — к субъективному миру человека, включая его высшие проявления. Но об этом позже.

«Лекция», которую прочитал мне Леон Абгарович, была короткой. Он торопился по делам и дал понять, что не может продолжить разговор. Для меня эта короткая встреча превосходила по своей информационной емкости цикл лекций. Как много было сказано в немногих фразах о Павлове, второй сигнальной системе, соотношении наук, методах познания. В суждениях Орбели, высказанных негромким голосом, ощущалась глубокая убежденность, заразившая меня и повлиявшая на мое решение заняться параллельно с психологией физиологией нервной системы.

В то время в Ленинграде существовал Государственный институт по изучению мозга имени В. М. Бехтерева. Он был создан Бехтеревым в первые годы советской власти как центр по комплексному изучению поведения. Давно в нашей печати идут споры о том, нужен ли специальный Институт человека. Задолго до этих споров энергичный Бехтерев не только выдвинул идею организации такого института. Он собрал для общей работы в одном учреждении физиологов, психиатров, морфологов, психологов — всех исследователей нервно-психической регуляции человеческой деятельности. Совет Леона Абгаровича привел меня в этот институт. Лабораторией физиологии ведал там другой ученик Павлова — Э. А. Асратян. Побывав в его лаборатории, где изучались рефлексы у собак после различных травм головного мозга, я испытал некоторое разочарование. До занимавшей второй сигнальной системы здесь было далеко.

Очень дружеские отношения сложились у меня с одним из работников института — известным советским зоопсихологом Г. З. Розинским, ставившим эксперименты на человекообразных обезьянах. Он принял меня сотрудником в Музей эволюции мозга и психики. В мои обязанности входило пояснять редким посетителям связь между строением нервной системы и развитием ее функций. Обычно наибольшее впечатление на приходивших в музей производил пантеон, где хранился мозг многих выдающихся ученых — Менделеева, Марра, Ольденбурга и других.

Следующая встреча произошла зимним солнечным днем. В институт зашли двое пожилых военных с ромбами в петлицах. Высокий подтянутый старик незнаком мне. Во втором, несколько грузном мужчине, я узнал Леона Абгаровича. Мое предложение рассказать о музее вызвало у незнакомца улыбку. Оказалось, что передо мной Владимир Николаевич Тонков — профессор Военно-медицинской академии, создатель это-

го музея. Впоследствии я узнал, что Тонков в бытность свою начальником академии добился назначения Орбели на вакантную после ухода Павлова должность руководителя кафедры физиологии.

Пошли по залам, рассматривая препараты — от простейших видов нервной организации до самых сложных. И эти остывшие отгиски былой жизни, ее форм, сменявшихся от одной эры к другой, побудили Орбели вновь остановиться на главной теме своих раздумий: о вековечной работе, проделанной природой на пути к мозгу — органу, благодаря которому человек стал славой мира. Направились в пантеон. Леон Абгарович молчаливо, сосредоточенно рассматривал мозг Менделеева.

Молчание прервал Тонков. Как анатома его интересовало мнение Леона Абгаровича о возможности прочитать по структуре органа мышления особенности психического развития человека. Вспомнили о френологии, которая когда-то была очень популярной и следы которой сохранились в представлениях о том, что, например, высокий лоб говорит о высоте интеллекта. Умственную одаренность неоднократно пытались объяснить весом мозга, глубиной борозд и сложностью развития извилин. Ссылались на большой вес мозга (около двух килограммов) у Тургенева и Байрона. Но от поиска столь прямолинейных отношений ученые давно уже отказались. Орбели заметил, что мозг Бехтерева весил больше мозга Павлова, а мозг Менделеева, хранившийся в банке, около которой мы стояли, уступал бехтеревскому на 150 граммов. Но о чем это говорит?..

Леон Абгарович обратил внимание и на множество других признаков (богатство кровоснабжения, химический состав и др.). Если же брать живой мозг, то его деятельность не может рассматриваться только с одной стороны — физиологической, даже если речь идет о второй сигнальной системе. Наукой должно быть охвачено в целостной картине совместно с нервными актами все богатство субъективного мира человека, которым занята психология. Ведь этот мир является такой же реальностью, как наблюдаемые под микроскопом нервные клетки или процессы в них, изучаемые физиологом. В широте мышления Орбели вновь проявилась его верность павловскому стилю.

Я спросил о результатах изучения мозга гениальных людей. Верны ли сведения, будто у некоторых из них особо развит один из слоев коры больших полушарий — ассоциативный, а у других, как показывает изучение нервных клеток, височные части левого полушария (центры речи) существенно отличаются от аналогичных отделов мозга у других людей? Орбели ответил, что ему об этом неизвестно. Конечно, гениальность, сказал он, имеет природную, генетическую основу. Но наука не открыла даже тех генетических факторов, от которых зависит различие в типах поведения у собак. Он напомнил, что к генетике было приковано внимание И. П. Павлова, который распорядился поставить в своем экспериментальном городке в Колтушах бюст Менделя.

Третий раз почастливилось встретиться с Орбели после войны. В военные годы он выполнял множество ответственных обязанностей, развернув в различных учреждениях научные исследования оборонного значения. В Москве, Ленинграде, Казани, Самарканде работали коллективы его сотрудников. Выдающиеся организаторские способности позволяли ему совмещать должности вице-президента Академии наук СССР, начальника Военно-медицинской академии, руководителя Военно-санитарной комиссии, директора Физиологического института, академика-секретаря Отделения биологических наук Академии наук СССР и многие другие. Правительственная оценка его труда известна: еще в 1941 году он стал лауреатом Государственной премии, в 1945 году одним из первых советских ученых он получил из рук Калинина Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.

Проходя в Ленинграде мимо здания бывшей Фондовой биржи, я увидел необычную сцену. Генерал обнимал человека в потрепанной солдатской шинели. Оторопел, узнав в генерале Орбели, в солдате — Рогинского. Обрадовался, когда Рогинский, поздравив, представил академику, к удивлению узнавшему меня. Орбели, подробно спросив Рогинского о фронтовой жизни (ученый всю войну прошел рядовым, отказавшись от брони), перевел разговор на научные темы, спросив собеседника о его планах изучения обезьян. Орбели после Павлова сам занимался ими. В свое время известный биолог С. А. Воронов, преклонявшийся перед Павловым, прислал ему из Парижа в подарок двух человекообразных обезьян — Рафаэля и Розу. Над ними стави-

лись сложные эксперименты с целью изучения свойств их нервной системы. За поведением этих шимпанзе Павлов наблюдал часами, обсуждая увиденное на средах. Для Орбели обращение к нервной деятельности «ближайших родственников человека» по эволюционному дереву было связано с генеральной темой его творчества: понять жизнь из ее истории.

Психика является высшей формой жизни. В самой психике имеется множество уровней. Она не сводится к той плоскости, которая открыта человеческому сознанию. Это сознание имеет корни, уходящие в глубь миллионов лет. О его древнем прошлом не сохранилось никаких «писем», кроме программ поведения, впечатанных в головной мозг предчеловеческих существ. В сложных реакциях шимпанзе на окружающий мир проступают следы этого прошлого как биологической предпосылки человеческой психики.

В зарубежной психологии сложилась традиция объяснять поведение обезьян по аналогии с человеческим. Их способность к сложным действиям дала повод утверждать, будто уже в обезьяньем стаде зарождаются торговля, обмен и т. д.

Орбели расспрашивал Рогинского о его опытах в Сухумском питомнике над гамадрилом, который «обменивал» два пятака на гривенник, а затем бежал с этим гривенником к автомату, куда опускал монету и получал сливу. Гамадрилы также совместно подтягивали ящик с деньгами, которые затем использовали в автоматах. Но хотя по своему психическому развитию (сообразительности) они превосходили других животных, не было никаких данных, чтобы признать за их звуками и жестами подобие человеческой мысли, а за предметами, которыми они оперировали, — значение орудий труда.

Вспоминается, что во время той беседы Орбели обратил внимание на резкое несоответствие поведения животных на различных ступенях эволюции, а его собеседник подтвердил это рассказом о таком опыте: обезьянам и собакам показывали фильм из жизни животных «Хищники». При первых движениях хищников на экране обезьяны с визгом бросались на пол и закрыли глаза. Собаки же смотрели в противоположную сторону, прислушиваясь к звуку киноаппарата.

Но особенно интересовал Орбели онтогенез (история индивидуального развития) обезьян, притом с разных точек зрения. Прежде всего с точки зрения зависимости поведения от того, что задано природой, с одной стороны, что дается внешними влияниями (воспитанием) — с другой. Некоторые психологи с целью сравнения онтогенеза человека и обезьяны воспитывали совместно в одних и тех же условиях собственного ребенка и дитя шимпанзе (они спали в одной кровати, одинаково одевались, играли одними и теми же игрушками и т. д.). Самое блестящее сравнительное исследование принадлежит советскому психологу Н. Н. Ладыгиной-Котс, сын которой рос совместно с шимпанзе до четырех лет.

Данные этого исследования показали известную общность выражения эмоций в самом раннем периоде и очень скоро возникшие принципиальные различия в психологии двух совместно росших существ. Эти и другие наблюдения показали, что сильно развитый у обезьян прирожденный рефлекс имитации, позволяя им общаться, копировать сигналы и действия друг друга, недостаточен, чтобы перевести их психический склад на человеческий уровень. Орбели детально обсуждал этот вопрос как оппонент по диссертации, осветившей стадную жизнь обезьян и развитие их детенышей в этих условиях.

Мне довелось присутствовать на этой защите в Институте физиологии в Ленинграде и вновь беседовать с Леоном Абгаровичем. Придавая большое значение рефлексу имитации, он трактовал его как предпосылку для зарождения второй сигнальной системы. Но только предпосылку, поскольку речевые сигналы отличаются от коммуникаций в обезьяньем стаде тем, что передают объективные культурные смыслы. Они не зависят от индивидуального, субъективного мира, но ткнут его интимную ткань.

Я высказал сомнения по поводу того, сможет ли физиология, используя наличные методы, справиться с проблемой второй сигнальной системы. Не по душе мне были, в частности, опыты одного из рефлексологов, который вырабатывал условные рефлексы, заменяя первый (чувственный) сигнал соответствующим речевым знаком (вторым сигналом). Испытуемый, например, сперва реагировал движением руки (после нескольких подкреплений слабым током) на красный цвет лампочки, а затем производил такое же движение в ответ на слово «красный».

Мне представлялось, что они упрощают дело, поскольку приуменьшают роль слова как орудия мысли. Орбели ответил, что считает возможными и другие более сложные подходы. И здесь я узнал, что в последние годы жизни Павлова установились контакты между ним и К. С. Станиславским. Павлов при всей присущей ему предельной концентрированности на проблемах его лаборатории тем не менее пошел на них. Станиславский искал научную теорию, которая могла бы лечь в обоснование его системы. Павлов же предполагал, что изучение того, как актер строит свое поведение — соответственно роли,— позволит понять механизм перестроек в нервной системе. Сын Павлова вспоминал: «Как-то Иван Петрович с веселой улыбкой подошел ко мне и сказал: «Я начал изучение высшей нервной деятельности у собаки, перешел к обезьяне, потом к психически больным, а теперь, чтобы перейти к так называемому здоровому человеку, надо заняться актерами».

В психологии выработано понятие о естественном эксперименте, то есть опыте, условия которого не нарушают обычного, естественного течения процесса. Павлов придерживался такого же подхода к человеку. Он никогда не ставил экспериментов над людьми. Работа же актера представляет собой своего рода естественный эксперимент. В наши дни вопрос о соотношении искусств и точных наук приобрел новые ракурсы и стал одним из ключевых при обсуждении судеб культуры. Обостренное внимание привлекли и перспективы экспериментирования над человеком, имеющие важный этический аспект. Орбели задолго до нынешних споров задумывался над этим. Он отстаивал гуманистическую ориентацию, отвергая версию о ее несовместимости с естественнонаучным познанием, имеющим дело с опытом, числом и мерой, о противостоянии «двух культур». Но чтобы реализовать такую ориентацию, это познание, как он полагал, должно выработать новые подходы, адекватные природе человека.

Служа идеям Павлова, жившего надеждой на то, что наука в конце концов «ярко осветит нашу столь таинственную природу, уяснит механизм и жизненный смысл того, что занимает человека всего более,— его сознание, муки его сознания», Орбели погружается в анализ высшего уровня психической активности — художественного творчества. Он восстанавливает прерванные контакты между школой Павлова и школой Станиславского.

В общении с видными работниками сцены (В. О. Топорковым, М. Н. Кедровым и другими) созревает план научного исследования деятельности актера. Как физиолог Орбели опирался на понятие о второй сигнальной системе, видя в обращении к актерскому мастерству перспективу ее эмпирического познания.

На одной из встреч физиологов с работниками сцены речь зашла о «чудесах» актера. В качестве одного из примеров приводился эпизод, когда согласно преданию однажды в гостиной по просьбе собравшихся актер Д. Гаррик взял подушку и стал ее укачивать, как мать дитя. Подойдя к окну, он как бы нечаянно обронил эту подушку, своего ребенка. Зрители видели только спину Гаррика, но когда он обернулся, на лице было столько ужаса, столько отчаяния, что присутствующие все вскочили и многие попадали в обморок.

Школы Щепкина, Мочалова, Станиславского отличались высоким реализмом, естественностью и органичностью игры актера. Методы, которыми это достигалось, не были осмыслены физиологией и психологией.

Кедров при обсуждении с Орбели этого вопроса сказал: «Мы, может быть, творческие люди, но чтобы мы знали, как возникают творческие процессы,— вероятно, это не нашего ума дело».

Орбели полагал, что путь к научному знанию о природе художественного творчества пролегает через онтогенез. Здесь опять-таки проблему высвечивал взгляд эволюциониста. В детской игре, полагал он, скрыты корни того непринужденного ролевого поведения с его феноменами перевоплощения, творческого воображения и т. д., которое имеет своим аналогом творчество актера: «Почти все дети в большей или меньшей степени актеры. Потом большинство перестает быть актерами и только немногие сохраняют в себе этот талант».

В объяснении актерского творчества Орбели выступал в большей степени как психолог, чем физиолог. И это одна из особенностей трактовки им второй сигнальной системы как феномена культуры, который может быть познан только усилиями многих наук.

В контактах Орбели с работниками сцены сказалась свойственная ему обостренная чувствительность к тому, чем люди живы, к запросам практики — на сей раз в производстве духовных ценностей. С одной стороны, изучение актера проектировалось с целью выявить физиологические закономерности построения и развития человеческого поведения. С другой — предпринимались попытки решить задачу, поставленную Станиславским и принятую Павловым: «онаучить» систему работы с актером и работу актера над собой.

Творчество Орбели на протяжении полувека было озарено идеями и замыслами Павлова. В глазах большинства нашей общественности, знавшей, сколько им сделано для советской науки, медицины, обороны страны, воспитания молодежи, имя Орбели оставалось символом научной честности. Поэтому когда он стал читать небольшой спецкурс по физиологии нервной системы, аудиторию переполнили работники самых разных специальностей, пришедшие не только за свежим научным словом, но и в знак уважения к его мужественной позиции в годы испытаний, когда он поддерживал (стремясь расширить начатые по инициативе Павлова работы по генетике поведения) тех ученых, которых клеймили как «формальных генетиков», когда вынужден был выслушивать обвинения в том, что его школа нанесла ущерб павловскому учению.

В 50-е годы мне вновь посчастливилось не только слушать Орбеля, но и беседовать с ним в последний раз. Поводом послужило то, что, занимаясь Сеченовым, я из архивных материалов узнал об участии Леона Абгаровича в 1906 году в заседании Общества русских врачей, где в память о недавно скончавшемся Сеченове с речью о нем выступил Павлов. Изучение связей между Сеченовым и Павловым представляло большой интерес. Ведь Павлов неизменно подчеркивал, что продолжает дело Ивана Михайловича. Я спросил Орбеля, не известно ли что-либо об их личных контактах. Ответив отрицательно, он заметил, что Павлова неизменно интересовали не только сеченовские идеи, но и его личность. В особенности личностные обстоятельства, которые привели к открытию рефлексов головного мозга — «гениальному взмаху сеченовской мысли». По убеждению Павлова, здесь непременно должна была быть замешана страстная любовь молодого ученого к будущей жене.

В связи с этим Леон Абгарович коснулся роли эмоций в научном творчестве.

— Популяризаторы концепции о двух сигнальных системах, — говорил он, — полагают, будто деятельность ученого исчерпывается его способностью использовать вторые, речевые, сигналы — абстрактные термины и математические знаки. Забывают о его интуиции, образном мышлении. Забывают о его эмоциональной жизни. А ведь без нее само мышление инертно. Впрочем, — добавил он не без горечи, — на ученого могут обрушиться такие эмоции, которые действуют разрушающе. Для вас, психологов, исследующих личность, здесь необработанное поле.

Леон Абгарович отметил также, что деление Павловым людей на художников и мыслителей вовсе не означает, будто у первых преобладают чувственные образы и эмоции, вторые же подобны оперирующим сигналами или знаками машинам. Тогда уже разгорался кибернетический бум.

Когда Орбели высказывал все эти соображения (конечно, не могу воспроизвести их детально и его словами), я не мог знать о совершенно новых проблемах, над которыми он работал в связи с нашими космическими замыслами. Задолго до полета первого советского искусственного спутника Земли Орбели получил предложение изучить вопрос организации медико-биологических работ по проблеме космических полетов. Орбели занялся этим с такой же ответственностью, как некогда готовил экипажи первых стратостатов, изучал влияние давления кислорода на жизненные функции подводников, способы облегчения страданий раненых бойцов. Его научная мысль по-прежнему соотносила теоретические и лабораторные исследования с диктатом практики.

...Совсем недавно, в августе 1980 года, небольшая группа наших ученых вылетела в Монреаль на Международный симпозиум по истории и методологии науки. Всем известно, что официальные круги Канады под давлением США рвали тогда научные и культурные связи с нашей страной. Мы не знали, как отнесутся к нам канадские ученые. Мне в особенности хотелось повидаться с известным физиологом, создателем учения о стрессе Гансом Селье. Теплилась надежда, что визитной карточкой послужит моя книжка об Уолтере Кенноне.

Кеннон был не только великим ученым, но и гражданином, большим другом нашей страны, президентом Американско-советской медицинской ассоциации в годы Великой Отечественной войны.

Найдя в телефонной книге номер, решили позвонить. И совершенно неожиданно получили приглашение сразу же посетить его в институте. Прибыли несколько раньше назначенного срока. Рассматривали портреты, развешанные по стенам, и вздрогнули, услышав за спиной русское «здравствуйте». Это был сам Селье, немного знавший русский язык. Прихрамывая (как потом выяснилось, он ездил на работу на велосипеде и недавно вывихнул ногу), Селье проводил нас в свой кабинет.

Прежде всего я вручил упомянутую книжку о Кенноне с фотографией на обложке.

— О, это мой учитель!

Нас как психологов больше всего интересовала творческая лаборатория самого Селье. Он же расспрашивал о русских ученых, делился воспоминаниями о встречах с ними.

Большое впечатление произвела на него поездка в Россию в 1935 году на Международного физиологического конгресса.

— Встречались ли вы с Павловым?

— Что вы, разве я мог решиться? Я был начинающим физиологом, занятым проблемами, далекими от условных рефлексов. Но облик ученого старца, темпераментного, полного необычайной живости, навсегда запечатлелся. Насколько я помню, его ближайшим помощником был Орбели, доклад которого о физиологии боли меня очень заинтересовал. Кстати, вы сидите на диване, где некогда я беседовал с Орбели. Ведь он изучал вегетативную нервную систему, которая играет особую роль в приспособлении организма к сильно действующим раздражителям. Теперь мы называем их стрессорами.

Хотя об Орбели было сказано немного, но чувствовалось, сколь высоко Селье ставил его как ученого и человека.

Орбели выпало стать лидером нашей физиологии в эпоху ее расцвета. Он начал в узком кругу учеников Павлова. Но жизнь требовала создавать коллективы, способные решать крупные проблемы. Это, в свою очередь, привело к появлению в мире науки особой фигуры — организатора разработки крупномасштабных проблем большими группами научных работников. В Соединенных Штатах им стал менеджер, человек, далекий от творческой работы в науке, тесно связанный с «капитанами бизнеса». У нас в стране роль организатора больших коллективов самоотверженно приняли на себя люди науки. Достаточно напомнить имена А. Ф. Иоффе, братьев Вавиловых, Курчатова, Королева. В биологической науке в этом же ряду стоит Л. А. Орбели.

Орбели обогатил многие разделы физиологии. В этих записках мы остановились главным образом на том, что ориентировало его мысль на павловскую сверхзадачу — постичь средствами точной науки «нашу столь таинственную природу», чтобы люди научились жить «по уму», чтобы в их делах им светило «ясное знание». Компасом к этой цели для него служил принцип эволюции — преобразование одних форм жизни в другие, от зачатков ощущений до высшей концентрации духовной активности в творчестве художника и ученого. В нервной ткани каждого индивида кратко записана великая история этих форм, на прочтении которой сосредоточились помыслы Орбели от студенческой скамьи до руководства главными физиологическими центрами Академии наук.

Он воспринял от Павлова не только его программы и принципы анализа жизнедеятельности, но и нравственное отношение к научному труду, к людям этого труда. Открытость ума, щедрость души, полное бескорыстие не только в научных, но и в житейских делах (он нередко материально помогал своим сотрудникам, давал в долг и никогда не вспоминал об этом), готовность делиться выношенными идеями без притязаний на авторство, отсутствие перед лицом критики боязни убить собственную красивую гипотезу, скомпрометировать в споре авторитет — все это создавало вокруг Орбели особое нравственно-психологическое поле, излучавшее доброжелательность и деятельную установку помочь тому, кого привело в науку стремление самоотверженно ей служить.

Ближайшие сотрудники Орбели которые делили в годы гражданской войны свой

голодный паек с подопытными животными, прошли не только научную, но и нравственную школу учителя.

Вектор движения мыслей Орбели был устремлен в будущее. Его мысль запеленговала тенденции развития науки, которые с нарастающей силой воздействуют на ее нынешний облик. Жизнь столкнула науку со сложным комплексом проблем, которые ученый способен решать только со специалистами смежных областей знания. Это требует особого системного строя мышления, преодолевающего барьеры, казалось бы прочно отделяющие одну науку от другой. Павлов сконцентрировался на высших нервных процессах, Орбели дополнил изучение их работами, обращенными к более элементарным, фундаментальным формам жизни — вегетативным (растительным процессам, взаимосвязи нервных и гуморальных процессов). Тем самым утверждается тесный союз физиологии с биохимией, который в современных условиях приобретает, по взглядам Орбели, решающее значение. Обращаясь ко второй сигнальной системе, Орбели особенно присматривался к творческой активности людей в созидании новых духовных ценностей. Со времени Павлова сложилась традиция рассматривать вторые сигналы как речевые знаки. Орбели же подошел к более широкому культурно-семиотическому пониманию этой системы...

Наука и человек воспринимались Орбели нераздельно.

МАНУИЛ СЕМЕНОВ

★

БЫТЬ ТРИНАДЦАТЫМ

Из крокодильского прошлого

ПРАВЯЩИЕ КРУГИ

Хочу сразу же предупредить читателя, что каламбур о правящих кругах в применении к тем, кто редактирует, то есть правит журнальные и газетные рукописи, принадлежит не мне, а Григорию Ефимовичу Рыклину. И поскольку он один из редакторов «Крокодила», разрешите сказать о нем хотя бы несколько слов.

— Мы с вами где-то встречались, — любил говорить Григорий Ефимович.

Да, отпираться было бесполезно: я с ним встречался. На литературных вечерах, вернисажах, театральных премьерах. В кафе ВТО, ЦДЛ и Дома журналиста. Но особенно часто на улице. И чаще всего на одной из замечательных улиц Москвы — улице «Правды». Может быть, это объяснялось тем, что тут одно (и довольно продолжительное) время был прописан наш общий и довольно близкий знакомый — «Крокодил». А первое наше знакомство состоялось не там, а на Пушкинской площади, в «Известиях».

Мы, фельетонисты «Известий», подчас страдали от небрежных исправлений, которые вносили в текст наших фельетонов многочисленные правщики. Узнать, кто из них на этот раз особенно постарался, было невозможно: сбоку рукописи значился лишь ряд не поддающихся расшифровке закорючек — автографов нескольких редакторов и правщиков.

— Над чем вы ломаете голову? — спросил нас однажды Рыклин. — Это же правящие круги! К ним надо относиться с почтением.

Как-то мы возвращались с ним из Дома литераторов после очередного литературного диспута.

— А заметил ли ты, — сказал мне по дороге Григорий Ефимович, — что Виктор Ардов теперь стал строже относиться к своему таланту?

— То есть?

— Во время публичных выступлений он уже не снимает пиджак, как это делал раньше.

В этой иронической реплике весь Рыклин, человек, обладающий необыкновенным фартом в поисках смешного.

А теперь, тоже очень коротко, о другом моем товарище — Сергее Александровиче Швецове.

Имя это, надеюсь, хорошо известно широкому кругу любителей литературы, книголюбов, как теперь их называют. Известность не громкая, не сенсационная и потому не скоропреходящая.

В самом начале пути, едва войдя под своды мастерских поэзии, Сергей Александрович выбрал специальность, пожалуй, самую трудную: он стал пародистом. Не знаю, как другим, но мне это умение пародировать чью-либо творческую манеру или конкретное художественное произведение представляется подлинным волшебством. По крайней мере тремя качествами должен обладать пародист: талантом, не уступающим уровню мастерства пародируемого, даром имитации и подражания и, наконец, глубоким взглядом на литературу, дабы короткая, часто шутливая пародия была бы в то же время и достаточно серьезной и меткой рецензией. Литературная практика показывает, что при отсутствии одного из этих качеств рождения нового пародиста обычно не происходит.

Вот сейчас я листаю сборник С. А. Швецова и вновь переживаю радость общения с пронизательным, вдумчивым и озорным собеседником. Он вводит меня в круг знакомых лиц и произведений, воскрешает в памяти давно минувшие литературные события и течения, дает им беглые, но точные и выразительные характеристики. Здесь немножко кокетливый Иосиф Уткин, темпераментный ученик «папаши» Маяковского Семен Кирсанов, неистовый энтузиаст Джек Алтаузен и многие, многие другие.

Уже после того как Сергей Александрович ушел с редакторской работы, мы часто встречались. Приятно было, придя в редакцию, увидеть в какой-нибудь из комнат знакомую фигуру. Сергей Александрович либо разбирал очередную почту, либо листал старые журнальные подшивки. Что-то нужно было ему найти, в чем-то нужно было убедиться, перед тем как сесть за стол, на котором чистые листы бумаги и перо.

— Ну вот, явились,— якобы недовольным тоном говорил он.— А я-то рассчитывал власть потрудиться здесь в приятном одиночестве...

Потом этот напускной недовольный тон сменялся доброжелательным:

— Не были на рыбалке? Каковы уловы?

И текла оживленная доброжелательная беседа.

Всю свою литературную работу он умело совмещал с активной творческой помощью молодым поэтам и прозаикам, много занимался переводами. С его легкой руки получили путевку в литературу многие нынешние литераторы-юмористы.

Еремеев Константин Степанович, Смирнов Николай Иванович, Мальцев Константин Александрович, Кон Феликс Яковлевич, Иванов-Грамен Николай Константинович, Мануилский Михаил Захарович, Кольцов Михаил Ефимович, Ровинский Яков Григорьевич, Лагин Лазарь Иосифович, Рыклин Григорий Ефимович, Беляев Дмитрий Герасимович, Швецов Сергей Александрович. Двенадцать. Именно в такой последовательности они редактировали наш журнал. Тринадцатым главным редактором «Крокодила» выпала судьба стать мне. И я им стал.

Читатели, да и знакомые братья-писатели частенько спрашивают, как угораздило меня ступить на трудную стезю сатиры, да еще внедриться в крокодильское семейство, да еще стать тринадцатым по счету главным редактором журнала. Думаю, что произошло это по неопытности.

На заре журналистской деятельности я, не особенно раздумывая, стал почему-то писать фельетоны, памфлеты, юморески, выводя в них в карикатурном виде людей, с которыми мне приходилось встречаться. А свой первый фельетон я написал почти пятьдесят лет назад. Повод был такой: у меня лопнул поясной ремень. Поддерживая одной рукой спадающие брюки, я отправился в город, чтобы купить себе новый ремень. Не тут-то было! Я обошел все известные мне в городе галантерейные магазины, но ни в одном из них ремней не оказалось. Тогда я решил, что они продаются теперь в аптеках. Однако провизоры, услышав мою просьбу продать ремень, смотрели на меня как на идиота. Пришлось вернуться в редакцию. Тем более что я понял: в моем положении лучше сидеть, чем ходить.

Поневоле прикованный к своему рабочему столу, я и написал фельетон «Баллада о ремне», в котором высмеял работников нашей кожевенной фабрики за то, что они целиком переключились на изготовление обуви и не оставили ни одного лоскутка кожи для ремней. Резонанс от фельетона был огромным: вскоре ни в одном магазине нашего города нельзя было купить ботинки, зато ремни стали продавать даже в аптеках, хотя тут их никто не спрашивал... Из этого первого опыта я сделал для себя по крайней мере два важных вывода:

а) сатирику каждый раз надо соизмерять силу и направление удара, чтобы его выступление не имело тех последствий, которых он совсем не хотел;

б) он может писать буквально обо всем. Для сатиры нет маленьких или больших тем. Если тема подсказана твоим личным жизненным опытом или опытом читателя, значит, она заслуживает воплощения в фельетоне, памфлете, юмористическом рассказе. Я не знаю, достаточно ли научен этот принцип, но я его придерживаюсь вот уже около пятидесяти лет, и он еще ни разу меня не подвел.

Число 13 считается несчастливым. Говорят, что на английских железных дорогах нет вагона под номером 13, а восточные владыки, пополняя гарем, никогда не берут тринадцатую жену, а сразу присматривают себе четырнадцатую.

Однако оказалось, что занять тринадцатое место совсем не означает стать самым неудачливым пассажиром в многонаселенном поезде и на какой-нибудь шумной стан-

ции отстать от него. Мои славные предшественники занимали пост главного редактора в среднем по три года каждый. Я пробыл на этом посту семнадцать лет.

В качестве главного редактора я подписал к печати более 600 номеров «Крокодила». И после выхода каждого номера встречался в редакции по крайней мере с пятью разъяренными людьми, которых, по их мнению, незаслуженно обидел журнал. Нет, было бы очень опрометчиво утверждать, будто кресло номер 13 вполне комфортабельно.

ПУТЬ В МАСТЕРА

Если я скажу, что в становлении художника И. М. Семенова важную роль сыграл ростовский купец и фабрикант Осмолов, то мне могут не поверить. Но это так. Дело в том, что Осмолов, выпускавший знаменитые на весь обширный юг России папиросы, нуждался в бойком сбыте своей пахучей, дурманящей продукции. А восьмилетний ребенок — в заработке. Капиталистическая экономика с ее непреложными законами свела их. Ребенок стал продавать папиросы, закоренелый капиталист — подсчитывать все возрастающие прибыли. В социально-экономическом статусе папиросника встретил И. Семенов Октябрьскую революцию, гражданскую войну и нэп. В эти годы он потерял отца, и забота о куске хлеба почти целиком легла на его плечи. Чтобы привлечь больше покупателей, он раскрасил и разрисовал фанерный ящик, в котором хранились пачки «Нашей марки», «Пушки», «Дюшеса». Ящик этот вызывал чувство острой зависти у всех ростовских ребятишек-папиросников и, к сожалению, привлекал пристальные взоры милиции. Назревал конфликт между искусством и жизнью. Они и происходили, эти конфликты. Непатентованного продавца-частника милиция задерживала, составляла протоколы. Затем следовала конфискация пахучего товара вместе с емкостью, в которой он находился. Но жизнь продолжалась. Папиросник сколачивал новый ящик и заново разрисовывал его, каждый раз добавляя к прежнему рисунку новые смешные детали и подробности. Рука маленького негоцианта крепла, росло мастерство юного рисовальщика.

Но миновали трудные времена нэпа, и для таких подростков, как Иван Семенов, широко распахнулись двери фабзавуча, вузов. Будущий художник решил стать врачом и поступил в медицинский институт. Но влекла его не медицина, а рисунок — веселый, забавный и злой...

И вот однажды в вестибюле редакции ростовской газеты «Молот» появился высокий, стройный, голубоглазый паренек, застенчиво сжимавший в руке свернутый в трубочку кусок ватмана.

— Что у тебя? — спросил швейцар.

— Да вот рисунок я принес...

— А ну покажи.

И швейцар стал пристально рассматривать карикатуру. Она была посвящена боевой в то время теме — забастовке английских докеров.

— Толай в иностранный отдел, такие рисунки по их части, — вынес приговор швейцар.

Карикатуру напечатали, и с того дня с медициной было покончено. Художник стал часто печататься в «Молоте» и вскоре был приглашен сотрудничать в «Комсомольскую правду», а затем и в «Крокодил».

А вот как говорил о своем пути в карикатуру другой мастер — Юлий Ганф:

— Мои родители мечтали, чтобы я стал адвокатом. Не желая их огорчать, я потерял четыре лучших года моей жизни на юридическом факультете. За это время понял, что, во-первых, хочу не защищать, а обвинять. Во-вторых, что меня не устраивает возня с мелкими уголовниками. Взявшись за кисть и карандаш, я занялся преступниками высшей категории. За пятьдесят лет работы в этой области моими клиентами были как отдельные лица (Деникин, Врангель, Пуанкаре, Гитлер, фон Тадден и другие), так и целые организации (СС, НДП, «Коза ностра», ку-клукс-клан, Пентагон и тому подобные).

Кукрыниксы пришли в сатиру из Вхутемаса. Поговорим о них подробнее.

Говорить о них следует как о единой бригаде, где всяк в нее входящий — герой. Все они герои без исключения. И герои не в переносном, не в фигуральном, а в прямом смысле слова. Что официально подтверждено соответствующими указами.

Справедливости ради следует сказать, что бригада немногочисленна, в ней всего три человека. Но ведь в нашем разнообразном народном хозяйстве встречаются и та-

кие. Они, например, особенно удобны для работы в лесу. Двое пилат деревья, третий обрубает сучья, и дело движется, срывов графика нет, ритмичность производства налицо.

Однако если уточнять, то придется констатировать, что бригада, о которой я веду речь, трудится не в лесу, а в городской местности. Если, конечно, к данной категории местностей относится улица Горького нашей столицы. Именно здесь под самой крышей многоэтажного дома расположен производственный участок бригады. Сюда бригадники приезжают ранним утром, включаясь в общий рабочий ритм столицы. И упорно трудятся до того самого момента, когда проплывает над московскими крышами звук символического вечернего гудка, а улицы надежно забивает будто сорвавшийся с цепи транспорт. Так происходит из года в год, изо дня в день. Свято соблюдаются, как и на остальных производствах, лишь календарные праздники. Все остальное время отдается напряженному труду.

Ну а продукция? Она известна, как теперь принято писать, не только в нашей стране, а и далеко за ее пределами. И также вполне в духе времени эта продукция имеет особый бригадный знак качества. Когда-то этот знак воспринимался с недоумением, был непонятен, а теперь его знает каждый: Кукрыниксы.

Сказав «когда-то», я имел в виду то время, когда в московском художественном училище — Вхутемасе — впервые объединились три молодых талантливых художника И на страницах самодеятельного рукописного журнала училища появился новый карикатурист со странной, труднопроизносимой фамилией. Именно здесь Кукрыниксы начали свой художнический путь.

В начале рассказа об этой бригаде я не случайно упомянул о повале леса. Там действительно удобно действовать втроем. А уместен ли такой бригадный метод в художественном творчестве? Любой искусствовед даст на этот вопрос отрицательный ответ. Но ведь Кукрыниксы-то существуют! Хотя, может быть, и там, в творческой мастерской на улице Горького, введено четкое разделение труда, как на лесной делянке? Один придумывает тему карикатуры, другой рисует, третий дает к ней подпись... Но так может рассуждать лишь человек, очень и очень далекий от того, что называется творчеством, и представляющий его рабочий процесс слишком уж примитивно. Каждый профессиональный художник, в том числе и художник-карикатурист, не может сказать вам, что у него рождается сначала, что потом. Это всегда бывает по-разному. Иногда весь замысел будущего рисунка возникает целиком, иногда одна, и притом не самая важная, его деталь или подробность. Процесс художественного мышления неразрывен, его нельзя разложить по полочкам. И потому-то уникальны, неповторимы Кукрыниксы, что воедино слились их три художественных мысли и три манеры. Три стиля породили один — своеобразный и неповторимый!

Они всегда вместе. Рисунок считается готовым, если он прошел через восприятие троих, если к нему прикоснулись три руки. Когда Кукрыниксы высказывают какое-нибудь мнение по художественным проблемам, это значит, что они сообщают мнение всех троих художников. Если кто-нибудь из них вдруг заболевает, работа прекращается. А уж коли Кукрыниксы в строю, то в строю находятся все трое. Строго поровну делают они обиды и огорчения, удачи и радости тоже припадают на троих.

В течение ряда лет Кукрыниксы входили в состав редакционной коллегии «Крокодила». На заседания коллегии они всегда приезжали вовремя и непременно втроем. Но в ходе заседания, если требовалось, высказывался один. Так это было.

— Ну, Порфиша, скажи ты, ведь, кажется, все ясно, — говорят двое.

И Порфирий Никитич Крылов высказывает мнение о выставленном на общее обозрение рисунке от имени всех троих.

В другой раз речь держит Николай Александрович Соколов

— Мы тут пошептались немного, — говорит он с лукавой улыбкой, — и пришл к выводу, что автора рисунка можно поздравить с удачей. Хотя есть у нас к молодому художнику и небольшие претензии. Вот Миша о них скажет

— Автор несколько увлекся, — говорит Михаил Васильевич Куприянов, — и несколько растекся по древу. Слишком многословный антураж хорошо бы кое-где убрать. А то сейчас внимание зрителя рассеивается: то ли ему героя постигать, то ли детали рассматривать...

Так они и работают: всегда сообща.

Иногда, впрочем, действует в бригаде и разделение труда. Вспоминается по-особенному жаркий июльский день 1967 года. Какое-то неотложное дело привело меня к

Кукрыниксам, и я заехал в их мастерскую на улице Горького. Встретила меня секретарь, милейшая женщина, сотрудничающая с художниками много лет, и заботливо предупредила:

— Товарищи работают.

— Я не помешаю.

Осторожно приоткрыв дверь, я застал такую сцену. В кресле старинной работы сидел вельможа, закутанный в шубу, лихо набекренив меховую шапку. В вельможе без труда я узнал Порфирия Никитича Крылова. А у подрамника с натянтым холстом стояли Михаил Васильевич Куприянов и Никлай Александрович Соколов. Пристально вглядываясь в натуру, они по очереди подходили к холсту и писали. На мой немой недоуменный вопрос ответил Николай Александрович:

— Задумали картину к отчетной выставке, но вот с ног сбились, а натуры подходящей не могли найти. Не носят теперь таких барских лиц, как у нашего Порфиши. Уговорили. С трудом уговорили его позировать.

Тут заговорила сама натура:

— Братцы, вы или пишите, или разговаривайте. А то я шубу сброшу и пива холодного выпью. Невмоготу мне. Двадцать девять градусов тепла в тени.

Но, в общем-то, обязанности и права делятся сразу на троих бригадников. Так вышло и с высшим отличием родины, высшей трудовой заслугой. В начале 1972 года Героем Социалистического Труда стал Порфирий Никитич Крылов. Несколько позднее — Николай Александрович Соколов. И в ноябре 1973 года высокого звания был удостоен Михаил Васильевич Куприянов. Хотя ему полагалось бы занять место в шеренге Героев первым. Ведь с его фамилии начинается бригадный фирменный знак — Кукрыниксы. Но уж таков слепой случай: один родился раньше, другой несколько позднее, а третий еще чуть-чуть позже...

На этом можно было бы закончить короткие заметки о Кукрыниксах. Но уж послушайте несколько необычную, но вполне достоверную историю.

Однажды поздно вечером трое мужчин остановили на улице Горького такси и попросили шофера подвезти их домой. Поехали. Некоторое время в машине царило молчание. Потом один из тех двоих, что сидели сзади, нарушил его:

— А ведь мы, братцы, пожалуй, зря Ивана зарезали.

Минуту спустя откликнулся его сосед:

— Да, жалко человека. Но теперь уж ничего не поделаешь.

Видавший виды московский водитель почувствовал, как у него по спине забегали мурашки. А третий, самый высокий, который сидел рядом с ним, сказал:

— Утешайте себя тем, что не мы одни участвовали в этой кровавой тризне...

Помолчали. Потом раздался тот же голос сзади:

— И Ваську я бы повесил!

Отозвался высокий сосед таксиста:

— Согласен. Но я лично не стал бы его вешать целиком. А вот частично следовало бы!

Лицо водителя покрылось холодным потом. Нет, не случайно они сразу же показали ему подозрительными, эти три пассажира, когда назвали адрес. Едут домой — и все в одно место, на улицу Чкалова. У нормальных граждан так не бывает: один требует везти его туда, другой тянет в противоположную сторону. А эти не иначе по какому-нибудь одному делу спелись. И потому разговоры такие страшные...

— Товарищ водитель, нельзя ли во двор заехать? — попросил высокий пассажир.

— Нельзя! — с отчаянием в голосе ответил шофер. — Вылаз, говорят!

Дрожащими руками отсчитав пассажирам сдачу и со страхом глянув в глубину арки огромного темного двора, таксист бешено рванул с места. А потом долго рассказывал в кругу коллег, как ему чудом удалось выскользнуть из рук злоумышленников-душегубов...

Да, дорогой читатель, на этот раз ваша эрудиция и сметливость не подвели. Вы правильно определили: в такси находились будущие Герои, художники Кукрыниксы. А их страшный разговор был связан с тем, что они возвращались с очередного выставкома, где как раз решали, зарезать художника или повесить, то есть выставить. Впрочем, об этом забавном случае с насмерть испуганным таксистом художники много лет назад рассказали на страницах «Крокодила» сами.

РОЖДАЕТСЯ КАРИКАТУРА

Когда Киса Воробьянинов по заданию великого комбинатора отправился добывать четвертый стул из орехового гарнитура работы Гамбса, то он, как известно, изрядно робел. Схватив стул, Киса собирался уже улизнуть, когда в самых дверях столкнулся с хозяином, А. В. Изнуренковым.

Кто же был этот человек, помешавший бывшему предводителю дворянства успешно завершить так удачно начатую операцию со стулом, к какого рода искусству он принадлежал? Илья Ильф и Евгений Петров не делают из этого секрета, а тут же поясняют: если Шаляпин пел, Горький сочинял повести и рассказы, Капабланка играл в шахматы, Мельников бегал по ледяным дорожкам, то Авессалом Изнуренков всю жизнь острил. Причем острил не так, как конференсье на эстраде или клоун в цирке, но особенным, мало известным широкой публике способом. А именно: он придумывал темы юмористических рисунков для московских сатирических журналов. Короче говоря, был темистом.

Любители изящной словесности знают, что герои многих литературных произведений имели реальных, конкретных прототипов в жизни. Был такой прототип и у Авессалома Владимировича Изнуренкова. Это темист «Крокодила» М. А. Глушков, подвизавшийся в журнале в довоенные 30-е годы. Он был поистине неистощим на выдумку, мог сразу, что называется, в один присест выдать на-гора добрый десяток остроумных графических композиций, смешных подписей и каламбуров. Он, кажется, на веки вечные запечатлел облик бюрократа такой его сакраментальной репликой, обращенной к посетителю современного «присутственного места»: «Вам говорят «приходите завтра», а вы всегда приходите сегодня...» А какую волну подражаний вызвало (и вызывает сегодня) придуманное им ворчливое высказывание старушки-обывательницы, оказавшейся уже в наши дни на берегу Черного моря: «Ну какое это море? Вот до революции было море — это море!..»

У знаменитого темиста было пагубное увлечение: он играл на бегах. Когда игрок возвращался с ипподрома в «Крокодил», то коллеги спрашивали его:

— Ну как, Михаил Александрович, со щитом или на щите?

— В нишете! — отвечал он.

Это, конечно, был человек-феномен.

Придя в «Крокодил», я, к сожалению, М. А. Глушкова уже не застал. Но по многолетнему опыту редактора могу утверждать, что роль темистов в делании журнала очень велика, а сами они люди необыкновенные.

«Крокодил», как известно, не просто иллюстрированный журнал, он наполовину состоит из рисунков, карикатур. И еще не ясно, какая половина несет большую смысловую нагрузку: изобразительная или литературная. Скорее всего они равны. Причем рисунки, карикатуры, так же как и фельетоны, рассказы, стихи, ни в коем случае не должны быть назойливо-назидательными. Если художники изо дня в день станут прямолинейно, что называется, в лоб призывать читателя и зрителя: «Не укради! Не мошенничай! Не будь бюрократом!» — то читатель не выдержит и отвернется от журнала. А ему журнальная сатира, крокодильский юмор не приедается, не набивает оскомину, потому что она привычные, известные всем моральные принципы и понятия каждый раз преподносит в остроумной, часто неожиданной форме. Постоянный напряженный поиск такой формы и составляет главную цель и основное содержание творческой работы темистов журнала.

Необходимость института темистов вызвана тем, что многие художники, будучи отличными рисовальщиками, мастерами создания сатирического, юмористического образа, слабо справляются с самим, если можно так выразиться, конструированием рисунка, разработкой сюжета, драматургии карикатуры. И тут на помощь приходит темист с его особым, во многом парадоксальным мышлением, умением открыть в известном неожиданнный комический эффект.

Вот люди с таким особенным, оригинальным мышлением и составляют опору редакции, ее золотой фонд. Кто темисты по своей основной, внекрокодильской профессии и роду занятий? Люди самые разные. Конечно, есть среди них и художники, но таких мало. А вот композиторы, плотники, студенты, артисты, проводники железнодорожных вагонов встречаются довольно часто. Придя на темное совещание в так называемый продолговатый зал «Крокодила», можно почти всегда увидеть за длинным-предлинным столом популярного циркового клоуна Олега Попова. Мало ему манеж-

ных шуток и реприз, забавных интермедий и мизансцен, которые приходится разрабатывать, сочинять самому клоуну и самому же исполнять. Нет, он еще не устал, его острый ум весельчака и балагура еще не притупился, и теперь он вместе со всеми напряженно думает, как бы прибавить яду и усмешнить предложенный кем-то из темистов эскиз будущей карикатуры, вызванной важным событием в международной жизни. На местном, специфическом языке это называется добить тему, то есть довести ее до полной кондиции.

Как всегда, остроумен и не скупится на реплики композитор Никита Богословский. Он тоже завсегдатай темных совещаний и с видимым удовольствием отдается увлекательному процессу додумывания смешного, внося посильную лепту в рождение будущего «громкого» рисунка, который, возможно, станет обложкой журнала. Резвятся, острят изо всех сил другие участники темного совещания. Здесь известная всей стране актриса Рина Зеленая, писатель Леонид Ленч и многие другие.

Помните, на что жаловался в «12 стульях» Авессалом Изнуренков? На то, что, выпуская не менее 60 первоклассных острот в месяц, он фактически оставался в неизвестности. «Это ужасно! — кричал он. — Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?» Содержащийся в романе косвенный упрек нам, редактирующим и руководящим, в пренебрежении к творческой личности темиста долгое время оставался без ответа. И лишь сравнительно недавно, в мою бытность на посту главного, положение частично было исправлено. В конце журнала, там, где помещаются выходные данные, стало появляться следующее сообщение: «Темы рисунков данного номера придумали...» И идет перечень фамилий.

Может быть, большинство изопroduкций нашего журнала составляют рисунки-рассказы, карикатуры-повествования. Такие, например, как трехфигурный рисунок Евгения Шукаева. Слева на рисунке изображен уже облысевший и располневший человек в очках, смущенно опустивший глаза и нервно перебирающий пальцы рук, справа — глубокий седобородый старец, согбенно опирающийся на трость, а в центре она — на две головы выше обоих мужчин девица в модном платье до пят, с глубоким декольте, этакая светская львица. «Знакомся. Петя, — шамкает старец, — это твоя мама!»

Или такой вот рисунок Евгения Ведерникова. Яркий солнечный день ранней весны. После бурного снеготаяния кругом море разливанное. На дороге, ведущей в район-центр, автобусная остановка. Пассажиры струдились на незатопленной площадке. Ждут. И тут вдали показался перископ, бороздящий водную гладь. Раздается возглас одного из ожидающих: «Кажись, автобус идет!»

Необыкновенно злые карикатуры, способные на равных конкурировать с солидными кусками журнальной прозы. И если первый рисунок вполне заменяет острый сатирический рассказ с психологическим настроем, то второй — это несомненно злой фельетон о районном бездорожье.

Есть карикатуры и иного рода, где художник использует привычные символы, неожиданные каламбуры. Так, Ю. Федоров нарисовал якобы сказочную картину, изобразив Иванушку и плачущую Василису Прекрасную. На заднем плане баба-яга в своей избушке на курьих ножках. А подпись под рисунком такая:

«Иван — не дурак Василисе Прекрасной:

— Люблю я только тебя, но пойми, ведь у нее же квартира!»

А подпись под рисунком Кукрыниксов короткая: «Поганка». И изобразили они танцующую парочку, выросшую из той же грибницы, что и ядовитые поганки. Здесь отравляющий все вокруг гриб-поганка используется как символ.

Однажды Сергей Александрович Кузьмин принес на темное совещание готовый рисунок. На нем была изображена такая сценка. Хозяйка квартиры сидит в наполненной водой ванне, а хозяин с неестественно скрученными ногами стоит рядом с унитазом и умоляюще говорит жене: «Маша, нырни, пожалуйста, на минутку!» Рисунок был принят на ура и вскоре увидел свет. Публикация в журнале произвела в архитектурно-планирующих кругах впечатление разорвавшейся бомбы. Яростными были нападки на журнал за проявленную «дерзость» всех тех, кто привык соображение грошовой экономии ставить превыше всего, в том числе и выше здравого смысла. Но тщетно. Миллионы подписчиков и читателей, увидев рисунок С. Кузьмина, от души огулнительно хохотали и так же от души изрекли: «Правильно! Пора кончать с этим безобразием!»

И с ним было покончено. Типовой проект серии СУ (совмещенный санузел) изъяди из обращения. А новоселы стали впредь получать уже улучшенное, нормальное жилье.

ПАРАДОКСОВ ДРУТ

Что вы скажете о начале фельетона, набранного таким вот образом:

Мы справляем новоселье,
В новом доме мы живем.
Приглашаем на веселье.
е т и о
Вс х к о с р о л ё т о д м.
т

Неряшливость, озорство, может сказать рядовой читатель. А технорук типографии выразится и покрепче: хулиганское обращение с технологией шрифтового набора. Но дело в другом. И автор крокодильского фельетона Яков Костиюковский поясняет, что вольное обращение с типографской строкой допущено им для вящей убедительности:

Буквы здесь в строке танцуют,
Это плохо, спору нет,
Но и в доме зачастую
Так танцует весь паркет.

А можно ли написать обстоятельную рецензию на такую, например, частушку:

Я морожено клубнично
Обожаю очень,
Кушай, кушай, дорогая,
За него заплочено.

Всего четыре строки. А рецензент, чтобы разобрать это крохотное произведение устного творчества, потратил 106 строк. И каких многозначительных! Анализируя частушку, он не оставляет без внимания ни один нюанс. Так, по поводу сорта мороженого он пишет: «Девушка, возможно доярка, уже не хочет молочного или сливочного мороженого, ей подавайте клубничное! Налицо явный рост потребностей». И далее продолжает: «По слову «обожаю» мы можем судить, что это эмоциональная натура, ей присущи возвышенные чувства. А слова «кушай, кушай, дорогая» рисуют нам благороднейшего человека, образ положительного героя нашей литературы». И так далее.

Да что там частушка! Казахский юморист Абдулла Каххар прорецензировал в «Крокодиле»... что бы, вы думали? Ни за что не догадаетесь! Список очередников мебельного магазина! Автор подчеркивает, что попавшая в его руки рукопись, охватывающая 22 фамилии, «многогранна (бумага перегнута восемь раз) и весьма красочна: шесть фамилий написаны черными, одна красными, одна синими, а остальные зелеными и фиолетовыми чернилами». Резвясь и играя, юморист отмечает такую привлекательную сторону списка, как созвучие имен некоторых персонажей «с фамилией директора магазина товарища Гуляева. А именно: Разваляев, Хватаев, Сажаев и т. д. Особенно гармонирует с фамилией товарища Гуляева фамилия Опохмеляев». Касаясь недостатков рукописи, автор с серьезным видом отмечает, что в списке отведено слишком много места отрицательным фамилиям — Царев, Боярский, Кулаков, Приспешников, Баймуллаев и очень мало положительных — Станков, Бодров, Зарядкин. Автор рецензии-реферата заканчивает обещанием еще не раз вернуться к исследованию рукописных списков очередников, надеясь на ценную помощь того же товарища Гуляева...

Что это, игра? Конечно, игра, но со смыслом, забавная и в то же время глубоко и больно жальщая тех, кого следует.

Как-то в начале 60-х годов наши подписчики, вынув из своих почтовых ящиков очередной номер журнала, были приятно удивлены: на обложке красовались их любимые киноартисты — Никулин, Вицин и Моргунов. Причем в привычной для них обстановке: у решетчатой ограды родного «Мосфильма». Но как они попали в «Крокодил», чем провинились?

Как в дальнейшем выясняется — ничем. Просто заняты своим обычным делом: играют, снимаются. В данном конкретном случае изображают на обложке — увы! —

привычный эпизод: соображают на троих. И как бы приглашают подписчиков к прочтению помещенного в номере большого фельетона Александра Моралевича, который так и называется: «На троих».

«Крокодилу» недостаточно было, чтобы его авторы писали стихами и прозой, рисовали карандашами и фломастерами, он захотел, чтобы они еще и... играли. И что же? Наши популярные лицедеи охотно откликнулись на это желание. А читатель, открыв журнал, мог встретиться с Аркадием Райкиным, Сергеем Мартинсоном, Сергеем Филипповым. Они играют, но играют, как в немом кино: своей выразительной мимикой помогая более яркому, неожиданно смешному раскрытию крокодильских сюжетов и текстов.

Можете ли вы себе представить, дорогой читатель, такой печатный орган, где бы появлялся портрет литератора в... маршальских погонах? Многие скажут с сомнением: вряд ли это возможно. А между тем осенью 1962 года в связи с семидесятипятилетием С. Я. Маршака «Крокодил» напечатал дружеский шарж на него Кукрыниксов, где знаменитый стихотворец, блестящий переводчик и драматург был изображен в облике военного деятеля с маршальскими погонями на плечах. Правда, в виде погон были нарисованы обложки его книг, а разноцветные карандаши, которыми поэт работал, заменяли орденские планки. Зато надпись под рисунком не оставляла никаких сомнений в его высоком ранге: «Маршак Советского Союза».

Между прочим, озорство это ни у кого из читателей, в том числе и военных, не вызвало никаких критических замечаний. Может быть, потому, что заслуги Самуила Яковлевича в литературе были поистине маршальскими. А может, и по той простой причине, что «Крокодил» такой уж журнал, которому без озорства никак нельзя...

Не было никаких протестов, не поступало никаких опровержений и со стороны тогдашнего министра просвещения РСФСР Е. И. Афанасенко и президента Академии педагогических наук И. А. Каирова, хотя они, нарисованные со сходом, красовались на обложке журнала сидящими за партой как неуспевающие. А не успели они, как говорилось в эпиграфе, подготовить к новому учебному году новые учебные планы и школьные программы. Весьма уважаемые и авторитетные деятели советской педагогики, вероятно, посмеялись от души над карикатурой на самих себя и энергично взялись за исправление упущений...

Крокодилы — люди, поистине неистощимые на выдумку. Сколько интересных конкурсов и шуточных состязаний среди читателей провели они! Запомнились ежегодные конкурсы на короткий юмористический рассказ, шуточное пятиборье остроумных, соревнование энциклопедистов.

Напомню об авторе всеозоного розыгрыша — Михаиле Ефимовиче Кольцове, одном из редакторов «Крокодила». Прекрасный знаток техники, он поступил в московский таксомоторный парк и целый месяц возил москвичей и гостей столицы. Интереснейшие наблюдения за пассажирами, доверительные беседы с ними он потом изложил в нескольких веселых подвалах «Правды».

Это было еще в довоенные годы, и смелый кольцовский эксперимент стал забываться. Но вот летом 1960 года по дому, где я живу, поползли странные слухи. Старушки, несущие каждодневную вахту на скамеечке у подъезда, обменивались последней новостью:

— Слыхали, как нашего писателя с третьего этажа жизнь подкосила?

— Как же, своими глазами видела. Раньше, бывало, на работу и с работы ездил на черной «Волге», а теперь с пачками газет на плечах бегаёт...

— Да, нужда заставит, еще не то будешь делать!

Заставила меня действительно нужда: очень захотелось повторить опыт именитого предшественника и я нанялся в Союзпечать продавцом газет. Киоск помещался на углу нашего дома, так что вся моя торговая деятельность происходила на глазах вездесущих старушек-соседей. Продавая газеты и журналы, я изучал вкусы и потребности нынешнего читателя. А потом напечатал в «Крокодиле» большой фельетон «Неделя в газетном киоске».

Лиха беда — начало. Подражатели и последователи Михаила Ефимовича объявлялись то тут, то там. Появились псевдошоферы, мнимоповара и фальшпродавцы за прилавком. Одной уже немолодой московской журналистке удалось даже стать послуш-

ницей женского монастыря. Но ненадолго. Осведомленные люди по секрету рассказали, что она была изгнана из обители за отсутствие благочестия...

В разных газетах стала часто появляться рубрика «Журналист меняет профессию», по поводу которой сами же журналисты остряли:

— Меняет профессию — и правильно делает. Стыдно стало занимать в газете чужое место.

Крокодильцы своей сатирической профессии не изменяли, но тоже подались в экспериментаторы. Особенно отличился Руслан Киреев. Он устроился матросом на рыболовное судно и почти полгода бороздил просторы Атлантики, неся тяжелую вахту у трала. Работал он и лесорубом в привольных лесах Сибири. В результате на страницах «Крокодила» появились фельетоны-очерки, написанные со знанием дела, где проблемы океанического рыболовства или эксплуатация отечественных лесных богатств освящены изнутри, глубоко и всесторонне.

А потом Руслан Киреев неожиданно появился в Ташкенте и заделался лицом без определенных занятий, таким завзятым бичем. А потом напечатал в «Крокодиле» блестящий фельетон «Бич среди бичей».

Кажется, нигде кроме как в «Крокодиле», во многом живущем по своим шуточным законам, не мог произойти такой случай, когда на две вакантные должности однажды был зачислен фактически... один фельетонист. Речь идет о Дм. Иванове и Вл. Трифонове, работающих, как известно, в соавторстве. Из-за этого назначения в редакции не раз происходили недоразумения с разного рода проверяющими лицами.

— Скажите.— спрашивают ревизоры,— на самом деле эти двое всегда пишут какой-нибудь один фельетон?

— Правда. Едут в командировку, собирают материал и сочиняют один фельетон.

— Ну а если бы вы зачислили в штат двух сотрудников-несоавторов, то получили бы от них не один фельетон, а два?

— Да, вы правы, получили бы два.

— Так что же, по-вашему, выгоднее журналу: иметь один фельетон или два?

— Один. Потому что он наверняка будет лучше тех двух.

Когда-то из-под пера А. С. Пушкина вышла такая строчка: «...и гений, парадоксов друг». Не знаю, как гении, это, как говорится, их личное дело, но «Крокодил» на протяжении всей своей истории был верным другом игр, забав и парадоксов. И, надеюсь, останется таковым навсегда!



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. ДУДКО, Л. ЛЮБИЧ



ГЕНЕРАЛ ТХОР

Приказом министра обороны в списки N-го авиационного полка навечно зачислен Григорий Илларионович Тхор.

Имя генерал-майора Г. И. Тхора (1903—1943) нельзя отнести к числу забытых. И вместе с тем очень многое в биографии этого человека было мало кому известно и при его жизни, а впоследствии, отодвинутое событиями войны и временем, стало достоянием сравнительно небольшого числа людей, которых с каждым годом, увы, становится все меньше.

Нам удалось разыскать людей, знавших Тхора, служивших и воевавших вместе с ним. Их письма, записи их рассказов составили основу этой публикации.

Из воспоминаний А. Н. Поносова, бывшего узника Хаммельбургского концентрационного лагеря для военнопленных-офицеров, директора школы в Хвальнске:

«Я берусь утверждать, что жизнь генерала Тхора в Хаммельбурге — подвиг. И если будет кто-либо возражать, то я спрошу его: кто в Хаммельбурге смелее, отчаяннее, яростнее боролся против разлагающего влияния так называемой «Русской народной партии», этого сброда прямых агентов гестапо, чем генерал Тхор? Не назовет. Были ли все действия генерала Тхора правильными в условиях Хаммельбурга и вообще плена? Нет. Скажем прямо: не атакуя в лоб, генерал Тхор мог сделать больше. Но тогда десятки тысяч людей не увидели бы блистательного, неустрашимого примера ненависти к врагу, непреклонности и воли к борьбе, веры в правоту и непобедимость нашего дела.

Весь Хаммельбург знал генерала Тхора, но не знал всех генералов, хотя некоторые из них и сделали, может быть, под стать ему.

Кто может упрекнуть Александра Матросова в том, что он поступил неправильно, закрыв своим телом сеюший смерть вражеский пулемет? В непримиримой, открытой, ожесточенной борьбе сложил голову и генерал Тхор. Кто посмеет упрекнуть его в этом? Подвиг генерала Тхора не вымышлен, он реален и может быть подтвержден многими.

Люди должны знать о нем».

Из письма М. И. Потапова¹:

«Григорий Тхор — это бесстрашие в самом полном смысле этого слова. О нем мы с восхищением говорили в своем «командармском блоке», как нас там называли.

¹ Потапов Михаил Иванович — генерал-полковник. Однополчанин Г. И. Тхора, его командир. В сентябре 1941 года, будучи тяжело раненным, оказался в плену. В 1945 году освобожден американскими войсками. После окончания Военной академии Генерального штаба служил на Дальнем Востоке. В 60-х годах был заместителем командующего войсками Одесского военного округа. Умер в 1966 году.

Григорий Тхор с первого момента пленения открыто бросил фашистам вызов и не прятал этого вызова ни при каких обстоятельствах.

Я тоже не боялся смерти, ожидал ее, был готов умереть честным перед Родиной но мне не достало тхоровской смелости, отваги и мужества...

Тхор, оказавшись безоружным, показал гитлеровцам силу другого оружия — выращенную советской действительностью, воспитанную революционной ленинской партией идеологическую убежденность, моральную чистоту коммуниста. И фашисты, имевшие дело с Тхором, осеклись на нем.

Безмерна моя гордость за Григория Илларионовича Тхора — моего старого сослуживца, друга и товарища».

Из личной карточки № 435/71 персонального каталога Центрального музея Вооруженных Сил СССР:

«Григорий Илларионович Тхор родился 15 сентября 1903 года в селе Подлипном Конотопского района Сумской области, в семье токаря железнодорожных мастерских Иллариона Сергеевича Тхора. В детстве был подпаском. Окончил приходскую школу.

В 1917—1920 годах работал на телеграфе сначала рассыльным, а затем телеграфистом.

Одним из первых в Подлипном вступил в ряды Ленинского комсомола, был в числе первых активистов села.

В 1923 году по путевке комсомола вступил в ряды Красной Армии. 1923—25 годы — красноармеец, после окончания трехмесячных курсов младших командиров — сержант. 1926 год — вступление в партию. 1926—28 годы — курсант Кремлевской командной школы имени ВЦИК, стоял на посту № 1 у Мавзолея В. И. Ленина...».

Из рассказа М. И. Потапова:

«Впервые я встретился с Григорием Илларионовичем Тхором в 1928 году в Ленинкакане — в 294-м полку 95-й стрелковой дивизии, где я проходил стажировку в качестве помощника командира полка по мехчасти.

Тхор прибыл из Кремлевской школы имени ВЦИК, которая была известна в Красной Армии как лучшее учебное заведение по подготовке пехотных командиров.

Хорошо помню, как в гарнизоне появился маленький ростом, круглолицый, скуластый, с быстрой походкой комвзвода лет двадцати пяти. Его почему-то сразу прозвали «монголом». Но, как потом разобрались, Тхор был украинцем, да еще и ширым украинцем. Я те конотопские места — его родину — знаю по службе в армии и помню, что народ там лирический, певучий, веселый. Таким и оказался Григорий Тхор. Армию очень любили в народе. И сами красноармейцы считали себя на высоте и высоко ценили службу. Дисциплина была высокая, основанная в большой мере на чувстве гордости службой в армии.

У молодого Григория Тхора было редкое человеческое сочетание: серьезность и веселость. Он умел толково поставить боевую подготовку в роте, взводе, заинтересовать людей в необходимости метко стрелять, первыми подниматься по тревоге, занимать оборонительные позиции, переносить тяготы, физические нагрузки и т. д.

Его взвод, а потом половина роты играли в струнном оркестре, лучше всех пели, сам Тхор имел хороший голос и был отличным запевалой. Помню, с каким вдохновением пел он «Все выше, и выше, и выше...», когда песня только появилась. Сначала было немного странно слушать, как пехота вдруг поет авиационный марш. Потом стало ясно: сам комроты мечтал об авиации.

Лично я человек техники, меня увлекали машины, танки, я понимал Григория, что он человек времени. Но и я удивлялся: почему авиация? Слава? Так Тхор был не тщеславный человек. Рота — это солидное подразделение, и он в то время уже командовал ею без всякой кичливости, с толком, с уважением к подчиненным.

На мой вопрос Григорий ответил:

— Я коммунист, безоговорочно подчиняюсь уставу партии, которая сейчас дала клич: «Комсомольцы — на самолет». А коммунист в этом деле должен показать пример.

— И не боишься?

— Что страх? Страх есть у каждого человека, с ним надо уметь справиться. Вот и все.

Тхор написал рапорт на имя Ворошилова, и вскоре пришло разрешение.

Это был сильный, целенаправленный человек, которого вряд ли можно было свернуть с курса к намеченной им цели. Был нетерпим к недостаткам, лжи, подкалыванию и несправедливости. Вот памятный случай. Шли учения — переброска пехоты на автомашинах через горы. Опыта вождения грузовых автомашин, поступивших на вооружение, еще не было. Водитель не справился с управлением, машина стала скользить по склону горы. Внизу — пропасть. Комроты Тхор приказал красноармейцам срочно покинуть кузов, а сам с замполитруком роты Ивановским бросился спасать машину. Григорий обладал большой физической силой. Он напоминал борца — такой же приземистый, мускулистый... И вот он держал машину почти на весу, пока его не подменили красноармейцы. Но в течение считанных секунд, что они менялись, машина чуть подвинулась и придавила замполитрука. В этот момент Григорий отвлекся к другой машине, чтобы та оказала настоящую помощь. Возвратился, а Ивановского уже вытащили из-под машины без признаков жизни.

Говорят, беда не ходит одна. Месяц назад у Ивановского умерла жена. Осталась без матери дочь — Диана, которой было в то время года три-четыре. После гибели отца девочка находилась у Тхоров.

Командование стало оформлять девочку в детдом. И тут Григорий взбунтовался: — Как в детдом? Что за бездушие!

И оставил девочку у себя в семье.

Вскоре мне стало известно, что у Григория с женой пошли раздоры.

— Как же я не знал, что у меня в доме такой человек живет? — говорил он мне не в силах скрыть негодование. — Как можно не любить детей? Готова бросить живого человечка на сиротскую жизнь, чтобы самой быть в благополучии и спокойствии!

До той поры Григорий жил с женой в гарнизоне. Жили дружно. Никаких ссор. Но, как вспомнил тогда Григорий пословицу, человек по-настоящему познается в беде. И уехала из Ленинанкана жена Тхора. Остался Григорий вдвоем с маленькой Дианой. Определил в детский садик. Сам отводил туда, забирал домой вечером, возился, кормил, одевал девочку.

Периодами наезжала к Григорию его мать. Помню, что увозили девочку и на Украину, но она вскоре снова появилась в гарнизоне и стала нашей любимицей. А сам Григорий стал еще более почитаемым человеком в гарнизоне, все старались ему чем-то помочь».

Григорий Тхор занимался в местном аэроклубе. И когда пришел ответ от наркома Ворошилова, пехотный командир Тхор уже с отличием закончил летную программу. Назначение он получил в 52-ю авиационную эскадрилью, которая базировалась на гомельском аэродроме, и стал переучиваться на летчика-наблюдателя. Здесь он серьезно изучал теорию воздушной навигации, стрельбы, бомбометания. Тхор досрочно сдал экзамены по курсу летнаба.

Из письма Я. А. Попова ²:

«С Гришей я познакомился в Борисоглебской школе, куда мы были зачислены слушателями курсов командиров звеньев.

Многие из нас прибыли в авиашколу из наземных войск — артиллерии (в том числе и я), кавалерии, пехоты, — а Гриша был из ВВС, где служил штурманом-летнабом, и не раз летал до этой школы. Вначале, когда мы проходили теорию и ни разу еще не были в воздухе, мы боялись, что с началом практики многих из нас могут отчислить по непригодности к летной службе. Естественно, мы волновались, переживали в ожидании, пока решится вопрос, сможем ли мы летать. Гриша уверял нас, что тот, кто здоров и хочет летать, будет летать, и поэтому бояться, что отчислят, нечего. Он, уже имевший опыт летной работы, говорил внушительно и спокойно и укрощал в нас веру в то, что будем и мы летчиками. Когда мы приступили к летной подготовке, Гриша радовался вместе с нами.

В декабре 1934 года мы получили пилотские свидетельства. Григорий Тхор по-

² Попов Яков Аврамович — майор ВВС в отставке. Всю Отечественную войну находился на фронте. Живет в Сочи, работает столяром.

лучил назначение в Московский военный округ. Я уехал в Ленинградский военный округ.

Разъехавшись по строевым частям после окончания курсов, мы не теряли связь. В строевой части Гриша сразу показал себя растущим командиром. Когда был учрежден орден «Знак Почета», Гхор был в числе первых, награжденных этой правительственной наградой. Узнав об этом из газет, я сразу поздравил его с высокой наградой. Он в ответе, поблагодарив, писал мне: «Яша, это только начало, главное — стараться с честью выполнить наш долг перед Родиной, а труд наш не останется незамеченным...»

Вскоре после того как в 1936 году фашизм пошел войной против Испанской республики, я прибыл в Москву, чтобы ехать добровольцем в Испанию. И здесь встретился с Гришей, уже собравшимся в трудный путь, успел поговорить с ним буквально одну минуту. Поздоровались, он спросил:

— Наверно, и ты туда собираешься, куда я еду сейчас? — И показал на запад.

— Да, — ответил я.

— Ну вот хорошо, друг, там и поговорим.

В Испании мы встретились на аэродроме, недалеко от портового города Картахена, где мы ждали прибытия материальной части. Поговорили, что делали за эти полтора года после Борисоглебска. Несмотря на то, что Григорий был ненамного старше меня, успел многое сделать, и я от души его еще раз поздравил с заслуженной наградой.

Через некоторое время стали прибывать в Картахену наши корабли с советским оружием и военной техникой. Разгрузкой кораблей занимались мы, советские добровольцы, вместе с испанскими рабочими. Разгружали ночью, под непрерывной бомбежкой фашистов. Материальную часть и боеприпасы грузили на прибывшие с этими кораблями советские автомашины и развозили в соответствующие места, подальше от города. Но шоферов не хватало, машины стояли груженные, а с наступлением темноты снова налетали вражеские самолеты.

— Разбомбят нашу авиационную технику, которую мы с таким нетерпением ждали, — волновался Григорий. — Это наши лучшие бомбардировщики, я летал на СБ, перед тем как ехать сюда.

Мы ходили вокруг груженных машин и не знали, что делать, чтобы спасти технику от бомбежки. Никто тогда из нас, летчиков, не умел водить автомашину, и так горько было нам по-настоящему почувствовать, что значит не владеть никаким другим видом техники, кроме самолетов. Вдруг Гриша сказал мне:

— Пойдем со мной, я в этом деле немного понимаю, думаю, что смогу вести машину. Хотя никогда за рулем и не сидел, но наблюдал, как это делается.

Он сел за руль, дал мне заводную ручку.

— На, крути!

Заработал мотор, и так легко стало на душе, я был готов расцеловать Гришу.

Медленно тронулись с места. С большим трудом Гриша вывел машину благополучно за город.

— Надо немного отдохнуть, — сказал он, — и заодно посмотрим, все ли у нас в порядке с машиной.

Было жарко, несмотря на ночь, а от большого напряжения за рулем Гриша и вовсе сильно вспотел, смахивал рукавом пот с лица. Мы отвезли в назначенное место груз и снова вернулись в порт. В ожидании шоферов стояло несколько груженных машин. Гриша снова сел за руль, и мы опять поехали. Так он сидел за рулем, пока не была вывезена вся материальная часть самолетов СБ. Надо сказать, что фашисты бомбили здесь неважно, бомбы их падали то в море, то на город, кораблям ущерб не нанесли. Но рука пятой колонны действовала и здесь.

В первое время со светомаскировкой дело было не везде хорошо поставлено. И тут, как назло, перед налетом вражеских самолетов появлялись сигнальные огни: недалеко от нас, где мы занимались разгрузкой, вдруг ярко засверкали большие окна подстанции.

Несколько человек и мы с Гришей побежали туда, чтобы поймать диверсанта и погасить свет. Никого вокруг не нашли, двери были закрыты. Тогда Гриша нашел кусок железа, взломал дверь, выключил рубильники. Сразу стало темно вокруг. В эту злую зенитка стоявшего здесь недалеко корабля сбила один фашистский самолет, который упал за городом...»

Из письма В. В. Пузейкина ³:

«Мы познакомились с Григорием Илларионовичем в Испании в 1937 году.

В период подготовки к Сеговийской операции к нам на аэродром Алькала-де-Энарес, на самолете СБ, их в Испании называли «катюши», прилетел экипаж Григория Илларионовича Тхора. Штурманом у него был Андрей Ефимович Конотопов. Г. И. Тхор был небольшого роста, курчавый, лоб открытый, взгляд серых глаз спокойный, уверенный. Его самолет стоял метрах в пятидесяти от моего истребителя «И-16». Каждый день по три-четыре раза экипаж Тхора надевал меховые комбинезоны, унты (это при жаре свыше 30 градусов в тени) и вылетал на разведку аэродромов, портов, расположений штабов, скоплений войск и переброски их по автомобильным магистралям. Наиболее подходящие цели экипаж бомбил. Летал он на Бургос, Севилью, Саламанку и Кадис — над территорией, занятой фашистскими войсками. В сопровождении истребителей Тхор не нуждался, так как поднимался на большие высоты, где экипажу приходилось пользоваться кислородными приборами.

Иногда я подходил к Григорию Илларионовичу и беседовал с ним о результатах разведки, бомбометания, наличии истребителей противника на аэродромах и в воздухе. Были беседы о личных делах и планах. Оказывается, Г. И. Тхор уговорил командование оставить его в Испании для завершения ста боевых вылетов.

Помню и о том, что экипаж Г. И. Тхора проверил возможности СБ на предмет лидирования истребителей с аэродрома Алькала-де-Энарес до аэродрома Сантандер и обратно без посадки».

Из письма Я. А. Попова:

«Пришло время возвращаться на родину. В Альбасете мы опять встретились с Гришей... На пароходе, пока плавыи, делать было нечего, и мы вспоминали прошлое.

— Еду я как-то на легковой машине по дороге севернее Альбасете,— рассказывал Гриша,— и вижу: на обочине дороги стоит груженная провизией двуколка, рядом лежит убитый мул, вокруг ходит мужчина и с ним мальчик лет двенадцати, оба плачут и разводят руками. Остановил машину, расспрашиваю. Оказалось, что грузовая машина бортом ударила мула в голову, он упал — и готов. Спрашиваю, где поблизости можно купить мула. «Вот здесь, недалеко,— отвечает хозяин,— сколько хочешь есть, были бы деньги». «А сколько примерно стоит мул?» «От 60 до 80 песет». У меня было тогда в кармане около 150 песет, говорю хозяину: «Оставь здесь мальчика, сам садись ко мне в машину, поедем со мной». Хозяин смотрит на меня с недоверием и не двигается с места. Тогда я говорю ему: «Я пилотос русос». Вижу, он сразу стал смотреть на меня как на своего спасителя. «Вива Русия!» — крикнул он, и оба стали обнимать меня — он и мальчик. Этот момент был настолько трогательный, у меня у самого на глазах чуть слезы не появились... Мальчик остался возле двуколки, а мы с хозяином поехали, быстро купили хорошего мула за 80 песет, потом я зашел в магазин, купил чемодан, набил его не очень дорогой мануфактурой песет на 50 и отдал хозяину. «Оденешь,— говорю,— свою семью». Он сперва не хотел брать чемодан. «Хватит мне мула,— говорит,— я вечно буду перед вами в долгу за одного мула». Наконец взял все-таки чемодан, дал мне свой адрес и говорит: «Приезжай ко мне обязательно, и я и вся моя семья встретим тебя как самого дорогого, как самого лучшего человека на земле». Мы распрощались. Заехать к нему так и не пришлось, но адрес почему-то храню...

Из Одессы мы прибыли в Москву всей группой. Михаил Иванович Калинин вручил нам награды. Григорий Илларионович был тогда награжден двумя орденами Красного Знамени.

Потом мы разъехались по своим частям».

Из рассказа Ф. Д. Луцаева ⁴:

«Впервые с Григорием Илларионовичем Тхором мне довелось встретиться весной 1937 года, когда он прибыл в Забайкальский военный округ.

³ Пузейкин Владимир Васильевич — генерал-майор ВВС. В годы Великой Отечественной войны командовал авиадивизией, защищавшей Ленинград.

⁴ Луцаев Федор Дмитриевич — генерал-майор в отставке. В Отечественную войну командовал авианолком. Живет в Харькове.

Часть и 8-я авиационная эскадрилья, в которой я служил и командовал 2-м авиаотрядом, были вооружены самолетами «Р-5», и одновременно летный состав переучивался на самолет СБ.

Умение видеть ошибки летчиков, тут же анализировать их — одна из главных командирских особенностей Григория Илларионовича. Иным из нас казалось, что раз поднялся в воздух, то скрылся с глаз, никто не заметит промахов. Но скоро все мы убедились в обратном. Командир и с земли в стае серебристых машин, поднимающихся в поднебесье, видел неправильный разворот одного, повышенный угол планирования у второго, резкость движения штурвалом у третьего. После приземления летчика ждал детальный разбор полета. В следующий раз, взлетев в воздух, экипаж старался как следует выдержать все элементы техники пилотирования.

Примерно две трети летного времени командир проводил на старте. К исходу летной смены он успевал сделать замечания почти всем летчикам части, и на разборе оставалось лишь обобщить наблюдения.

Речь его была так проста и непосредственна, а слова произносились так весомо и значительно, что собеседник сразу попадал в плен его мыслей.

— Вы хорошо летали сегодня, — хвалил командир летчиков, — но вот с началом полетов опоздали почти на целую минуту! — Тхор делал ударение на последних двух словах, сосредоточивая внимание летчиков на них. И после паузы продолжал: — Что значит одна минута в боевой обстановке? — И опять пауза. — При современных скоростях опоздание даже на полминуты, на секунды может привести к тому, что бомбардировщики, вылетевшие для нанесения удара по противнику, не только не достигнут цели, но и сами поставят себя под огонь.

И Григорий Илларионович снова и снова приводил примеры из опыта боевой работы в Испании.

— Берегите время, товарищи, не растрачивайте его попусту ни в личной жизни, ни в военной службе. Время нельзя остановить, чтобы подправить упущенное. За упущенное сегодня мы кровью будем расплачиваться в боях».

Многие летчики-забайкальцы помнят, с какой радостью встретил Г. И. Тхор заместителя начальника Военно-Воздушных Сил Красной Армии Я. В. Смушкевича и прилетевших с ним на инспекторскую проверку Героев Советского Союза И. И. Прокурова и Г. М. Прокофьева, вместе с которыми воевал в Испании. Спрос был строгим, без всяких скидок на заслуги командира и нелегкие условия базирования (аэродромы, гарнизоны только строились). Но часть выдержала экзамен.

— Молодцы! — сделал заключение комкор Смушкевич.

Сразу после подведения итогов инспекторской проверки Смушкевич и Тхор улетели в Читу. В штабе округа Смушкевич поставил задачу: подготовить 20 самолетов «ТБ-3» для доставки военных грузов в Китай. Командиром группы был назначен Тхор.

Осуществить перелет из района озера Байкал, через Монголию, над безлюдной пустыней Гоби, через малоизведанные горные хребты в Китай — дело весьма сложное. Забайкальским летчикам во главе с Тхором фактически предстояло открыть трассу протяженностью более двух тысяч километров.

О том, как развивались военные действия в Китае, какова была роль советских добровольцев и военных советников, рассказано довольно подробно в сборниках воспоминаний «На китайской земле» («Наука», 1974), «В небе Китая» («Наука», 1980) и других. Нам хотелось бы подчеркнуть лишь два факта.

В марте 1938 года исполняющему обязанности главного советника по авиации в китайской армии П. Ф. Жигареву было рекомендовано задержать полковника Тхора в Китае и поручить ему организацию обучения китайских летчиков.

Спустя два с небольшим месяца вопрос о назначении Тхора военно-воздушным атташе и главным советником по авиации в Китае обсуждался у наркома обороны в присутствии Я. В. Смушкевича и П. В. Рычагова, только что возвратившегося из Китая. Их доводы оказались настолько убедительными, что нарком сразу же подписал приказ и дал распоряжение Тхору приступить к исполнению своих новых обязанностей без вызова в Москву. Это было в июне 1938 года.

В мае 1939 года Тхора отозвали в Москву. Чан Кайши принял полковника Тхора перед отлетом и вручил ему орден «За заслуги» 4-й степени. Китайский текст в наг-

радной грамоте гласил: «Награждается за заслуги в строительстве и боевых действиях воздушных сил страны».

Из рассказа М. И. Потапова:

«Во время Халхин-голской операции я был заместителем комкора Георгия Константиновича Жукова. Авиационную разработку операции осуществлял комкор Смушкевич, помощником у него был по истребительной авиации комбриг Денисов, и для планирования действий бомбардировочной авиации вызвали Тхора. Вот там, на КП Жукова, мы встретились с Григорием — впервые после Ленинанкана. Был он тогда, как и я, комбригом. На груди три ордена Красного Знамени, орден «Знак Почета» и еще какой-то китайский орден. После Халхин-Гола он был награжден четвертым советским орденом — орденом Ленина. Оба обрадовались встрече. Обнялись. Поздравляли друг друга с успехами. Конечно, Тхор высоко шагнул по служебной лестнице за каких-нибудь десять лет. Не каждому из нас довелось тогда пройти такой боевой путь. От Смушкевича я тогда слышал, что Григорий проявил себя в Испании искусным авиационным разведчиком и правильнее было бы поручить ему разведывательную службу ВВС. А Яков Владимирович был в ту пору, пожалуй, самым опытным и зрелым военачальником в нашей авиации, самым авторитетным. К его оценке Тхора следует и сейчас относиться серьезно.

Итак, на Халхин-Голе я встретил в лице Тхора зрелого, серьезного, вполне сформировавшегося начальника. Я был рад за своего сослуживца.

После халхин-голских боев Жуков проводил в Хабаровске большой разбор боевых действий. Среди командиров, показавших зрелость при планировании наступательной операции в районе реки Халхин-Гол, Жуков назвал и Тхора.

У Жукова была феноменальная память. Он никогда не забывал фамилий командиров, проявивших себя когда-либо при нем. В дни оборонительных боев на киевском направлении в 1941 году, побывав у меня в 5-й армии, Георгий Константинович спросил:

- Что нужно сейчас армии?
- Подбросьте авиации, особенно бомбардировщиков для подавления резервов противника.
- Сколько у вас бомбардировщиков?
- Практически авиадивизия Тхора.
- Того самого? Халхин-голского?
- Да, — ответил я.
- Тогда не жалуйся, этот комдив сработает за две-три дивизии, — ответил Жуков».

Начало войны застало генерала Тхора в Харькове, где он инспектировал спецшколу ВВС.

К полудню 22 июня Григорий Илларионович по устному распоряжению генерала Птухина направился в 62-ю авиадивизию — заместить командира, который заболел и оказался в госпитале. В дальнейшем Григорий Илларионович так и исполнял обязанности комдива 62-й.

Из записей М. И. Потапова, командовавшего 5-й армией:

«В критический момент прибыл ко мне генерал Г. И. Тхор. Новая встреча. Чем хорошим можно поделиться? Ничем. Сказал Григорию, чтобы немедленно организовал удары с воздуха по врагу. Просил, чтобы поддержал бомбами 135-ю стрелковую дивизию, которой приказано перейти в контратаку. Вместе со 135-й будут наступать 215-я моторизованная и 19-я танковая дивизии. Григорий пообещал сделать все от него зависящее.

На луцком направлении противник остановлен. Немецкое командование вынуждено бросить значительную часть своих танковых сил в обход нашей 5-й армии с юга.

Так завязалось крупнейшее танковое сражение первого периода войны, разгоревшееся в конце июня в треугольнике Луцк — Броды — Ровно и задержавшее наступление главной ударной группировки противника на юго-западном стратегическом направлении на целую неделю. В это сражение постепенно было втянуто с обеих сторон свыше полутора тысяч танков...

Пятый день войны. Несмотря на огромное превосходство в силах, гитлеровские

войска не смогли подвинуть нашу 5-ю армию. Но я чувствовал, что у фашистов имеются под рукой давно готовые свежие резервы, чего не имел я.

Шестой день войны. Дивизии армии медленно отходят. И с этим отходом дух сопротивления наших воинов крепнет. Проходит растерянность, вызванная внезапностью нападения и подавляющим численным превосходством врага. Проходит у бойцов и танкобоязнь. Но одной храбрости и стойкости для обуздания фашистов недостаточно.

В эти тяжелые дни все более эффективную помощь армии стали оказывать наши летчики. Особенно мои благодарные мысли обращались к бомбардировщикам 19-й и 62-й дивизий, разившим резервы врага и важные тыловые объекты, наносившим сосредоточенные удары по группировкам фашистских войск, устремившимся в глубь нашей территории. Просматривая письменные доклады командующего ВВС армии, я с благодарностью думал о моем Григории Тхоре. Чувствовалась его командирская зрелость в управлении полками дивизии.

Когда противник прорвался к реке Случь, нас здорово выручили летчики Тхора. Благодаря интенсивным бомбардировкам вражеской техники, живой силы и его резервов 62-я бомбардировочная авиадивизия задержала наступающие войска противника на рубеже Случи ровно на три дня».

Из письма А. Ф. Федорова, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора:

«Григория Илларионовича Тхора я встретил в самое трудное время — в июне 1941 года. В кабинет секретаря обкома партии, должность которого я занимал тогда в Чернигове, зашел небольшого роста генерал в авиационной форме и представился, что он прибыл исполнять должность командира авиационной дивизии, штаб которой находился в областном центре. На груди я увидел пять орденов, а на скуластом лице очень серьезные и озабоченные глаза. Я тут же подумал, что этот генерал как раз и поможет нам решить те вопросы, которые в тот момент трудно было решить... Мы ломали голову, где взять оружие, чтобы вооружить народные формирования, а затем и заложить его в потайные места на случай борьбы с врагом в оккупации.

Товарищ Тхор пообещал, что как только разберется с делами дивизии, сразу окажет нам помощь и людьми и оружием. Все это он выполнил немедленно...

Я видел, как с первых дней боевых действий летали летчики его дивизии, как летал Тхор и как он глубоко переживал потери. Однажды при вражеской бомбежке, отказавшись от укрытия, стоял и плакал от беспомощности...

Помню день 3 июля. В моем кабинете слушали речь товарища Сталина. Были все очень внимательны, напряжены. Когда смолкло радио, генерал Тхор первым произнес: «За все фашисты рассчитаются собственной кровью»...»

Из записей М. И. Потапова:

«10 июля 1941 года. Войска 5-й армии начали контрудар с южного участка Коростенского укрепленного района в направлении на Новоград-Волынский и Червоноармейск.

11 июля 1941 года. Части и соединения армии перешли к обороне. Наступают мощные танковые эшелоны 1-й танковой группы противника. Между главными силами фронта и нашей 5-й армией образовался разрыв в пятьдесят — шестьдесят километров.

Снова переходим в контрнаступление с южного участка Коростенского УР в направлении на Новоград-Волынский и Червоноармейск. Достигли рубежа села Ивановка, что в восьми километрах северо-восточнее Новоград-Волынского. Считаю, что задача дня выполнена: контрудары вынудили противника приостановить свое наступление на подступах к Киевскому укрепрайону.

Из-за резко меняющейся обстановки часто прерывается связь с КП фронта. Выручает связной самолет, присланный Г. И. Тхором. Молодец старый однополчанин! Бывший пехотинец знает, что может случиться в бою и что значит связь в такой обстановке с вышестоящим командованием. Хотя бы знать: что делается у соседей, на наших флангах? Ведь от этого зависит исход принятых нами решений.

Неужели враг прорвется к Киеву? Нет, этого нельзя допустить.

14 июля 1941 года. Вызвал связной самолет из 62-й авиадивизии. Почему-то при-

летел сам генерал Тхор. Взглянув на него, вижу, как похудел Григорий, но чисто выбрит, подтянут, на кителе ордена.

— Что сам?

— Узнать обстановку, чтобы по своим не ударить.

— Она быстро меняется, так что следи сам с воздуха, где свои, а где чужие. Возвращайся к себе и пошли командующему фронтом Кирпоносу донесение вот на этой карте. Механизированные части Пятой армии перерезали шоссе между Новоград-Волынским и Житомиром (тридцать километров западнее этого города). Против войск Пятой армии действуют шесть пехотных и две моторизованные дивизии противника, которых стараемся не пропустить к Киеву. Вот тебе и обстановка... Действуй против этих войск фашистов».

Сковав резервы группы армий «Юг», 5-я армия выполняла в те дни трудную и чрезвычайно важную задачу: отвлекала силы противника от Киева.

Ожесточенные бои за населенный пункт Малин на участке железной дороги Коростень — Киев начались с утра 16 июля. За два последующих дня нашим войскам даже удалось несколько продвинуться на юг, но потом они вынуждены были остановиться, удерживая в своих руках Малин более десяти дней.

Что означал этот срок в те критические дни? Того же 16 июля немецкие танки, обойдя правый фланг советской группировки в районе Бердичева, заняли Белую Церковь и приблизились к Киеву до каких-нибудь двух десятков километров. А на северо-западе войска генерала Потапова не подпускали фашистов к столице Украины на расстояние меньше восьмидесяти километров...

Оставил Малин отметку и в боевой биографии Тхора-летчика. Бомбардировщик, пилотируемый генералом, был взят в клещи десятью «Me-109». Это случилось над излучиной реки Тетерев. А Тхору до заданной цели оставалось еще километров тридцать. Эти километры оказались поистине эскортом смерти. Немецкие летчики, окружив русский бомбардировщик, вначале не поняли, что делает обреченный экипаж советского самолета. Немцы даже не открывали огня, считая, что пленнику остается одно: идти за «мессершмиттами» на посадку. Но Григорий знал, что ему делать.

— На борту бомбы, и мы обязаны ударить по фашистским пушкам,— сказал Тхор экипажу. — Смотрите вниз — и все поймете сами.

Севернее Малина, вокруг высоты 184, действительно кипел ад кровешный. Полки 45-й стрелковой дивизии генерала Шерстюка снова и снова поднимались в атаку, но шквальный огонь прижимал их к земле. Туда на помощь братьям-пехотинцам и стремился провести свой СБ генерал Тхор, не обращая внимания на окружившие его фашистские истребители. И лишь когда он довел СБ до немецких батарей, которые били по нашей пехоте, бомболюки открылись, и самолет вздрогнул от срыва бомб с держателей. Ошеломленные фашистские летчики пришли в ярость. «Мессершмитты» энергично начали отворот, увеличивая дистанцию для прицельного огня. Тхор на это только и рассчитывал. Virtuозным движением рулей мгновенно бросил машину в переворот через крыло, чего не ожидали фашистские летчики от громоздкого и тяжелого двухмоторного бомбардировщика.

Немецкие зенитчики, на глазах которых советский бомбардировщик ушел от истребителей, открыли ураганный огонь. Разрывы спереди, слева, справа, внизу, сверху. И вдруг глухой удар. Машину подбросило, затем резко накренило и потянуло к земле: заклинило рули управления.

Тхору все-таки удалось выйти в горизонтальный полет и ценой огромных усилий дотянуть до Днепра, а затем и к берегам Десны и мастерски посадить самолет в поле у села Моровск.

Стрелок-радист получил тяжелое ранение. На счастье, в Моровске оказалась больница с опытным хирургом.

В Чернигов добрались поздно вечером. В дивизии переполох: нет комдива! Больше всех волновалась Диана, приемная дочь Григория Илларионовича. Перед войной она находилась в мозырском платном детском доме, и когда фронт приблизился к этому району, Тхор по совету Потапова взял ее к себе в дивизию. Теперь она уже работала телефонисткой на дивизионном узле связи и одной из первых узнала, что отец не вернулся...

«Протокол № 7 партийного собрания в/ч 4212 от 19.07.1941 года.

Отсутствуют 33, из них 22 не вернулись с боевых заданий, но не сняты с партичета, 11 человек улетели на бомбежку атакующего врага у города Коростень.

На собрании присутствуют начальник политотдела 5-й армии бригадный комиссар Е. А. Кальченко и комдив Г. И. Тхор.

Регламент работы: доклад до 10 минут, выступления — 3 минуты.

Слушали:

задачи армейских коммунистов по защите Киева (Е. А. Кальченко).

Выступили: (воздушная тревога, перерыв).

Постановили:

дальнейшее отступление — позор. На подходах к древнему Киеву враг должен найти себе могилу, и он найдет ее, если каждый фронтовой большевик наконец поймет и убедит рядом идущего в бой товарища, что сейчас к нему с мольбой и надеждой обращены советские люди: спаси меня, спаси Родину. Вы слышите этот зов? Это и есть тебе приказ, коммунист. По самолетам!»

Из характеристики боевой работы Г. И. Тхора:

«Смелый, решительный, опытный командир. В должности зам. командира 62 АД многим способствовал и обеспечивал сокрушительный удар по уничтожению противника...

Личный состав дивизии в числе 4-х авиационных полков действовал в составе ВВС 5 Армии Юго-Западного фронта.

За период войны с германским фашизмом проявил исключительно высокую боеспособность, мужество и героизм...

Сам т. Тхор является опытным боевым командиром и организатором, умеет своим опытом, стойкостью увлечь и поднять дух молодого летного состава для решительного удара и разгрома противника в любых условиях...

За отличные показатели по разгрому противника 62-я авиационная дивизия представляется к высшей правительственной награде — ордену Красного Знамени.

Командующий ВВС Юго-Западного фронта
генерал-лейтенант авиации
Астахов.

Военкомиссар ВВС Юго-Западного фронта
дивизионный комиссар
Гальцев.

27 июля 1941 года.

Юго-Западный фронт».

В разгар сражения под Киевом Григорий Илларионович выразил мнение, что не мешало бы перебазировать за Десну громоздкие тылы 62-й авиационной дивизии. Однако командование Юго-Западного фронта потребовало предпринять все возможное, чтобы не пропустить врага к Чернигову; все войска оставались на местах, разрешалось лишь несколько выправить линию фронта 31-го стрелкового корпуса от Днепра на восток.

Бесперывные воздушные бои на протяжении двух месяцев, потери без единого пополнения материальной части и летного состава обескровили авиадивизию.

В 5-й армии в те дни побывал член Военного совета фронта М. А. Бурмистенко. Он отметил боевое настроение личного состава дивизии, и прежде всего самого ее командира. Иван Христофорович Баграмян запомнил, как при докладе члену Военсовета фронта о положении Чернигова Потапов говорил, что Чернигов непрерывно подвергается вражеской бомбардировке, разрушена железнодорожная станция.

Между тем положение 5-й армии становилось чрезвычайно тяжелым. Противник достиг Десны у населенного пункта Салтыкова Девица, в тридцати пяти километрах юго-восточнее Чернигова, и 6 сентября нанес оттуда удар по тылам армии. Гитлеровское командование бросило две дивизии вдоль западного берега Десны на Чернигов. В центре этого людского и огневого круговорота оказались полки дивизии Тхора. Авиаторы, базировавшиеся на полевом аэродроме у села Кладковка, в пятнадцать кило-

метрах юго-восточнее Салтыковой Девицы, вынуждены были взять оружие и защищаться от переправившихся через Десну фашистов.

Узнав о случившемся, Тхор немедленно прибыл в Кладковку. Заходящий на посадку «У-2» обстреляли с земли. С западной окраины села доносилась частая стрельба. На слух генерал определил, что стреляют из винтовок, немецких автоматов и наших авиационных ШКАСов. Григорий Илларионович моментально оценил обстановку. Фашисты быстро накапливают силы на занятом плацдарме для удара по Чернигову. Но они не откажутся и от захвата русских самолетов, на которые внезапно наткнулись.

Летчики, штурманы, воздушные стрелки-радисты, техники и все остальные наземные специалисты полка отбивались от вражеских мотоциклистов-автоматчиков на правом берегу речушки, проходящей по границе аэродрома с юга на север и впадающей в Десну. Пока эта речушка спасала авиаторов, принявших непривычный наземный бой.

Генерал Тхор вывел из боя часть техников, чтобы они могли заняться подготовкой самолетов к вылету, приказал летчикам особенно не лезть на рожон, а наиболее отчаянных просто удалил с поля боя. Среди таких оказался и командир авиаполка майор Донченко.

— Главная задача — спасти самолеты, — внушал комдив. — А вы в этом бою можете потерять летчиков. — И отдал распоряжение: — По мере готовности каждому экипажу взлетать и садиться в Конотопе, Ворожбе или Лебедине.

Тхор называл запасные аэродромы, на которые должна была перебазироваться 62-я авиадивизия по предварительному, еще не утвержденному плану авиационного командования фронта.

Бомбардировщики уходили в воздух один за другим. С каждым взлетом все яростнее и ожесточеннее нажимали фашисты. Иногда им удавалось пересечь мелководную речушку, но как только мотоциклисты появлялись на границе летного поля, их косили огненные стрелы авиационных пулеметов. Штурманы, стрелки-радисты вели огонь по врагу прямо с бортов самолетов.

Обстановка накалялась. На земле оставалось еще 11 бомбардировщиков. А дальше что? Кем и чем прикрывать отход наземного состава полка из Кладковки?

И тут свершилось чудо. Генерал-майор К. С. Москаленко, выполняя приказ командующего фронтом по организации контрударов, частью сил своего 15-го стрелкового корпуса ударил по вражеской салтыковододевицкой группировке. Хотя этот удар наших наземных войск из-за их малочисленности и не получился достаточно эффективным, однако фашисты на левом берегу Десны всполошились и оставили в покое аэродром.

Прислушиваясь к удалявшейся стрельбе, Тхор спешил закончить эвакуацию. Полковое знамя отправили с первым взлетевшим бомбардировщиком. Раненых и погибших начали размещать в кабинах последних самолетов.

— Похороним товарищей в спокойной обстановке. — Генерал Тхор взял горсть земли и положил ее у изголовья убитого авиамеханика...

Из писем Г. И. Тхора Ольге Григорьевне Тхор, которая стала его женой в 1933 году.

27 июня 1941 года:

«Конечно, тебе надоело меня ждать, но что поделаешь — такова участь жены командира Красной Армии. Однако теперь об этом не надо говорить. Фашисты хотят отнять у нас Родину. И на ее защиту стал весь советский народ. Поэтому немецко-фашистские захватчики будут уничтожены и мы с победой возвратимся домой. Для родных наших, для нас, фронтовиков, победа будет долгожданной, и она потребует терпения, выдержки, слез и крови».

10 сентября 1941 года:

«Фашисты лезут отовсюду, успевай только отбиваться. И мы их бьем, били и будем бить, потому что этот зверь несет каждой советской семье горе, разорение, уничтожение, смерть. В такой обстановке я не имею права жаловаться на трудности. Сейчас трудно всем. И знаю, Оля, что, связав свою судьбу со мной, тебе было нелегко и до этой войны. Но начавшаяся бойня надолго отучит воевать самых заядлых агрессоров. И тогда мы заживем на славу. Только сумей дождаться! В этом и будет великая доблесть солдатской жены, друга, товарища. Никогда не думай о смерти. Она не нужна никому и нам тоже. Я должен сражаться с фашистами до полного их разгрома и

с честью возвратиться домой, к своей дорогой семье. Вот тогда заживем! А пока поздравляю заранее с наступающим днем рождения мою родную кроху Тамару. Целуй дочь за меня»⁵.

15 сентября танки Гудериана, наступавшие с севера в направлении Лохвицы, соединились с танками Клейста, подошедшими сюда с юга. 5-я, 21-я, 26-я и 37-я советские армии оказались в полном окружении.

Маршал И. Х. Баграмян позже писал: «Войска наши бились внутри овала, вытянувшегося с севера на юг... Сплошной линии фронта не было. Всюду зияли, как раны на живом теле, огромные бреши, свидетельствующие о том, что на тех участках уже некому встать на пути врага».

Из записей М. И. Потапова:

«15 сентября 1941 года. Получено наиболее точное донесение авиаразведки, летал на разведку сам Г. И. Тхор, опытный и зоркий разведчик: немецко-фашистские войска соединились в районе Лохвицы. Значит, пути отхода всем войскам Юго-Западного фронта на восток отрезаны. Наша 5-я армия в полном своем составе оказалась в окружении. Противник получил возможность наступать в глубь Левобережной Украины.

18 сентября. Прилетал на «У-2» Григорий Тхор с приказом М. П. Кирпоноса: 5-й армии нанести удар в сторону Лохвицы, выходить из окружения на правый берег реки Сула, прикрыть отход 21-й армии от города Прилуки.

19 сентября. С остатками армии вышел к селу Городище, где получил приказ Кирпоноса прикрывать выход из окружения штаба фронта.

В Городище как из-под земли появился Тхор. Было ясное, солнечное утро. Его лучи отражались на орденах Григория. Одет он был, как говорится, с иголочки. Новый китель, выбрит, непохоже, что человек удручен. Спросил его, каким образом появился здесь крылатый авиатор. Григорий рассказал о событиях последних дней, сказал, что мог перелететь кольцо окружения, но ведь у него на совести целый штаб авиадивизии. Люди!

Я внимательно посмотрел в глаза Гриши. Да, это настоящий советский командир. Живет для людей. Совесть его чиста перед ними. Это главное для нас в той обстановке. Люди верили, что мы с ними и выведем их из тупика, в который попали вынужденно.

Г. И. Тхор сказал, что и приемная дочь Диана здесь с ним».

Из письма капитана Н. В. Чернова (в 1941-м — зам. начальника оперативного отдела штаба 62-й авиадивизии):

«...я возвратился в Чернигов, но там уже не застал наши полки и даже штаб дивизии. Стал отходить с какой-то наземной частью в расчете на то, чтобы пробраться в Борисполь, где по армейскому оперативному плану собирались все авиационные части, оказавшиеся в окружении. При подходе к Борисполю я встретил колонну автомашин с нашим штабом дивизии. Там был и генерал Тхор. Оказалось, что Григорий Илларионович, зная по опердокументам маршруты движения в особых случаях, добрался до Борисполя, ему дали в подчинение автоколонну какого-то батальона аэродромного обслуживания и приказали выводить эту громоздкую команду из окружения. Так мы попали в пирятинский поток окруженных войск нашего Юго-Западного фронта, трагедия которого описана участниками событий...

Там я еще раз окончательно убедился, что этот человек во имя людей не пощадит себя. Ведь мог же он вылететь из зоны окружения и на боевых самолетах, и на имевшемся у него «У-2» перед сдачей Чернигова. Но генерал не посмел оставить в беде людей».

Из рассказа майора Е. Н. Дорохова (запись 1949 года):

«В то время я, молодой младший лейтенант, состоял в охране штаба Юго-Западного фронта.

В ночь с 17 на 18 сентября под охраной нашего батальона штаб фронта миновал город Пирятин и направился к селу Чернуха. Но с севера, со стороны города Ромны, по нам ударили немецкие танки. Это было на рассвете 18 сентября 1941 года. Конечно, мы не могли противостоять танкам, свернули строго на юг и проселочной дорогой

⁵ Это письмо мужа Ольга Григорьевна получила из рук родителей генерала Тхора только после войны.

добрались к реке Удай. Левым берегом пошли на восток. Нас обнаружила вражеская авиация. «Юнкерсы» буквально утюжили каждый метр междуречья Удая и Сулы. Немецкие танки тоже гонялись за каждой группой окруженных, в том числе под их огонь попали и мы, штаб фронта. С нами были командующий фронтом генерал Кирпонос, начальник штаба генерал Тупикив, член Военного совета, секретарь ЦК КП(б) Украины Бурмистенко. Фашисты то и дело нападали на нас. Мы отбивались. Особенно много жертвнесли от «юнкерсов»...

Мы добрались в село Городище. Кирпонос приказал сделать привал на отдых. Как сейчас помню, в хату, где находился Военный совет и командующий Кирпонос, явился авиационный генерал. Я проверил документы: Тхор Григорий Илларионович. Он был в аккуратном генеральском кителе, с летным планшетом, Тхор подробно доложил обстановку, которую видел с воздуха. Все крупные населенные пункты вокруг нас находились в руках немцев...

Командующий приказал выходить из окружения отдельными, но связанными между собой группами. Во главе каждой группы поставлен генерал. Я сначала попал к генералу Потапову — командующему 5-й армией. Помню, что перед уходом из Городища Потапов с Тхором обнялись, попрощались. Потапов сказал:

— Ну, друг, ты с воздуха меня поддерживал, а теперь держись локтя моего на земле.

Пожал руку Тхору и Кирпонос...

В той суматохе пострадали многие. Как известно, погиб Кирпонос, в лапы немцев попали и генерал Потапов и генерал авиации Тхор...»

Последние бои генерала Тхора мы попытались восстановить по воспоминаниям Николая Викторовича Чернова (он попал в плен, бежал из концлагеря, сражался в партизанском отряде, а закончил войну в боевой авиации; ныне живет и работает в Хабаровске) и других очевидцев тех событий.

...Колонну Тхора беспощадно бомбили немецкие бомбардировщики. Вечером 21 сентября генерал Тхор собрал командиров и поставил боевую задачу на 22 сентября:

— К завтрашнему рассвету в полной тишине бродом переходим реку. Машины на ту сторону перекатим вручную. Сосредоточиваемся на левом берегу и, пока немцы отсыпаются, проскочим Загребелье — и Мелехами на Ждань. Оттуда к селу Хорошки, через Сулу, в свое время наши войска наводили там подводную переправу. Возможно, она осталась не замеченной противником. Если переправы не окажется, потопим технику и будем форсировать Сулу вплавь. За Сулой наши войска, — закончил генерал.

Речку Многу перешли удачно, как и намечали. Не запуская моторов, машины вручную перекатали на левый берег. Все лишнее выбросили из кузовов в лесу, чтобы поместить в них личный состав. И не просто поместить, а расположить так, чтобы бойцы могли во все стороны стрелять и бросать гранаты. В кабину первой машины за руль сел сам генерал, рядом Диана. По выбросу флага из кузова генеральской машины запустили моторы. Пошли!

Набирая скорость, шоферы вели машины низиной вслед за Тхором. Но вот грузовики выскочили на бугор и сразу навалились на большую группу вражеских автоматчиков. Это был один из воздушных десантов из специально подобранных головорезов, которых немало сбросили немцы, чтобы окончательно расчленить пирятинское окружение советских войск. Фашисты в черных комбинезонах, в черных касках, масках, с нашитыми на рукавах, спине и груди желтыми черепами. Увидев советские автомашины, десантники набросились на них. Заработали автоматы.

Группа Тхора не дрогнула. Тотчас по врагу застрочили две шкасовские установки, смонтированные на кабинах автомашин. В гущу разрисованных фашистов полетели авиационные гранаты. Гитлеровцы, спасаясь от осколков, разлетающихся на приличное расстояние, скрылись в глубоком овраге.

Тхоровская колонна проскочила к Ждани. Однако там на берегу речушки стояло 5—7 фашистских танков. Все! И этот путь перекрыт.

Опрокинув на обратном пути тех же черных десантников, снова выползших из оврага, Тхор отвел колонну к Загребелью, на прежнее место.

Ночь с 22 на 23 сентября прошла без сна. Приняли решение все-таки пробиваться на жданскую переправу.

— Только теперь краем болот выйдем на Городище, затем болотистым берегом

Сулы повернем на север и за селом Хорошки переправимся на левый берег, к своим. Маршрут этот труден для движения. Болота... Зато немцы не полезут в топи.— И генерал Тхор приказал: — Боеприпасов взять с собой столько, сколько может унести каждый, остальные закопать в землю. Машины вывести из строя и оставить в лесу.

Бойцы и командиры в считанные минуты выполнили приказание генерала. Уточнены старшие боевых групп.

Хвост колонны не успел выйти из лесу, как со стороны села Мелехи застрочили вражеские автоматы, засвистели мины. Первые же залпы фашистов были внезапны и точны. Некоторые повернули назад в лес. Генерал Тхор, находившийся впереди колонны, крикнул капитану Чернову:

— Возвратитесь! Идти только вперед!

Нетрудно было понять, что немцы засекали тхоровскую группу в лесу и только ждали рассвета, чтобы приступить к уничтожению окруженных.

После десятиминутной минометной пальбы фашисты начали приближаться к группе, пересекая путь колонне. Генерал развернул авиаторов фронтом к наступающим гитлеровцам, подал команду:

— Ложись! К бою!

Более часа длилась перестрелка. Тхор несколько раз поднимал бойцов, но сплошной огонь противника снова заставлял ложиться. Более того, немцам удалось отсечь тхоровцев и от леса. В предчувствии серьезного боя генерал еще до полного рассвета приказал окопаться. Но что это? Едва просветело небо, как с пирятинской стороны послышался гул авиационных двигателей. Вдоль Удая шла девятка трехмоторных транспортных самолетов. С высоты примерно в тысячу метров севернее села Городище они выбросили еще один большой десант в помощь мелехской вражеской группе, которая обозначила себя ракетами.

Обстановка усложнилась до предела. Выход один: снова скрыться в лесу.

А немцы тем временем со всех сторон повели наступление. Особенно яростно бросилось в атаку пополнение десантников. Самолеты, выбросившие их, начали бомбежку.

Десантники приближались, и в этот момент замолчала спаренная установка пулеметов ШКАС, которую удобно окопали в центре обороны и возлагали на нее большие надежды. Тхор подполз к ней, разжал на рукоятках пулемета пальцы убитого бойца, возобновил огонь.

Тхоровцев оттесняли к селу Загребелье. Что ж, это к лучшему. Отбиваться между домами — не в открытом поле. Снова налетели самолеты и выбросили прямо на оборонявшихся новую партию десантников. Раскрыв парашюты, фашисты еще с воздуха начали автоматную стрельбу.

Рядом с Тхором в окопе появилась Диана. Она увидела кровь на пальцах отца, но он не отпуская рукоятки пулемета. Потом закровило левое плечо. Сквозь разорванный китель кровь потекла на орден. У Дианы была с собой санитарная сумка. Не мешая отцу вести огонь, она как смогла перевязала рану.

Проглотив последнюю ленту, пулемет смолк.

— Патроны! — крикнул Григорий Илларионович.

Но их не было. Тогда генерал подхватил брошенную одним шофером винтовку и скомандовал:

— За мной! Вперед, к селу!

Уже совсем близко были крайние хаты.

Но вот по советским воякам ударили минометы. С головы Тхора слетела фуражка, он схватился за виски и плащмя рухнул на землю. Товарищи подхватили раненого генерала и понесли в село.

— Оставьте меня с Дианой, а сами вперед. Только вперед! Фашисты отступают...

Он уже не мог видеть товарищей, вступивших в свой последний бой,— лежал без сознания.

Рядом продолжалась жестокая рукопашная схватка. Диана, воспользовавшись тем, что осталась рядом с отцом одна, отвинтила все пять орденов с кителя Григория Илларионовича, вынула из внутреннего кармана партийный билет, удостоверение личности и, прокравшись за хату, зарыла сверток у первого попавшегося дерева на окраине села.

...Партийный билет Тхора Г. И. № 611169, датированный апрелем 1926 года, орден Ленина № 4937, ордена Красного Знамени № 923, № 20 (второй), № 7 (третий), орден

«Знак Почета» № 2839 до сих пор не найдены. Крайняя хата юго-восточной окраины села Загребелье сохранялась долго в довоенном виде, а вот под каким именно деревом были зарыты ордена и документы, Диана Тхор потом не смогла точно сказать, не запомнила. Да и до того ли было...

Под грохот не утихавшего боя Диана успела втащить отца в хату. С помощью хозяев, старика и его дочери, пыталась привести Григория Илларионовича в сознание.

Тем временем, вызвав танки, фашисты расправлялись с советскими авиаторами. Лишь незначительная часть раненых попала в плен, остальные были расстреляны и раздавлены гусеницами танков.

Местные жители долго называли то место мертвым. На неширокой полосе земли между селом Загребелье и рекой Многа остались сотни трупов...

Еще не смогли стоны умирающих за селом, как разрисованные черепами эсэсовцы начали рыскать по уцелевшим домам. Ворвались они в хату деда Антона — это имя Диана запомнила. Рядом с немцами Диана увидела рослого шофера в красноармейской форме.

— Это и есть генерал Тхор,— указал он пальцем.

Голос предателя привел Григория Илларионовича в сознание.

— Мое звание и фамилия названы правильно,— выделяя каждое слово, с трудом произнес генерал и повысил голос, обращаясь к шоферу: — Твое имя — предатель. Сними красноармейское обмундирование!..

На некоторое время генерала оставили в избе под охраной двух немецких солдат.

Около отца сидела Диана. Она только теперь начала осознавать все происшедшее. Взглянула на чужих солдат, на их черное одеяние, разрисованное эмблемами смерти, плотнее прижала к себе забинтованную голову отца.

Дед Антон принес кринку молока, но солдаты отобрали ее. Тогда дед подсел к Григорию Илларионовичу, заговорил негромко:

— Откуда же ты родом, сокол? Сказывай, при случае сообщу о тебе, потому как на доброе тебе рассчитывать нечего. С германцами я уже воевал и знаю их...

— Спасибо, батько, за заботу,— отвечал Тхор.— Только у меня будет другая просьба. Оставь, будь добрый, у себя дочь мою. Пусть она побудет здесь до нашего возвращения.

— Нет, папа, я тебя не оставляю,— возразила Диана.

— Не бойся, я не беспомощный.— Он поднялся и твердо стал на ноги.— Меня еще узнают эти молодчики...

Солдаты поняли, что речь идет о них, отложили еду, взяли автоматы. За окном заскрежетали тормоза автомашины. В хату вошли офицеры в черной гестаповской форме.

— О, генерал отлично себя чувствует,— сказал один из них по-русски и бросил взгляд на Диану.— Мадемуазель тоже с вами?

— Это моя дочь.

Остальные офицеры с интересом рассматривали генеральскую форму Григория Илларионовича. Они явно видели ее впервые. Потом гестаповцы вывели генерала, усидели вместе с Дианой в открытую автомашину и повезли в сторону Пирятина.

По дороге через села Вороньки, Чернухи, Макеевку тянулись колонны наших пленных. Понурые красноармейцы, командиры шли молча, не оглядываясь. В одном месте шофер машины, на которой везли Григория Илларионовича, начал сигналить, чтобы освободили дорогу. Пленные посторонились. Один красноармеец, увидев в машине Тхора, бросил с горечью:

— В машине генерала везут, а надо бы идти ему вместе с нами в этом позорном строю.

Как хотелось Диане, чтобы отец не слышал напрасного упрека! Но Григорий Илларионович уловил сказанное. Глядя на конвоируемую колонну, он вдруг встретил чей-то очень знакомый взгляд. Да, так и есть: Федя, Федор Лысенко, товарищ детских лет, верный друг в далекую комсомольскую пору. В горькую годину довелось встретиться... Не отрывая взгляда, Федор молча смотрел вслед машине, увозившей Тхора в сторону Киева

Из письма В И Тхора⁶:

⁶ Василий Илларионович, брат Г. И. Тхора. Бывший кадровый офицер Советской Армии. Живет и работает в Туле.

«Я хорошо помню товарищей Гриши. Это были передовые ребята, бесстрашные комсомольцы. Дружки Григория — Семен Символ, Федор Лысенко, Федор Волеваха, Степан Тхор и другие — вершили дела подлипенской молодежи: участвовали в раскулачивании, в борьбе с саботажем, самогонщиками. Часто собиралась молодежь на улице возле нашего двора: там лежала колода — толстое дубовое бревно, на котором собирались хлопцы и девчата. Гриша обычно запевал и играл на балалайке, а позднее на мандолине...

Я часто получал письма от Григория, когда он ездил по свету. Получил я и четыре письма с фронта. В последнем письме из Чернигова он писал, что послал машину к родным в Подлипное, чтобы «эвакуировать папу и мамочку и спасти от растерзания фашистами», это его слова. Гриша писал, что хотя наши солдаты отступают, но в жесточайших боях они уничтожают фашистскую стальную армию и живую силу и что не более чем через три года мы фашизм уничтожим в его же логове. Я писал ему незадолго, что после контузии под Смоленском послан начальником цеха, на это Григорий писал: «Васек! Даешь больше автоматов, пулеметов и гранат, мы победим!»...

Одним из первых, кто принес вести о Грише в Подлипное, был Федор Лысенко. Он рассказал, как, оказавшись в пирятинском окружении, видел генерала Тхора в гестаповской машине с забинтованными головой и плечом, рядом с девушкой.

В 1943 году сразу после освобождения Конотопа к нашим отцу и маме приезжала Диана в летной форме сержанта. Она рассказала, как попали они с Григорием в плен, что папа был тяжело ранен в голову и плечо. Диана больше месяца ухаживала за отцом, но когда их повезли в Германию, Гриша велел ей где-то вблизи польской границы бежать... Еще Диана рассказала, что ордена Гриши и его партбилет она закопала под деревом у крайней хаты села Загребелье.

Диана пробыла в Подлипном несколько дней и уехала в свою часть в город Нежин. Это было перед освобождением Киева⁷».

Из стенограммы допроса, проведенного в конце сентября 1941 года в Восточно-прусском разведцентре:

«— Вы первый советский авиационный генерал, оказавшийся в нашем распоряжении. Поэтому вы в определенном смысле можете сделать первый выбор должности в люфтваффе, если мы сразу найдем общий язык.

— Во-первых, я не добровольно прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы, а взят в плен на поле боя. Во-вторых, никакого общего языка у нас быть не может. Вы по-разбойничьи напали на нашу страну, я ее защищал и при любых обстоятельствах останусь советским генералом, не запятнав этого высокого звания.

— Напрасно делаете преждевременные заверения. Мы о вас знаем все. У вас огромные заслуги перед Советами. Но только они не оценили их. После Испании, правда, вас продвинули по службе. Как авиационного командира, организатора и летчика вас видели в Китае германские дипломаты и офицеры. А вот Сталин оставил вас после этого снова в Сибири, в ссылке. Только в этом году вас перевели в Киев, притом с большим понижением в должности, с заместителя командующего округом до заместителя командира дивизии... Да, не удивляйтесь, у нас давно заведена на вас карточка, и, надеюсь, не напрасно... Итак, начнем с организационного вопроса. Фюрер предусмотрел все. Командованием разработаны и утверждены специальные инструкции об организации для пленных русских отдельных благоустроенных лагерей. Всех, кто пойдет на службу к нам, надо будет переучить летать на германских самолетах. Для начала будете воевать в Африке против англичан, а там посмотрим... На Украине центр переучивания создается в Кировограде. Мне поручено предложить вам должность начальника этого центра. А далее — более высокие должности в германских люфтваффе, собственное имение на Украине, земля, леса... Словом, наш фюрер воздает каждому должное по заслугам...

Генерал Тхор потерял сознание. Вызван врач. Генерал пришел в себя и произнес:

— Истинного русского, советского человека, к которым себя отношу, никто не склонит на путь измены.

— Любовь к родине — святое дело. Только теперь ваша Россия станет провинцией

⁷ На этом ее след затерялся. Быть может, эта публикация позволит узнать что-нибудь о судьбе Дианы Тхор (Ивановской).

германской империи, и тогда у нас с вами будет одна родина. Так что, пока не поздно, принимайте наши предложения.

— Мой ответ останется одним: до последнего вдоха останусь на службе у моей единственной советской России, которая была, есть и будет, и оторвать меня от нее может только смерть.

— В Россию вам возврата нет. Там вас не ждут.

— Почему?

— В России вас объявили перебежчиком, изменником и приговорили к расстрелу.

— Вот как!

— Только мы можем еще помочь вам.

— Чем?

— Жену и дочь мы не сможем доставить к вам в Германию — их большевики уже выслали в Сибирь. А вот ваши родители в течение суток могут оказаться рядом с вами. Получите виллу, откроете счет в банке на приличную сумму. И все это за несколько ответов по вооружению советской авиации. Окажутся они правильными — за вами должность командующего национальной — русской — воздушной армией. Перспектива.

— Дорого платите за измену. Но я не собираюсь торговать родиной».

Из материалов допроса в главном штабе германских ВВС:

«— Руководитель Восточного направления главного штаба ВВС рейха хотел бы знать:

в каких восточных городах России есть авиационные заводы;
где функционируют авиационные школы и училища;
какова система обучения в них, сколько летчиков выпускает в год одна школа;
при каких метеорологических условиях летает средне подготовленный советский летчик;
летно-тактические данные серийных самолетов, состоящих на вооружении строевых частей;

боевые возможности 62-й бомбардировочной дивизии;
естественная убыль летного состава за период командования Тхора дивизией, пополнение ВВС Юго-Западного фронта за последний месяц войны.

— Я не пойду на измену и в Берлине. Я советский генерал и буду служить только советской России.

— Напрасно упорствуете, генерал. Россия как таковая рухнет под ударами германских войск. Остатки вашей армии вот-вот сдадут Москву.

— Тогда зачем вам такие обширные сведения о нашей советской авиации?

— Для истории. И советовал бы вам воспользоваться вниманием рейхсмаршала Геринга, пока не поздно. Вот еще один написанный по-русски вопросник: методы и способы бомбометания, применяемые советскими бомбардировщиками; точность попадания при различных метеорологических условиях; уязвимые места бомбардировщиков для истребителей; оснащение советских фронтовых аэродромов...»

Из записи последнего допроса:

«— В советской авиации вы стали известным и заслуженным генералом. Но почему же вас Советы понизили в должности?

— Не трудитесь напрасно и не пытайтесь пощекотать мое самолюбие. Я солдат. Когда на родину нападут, он обязан стать на ее защиту в любой должности».

Из записей в карточке пленного Г. И. Тхора:

«Большевик по убеждениям. Психологической обработке не подлежит... Офлаг XIII-Д».

Последнее означало: перевести в Хаммельбургский лагерь военнопленных-офицеров.

В аппарате разведорганов немецких ВВС работал Хорст Хайльман, участник антифашистского подполья Германии. Когда подпольная группа, в которой состоял Х. Хайльман, была раскрыта, он погиб в фашистском застенке. То, что Х. Хайльман знал о Г. И. Тхоре, стало известно со слов его матери Марии-Гертруды Хайльман:

«Хорст рассказывал, что в его заведении на Тхора, как и на других генералов, еще до начала боевых действий с Россией были полные досье. Он говорил, что лично

Геринг заинтересовался захваченным в плен русским генералом и принимает все меры к тому, чтобы склонить его на сторону немцев... В Восточном отделении разведуправления министерства авиации сосредоточивались подробные бумаги, где фиксировались отчеты всех проведенных бесед, допросов русского генерала, которые вел специально назначенный полковник нацистской авиации, настоящий гестаповец.

Хорст и его друзья по борьбе в Германии восхищались твердостью и непоколебимостью, верой в победу, проявленными коммунистом партии Ленина Тхором. Наши подпольщики-антифашисты рассказывали, что даже среди офицеров абвера, люфтваффе и гестапо находились такие, которые считали за личную честь стоять у охраны или сопровождать советского генерала на допросы. Такова была сила духа и пример стойкости этого необычного пленного».

Из служебной записки начальника лагерей и концлагерей для советских военнопленных XIII военного округа штурмбанфюрера Вольфграма, адресованной коменданту лагеря XIII-Д полковнику Пеллиту:

«Во время пребывания в наших лагерях и тюрьмах генерал русской авиации Тхор не перестроился в желательном для нас духе, по-прежнему непримирим, и отношения с ним осложнились до такой степени, что его следует пока держать в одиночной камере. Однако штаб-квартиры рейхсмаршала Геринга и адмирала Канариса обратились ко мне с надеждой, что, действуя по утвержденным мною инструкциям, вы сумеете найти с ним общий язык и все-таки убедите его в том, что если он правильно оценит сложившуюся для него ситуацию и пойдет навстречу нашим желаниям, его ждет хорошее будущее...»

Из воспоминаний советского офицера, узника Хаммельбурга Н. Т. Копельца:

«В тот день, когда привезли в лагерь генерала Тхора, старший переводчик комендатуры Оредат пришел в офицерский блок незадолго до вечерней поверки. Как бы ненароком он подошел ко мне и сказал:

— В карцер привезли летчика-генерала. Начальник конвоя сказал, что он настоящий герой.

Я сразу же направился к карцеру, вход в который находился с внешней стороны блока.

Под карцер использовалась часть полуразвалившегося барака, построенного еще в годы первой империалистической войны тоже для военнопленных. За массивной железной решеткой увидел человека с копной темных вьющихся волос.

— Здравия желаю, товарищ генерал. Не нужно ли чего?

— Кто вы?

— Я здешний переводчик.

— Откуда вам известно, что я генерал?

— Старший переводчик комендатуры сказал. Он нам иногда помогает, но вообще обстановка в лагере сложная, будьте осторожны, товарищ генерал.

Григорий Илларионович расспросил об обстановке в Хаммельбурге, о контингенте лагеря, какой режим для военнопленных, как зверствует гестапо. Однако окрик часового прервал наш разговор.

На следующий день о присутствии в лагере генерала узнали многие — и замерли в страхе: Тхор сбил с ног полицая. Случилось это во время раздачи брюквенной похлебки. Полицай открыл дверь карцера, внес миску.

— Вы кто? — спросил Григорий.

— Я майор, господин генерал.

— Мерзавец ты, а не майор!

И Тхор, обессиленный до предела в следственной тюрьме, вытолкнул полицая с такой силой, что тот повалился в снег. Вслед ему вылетела миска с похлебкой.

Однако инцидент этой охрана лагеря вроде бы не заметила, а генерала Тхора через некоторое время перевели в штаб-офицерский барак. Здесь он имел возможность общаться не только с переводчиком, но и с другими командирами Красной Армии, оказавшимися в тяжелой неволе.

Григорий Илларионович видел, как изможденных голодом, доведенных до отчаяния бесконечными издевательствами людей пытались вербовать в пресловутую «тру-

довую партию», обещая улучшить условия тем, кто вступит в ее ряды, соблазняя котелком супа, куском хлеба и сигаретами...

И однажды Тхор сказал — не понижая голоса, чтобы его услышали во время прогулки:

— Человек рожден не для того, чтобы во имя еды и собственного благополучия терпеть унижения, пресмыкаться, лгать и предавать. Ценность каждого из нас должна определяться той пользой, которую мы можем принести своей родине здесь, в лагере. Нужно бороться до последней возможности, пока есть силы. Наша задача — не гибнуть, а побеждать.

При следующем удобном случае генерал Тхор, не задумываясь над тем, кто его окружает, вновь заговорил:

— Пусть мы лишены возможности стрелять по врагу из огнестрельного оружия, но уходить с поля боя без сопротивления нам никто не дал права. Это было бы дезертирством. Здесь те же фашисты, что и на фронте. Поэтому в каждом из нас они должны почувствовать крепость родины, ее несокрушимость.

Убедить Г. И. Тхора вести себя более умеренно, осторожно, не демонстрировать открыто свою непримиримость не удавалось.

— Я знаю,— непоколебимо повторял он,— фашисты меня уничтожат. Так какой же смысл прятать свою ненависть к врагу и сопротивляться вполсилы? Пусть видят фашисты, что советский человек может отстаивать свою родину в любых условиях. А если мне удастся выбраться на ту сторону проволоки, ползком доползу к своим — сначала к партизанам. Они обязательно есть в Чехословакии, Югославии и Польше, а это не так далеко отсюда...

Григорий Илларионович все больше и больше обращал на себя внимание гестапо. Одно время мне пришлось работать в картотеке комендатуры лагеря над составлением уточненных списков военнопленных. Пользуясь случаем, я с помощью наших товарищей отбирал карточки с условными штампами. К концу работы был составлен целый список генералов и офицеров с пометками «подозреваемый», «подозреваемый в побеге», «опасный», «ненадежный». На карточке Г. И. Тхора стояли штампы «опасный», «подозреваемый в побеге». Карточки Д. М. Карбышева и Н. Ф. Михайлова тоже были помечены «подозреваемый», «опасный». Стало очевидно, что гестаповцам известно о деятельности подпольного комитета.

Решили вплотную заняться вопросами организации побега, а Григорию Илларионовичу строго законспирироваться, не вступать в споры, воздерживаться от стычек с начальством. Практически Тхор первым заговорил о побеге, и в комендатуре уже знают об этом. Значит, к генералу приставлены шпионы и ему на каждом шагу грозит опасность.

— В ответственный период мы можем потерять руководителя организации и поставить под угрозу все подпольное сопротивление,— сказали Тхору на заседании комитета.

На этот довод близких товарищей Тхор ответил:

— В лагере есть генералы, которые при надобности будут не хуже меня руководить борьбой военнопленных. Я же за спины товарищей прятаться не стану».

Из письма узника Хаммельбурга Н. Лебедева:

«Это произошло в конце августа либо в начале сентября 1942 года в Хаммельбургском лагере для русских военнопленных офицеров и генералов.

В полдень весь личный состав был выстроен на центральной дороге лагеря. Потом мы увидели, что к строю приближается группа немецких офицеров и лица в какой-то незнакомой форме. Один из пришедших в незнакомой форме встал на помост и потребовал внимания. Потом он заявил, что является полковником русской освободительной армии и призывает всех тех, кто желает с оружием выступить против Советов.

— Кто желает — выходи вперед!

«Полковник русской армии» снова громко повторил призыв, обещая что-то тем, кто выйдет вперед, но все было напрасно.

После этого вербовщик и свита высокопоставленных чинов направились в карантинный отсек лагеря. Там находились недавно захваченные в плен под Керчью. Многие были ранены.

Весь лагерь стоял на склоне. Карантин был ниже основного лагеря и отделялся от нас только проволочной изгородью в один ряд. Поэтому когда наш строй распусти-

ли, то все мы побежали к этой изгороди и стали ждать, чем окончится вербовка в группе керченских окруженцев.

Их было около тысячи. Они стояли в строю, а мы наверху, за проволокой. Чем-то все напоминало арену цирка. Вскоре подошла и свита офицеров. Все повторилось, как и перед нашим строем: «полковник» снова громогласно призывал выйти вперед тех, кто хочет сражаться против Советов. Но снова гробовая тишина. Повторяет второй раз... и в этой тишине прогремели два коротких, четким командным тоном произнесенных слова:

— Молодцы, ребята!

Все вздрогнули от неожиданности и повернули головы в направлении голоса. И не успело еще последнее слово смолкнуть, как я увидел в открытом окне генеральского корпуса человека. Он слегка высунулся из окна, словно с трибуны, потрясал кулаком правой руки, согнутой в локте. Одет он был в белую рубашку с засученными по локоть рукавами.

Снова наступила тишина. Казалось, все оцепенели на миг. Мы от радостной неожиданности, немцы и власовцы — от неожиданного полного поражения.

Им ничего не оставалось как круто повернуться и быстрым шагом уйти из расположения лагеря.

А по нашей толпе из уст в уста полетело словно на крыльях:

— Это генерал Тхор!..

Это событие воодушевило всех нас без исключения. Я тогда же ночью написал стихи и посвятил их генерал-майору Тхору...

Прошу Вас передать мой привет и низкий поклон всем родным и близким Григория Илларионовича. Мы, узники Хаммельбурга, будем помнить этого славного человека до конца наших дней, а память о нем в наследство передадим детям».

Из воспоминаний узника офлага XIII-Д К. Н. Кузьмина:

«Г. И. Тхор поставил нам задачу, чтобы во всех бараках были устроены воспоминания о Великой Октябрьской годовщине...

Утром я узнал, что вечера были организованы во многих бараках, и на следующий день во время утренней поверки было заметно, что люди стали бодрее и выглядели веселее. В строю только и слышны были поздравления с праздником».

Из воспоминаний А. К. Ужинского:

«Несмотря на частые вызовы в гестапо, Григорий Илларионович поставил перед подпольщиками задачу на 6 ноября.

— Мы обязаны отметить годовщину Октября при любых условиях,— потребовал Тхор от членов подпольного комитета.— Надо сделать так, чтобы эти воспоминания о родине подняли людям настроение, укрепили душевные силы. Хорошо бы получить свежую информацию о положении на фронте и действиях партизан. Найдите возможность посоветовать товарищам в блоках, чтобы они подготовили выступления — рассказы о родине, о том, что особенно дорого каждому... Хотя мы и оказались по горькой воле случая в фашистском застенке, бои для нас не закончились. Мы не имеем оружия, но мы остаемся командирами Красной Армии. Наша родина ждет от нас активных действий.

В торжественном молчании слушали узники генерала. Каждый из нас знал, что за одно лишь это празднование годовщины Великого Октября он будет немедленно расстрелян, если это станет известно гестапо... Каждому в этот необыкновенный вечер столько хотелось рассказать друг другу! И рассказывали. Вспоминали свое, самое заветное, дорогое...

Вечер в банном отделении закончился около полуночи. Но прежде чем разойтись, все стоя вполголоса спели «Интернационал». Пели тихо, с усилием сдерживая голос — хотелось петь во всю мощь легких...

Наступило утро 7 ноября. Военнопленные выходили на поверку. На стенах барачков виднелись написанные углем слова: «Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» На асфальте мелом написаны призывы: «Не верь врагу, помни Родину!», «Не бывать фашистам в Сталинграде!», «Наш пламенный привет героическим защитникам Сталинграда!». Из рук в руки передавали сообщения Совинформбюро, написанные на грубой желтой бумаге от продуктовых мешков.

Но сильнее всего, будто магнитом, притягивало начертанное кирпичом на бетонной стене гордое слово — «СССР». На асфальтированной дороге, где происходило построение, тоже белели эти дорогие четыре буквы. Люди повеселели, приободрились, иные наклонялись, стараясь погладить буквы на асфальте, поздравляли друг друга с праздником.

Недолго длилось это празднество. Охрана и полиция скоро разобрались, в чем дело, начали стирать, смывать все написанное.

Генерала Тхора арестовали...»

Из рассказа бывшего охранника Франца Мюллера (запись 1949 года):

«В марте 1942 года мне было приказано сопровождать генерала Тхора в город Хаммельбург, в офицерский лагерь. С приездом сюда генерала Тхора военнопленные заметно оживились. Вскоре мне стало известно, что русские собираются на тайные совещания. Результатом этого было ЧП по лагерю. В русский национальный праздник 7 ноября 1942 года охрана была поднята по тревоге. Мы стали срывать агитационные надписи на стенах казарм, барачков, смывать надписи на дорожках. Мой товарищ Шварц спросил меня, что написано на асфальте мелом. Я перевел ему: «СССР будет жить! Да здравствует Родина!»

Пошли аресты военнопленных. Арестовали и генерала Тхора, заковали в кандалы. Подобрали команду, в которую попал и я.

Вскоре арестованных повезли на аэродром, посадили в «Ю-52». Тхор держался бодро, даже весел был. Приземлились мы в Нюрнберге. Господина генерала отвезли в тюрьму для политических».

Из воспоминаний Н. Т. Копельца:

«Фашисты просчитались, надеясь, что с арестом Тхора они расправятся с нараставшим сопротивлением военнопленных. Организацию возглавил генерал-майор бронетанковых войск Н. Ф. Михайлов. Подготовка к побегу и работа среди военнопленных продолжались...

Постепенно наладились связи с немецкими коммунистами. Через них мы получали ценную информацию о положении на фронте. Вскоре один из них познакомил меня с австрийцем по имени Франц, работавшим во внутренней тюрьме.

Франц рассказал, что во второй половине декабря 1942 года ночью в закрытой автомашине привезли закованного в кандалы русского военнопленного-генерала, одетого в грязный полушубок; велели раздеться догола и, бросив какую-то рваную тряпку, напоминавшую короткие кальсоны, посадили в подвал, в сырую и темную одиночную камеру, не имевшую ни койки, ни стула, ни стола — глухие толые гранитные стены, железобетонный потолок, бетонный пол; воздух попадал сюда только через глазок в двери.

Генерала долго, зверски истязали, допрашивали... Остервеневший фашист, выкрикивая ругательства, успокоился только после того, как полностью разрядил маузер в уже бездыханный труп генерала...

В 1945 году в картотеке внутрелагерной канцелярии мне пришлось откладывать карточки умерших.

Раскладывая их по алфавиту, я обнаружил карточку Григория Илларионовича Тхора, на которой стоял штамп «особый режим» и в правом углу пометка. Как мне удалось позднее выяснить, она означала «выстрел в затылок».

Так расправились фашисты с пламенным патриотом нашей Родины».

В личном деле генерал-майора Г. И. Тхора сохранилась его автобиография. Она написана очень лаконично, практически мало чем отличается от анкеты. Но на ее обороте есть запись (такая же найдена нами в одной из рабочих тетрадей Г. И. Тхора). Это слова В. Г. Белинского:

«У всякого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты; и о человеке можно безошибочно судить только смотря по тому, как он действовал и каким он является в эти моменты, когда на весах судьбы лежала его и жизнь, и честь, и счастье. И чем выше человек, тем история его грандиознее, критические моменты ужаснее, а выход из них торжественнее и поразительнее»...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ



ЭКЗАМЕНУЕТ ЖИЗНЬ

Как получилось, что обобщающие статьи об итогах минувшего литературного десятилетия совпали с дискуссией перед Седьмым съездом писателей, и это придало выводам критиков и основательность ретроспекции, и определенность конкретной журналистской цели. Пожалуй, никогда еще не было такого обилия итоговых статей, анкет, «круглых столов».

Странно, но факт: характерные для литературы 70-х годов черты никто не определял как новаторство относительно 60-х. Наоборот, большинство критиков — А. Эльяшевич, М. Пархоменко, Вл. Гусев, А. Адамович — говорили об отсутствии сколь-нибудь значительных сдвигов, хотя и старались выявить не столько «зоны преемственности», сколько блики нового. Вот как звучит это, к примеру, у М. Пархоменко, который выделил «одну из наиболее характерных тенденций романа 70-х, составляющую его отличие от романистики 60-х годов: воссоздание и постижение основных ценностей человеческого бытия обогащается в романе последнего десятилетия настойчивым поиском ценностного идеала». Сказано достаточно решительно и в то же время достаточно осторожно: обогащается...

И нет ничего удивительного в том, что эти обзорные и концептуальные статьи, пытающиеся определить своеобразие литературы 70-х годов, побуждают спросить: а что же такое новаторство, новизна, новое в литературе? Тем более что при всем обилии, при всей напряженности попыток выявить глубинное движение сегодняшней литературы разговор о ее новаторстве не сколько угас в последние годы.

Попробуем же понять почему.

В свое время было много содержательных работ о принципиальном, качественном новаторстве советской литературы сравни-

тельно с литературой классической и современной зарубежной. Сейчас центр тяжести переместился на вопрос о непримиримом, отражающем непримиримость борьбы двух идеологий противостоянии в мировом масштабе двух методов — социалистического реализма и модернизма. А поскольку именно модернизм шумно претендует на «адекватное» выражение нового, современного, то сам ход идеологической и эстетической полемики побуждал и побуждает всесторонне раскрывать многообразнейшие преемственные связи социалистического искусства с гуманистическим и реалистическим искусством прошлых веков, чтобы показать беспочвенность модернистских новшеств, разрывающих с поступательным движением человеческой культуры, а не развивающих ее в новой историко-общественной обстановке.

Немалую роль играет и тот факт, что стало выходить много работ о своеобразии отдельных мастеров; проблема индивидуального стиля в различных ее ипостасях уже буквально заполонила вузовские «ученые записки». Познание индивидуальности художника с марксистски выверенных позиций, свободных как от вульгаризаторства, так и от культа непознаваемости «божественного дара», стало неременной составной частью наших воззрений на искусство. Но, бесспорно, оно в большей мере дает не столько картину движения, сколько мозаику различных художественных миров, обычно не соотносимых с другими ни в, так сказать, вертикальном, историческом, ни в горизонтальном, современном, измерениях.

Наконец, резко, то и дело выливаясь в полемику, обострился общественный интерес к традициям, их роли во всей сегодняшней духовной жизни, в том числе, разумеется, и в литературе, где они едвали-

гаются уже подчас в качестве не только бесспорного, но и единственного ориентира.

Если прежде новаторство противопоставлялось традиции, традиционному, то постепенно оно стало трактоваться уже лишь как продолжение, развитие традиций. А в последнее время эти слова даже ходить стали не равноправной парой, как раньше: традиции и новаторство, — а зачастую с неким предпочтением первому слову: опора на великие традиции, а не погоня за непрменным новаторством.

Впрочем, как бы там ни было, в свете этих трех могучих, прожекторной силы лучей — противоборство двух методов, интерес к индивидуальному стилю, желание прильнуть к традиции — померк вопрос о том, что же такое новаторство, будь то новаторство всей литературы или всего лишь новаторство предложенной художником поэтики.

Я уж не говорю о том, что постепенно слово «новатор» из некоего почетного титула стало несколько иронической характеристикой: слишком много громких, но оказавшихся несостоятельными претензий на звание новатора мы слыхивали.

Так сама проблема стала своего рода пропавшей грамотой. Вопрос о новаторстве обычно подменяется вопросом о вкладе, какой вносят тот или иной художник, то или иное произведение в современную художественную культуру. Новое понимается как своеобразное: не как противопоставление прежнему или существующему, а как дополнение. Перефразируя известные слова Платонова, можно выразить это как «а без меня литература неполная» (и ни в коем случае не как «литература, существовавшая до меня, устарела»). И это в конечном счете правильно. Нужно оценивать прежде всего вклад художника: идейный, философский, эстетический.

Принципиальное новаторство советской литературы в мировом художественном процессе явило себя — бесспорно и основополагающе — в коренных преимуществах самого метода социалистического реализма, в творческом опыте Горького, Маяковского, Шолохова, в воздействии отдельных выдающихся произведений: «Жизни Климса Самгина», «Тихого Дона», «Как закалялась сталь» и других.

Но новаторство, накопление нового коллективного опыта, новых изобразительных возможностей характерно и для сегодняшнего дня советской литературы, ее нынеш-

ней творческой практики — оно связано и с новыми явлениями жизни, и с новыми потребностями людей, которые улавливает художник, и с рождением новых, «незапрограммированных» талантов. Только, как всякая эстетическая категория, термин «новаторство» опутан множеством толкований и оценочных эпитетов (внешнее новаторство, формальное новаторство, истинное новаторство) и требует в каждом случае определенного уточнения. И прежде чем приступить к конкретному разговору, приходится всякий раз прояснять свою систему исчисления.

В книге «Преемственность в развитии литературы» А. Бушмин определял новаторство большого художника как «совокупный результат действительного проявления его таланта, жизненного опыта, заинтересованного отношения к запросам своего времени, высокой общей культуры и, конечно, профессионального мастерства, основанного на знании художественных образцов»¹.

Можно спорить о количестве и содержании параметров, предложенных в этой формуле, но сейчас нам важно подчеркнуть то главное, что содержится в ней: новаторство — совокупный результат. Причем здесь важны оба слова: и то, что совокупный, а не одномерный, и то, что результат, а не заранее поставленная цель.

Так, Чехов — новатор не по какой-то одной линии, будь то новое содержание, новый слой героев или жанр маленького рассказа, а во всей совокупности того, что мы называем чеховской манерой.

Истинное новаторство всегда связано с новыми возможностями постижения жизни, закрепленными в художественной практике, и возникает прежде всего как следствие нового угла зрения на действительность. В данном случае — чеховского угла зрения, обусловившего целостную и органичную чеховскую манеру. И здесь, конечно, степень художественной новизны зависит впрямую от степени художественной проницательности.

Конечно, новое может пробиться в любом элементе повествовательной ткани — языке, конфликте, сюжете, теме, жанре. Но все-таки в первую очередь новаторство обусловлено новым углом зрения — будь то индивидуальный художественный мир писателя или позиция определенного творческого направления. И, стало быть, основным источ-

¹ А. Бушмин. Преемственность в развитии литературы. Л. «Наука». 1975, стр. 137.

ником новаторства является жизнь: новые явления действительности, новые потребности людей, которые улавливает художник.

Новаторство невозможно без открытия новых жизненных пластов, но это не тематическое новаторство, когда новатором готовы объявить автора романа о людях профессии, еще не описанной в прозе: газовщиках, атомщиках, высотниках, водителях. Тематическая новизна тогда лишь имеет ценность, когда за ней открываются не локальные приметы жизни той или иной профессии, не «метод новой кладки», по ироничным словам Твардовского, а существенные процессы жизни.

В полемике с формалистами мы прочно утвердили примат новаторского содержания. Но не просто содержания, а такого, которое активно влияет на форму, ибо роман о газовщиках сам по себе не предполагает изменения формы сравнительно с романом о нефтяниках: меняются лишь внешние аксессуары, но не художественная структура.

Так, достоинства «Коробейников» А. Каштанова обусловлены не тем, что речь в романе идет о заводских снабженцах — «коробейниках», до того не представленных, как выражаются критики, в литературе, а раскрытием социальных процессов, которые вызвали к жизни само явление «коробейничества». Но, подойдя к краю глубокого жизненного разреза и заметив грозные осыпи, А. Каштанов убоился отверстой глубины и предпочел возвратиться на успокоительную торную тропу производственно-бытового романа, не имеющего художественно-предопределенных сюжетных границ. Освоение нового жизненного материала не получило должной художественной поддержки в традиционных, как мне видится, бытовых эпизодах, занявших большое место в романе. И оттого это новое по социальным коллизиям и радующее художественной пластикой отдельные сцены произведение невозможно определить как новаторское. Оригинальное? Пожалуй, да. Несущее в себе принципиальную художественную новизну? Увы, нет.

Проблемно-тематическое понимание новаторства отчетливо и крупно воплотилось в творческом пути Г. Николаевой. «Жатва» — результат поездок начинающего писателя, демобилизованного военврача, по колхозам послевоенной Горьковской области и некоторым южным краям (чтоб создать «корректив» наблюденному в не слишком-то изобильной Горьковской области). Это был роман о селе. Затем писательница совершила поездки на Сталинградский и

Харьковский тракторные заводы, и в итоге появилась «Битва в пути» с ее конкретным (может быть, даже излишне конкретным), взятым из жизни производственным конфликтом. А потом — по прямой логике такого метода художественного освоения жизни — пришла мысль о третьем шаге: роман из жизни ученых. И снова поездки — на этот раз в Дубну, к физикам, исследующим загадочный мир микрочастиц. Автор внимательно изучает их деятельность, особенно интересуется бытом и трудом женщин-ученых, видимо намереваясь создать научную ипостась крестьянки Авдотьи Бортниковой и заводского инженера Тины Карамыш. Безвременная смерть прервала работу над романом, была напечатана лишь первая глава.

Итак, писатель — в данном случае безусловно талантливый — специально знакомится с избранным для отображения участком производства, будь то завод, колхоз или научный институт.

Подобный метод и сейчас достаточно распространен: познакомиться с каким-либо участком жизни и, найдя там подходящий конфликт, способный удерживать противоборствующие персонажи, воссоздать этот участок, уповая главным образом на «антураж». Талантивому перу такой метод вполне подвластен: сегодня — водители, завтра — строители, послезавтра — нефтяники. Так, у М. Чулаки позавчера была повесть «Слесари, слесари, слесаря...», вчера «Тенор» — уже о солисте оперного театра сегодня «Прекрасная земля» — об участковом враче.

Подобный поиск получил в нашем обиходе название «хейлианство» — по имени Артура Хейли, доведшего этот метод в «Аэропорте», «Отеле», «Колесах» и т. д. до откровенного обнажения приема как в производственных описаниях, так и в «прокладочной» романической интриге.

В самом перемещении писательского интереса от одной производственной сферы к другой нет, разумеется, ничего крамольного, как нет его и в приверженности к одной сфере у В. Быкова, В. Белова или Ю. Крелина, В. Попова, А. Каштанова. Все определяется новизной и значительностью идей, конфликтов, художественных приемов, которые оказался способен ввести в нашу духовную жизнь писатель.

Впрочем, со времен Г. Николаевой заметных успехов этот метод не одержал: слишком выпирает неорганичность освоения такого художественного материала, отсутствие в нем связи с жизнью души художника. Упоение им могло родиться лишь в той

обстановке, когда верилось, будто единственная задача художника — отразить увиденное. Ныне мы понимаем, что отношение художника к действительности значительно сложнее, а роль его собственного духовного мира, его концепции действительности значительно важнее, чем то представлялось прежде. Мы уже усвоили, что художественная правда — это не обязательное воспроизведение жизни в формах самой жизни, а познание жизненных закономерностей, порой выявляющих себя противоречиво, парадоксально и оттого легко поддающихся разным формам художественного смещения, обнажающего суть этих закономерностей.

Уяснили мы также, что необходимо более здраво подходить к понятиям развития, движение литературы, не поддаваясь искусительному желанию объявить новое выше, лучше старого. С антиномией новое — старое в искусстве следует обращаться крайне осторожно. Развитие есть переход от одной фазы к другой безотносительно к их ценностному соотношению. И как в любом поступательном движении, одни элементы оказываются прочными, жизнеспособными, дающими плодотворные победы, а другие — недолговечными, несостоятельными, ложными. Шушлявая и мудрая поговорка «если б молодость знала, если б старость могла» прекрасно воплощает логику развития: одно возникает, другое угасает — жизнь продолжается. Речь идет не о превосходстве, не о торжестве нового над старым, последующего над предыдущим.

Существует поступательное движение литературы, которое складывается благодаря успехам отдельного произведения, отдельного мастера, отдельного направления, открывших новую тенденцию, новую возможность, новые изобразительные средства, ставящиеся общим достоянием. В процессе этого движения и происходит в искусстве постоянное обновление. Не замена, а именно обновление: возникают или усиливаются одни тенденции, ослабевают или отмирают другие.

Так, в середине 50-х и в 60-е годы, отвечая возросшему общественному стремлению к освоению жизненной правды во всей ее полноте, к достоверному, честному, свободному от приукрашивания художественному изображению действительности, в нашей прозе расцвел документализм.

Да, документальная проза дала, как известно, многие интересные книги; да, документализм повысил общий уровень достоверности в прозе. Но что скрывать, его радующие и несомненные успехи приучали подчас изображать и воспринимать лишь

строго фактические реалии, считать жизненный факт сильнее, убедительнее всякой выдумки.

Затем возникла волна психологической прозы с ее широким использованием внутреннего монолога, избавленного от непрерывного авторского «всеведения». Психологизм всегда был достойным реализма. Но не секрет, что классический реализм, как правило, все-таки ориентировался на социальную психологию, редко срываясь в глубины импульсивных, подсознательных движений. Но в конечном счете психологизм 60-х годов развивал важные исконные prerogative реализма, хотя внутренний монолог и встречался подчас в штучки критикой, поскольку не отвечал другому канону — показу человека в деле.

А в последние годы все более набирает силу тенденция условности, мифологизма, фантазмагории.

Опять-таки она возникла не на пустом месте. Этому содействовали самые разные стимулы: популярность «Мастера и Маргариты» со всей ее восточной; успех Маркеса с его свободным совмещением мифа и реальности, прошлого и будущего; понимание типизации не как изображения распространенного, массовидного, а как сгущения, концентрации и, следовательно, художественной трансформации действительности. И не жизненный конфликт, а нравственный вывод («ценностный идеал») стал главенствовать в прозе, значительно изменил ее стилистическую структуру.

Даже деревенской прозы коснулся этот процесс. Вначале была сугубо реальная повесть В. Белова «Привычное дело» и бытовая история в «Последнем сроке» В. Распутина, а затем возникло нарочитое сгущение красок в образе деревенского юродивого Богодула и мифологизация, вплоть до Хозяина острова, в «Прощании с Матёрой». После этого уже стало неудивительным наличие в реалистической «Живой воде» В. Крупина возникшего чудом источника, причем появление источника с «живой водой» — чудесно, а психологические реакции людей правдивы до «жизнеподобности».

И В. Орлов совершил аналогичную параболу: от реалистически-исповедальной «Соленого арбуза» через документальное «Происшествие в Никольском» — к фантазмагории «Альтиста Данилова».

Так происходит постоянное обновление вовлекаемого жизненного материала, художественных приемов, писательских концепций действительности.

Но хотя настоящее искусство всегда воссоздает то, что еще не увидено, не отраже-

но или не использовано искусством, это не значит, что оно в любом случае новаторское. Понятия «новое» и «новаторское» должны быть разведены.

Попробуем сначала обратиться к некоторым примерам.

Новым был для нашей литературы роман «Мастер и Маргарита», но был ли он новаторским? Стоит нам поставить этот вопрос: новатор ли Булгаков? — как сразу возникает следующий: новатор относительно с чем или с кем? Соотносительно с немецкими романтиками и Гоголем или со своими современниками — Фединым, Леоновым, Фадеевым? Имеем ли мы основания назвать Булгакова новатором лишь по той причине, что у него в отличие от Гофмана или Гоголя представлен социально иной художественный материал? Или по той причине, что у него в «Мастере и Маргарите» удивительно своеобразная на фоне реалистической советской прозы художественная структура, где не просто перекрещиваются два времени, а одно время органически входит в другое: Роман, который был написан Мастером, содержит историко-философский ключ к происходящему в сегодняшней линии романа?!

А многие, очевидно, и вообще захотят увидеть в бесспорно новаторском булгаковском произведении не столько новаторство, сколько следование давним традициям романтической иронии и фантазмагории.

Можем ли мы именовать новаторским роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», где документ вступал в определенный эстетический контакт с приключенческой интригой и вызывал столько споров о границах между подлинностью и стилизацией? А «Каратели» А. Адамовича, где документ был использован совсем по-новому, да к тому же в сочетании с психологическим анализом?

Не правильнее ли будет сказать, что в обоих случаях была лишь талантливо найденная форма для данного произведения, а не открытие нового направления, нового эстетического принципа, который бы последовательно утверждался (или воплощался) во всей творческой практике автора, став свойством его манеры.

Та же, в сущности, история произошла и с внутренним монологом в прозе, который мы исчисляем от романов М. Слущкиса: опять-таки был процесс времени, затронувший разных художников в разных странах; в нашей стране он развился несколько позже, чем в других, но это развитие объясняется не литературным заимствованием, а внутренней логикой нашего литературно-

художественного процесса. В силу ряда объективных и субъективных причин М. Слущкис первым художественно полностью усвоил его.

Есть писатели, которые любят художественный эксперимент, необычное композиционное и стиливое решение. Весьма изобретателен в композиции своих повестей Д. Гранин. Прекрасно выстроены те же «Каратели» А. Адамовича. Но мы понимаем, что новизна сказанного ими лежит глубже их изобретательности, определяется новым ракурсом взгляда на привычное. Это не внешняя новизна «Самшитового леса» М. Анчарова с его броской парадоксальностью изображения и выражения.

Но есть художники, которые вообще не обладают сколько-нибудь отчетливыми приметам литературной новизны, хотя глубоко и серьезно вспахивают действительность. Таков, к примеру, Ю. Трифонов, чьего опыта уже не может миновать современная проза: он стал одним из наиболее значительных представителей такой прозы, которая решает крупные жизненные и философские проблемы на традиционно бытовом материале, открывает «бытие быта».

Сама по себе литературная новизна еще ничего не говорит о достоинствах произведения, хотя уже отделяет от «вторичной» литературы, той, которой недостает самостоятельности дыхания, которая более или менее изобретательно перелагает, тиражирует уже сказанное другими.

Открытие нового не какая-то особая добродетель, не исключительное свойство, а непременно, обязательное условие всякого значительного таланта. Новое в искусстве вовсе не должно быть лучше старого, оно должно быть иным, хотя, разумеется, хорошим.

Но если новое — непременно условие настоящей литературы, то новаторство представляет собой перспективное художественное открытие, используемое не одним только данным художником, пролагающее путь для новых художественных открытий. Литература нуждается в новаторстве как редком, но желаемом благе, как долгодействующем ориентире. Новаторство определяется не опровержением или низвержением прошлого, а перспективностью для будущего. Вот почему, отстаивая необходимость видеть и осмысливать новаторство советской литературы, я не хочу торопливо именовать новаторским то или иное произведение или величать новатором того или иного художника. Такое резкое качество не выделенное вполне понятно и естественно по отношению к произведениям, про-

шедшим проверку временем. Применительно же к современной прозе правильной говорить о новаторстве тенденций, процессов, направлений.

Больше всего новаторство напоминает журавлиный клин: впереди вожак, а за ним следуют уступами, все расширяя клин, новые и новые птицы — непременно расширяя зону пролета, а не следуя в кильватерном строю!

Новаторство расширяющегося клина — вот что должно быть неперенным объектом критического внимания. Что же касается отдельных художников и произведений, то следует, пожалуй, учитывая все обстоятельства, говорить предпочтительно о новизне, не предрешая, обретет ли она всю мощь и перспективность новаторства. Дело ведь не в точном и абсолютном разделении этих терминов, а в том, чтобы обнажить общую суть: не только соотношенность с прошлым, но прежде всего соизмеримость с потребностями нового, рождающегося в жизни.

В «Науке о литературе» А. Бушмина содержится показательное упоминание: «До нашего века слово новаторство было малоупотребительным и смысл его обычно выражали словом оригинальность». Да и в нынешнее время, как полагает А. Бушмин, мы тоже часто объединяем понятием «оригинальность» «все виды новизны в литературно-художественном творчестве». Хотя отсутствие термина еще не означает отсутствия самого явления, многое в сказанном А. Бушминым справедливо.

Тем более что в дальнейшем он пробует разграничить новаторство и оригинальность. Первое, по его мнению, представляет собой «новую идею, новую мысль, постижение нового в жизни, создание новых художественных концепций», а второе — «род новизны... прежде всего в форме, в способе выражения мысли, независимо от того, является ли эта мысль новой или старой».

А. Бушмин справедливо оттенил и необходимость разграничивать эти понятия, и большую весомость, масштабность новаторства, создающего новые художественные концепции.

И все-таки предложенный им такой жесткий водораздел между содержанием и формой как сферами проявления новаторства и оригинальности, новаторства и новизны малопродуктивен. Вряд ли мы сочтем оригинальностью новое выражение мысли, стертой от старости. К тому же понятие «оригинальность» прилагается к писательской индивидуальности, а новизна может

характеризовать и некие общие тенденции. И при всей правомерности терминов «оригинальность», «самобытность» по отношению к отдельному писателю вполне допустимо — а подчас и необходимо — применять понятие «новизна» при попытках выделять какие-то линии, отмечаемые в ряде произведений одного или нескольких авторов, обозначать то новое, что входит в литературу, обогащая ее.

Вот что говорил недавно о новизне, выделяя это слово разрядкой, В. Каверин, удрученный нынешним многоводьем пухлых, бесформенных, переполненных подробностями романов: «...меня, как старого литератора, интересует новизна в литературе. То, что движет ее вперед. То, что настаивает на внутреннем несходстве». «Когда мы начинали,— добавил он,— единственным и неоченимым эталоном, отделявшим литературу от макулатуры, было требование новой художественной формы».

Мы уже знаем, что в роли единственного эталона это требование ведет к формалистским изыскам. Но в качестве неперенного — неоспоримо.

У нас же подчас больше ценят следование образцам, чем внутренне несходное: читатели в своей массе ценят потому, что легче воспринимают, те явления, которые соответствуют их сложившимся представлениям, ожиданиям; критикам бывает легче опираться на апробированную эстетическую систему. Особенно много таких критических экскурсов в традицию содержат статьи о поэзии, там стало вроде бы и неприличным не находить поэтам хорошую «родословную»: Пушкина, Тютчева, Блока. И уж на худой конец Баратынского, Фета, И. Анненского. В критических работах о прозе подобных экскурсов меньше, но тоже, как говорится, наличествуют... А сравнивать, как известно, можно что угодно с чем угодно: нет сходства в сюжетах — можно найти общие черты в героях или в нравственных поисках, особенно из круга вечных вопросов, а уж в структуре фразы или способности изображать цвет, запах и т. д. непременно сыщется традиция, классический образец.

Разумеется, всегда бывает поучительно, а порой просто необходимо выявить генезис нового, ибо новаторство обычно и впрямь опирается на какую-либо более или менее давнюю традицию, будто следуя поговорке о том, что «новое — это хорошо забытое старое».

Но в последнее время наряду с научным, «документированным» исследованием тра-

диций стали все чаще появляться критические статьи, где уже на присущем критике публицистическом уровне провозглашается тезис о непревзойденности русской литературы XIX века, единственно способной быть ориентиром для литературы в настоящем и будущем. В числе таких статей последнего времени статья В. Камянова «Классика экзаменует. Проблема „проходного балла“». Уже в самой заглавии есть та полемичность по отношению к тезису «жизнь экзаменует...», которая лежит в основе поворотов критической мысли статьи В. Камянова.

И действительно, статью пронизывает стремление — и призыв — измерять все тем, дотягивает ли нынешняя литература в целом и каждое отдельное произведение до классики. Стремление, приведшее ко многим ярким наблюдениям, но превращающее в конечном счете традицию в градуировку достоинств, а не в исток ответственности перед лицом великих предшественников.

Так, высоко оценивая «Карателей» А. Адамовича за проникновение в глубины человеческого злодейства, В. Камянов выделяет не новизну произведения, а, наоборот, то, что такое проникновение свидетельствует, по его мнению, как нечто «сдвинулось в нашем художественном сознании и в нашей читательской восприимчивости. Вперед сдвинулось, по направлению к классике, без помощи которой очень многие сегодняшние вопросы будут решать искусством начерно, в первом формулированном приближении». Причем в силу собственных литературных интересов В. Камянова классика у него практически сводится к опыту Достоевского и Толстого и обладает некой общей совокупностью эстетических законов: «сосредоточенная работа познания», «завет упорной и строгой аналитичности», «глубина застрочного пространства», при которой «произнесенное слово рождает многоколенное эхо». Имена вполне определенные, а законы весьма общие...

Наверное, расширение круга писателей, вовлекаемых в наш разговор о литературных традициях, позволило бы более конкретно и полно осознать панораму современной прозы, вбирающей подчас самые противоречивые влияния и воздействия (сколь многое прояснили, например, работы о гоголевском гротеске и русской сентиментальной повести). Да и не только русская литература влияет на формирование новых тенденций в нашей прозе.

Было бы любопытно проследить непредвзято, как на советскую прозу последних десятилетий время от времени — преимуще-

ственно в связи с публикацией переводов — влияло и творчество зарубежных писателей. То Хемингуэй с его сильными характеристиками и подтекстом, за которым скрывалась — и угадывалась — страсть стойкого человека, привыкшего исполнять свой долг, делать свое дело. То Фолкнер с его объемной фразой, вмещающей разные жизненные, психологические, исторические пласты и словно посылающей все более широкий импульс (кстати, Распутин высоко оценил его опыт). То Пруст с его тончайшим ассоциативным психологическим анализом, добирающимся до таких подземелий, которые, казалось бы, уже и не нужны для нормального литературного жития. То Маркес, столь смело сплетающий историю и современность, явь и фантазмагорию, силу плоти и неисчерпанность духовности. Я уж не говорю о художниках не столь крупных...

Одни из этих воздействий, скажем Фолкнера или Маркеса, оказались глубинными, другие следует признать более мелкими или узкими. Но в любом случае становление новых качеств литературы опиралось на творческое освоение (а творческое освоение вбирает в себя не только стремление следовать, но и желание самобытно преодолеть) разного художественного опыта: без богатого опыта не открываются богатые перспективы. «Много значит для национальной литературы, — писал А. Адамович, — уметь слушать свой народ, подключаться к его памяти. Но в сегодняшнем мире особенно важно еще и это — умение слушать голоса соседей — другие народы, их память и исторический опыт. А это дается непросто, нелегко...»

В последнее время предпринимает интересные попытки соотнести развитие нашей литературы с мировым литературным процессом Л. Теракопан. Обращаясь к тому или иному проблемно-тематическому разрезу, он осуществляет выборочную «пробу грунта» того мирового литературного контекста, в который включена и наша проза, твердо представляя, что «самый характер взаимодействия с этим мировым контекстом тоже различен. В иных случаях — просто знакомство, в иных — активное соединение усилий, в иных — непримиримая полемика». Такой подход, бесспорно, помогает лучше понять и новаторство советской литературы, и тот контекст мирового художественного процесса, с которым она активно взаимодействует. Все это, на мой взгляд, помогает отчетливее понять, что все-таки не классика экзаменует, а жизнь!

И кстати, я убежден, что публицистические призывы приблизиться к XIX веку, яв-

ляются благим, но неосуществимым пожеланием: классический реализм приобрел уже, подобно греческому эпосу, по характеристике Маркса, значение нормы и недосыгаемого образца и так же, как древний эпос, уже не должен служить неподвижной шкалой для определения ценности каждого отдельного произведения. XX век вызвал к жизни новые общественные потребности, новые качества литературного мышления, новые подходы к выявлению причинно-следственных связей. Можно сказать, что на смену европейской художественной традиции пришел мировой художественный опыт, — и это обозначило для искусства новые ориентиры, новые критерии, подобно тому как многонациональный характер советской литературы значительно расширил представления о методе социалистического реализма, покоившиеся какое-то время на опыте одной только русской литературы.

В своем новаторстве советская литература опирается на лучшие традиции русской классической литературы. Но очень важно, чтобы классика — любой древности и национальной принадлежности — не уподоблялась светилу, вслед за которым неизменно поворачивается головка подсолнуха. Традиции не должны быть сковывающими, или, как я прочитал в одной повести, «обузыми».

И, наверное, для критического взгляда на текущий литературный процесс правильнее говорить о новизне и стабильности, которые в своем диалектическом противоречии составляют неперемненное условие вообще всякой жизни, всякого существования: стабильность как следование установившимся, проверенным опытом искусства образцам, канонам, законам, а новизна как стремление побороть, одолеть сложившиеся стереотипы, развить потенциальные возможности стабильного. Диалектическое противоречие новизны и стабильности продуктивно как для стабильности, потому что не дает ей застыть, превратиться в стереотип, в канон, так и для новизны, потому что фиксирует, закрепляет, осваивает сделанный ею шаг.

Таким образом, речь идет о новизне по отношению к наличному, стабильному, а не вообще предшествующему художественному опыту. И хотя наличное вбирает предшествующий опыт, как раз возвращение к какой-то забытой традиции, к какому-либо ранее обозначившемуся, но недостаточно развитому приему, качеству, свойству, взятому теперь в новых соотношениях, новых связях, может стать, как ни парадоксально это на первый взгляд, новизной по отноше-

нию к стабильному для данного периода. На вопрос анкеты «Литературной России» о соотношении традиций и новаторства в современной поэзии молодой критик Л. Асанов с присущей молодости прямотой заметил: «Новаторство наше пока что близоруко... Поэты ищущие предпринимали интересные попытки обратиться к допушкинской образности — к грубоватой пластике державинского стиха, к перелевам одической традиции XVIII века. Может быть, эти эксперименты принесут плоды в будущем?»

Мы узнаем новое и тем самым — от обратного — постигаем стабильное. Саму стабильность можно уподобить, наверное, здоровому организму: только сравнительно с другим организмом, способным на большее или на иное, мы постигаем ограниченность «нормально здорового»: нужны нагрузки, чтобы вполне определить его возможности.

И говорить следует не только о противопоставлении новизны и стабильности, а и о масштабах и направлениях того нового, которое становится в свою очередь стабильным. Новизна может оказаться, условно говоря, тупиковой, исчерпанной данным художественным явлением, а может стать перспективной, закрепившись в последующем художественном опыте.

Принципиальная художественная новизна иногда объявляется, ощущается уже современниками, иногда выявляется, осознается потомками. И то, что новизна объявляется современниками, не дожидаясь суда потомков, иногда бывает крайне важно для движения общественной мысли, активизируя ее, препятствуя превращению стабильного в стереотипное.

В равной мере осознание новизны может быть субъективным, когда человек считает себя борцом, сокрушителем стабильного, наличествующего (вспомним хотя бы манифесты многих литературных групп), и объективным — возникающим независимо от субъективно принятых творческих принципов, когда художник озабочен лишь тем, чтобы выразить постигнутую им жизненную правду, жизненную истину, а не тем, насколько это ново, полемично. Нередко писатели даже признаются — к примеру, Фолкнер, — что они не читают своих современников и, стало быть, вообще не соотносят свой опыт с творчеством современных писателей. А Брюсов записал в дневнике (13 декабря 1895 года): «Может быть, хорошо, что меня «не признают». Если б ко мне отнеслись снисходительно, я был бы способен упасть до уровня Коринфских и плясать по чужой дудке».

Конечно, в этих словах есть многое от задиристости молодого таланта. Но увлечена в них и закономерность: талант должен быть самобытным, а не приравниваться даже к самым престижным стереотипам, выработанным другими. Собственно, об этом и сказал умудренный В. Каверин: «Интересует... то, что настаивает на внутреннем несходстве».

И этот тезис В. Каверина кажется мне предпочтительнее идей, развиваемых в последнее время Ю. Андреевым.

В статье «Феномен интересного в жизни и литературе», исходящей из категорического утверждения: «Неинтересно — значит неталантливо», Ю. Андреев так определяет свой феномен: «...интересное для меня есть новизна, обращенная ко мне»². Хорошенькое уравнение, где одно неизвестное определяется через другое, поскольку «новизна, обращенная ко мне», еще более загадочна, чем «интересное»! Тем более что сам Ю. Андреев доказывает: интересное, кажущееся новым подростку, — неинтересно, скучно взрослому. И этот ряд можно легко продлить в любую сторону: интересно мальчику — неинтересно девочке, ново для студента — банально для хозяйственника и т. д.

Не берусь дать дефиницию «категории интересного», но не могу не оспорить подмену понятия новизны в искусстве новизной для меня: возникает реальная опасность утратить все критерии, кроме одного: для меня это ново, значит, интересно, значит, талантливо. И хотя, будучи опытным критическим бойцом, Ю. Андреев пишет, что настоящий писатель добивается того, чтобы интересное для одного было «одновременно и общеинтересным», он все равно исходит неуклонно из того, что интересное — это лично интересное и, стало быть, новое — это лично новое.

На мой же взгляд, новизна в искусстве должна иметь объективное содержание и значение и включать в себя не просто новую эстетизированную информацию для какого-то слоя читателей, а новые возможности художественного освоения многогранной действительности. Есть правота Ю. Андреева в изначальном мерцании замысла: пестрая аудитория требует разнообразной литературы, — само доказательство этой его формулы, этой его теории несостоятельно.

Впрочем, не достаточно ли заниматься определением «феномена новизны», не пора ли углубиться в конкретный художественный материал?!

Искусство неизменно и неизбежно обращается к вечным — или, скажем скромнее, долговечным — темам, сюжетам, характерам и в каждом случае открывает и своеобразие художника и воздействие времени. Оттого и бывает увлекательно посмотреть, как это происходит, в каком направлении тянутся силовые линии новизны: это дает представление не только о самодвижении литературы, но и о развитии всей общественной мысли.

Вот я и попробую пунктирно наметить движение некоторых из них. Это будет вроде отходом от компактности теоретических построений, но, надеюсь, и приближением к ним с практической, так сказать, аргументацией. Именно: отходя, приблизиться!

Наверное, своеобразие конфликтов характеризует движение прозы более всего иного, ибо наглядно отражает своеобразие тех жизненных противоречий, что приковывают внимание литературы, и тех художественных решений, которые организуют повествование.

И вот в живом течении конфликтов обнаруживаются весьма примечательные сдвиги — примечательные как для понимания развития литературы, так и для формирования общественного самосознания.

Любопытно проследить за изменениями в каком-либо одном коренном конфликте — как сказывалась в его бытовании литературная преемственность и как происходило внутреннее движение на протяжении десятилетий. Вот мы и обратимся к одному из самых общегуманистических и в то же время всякий раз социально и исторически детерминированных конфликтов — конфликту человека со временем: когда человек не понимает свое время или когда он не понял своим временем, не принят временем.

Это один из характерных для советской литературы конфликтов, ибо революция, революционный переворот жизни поставил судьбу обычного, отдельно взятого человека перед лицом державной идеи времени. Революционного времени, в ходе которого побеждают те, кто осознал и принял его, и терпят крах те, кто не понимает или не принимает такого хода времени, таких законов истории.

В мировой литературе XX века обычно шла и идет речь об исторических вихрях вообще — не о поступи истории, а о ее неуправляемых и непредсказуемых вихрях — и смысле отдельного человеческого бытия: зачем живет человек, над чем властен, какой след оставляет. А революция сделала ясным высший смысл человеческого бытия:

² «Нева», 1981, № 7, стр. 156.

служение высокой, благородной идее народного блага. Мерой осознания этой идеи и самоотверженности служения ей измерялись все оппозиции: человек и смысл бытия, человек и совесть, человек и идеал.

Наряду с героем, обретшим гармоничное единение со временем (Левинсон, Клычков, Кожух, Чапаев), и героем, не сразу, но твердо находившим контакт со временем (Любовь Яровая, Рошин, Виринея), проза 20-х годов представила нам многие разновидности конфликта человека со временем. С революционными временем!

В «Городах и годах» К. Федина конфликт между мягкосердечным Андреем Старцовым и «проволочным» Куртом Ваном, олицетворяющим железное время, есть, в сущности, конфликт Андрея с революционной эпохой.

Эпическую фигуру человека, не понявшего и не принявшего новый мир, но смирившегося перед его силой, открыл Шолохов в Григории Мелехове.

А весь трагический Булгаков тех лет сосредоточен на изображении людей, выпавших из времени, не понявших времени (Турбины, Хлудов) и потому смятых этим временем, временем революции.

Выпали из времени многие герои А. Платонова. Только времени не столь остросоциально, а более, что ли, философски воспринимаемого. Перри в «Епифанских шлюзах» безуспешно вознамерился расчислить, осилить время, естественный ход жизни, а другие герои Платонова считали уже революцию таким расчислением и, следовательно, насилем над живым ходом жизни. Именно Платонов открыл мир усомнившегося Макара, мир человека, остро и воспринимающего возможную угрозу утратить за общими планами и построениями реальную человеческую личность.

Разные идеи, идеалы, заблуждения были у этих героев Шолохова, Булгакова, Платонова, но в конечном счете это все фигуры, желающие жить по своему разумению, а не по логике революционного развития, воспринимаемой ими как диктат истории.

После войны в разных европейских литературах в разное время возникла на военном материале сходная конфликтная ситуация: к кому прислониться, в какой стан вступить — к немцам или партизанам, во главе которых обычно стояли коммунисты. Это тоже был выбор социального пути многими «заблудшими» героями польской, югославской прозы, позднее героями наших прибалтийских литератур. Гедиминас в «По-

терянном крове» Й. Авижюса, Бенита в «Глухих бубенцах» Э. Бзэкман утрачивают максималистскую одноплановость при сохранении авторской определенности. И в этом смысле они впрямую следуют за «Тихим Доном», с наибольшей художественной силой утвердившим в нашем эпосе этот треугольник: два открыто враждующих стана, а между ними мечется человек, не решивший, к какому стану пристать, а вернее, не желающий приставать ни к одному из них. Иллюзорность поиска третьего пути в истории проходит через всю советскую литературу, для которой всегда были ясно определены друзья и враги. Так что будучи новыми для литературы 70-х годов (преимущественно прибалтийской прозы), они традиционны для советской литературы в целом. Гедиминас — «потомок» Рошина, Бенита — своего рода «дочь» Мелехова и т. д.

В послевоенные годы в обильно расцветшем производственном романе главенствовал открытый и прямой конфликт нового со старым, зародившийся еще в 30-е годы и казавшийся кое-кому единственно возможным в жизни социалистического общества, когда новое трактовалось как отвечающее потребностям социалистического общества, а старое — как любая сила, тормозящая торжество нового. В «Далеко от Москвы» В. Ажаева все происходило наглядно: новые руководители, готовые построить нефтепровод за год, перечеркивают прежние расчеты на трехлетнее строительство и, опираясь на энтузиазм коллектива, перевоспитывают всех, кто поначалу держался этих старых мерок, «отстал от жизни».

Своеобразной кульминацией — а пожалуй, и завершением — этого типа конфликтов стала «Битва в пути» Г. Николаевой, где главенствует конфликт между сохраняющим прежний стиль работы Вальганом и утверждающим новые принципы организации труда Бахиревым. И по сию пору производственная литература возвращается к этой конфликтной ситуации: человек — провозвестник прогресса (обычно «человек со стороны») ломает сопротивление тех, кто придерживается установившегося ритма или прежних норм и тем самым, по закону художественного обобщения, отстал от времени, утратил контакт с ним.

Олицетворением, персонификацией нового и старого были, в сущности, Вихров и Грацианский в «Русском лесе» Л. Леонова. Но Леонов едва ли не впервые поставил иную проблему: вертодоксу, подстраивающемуся ко времени, к его лозунгам и поветриям и преуспевающему благодаря такой мимикрии, противопоставил человек, делающий

свое дело вопреки шумным быстротекущим кампаниям и скоропалительным теориям. Опубликованный в 1953 году, «Русский лес» открыл во многом новую для нашей прозы конфликтную структуру, связанную с образом Вихрова: человек против сиюминутного, сугубо временного, выдаваемого вертодоксами за истинно современное, опирающееся на непреложность исторических законов. Мерить не новизной, а разумностью, оспорив былую безоговорочность убеждения, будто любое новое уже в силу своей новизны лучше старого,— то был существенный сдвиг в общественном и художественном сознании.

Сходное в эти годы делал в очеркистике В. Овечкин. Столь, казалось бы, отличный от Грацианского, его Борзов был, в сущности, порождением тех же форм бытия, допуская демагогический стиль работы — безразлично, в науке ли, управлении, производстве. И вполне правомерно стали практически одновременно нарицательными грацианщина как словесная вертодоксия и борзовщина как тип поведения человека, который отстал от вполне конкретного хода времени, хотя еще убежден в своем соответствии ему, ибо продолжает действовать методами, только что приносившими успех, и провозглашать истины, еще вчера почитавшиеся передовыми, революционными. Изменившееся время отторгло Грацианского, отторгло Борзова.

А потом хлынула лирическая деревенская проза, в полный голос поэтизовавшая стабильность нравственного кодекса трудового человека, извечность коренных нравственных качеств, а не благословенное чувство нового. Ни одного поэтичного образа чуткого к новому времени человека она не дала, зато в ней были великолепные образцы нравственной цельности человека, живущего по «врожденным», «от дедов завещанным» законам: Анна и Дарья у Распутина, бабушка в «Последнем поклоне» у Астафьева и т. д.

И это, бесспорно, была, вслед за «Русским лесом», последовательная перемена полюсных зарядов в привычной формуле «конфликт нового со старым»: в роли носителя положительного начала выступает ревнитель старого, выработанный всем историческим опытом народа, обороняющий движение к новому от поспешности и вертодоксии.

Сегодня много и справедливо пишут о философичности этой прозы, делающей акцент на общих проблемах бытия человека во времени. Наверное, в этом смысле ко многим произведениям этой прозы, име-

ваемым обычно натурфилософскими, приложимо определение историсофские.

В самом деле, Распутина в «Прощании с Матёрой» волнуют не столько социальные преобразования, сколько исторические. Безразлично, кто рубит кресты на дедовских могилах: порубщики, «пожогщики» — и все тут! В известной степени близок этому и Ч. Айтматов, выразивший в последнем романе несогласие с тревожным ходом исторических событий. Как Матёра противопоставлена гидростанции, так пустыня противопоставлена рукотворному «Обручу»: Матёра и пустыня выступают символом трудной, но естественной жизни, требующей бережного отношения к себе, а гидростанция и «Обруч» — как угроза человеческому бытию. Только у Распутина это в большей мере история вообще, у Айтматова же — ясно осознанное в своих социальных противоречиях время.

Деревенская проза частично породила, а частично поддержала перемену в художественной расстановке отцов и детей. Вспомним юношей В. Розова, выступающих, обобщенно говоря, против разноликого мещанства родителей, — так было у него в 60-е годы, так продолжается у него, верного своей концепции жизни, вплоть до «Гнезда глухаря». А на этом фоне вспомним всех детей, вылетевших из родного гнезда в растлевающую городскую жизнь, будь то дети старухи Анны у Распутина, абрамовская Алька, дети хutorянина Крейвенаса в «Трех днях в августе» В. Бубниса и многие, многие иные. Слово одно — гнездо, но сколь различен смысл, вложенный в него! Гнездо как символ приобретательства и фальши у одних — и гнездо как символ нравственной устойчивости у других.

Получил распространение и конфликт, связанный с явлением приспособленчества: человек подлаживается к благородным нормам нашей жизни, нормам времени, ибо, сознавая правоту и силу этих норм, он хочет жить в обход их — своего рода человек подпольный, двоедушный. Таковы многие персонажи Трифонова, Ветемаа. В известной мере это коллизия самгинства, извращенного самоутверждения, которое вызывает раздвоение личности в мыслях и поступках.

Укрепление такого типа конфликтов можно обнаружить при сравнении повестей одного писателя: Рыбак в «Сотникове» В. Быкова и Антон в его же «Пойти и не вернуться». Если на примере Рыбака писатель показывал, что делают с человеком трагические обстоятельства, в которых он

оказывается против своей воли, то в характере Антона заложена уже внутренняя готовность принориться к ситуации. Неизвестны заранее зигзаги его поведения, но заведомо известен его нравственный облик. Антон втянут в тот же общий конфликт, который развивался на ином материале у Трифонова и Ветемаа: сознавая свое нежелание или неспособность жить, как то диктуют положительные нормы времени, человек строит свое поведение, приспособляясь к ним. Здесь ведь конфликт не между Зосей и Антоном, а между нормами времени и нормами личного поведения.

Так претерпел существенные изменения, обогатился новыми аспектами сам конфликт нового со старым; а рядом с ним развиваются новые типы художественного конфликта, разворачивающиеся в иных параметрах: человек и время, стабильность и вертодоксия, цельность и раздвоенность.

Известно, что новаторство советской литературы наглядно отразилось и в освоении образа руководителя, столь характерного для революционной нравственности — нравственности в экстремальных условиях революционных преобразований.

Руководитель — как художественный образ, как объект художественного исследования — практически не встречается в классической русской и зарубежной литературе. Хозяин, командир, вожак — кто угодно, только не руководитель коллектива с присущими исключительно социалистическому укладу взаимоотношениями человека и его дела, личности и коллектива, идеи и ее воплощения. В советской же прозе и драматургии получил необычайное распространение образ руководителя, преобразующего природную и людскую стихию, осуществляющего созидательную партийную, государственную или общественную волю, демонстрирующего гармоническую соотношение интересов личности и коллектива.

Волевые директора появились уже в 20-е годы (Глеб Чумалов в «Цементе») и проществовали через всю производственную романистику 30-х годов, главным образом в борьбе с осторожничающими «спецами»: заставляя экскаваторы двигаться вопреки инструкции своим ходом через пустыню («Человек меняет кожу» Б Ясенского) или намного превышать количество положенных в час замесов бетона («Время, вперед!» В. Катаева). На смену «кожаным курткам» времен гражданской войны и нэпа пришел «человек-таран», как именовали Увадьева из леоновской «Соги». Только «человек-таран» мог заставить людей действовать

вопреки всему: нехватке времени, материалов, оборудования, квалифицированных кадров. Именно такой герой стягивал все нити повествования.

То был действительно герой времени — в благодатном совпадении героя в литературе с героем в жизни.

Необычайно популярным стал такой волевой герой в первые послевоенные годы, особенно руководитель, приезжающий на прорыв и уполномоченный ликвидировать его любой ценой.

Вспомним генерал-директора Листопада из «Кружилыхи» В. Пановой или Батманова из ажаевского «Далеко от Москвы»; при всей своей человечности подобный герой все-таки внушал: «Можете не любить друг друга, испытывать антипатии и прочие драматические чувства, но на работе обязаны помогать друг другу, дружить и если полезно для дела, то и целоваться».

Но потом, вслед за овечкинским Борзовым, приходит Вальган из «Битвы в пути» Николаевой. Вроде бы он ничем не отличается от Листопада, но уже терпит поражение в борьбе с деловитым Бахиревым. Десять лет, разделившие романы Пановой и Николаевой, не прошли бесследно для литературы. Вальган озаменовал крах волевого руководителя. И долго его не было, пожалуй, до Чешкова, «человека со стороны», еще способного, казалось, перетряхнуть, перешерстить все во имя того, чтобы сразу замесить организацию на новых принципах. Истосковавшиеся по сильному герою зрители и критики дружно приняли его, но довольно скоро, как известно, наступило все же горькое и долгое «античешковское» похмелье.

Совсем недавно такого руководителя возродил И. Герасимов в своем Ремезе из «Предела возможного». Но как бы автор ни любовался им, как бы ни оттенял фигурой молодого недотепистого инженера, от имени которого идет повествование, он вынужден был объяснить взлет Ремеза условиями определенного — военного — времени.

Отдадим должное И. Герасимову, он не пошел по легкому пути, не назначил героя (как все шло к тому в романе и как случилось обычно в жизни) на ответственный пост в обком или министерство, а усложнил задачу: показал низвержение своего героя в послевоенных условиях. Незаурядная личность, Ремез потом снова встал после тогдашнего нокдауна на ноги (как, вероятно, встал за пределами романа Вальган), но встал как личность, а не как тип волевого руководителя.

Так что «Предел возможного» — это скорее гимн поколению, чем художественное освоение нового типа руководителя. К этому поколению принадлежали знаменитые организаторы нашей промышленности, книги о которых появились в последние годы рядом с романом Герасимова в серии «Жизнь замечательных людей», — Малышев, Лихачев, Первухин, директора оборонных заводов (сошлюсь хотя бы на две книги о Лихачеве: «Лихачев» Т. Леонтьевой в «ЖЗЛ» и роман В. Гришаева «Рожденный на рассвете»).

За «предел возможного» выводил своих героев и О. Куваев в «Территории», ввергая их в экстремальные — хотя и не военные, а заполярно-суровые — условия. Но примечательно, что и события в романе происходят не сегодня, и автор отчетливо сознает, что его Чинков — «Будда» не столько реалистический тип, сколько своего рода романтическая проекция. И при всех несомненных достоинствах романа мы понимаем, что Куваеву все-таки пришлось для создания волевой личности отойти от тех реалистических канонов отображения современности, на которых держались и «Кружилиха», и «Далеко от Москвы», и «Битва в пути»: он выбрал время и место, побуждавшие к крайнему напряжению воли и оправдывающие романтическую фокусировку. Вот как звучал в устах Чинкова откровенный девиз волевого руководителя: «...проблема золота Территории даже не в том, что его искали неправильно или мало, а в том, что не было лидера. Нужен честолюбец, который будет идти до конца».

А теперь стало видно, что волевые («любой ценой») руководители отработали свое и как жизненный тип, и как литературный образ, и уж тем более как способ организации художественного материала (кого еще можно назвать, кроме липатовского давнего-предавнего Прончатова?!).

Конечно, пока будут прорывы, пока будут отстающие предприятия, будут и волевые люди, прибывшие ликвидировать экстремальную ситуацию и способные на любые решительные действия. К тому же авария и прорыв — положения, весьма притягательные для производственной прозы: их быстрая ликвидация воочию демонстрирует эффект волевой решительности. Останутся, видимо, аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия, где нужно кратковременное энергичное вмешательство. А место волевого директора в производственных и нравственных конфликтах замещают начальники

главков, генеральные директора объединений, руководители промышленных отделов обкомов, где уже совершенно иная структура работы, требующая обычно не волевой «расшивки» узких мест, а умения обобщать и предвидеть: решать, если можно так выразиться, уже стратегические задачи в отличие от тех тактических — любой ценой выполнить план. «Грядущему веку» назвал Г. Марков роман о талантливом инженерере, назначенном секретарем обкома: как видим, уже не просто стратегия, а перспектива в век грядущий.

В 70-е годы образ руководителя все чаще становится не столько объектом поэтизации, сколько ступенью проблем. Иные теперь пошли руководители. Вполне решительный, волевой директор будущего комбината в «Месте действия» А. Проханова уже растрчивает чуть ли не все романное действие на отношения с возлюбленной и на заботу о сохранении духовной культуры городка: строящиеся комбинаты имеют нынче столько средств, что могут позволить себе щедро подарить местному театру новый занавес или новое помещение, сохранить заветные заповедные уголки.

Ту же ситуацию уловил и Д. Гранин в «Картине»: будущий филиал крупного завода может позволить себе сохранить Жмуркину завод: при таком строительном размахе это дело ничтожнейшее — стоит только руководству захотеть...

В сущности, это опять-таки волевые решения, но продиктованные не пользой дела, как прежде, а гуманными мотивами служения красоте. Только в большинстве случаев служение красоте опять-таки является пользой дела, хотя и более широко понимаемого: воспитание патриотического чувства.

Правда, Лосев в «Картине» вроде не волевой, не из тех, что способны все сломать и построить заново, это скорее дипломат, чем бог окрестных мест, как у Проханова. Но за каждым из них стоит жизненная достоверность: таковы сегодня реальные возможности председателя горисполкома и директора комбината. На мой взгляд, это произведения неравноценные в художественном отношении, но тенденции изображения героя сходны: не одна только прагматическая польза стала целью и стимулом деятельности.

Вероятно, представит интерес и еще одно наблюдение. В книгах 30-х годов многие руководители умирали на трудовом посту: Курилов в «Дороге на океан» Л. Леонова, Шор в «Дне втором» И. Эренбурга, Луни в «Глюкауф» В. Гроссмана... Это было своеобразным восклицательным знаком, нагляд-

ным подтверждением их права требовать невозможного и от других. Теперь же, в повести А. Черноусова «Практикант», герой уже говорит: «Ты слышал — он даже козыряет тем, что вторые сутки с завода не выходит. Мол, жертвую собой ради общего дела, мол, на войне как на войне. Смех. Время-то давно не военное и даже не послевоенное... Если тогда необходимость заставляла, обстановка... то сейчас-то к чему такие «подвиги»?»

Но дело даже не в этой на поверхности лежащей полемике. Теперь, к примеру, в «Законе вечности» Н. Думбадзе и «Каплях дождя» П. Куусберга избрана и даже не встречающаяся в прозе прошлых лет конструкция: в больничной палате двое оппонентов. Один из них — коммунист, который сохраняет совесть и убежденность на протяжении всей жизненной судьбы, встающей в его воспоминаниях. Другой — его сосед по палате — придерживается в жизни иных моральных установлений. В романах 30-х годов герой действовал, и инфаркт величественно завершал его жизнь; сейчас герой размышляет или вспоминает, и инфаркт, уложивший его на койку, лишь своеобразное многоточие, означающее незавершенность. И такая конструкция служит еще одним проявлением той тенденции, когда вместо показа человека в деле, вместо схватки в деле, что было характерно для волевого руководителя, на первый план выходит словесная дуэль, а еще точнее — аргументация не конкретным делом, а всей судьбой. Так обернулся отмеченный когда-то давно К. Симоновым тип романа: не роман-событие, а роман-судьба, в котором герой подтверждает, аргументирует свои взгляды не правильным решением, не сиюминутным торжеством над противником, а всей прожитой жизнью (такое же противостояние Васильева и Ильи в «Выборе» Ю. Бондарева: не прямой поединок, а два типа жизненного поведения).

Так постепенно исчез из литературы один из популярнейших образов сильного героя. Процесс этого исчезновения я воспринимаю как один из симптомов того, что происходит постепенный сдвиг от романа ситуативного и романа панорамного к такому, где в центре стоит человеческая судьба. Судьба, протяженная во времени, а не решаемый в данное время жизненный, бытовой, производственный конфликт, в котором участвуют, выявляя свои характеры, прямо противоборствующие, противостоящие друг другу персонажи.

Существуют в прозе некоторые традиционные ключевые ситуации, на которых автор

проверяет характеры и жизненные обстоятельства. Обычно это резкий поворот привычной жизни: надвигающаяся смерть, первая любовь и т. д. К ним принадлежит и ситуация ухода из дома, крутого изменения образа жизни. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, а уход, разрыв свидетельствуют о неблагополучии, которое и проверяет характеры и обстоятельства.

Вроде бы ситуация ухода из дома — чисто внешняя: слишком много причин может быть для бегства, для разрыва с привычным образом жизни. Но есть и типичные, распространённые, жизненно объяснимые причины.

Революция как вихрь, как ветер всколыхнула всю Россию, привела ее в движение. Россия, кровью умытая, предстала у А. Веселого словно перемещающаяся в огромной теплушке от одной запруженной митингующими толпами станции к другой — и эти теплушки, эти эшелоны и станции были художественным воплощением движущейся России. Но постепенно в этом революционном вихре литература стала все отчетливее выделять два полюса: одни уходили из родного дома, другие бежали из него. И это не обозначало, так сказать, скорость передвижения, а было характеристикой состояния: шли в революцию, убежали от революции.

Уходили на фронт иваново-вознесенские ткачи в «Чапаеве», подались в партизаны сучанские шахтеры в «Разгроме», совершила героический и трагический бросок, сплавиваясь в единый железный поток, крестьянская масса у Серафимовича. Покидали дом, чтобы вернуться в него после неперемнной победы.

И бежал из родного дома Голубков, бежал Хлудов в пьесе, так и названной — «Бег». Бежали обреченные на долгое хождение по мукам Роцин, Даша, Катя. Бежал в банду Фомина зафлаженный, словно волк, Григорий Мелехов. Покидали дом в смятении и тоске, видя неблагополучие в доме, но не умея справиться с ним. Не все и не всегда возвращались, как Роцин; чаще возвращались, как Хлудов и Мелехов, — с опустошенной, выжженной душой, не пристав ни к какой пристани. Трагизм этих героев был в осознании своей кровной связи с покидаемым родом-родиной, в невозможности для них жить вне дома.

Бегство из дома было одной из тех ситуаций, в которых художественно изображались герои, утерявшие контакт с временем. Дом был символом устойчивого бытия, прочных связей человека с временем.

А потом пришли 30-е годы, новая волна передвижения во взметенной коллективи-

зацией и индустриализацией стране. В «Людях из захолустья» А. Малышкина есть некая непроизвольная, но знаменательная переключка с «Россией, кровью умытой». В раскачивающемся поезде, осаждаемом толпами на станциях, «всякий ехал народ: и старый, и молодой, и семейный, и бездомный,— что-то сотрясло его, сдвинуло из исконных, отцами еще обогретых мест,— куда?». Этот лирический вопрос-вскрик «куда?» словно эхо тревожных гудков той России, что понеслась у А. Веселого в революционные дали.

В «Людях из захолустья» и других романах 30-х годов эпоха срывалась — в полном соответствии с типичными процессами жизни, почти как их слепок,— из захолустной глухомани на стройки и заводы, где вырастали, становились мастерами, уважаемыми людьми.

И снова возникало отчетливое деление на уходящих и бегущих: тех, что уходили, срывались с родного гнездовья, веруя в целительную силу социалистических преобразований, и тех, что бежали в смутении перед ними. Уходил из родного дома, оставив жену с детишками, коммунист Подопригора в «Людях из захолустья», чтобы своими руками придвигать будущую благословенную жизнь, лежащую за хребтами трудностей и лишений. Уходил на танкер «Дербент» выжатый из заводской и семейной жизни «неудачник» Басов, озабоченный лишь одним — принести посильную пользу делу, с которым он связан (или, как найдет потом формулу Ю. Герман, делу, которому ты служишь). Но бежал ночью из родного дома Никита Моргунок в поисках заветной Муравии, бежал «бывший» Петр Соустин.

В прозе первых послевоенных лет все поначалу возвращались: Василий Бортников, Сергей Тутаринов, герои павленковского «Счастья» и бондаревской «Тишины»..

Первыми «побежали» в ней герои молодежных повестей конца 50-х — начала 60-х годов. Эти подростки, растерявшиеся перед сложностью жизни, убегали от фальши и пустоты примелькавшихся, приевшихся родительских наставлений, фраз, от всего, что можно назвать обобщенно э т и к е т о м, -- в труд, к рабочим людям. Побег в романтику простого бытия был для них средством обрести ясность, оставив все сложности дома.

Ушел с философского факультета в моряки герой повести Конечского «Завтрашние заботы»: «Абстрактная логика и древние греки, диамат — превосходные вещи... Но я еще не созрел для них. Мне надо дозреть». Порывали с семьей мальчишки В. Ро-

зова. Молодежные герои символизировали духовные и нравственные поиски всего общества, оттого был так значителен резонанс их не только среди молодежи: молодежная повесть — обозначение не аудитории, на которую рассчитана книга, а типа героя: нравственный поиск человека, вступающего во взрослую, взаправдашнюю жизнь.

Побег такого рода предстал в недавней повести А. Курчаткина «Гамлет из поселка Уш»: ее исповедальный герой тоже убежал от преуспевающих родителей, не захотев жить по протекции, по «этикету», и стал монтером на далеком сибирском комбинате. Поначалу повесть кажется повторением давно пройденного. Но теперь автор уже знает продолжение тех растворявшихся в романтической дымке судеб: уход не финал, а только начало. Начало жизни, в которой сам по себе труд не дает ни исцеления, ни забвения, ни утешения. Побег героев не избавлял их от проблем повседневной жизни: стройка становилась заводом, строители — рабочими со своим домом, семьей, детьми; отринутые вчера заботы наваливались сегодня, вовлекая во в ч е р а ш н е е з а в т р а.

Опять-таки существует и сегодня такая проза — «Просека» А. Шишкина,— где студенты, сынки обеспеченных родителей, прокутив деньги, подрадились рубить просеку для ЛЭП, и «простой лесоруб» помогает им перевоспитаться. Или «Штукатур первого разряда» Дм. Евдокимова, где студент пищевого института по совету деда зарабатывает себе во время каникул деньги на мотоцикл и в процессе труда понимает, что не следует возвращаться в постылый пищевой, а надо остаться строителем. Но все это проза вторичная, преследующая сугубо дидактические цели, не играющая серьезной роли в движении литературы.

Традиционная для советской, и, пожалуй, только советской, литературы (хотя встречается и у прогрессивных прозаиков разных стран) тема «интеллигент в физическом труде обретает себя» (разновидность той прозы, где интеллигент, попадая в рабочую революционную среду, избавляется от шатаний, брожений, становится сильной личностью) ограничена ныне, как видим, студенческим кругом. «Уход в народ» работающего интеллигента выглядел бы сегодня смешным для педагога, инженера, врача — их судьба ничем, по сути, не отличается от судьбы «простого человека»: они-то ведь и есть простые люди. Каждый десятый, занятый в народном хозяйстве, с высшим образованием. Куда — и ради чего — бежать сегодня Сузанне из леоновской «Соти» или Аркадию

Кирилловичу из тендряковской «Расплаты»?

Теперь если и пробуют в литературе бежать куда-либо, то чаще всего в деревню. И это факт примечательный.

В жизни как-то внезапно и все тревожнее и тревожнее обнаруживалось, что молодежь уехала из деревни: кто получать образование, кто с надеждой вырасти в труде по должности и зарплате, кто к «беспечальной» жизни. Затревожилась социология, обеспокоены хозяйственники. Не могла умолчать об этом и литература. Но примечательно, что при всей многосложности реальных причин и жизненной ситуации в целом никто из писателей не стал теперь оправдывать уход из деревни, как полвека назад, в годы первого исхода из деревни. У всех бежавших судьба складывается несчастливо: ломает свою жизнь подавляемая в стюардессы Алька, горько плачет в лесу Люся из «Последнего срока», несет проклятие за побег из деревни, воплотившееся во вражде его сыновей, Петрушонис у Бубниса. Блудным сыном возвращается такой вроде шустрый и благополучно начинавший городскую жизнь Егорша в «Пряслиных», не заладилась городская жизнь у Кости Зорина в цикле повестей В. Белова. Уход стал равнозначен бегству и служит предвестием непрямого жизненного поражения, ибо уходит человек из прочного уклада, оправданного историей и моралью, освященного памятью предков, уходит из родного гнезда.

И здесь, бесспорно, наблюдается интересный процесс. Если в годы первого исхода из деревни, на рубеже 30-х годов, литература показывала как бы снимок, слепок процесса в полном соответствии с реальным жизненным обоснованием, то теперь чаще происходит иное: показывая духовную обедненность бегства из родного гнезда, писатель не желает считаться с социологической (назовем ее так) реальностью, по которой «беглецы» успешно и удовлетворенно оседают в городе. В этом «расщепе», видимо, несомненное тяготение многих прозаиков к, так сказать, художественной материализации своих идеальных представлений.

Вполне понятно, что неудовлетворенность образом жизни городского круга — семьи и знакомых, — а также подогреваемое деревенской прозой неприятие любой городской жизни породили в литературе мотив странничества, обусловили популярность повестей и рассказов о людях, чужающихся городского «этикета». Два наиболее ярких примера: Савоня в повести «И уплывают пароходы, и остаются берега» Е. Носова и

Павел в «Луковом поле» А. Кима. Причем это обычно не характеры, какими были босяки у Горького, а в большей мере символ, обозначение конфликта между средой и героем.

В большинстве случаев литература фиксирует теперь побег из мещанской семьи уже не в романтические дали трудовой Сибири, а в романтическую неприкаянность лукового поля, позволяющую выпасть из потребительской среды, но, конечно же, ничуть не приближающую к гражданскому, общественному мироустройству. Выпадая из потребительских интересов, герой одновременно освобождается и от общественных обязанностей, и оттого отчужденный индивид в этом случае представляет разновидность индивидуалиста.

Если в зарубежной прозе люди обычно укрываются в доме, в семье от общественных невзгод, когда для них дом поистине становится крепостью или прибежищем, то у нас такого мотива нет: в семье от общества не укрываются, наоборот, герой уходит к людям от потребительской семьи. Казалось бы, это противоречит излюбленной ситуации деревенской прозы, осуждающей уход из родного гнезда. На самом же деле здесь в перевернутом виде обнаруживается все та же глубинная тенденция современной нашей прозы к художественной материализации своих идеальных представлений.

Но как бы там ни было, такое бегство от потребительской семьи не только отличает советскую прозу от зарубежной, а и влияет на всю повествовательную структуру, ибо за направлением бегства — в семью или от семьи — таится особая художественная система мотивировок поведения героя, особый характер жизненного фона.

А рядом с этим участились «убеги» (это выразительное трифоновское слово, относящееся к Сергею из «Другой жизни», вполне пригодно для использования в расширительном смысле) внутри городского круга. У того же Ю. Трифонова это не только Сергей, но и Геннадий Сергеевич в «Предварительных итогах». Оба ухода несостоятельны, хотя каждый по-своему: у Сергея потому, что ему нельзя, некуда уйти, а у Геннадия Сергеевича потому, что он и сам, в сущности, такой же, как те, от кого он намеревался уйти.

И при всем несходстве внешнего облика с трифоновскими героями (да и между собой) такими беглецами «внутри круга» явились Зилев из «Утиной охоты» А. Вампилова и Егор Прокудин из «Калины красной» В. Шукшина: люди, понимающие безысход-

ность своего состояния, но не знающие, куда, на какую утиную охоту бежать.

Но если Зилов и Прокудин не знают, куда бежать, то Илья Константинович, герой повести Г. Бакланова «Меньший среди братьев», не имеет силы бежать. Подобно Геннадию Сергеевичу, но уже только в намерении, в побуждении, не решаясь исполнить, хотел бы он совершить побег из дома. И случаев такого возникающего в мечтах, но не претворяющегося в действие «убега» становится в современной прозе все больше, по мере того как она все шире вовлекает в свою орбиту героев, страдающих инфантилизмом.

И наконец, как бы возвращая ситуацию с «беглецами» — на новом уже витке — к исходной позиции, нельзя обойти судьбу Ильи Рамзина в бондаревском «Выборе».

Впервые в послевоенной русской прозе Бондарев возродил ситуацию, столь распространенную в 20-е годы: бегство и возвращение блудного сына на родину, к родному дому, к матери, теперь уже отринувшей, не принявшей его. Мы понимаем, что для такого решения Бондарева наша проза должна была сделать много шагов в гуманистическом исследовании атипичных судеб: здесь и образ Бунина в «Траве забвения», и Гуськов в «Живи и помни», и персонажи «Бездны» Л. Гизбурга, и «Eugenia Ivachova» Л. Леонова. На основе этих накопленных и появился в нашей сегодняшней литературе образ Ильи Рамзина.

Но едва ли не более значительны связи и оттачивания, которые можно обнаружить между Ильей и беглецами Булгакова, А. Толстого и других прозаиков 20-х годов. Нетрудно увидеть, как изменилась структура мотивировок поведения, ибо то, что было в характере героев 20-х годов естественным и даже закономерным, потребовало теперь многих авторских объяснений, поскольку мы имеем дело с «выламывающейся» судьбой. Жестче стал отправной пункт, обозначенный прямо в заглавии — «Выбор»: теперь уже сознательный нравственный поступок, который отсутствовал и в «Сорок первом», и в «Черном золоте», и даже в «Тихом Доне». И уж совсем был бы невозможен в 20-е годы возглас Ильи в предсмертном письме: «Не орудие ли человек в чьих-то руках? Кто производит над нами безумный эксперимент? Кто хочет над нами власти?»

Любопытно, что в «Вечном городе» А. Проханова в полупьяной компании, ведущей обычную светскую болтовню, некто малопривлекательный изрекает: «Есть даже такая гипотеза, я где-то читал или слышал.

Что будто бы сверху наблюдают за нами... Они поставили свой эксперимент и развели нас наподобие букашек. И все наши события, ну войны там, революции — это все их эксперимент. Смотрят, а сами думают: чем это у них все там кончится».

Так в драматической у Бондарева и в полупьяно-бытовой у Проханова ситуации обнаруживается в косвенной форме одна из причин странничества: признание тщетности своих усилий, нежелание брать на себя ответственность за свою судьбу, за судьбы человечества: только «странники» физически отстраняются от общественных усилий, а подобные герои, оставаясь внутри общества, духовно отчуждаются от него, оправдывая себя необоримостью «высших сил».

Проблема ответственности, возникшая в связи с «беглецами» в прозе 20-х годов, была остросоциальной, писателей интересовали социальные истоки и следствия выбора; ныне она стала в большей степени философской, и в этом заключена несомненная новизна современного этапа, столь хорошо ощущаемая в развитии традиционной ситуации.

Какой же общий вывод напрашивается из этих проб, полученных при выборочном бурении различных участков прозаической тверди?

В разных линиях, разных звеньях (будь то характер конфликта, тип героя или сюжетная ситуация) происходят беспрестанные внутренние изменения. Что-то из отмеченного мною было значительным, что-то мелким, что-то и вообще эфемерным. Но и при том, что далеко не все новое оказалось действительно новаторским, перспективным, многое стало заметной вехой в движении. А поскольку изменения происходят в известной мере синхронно, поощряемые общими жизненными процессами, то практически в каждом периоде можно ощутить какие-то связки, стяжки между звеньями. Конфликт человека со временем постоянно перекликается с изображением того, откуда и куда бегут герои, а торжество и угасание конфликта нового со старым — с торжеством и угасанием образа волевого, сильного руководителя и т. д. И возможность таких стяжек возникает как раз не столько в системе координат традиция — новаторство, сколько в системе стабильность — новизна. Не желание преодолеть литературную традицию бывает обычно исходным в этом движении, а желание выразить новое.

Нельзя по движению жизни предугадать движение литературы, но многое в движе-

нии литературы можно понять по движению общественной мысли, ибо назревающие в ней явления и тенденции рвутся вылиться в художественном слове. Вот почему не дают полного ответа применительно к текущему процессу внутрилитературные категории традиции и новаторства, трактуемые лишь как генетические, внутрилитературные категории: в такой трактовке исчезает дыхание современной общественной мысли, которое передается писателю.

Понятно, почему критики, характеризующие литературное движение 70-х годов, не улавливают принципиальную разницу между литературой этого и предшествующего десятилетия: мы все-таки находимся еще внутри процесса, на уровне новизны, на уровне «обогащения», по формуле М. Пархоменко. Ни одна из отмеченных мной черт нового в героях, конфликтах, ситуациях прозы последнего десятилетия не может быть безоговорочно поименована новаторской. Но в то же время мы ощущаем и определенные изменения, определенные сдвиги, когда из, так сказать, количественного накопления новых черт выкристаллизовываются качественно новые, новаторские свойства.

Может быть, наиболее заметно обнаружил эту диалектику роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день», воплотивший многие тенденции, проявившиеся к концу десятилетия.

Нетрудно видеть, что он поднялся на общих литературных завоеваниях, в том числе на тех, о которых шла речь в этой статье: преодолении прямолинейных воззрений на конфликты нового со старым, интересе к герою из глубинки, локализации пространства повествования, ибо литература убедилась, что от себя не убежишь ни отправляясь в романтические дали, ни забираясь в глухомань.

Огромное значение имел и опыт нашей прозы в создании мифологически-притчевого повествования, назначенного вести эту «локализованную» личность не в просторы века, а в проблемы века. Опыт, который отразил движение нашей прозы к философскому осмыслению действительности. Опыт, в котором видную роль и прежде играл Айтматов.

Уже много лет критика отмечала как самобытную черту его манеры последовательное использование мифа для расширения повествовательного пространства, для создания целостной картины мира. Но эти мифы были у него эстетически действительны только в слиянии с реалистической повествовательной тканью — когда от сближения

двух полюсов с разным зарядом высекается художественная искра.

Там, где в его повестях такого столкновения не было, где наличествовал лишь один полюс, там звучание оказывалось более слабым, даже если речь идет о таких повестях, как «Тополек мой в красной косынке» или, скажем, «Пегий пес, бегущий краем моря», — вещах, безусловно, сильных и ярких, но уступающих тем, где имеются два полюса (иные, но тоже два полюса в «Прощай, Гульсары!»): судьба Танабая и судьба его иноходца).

Несколько лет назад Л. Аннинский, возжаждавший беллетризма, резко критиковал «Пегого пса...», но сегодня видно, что эта вещь была для писателя необходимым подступом к новому роману: в ней он овладевал и тем, как можно насытить легенду живой трепетной плотью реальности, и тем, как можно глобализировать миф, выводя его за пределы национального сказания, национальной специфики (никто ведь не обращает внимания на то, что новый роман — «из казахской жизни»: настолько сказанное писателем лишено нарочитого национального привкуса).

Наверное, будет правомерным поставить Айтматова рядом с Габриэлем Гарсия Маркесом: два пути мифологизации прозы, изображающие жизнь какими-то широкими мазками вместо «точечного» изображения (и это одно из проявлений мирового художественного опыта, возникшего рядом с европейской реалистической традицией). Убежден, что будут написаны литературоведческие работы, сопоставляющие прозу Айтматова и Маркеса. Успех книг Айтматова, авторитет его творчества укрепили в нашей литературе мифологическую структуру прозы Ч. Амирэджиди, Г. Матевосяна, Р. Эзери и многих других мастеров.

Сегодня нет никаких сомнений в том, что роман «И дольше века длится день» талантливо закрепил многое, уже прочно освоенное нашей прозой в ее философских и эстетических исканиях последнего времени. Но в то же время он явился и несомненным преодолением стабильности, канона.

Почти десять лет литература упоенно двигалась к простому человеку, действующему в предельно локализованном пространстве — не только географическом (лесной кордон, опустевшая деревушка, подлежащий затоплению остров), но и общественном: «Жила, как дерево в лесу...» — сказал Распутин о старухе Анне. Но когда проза уверовала было, что этим можно ограничиться, что любые исторические проблемы можно разрешить через «мужика» (вспом-

ним хотя бы критические статьи — восторги в связи с «Комиссией» С. Залыгина), Айтматов почувствовал назревшую общественную потребность вписать «локализованного» человека в «космическую систему» сегодняшнего общественного мироздания. Но вписал его не по законам популярного «широкоформатного» романа, не через описательное панорамирование, а по законам метафорической ассоциативности, присутствующей мифологизированному повествованию. Благодаря такой космогонической задаче (вписать человека в более значительную систему) органично спаялись в единое эстетико-философское целое легенда о манкуртах, полет космонавтов в условно-будущем времени и несколько десятилетий современной жизни, реалистически преломившихся в судьбах обитателей полустанка на магистрали восток — запад.

В этом трехслойном, трехвременном эстетико-философском целом заняли свое место все герои вплоть до Сабитжана, современного манкурта, который с восхищением говорит о грядущих технических возможностях управлять людьми по радио, совершенно не задумываясь над тем, кто же будет подавать команды этим радиоманкуртам — современные земные жуаньжуаны или «экспериментаторы» из космоса.

И признаюсь, с некоторым изумлением прочитал я у В. Турбина, что земляне, оказавшись от контактов с лесногрудцами: а вдруг коварные инопланетяне пускали, что называется, космическую пыль в глаза нашим астронавтам, чтобы, обольстив экипаж, проникнуть на Землю и поработить землян. Версия оригинальная, но, по моему, полностью противоречащая всей художественной структуре и идейному пафосу романа. Не в лесногрудцах видит угрозу своему Едигею автор.

Раскрытие авторской философской концепции идет через глубинного героя, через человеческую судьбу. Но будучи романом-судьбой, «И дольше века длится день» явил собой и роман-событие. Только роман-событие особого типа, все действие в котором собрано в одной временной точке — дне похорон; через эту точку проходят все диаметры круговой вселенной Айтматова: от Едигея до лесногрудцев, от жуаньжуаней до «Паритета», от сырмятного колпака до операции «Обруч», от Каранара до Сабитжана. Не из одной точки расходятся, а через одну временную точку проходят главные нити жизни. Поистине дольше века длится день!

Трудно угадать, почему в отдельном из-

дании автор предпочел все-таки для своего романа название «Буранный полустанок»: то ли потому, что счел строку из сонета слишком литературной для созданного им мира народных легенд и народной глубины, то ли из-за громоздкости самой строки, то ли по иным причинам. Но оба названия таят в себе единый философский смысл: день, расширяющийся до века, или полустанок, открытый буранам века, — в обоих случаях содержится идея ядра, через которое проходят главные нити жизни.

А вместо проблемы отношения человека к природе, ставшего уже в нынешней прозе привычным и удобным стереотипом, вошло в роман действенное отношение человека к общественной «природе», к общественному «космосу», в котором существуют разные социальные силы и сложные социальные сцепления, без коих невымыслимо бытие отдельного человека — ни на полустанке, ни на острове, ни в дедовской избе. Не случайно так настойчиво звучит в романе рефрен о магистрали восток — запад. И в этом смысле наша проза сделала значительный шаг от повести «Прощание с Матёрой», которой роман Айтматова так близок по многим идейно-художественным параметрам и без которой он, возможно, и не мог бы состояться.

В романе можно обнаружить (да критика, в общем-то, и обнаружила) некоторые художественные несовершенства: жесткость стилистики той линии, что связана с «Паритетом» (при всем том, что такая жесткость, видимо, и замышлялась автором, чтобы уже в самом стиле передать отчужденность происходящего от народной жизни), растянутость и необязательность легенды о судьбе старого певца и его возлюбленной, схематичность фигуры кречетоголазого и т. д. Но мы сейчас оцениваем не совершенство художественной гармонии, а новизну художественного мышления, художественного видения.

Конечно, новое в литературе убеждает только тогда, когда перед нами художественное содержание, то есть содержание, обретшее адекватную ему художественную форму. Но полагаю, что в целом Айтматов сумел прорваться сквозь многие трудности именно к художественному содержанию.

Путь, избранный Айтматовым, далеко не единственно возможный, единственно перспективный, поэтому роман «И дольше века длится день» ни в коей мере не должен быть противопоставлен другим, «недостигшим». Он вырос среди других; так из молодой поросли всегда вырывается один побег, не-

постижимым образом впитавший больше живительных соков из той же почвы, в которой укоренены его собратья. Но все-таки вырывается!

Конечно, только время дает основание в полной мере определить новаторство, как бы ограничивая ту благородную новизну, что видна уже в ходе текущего процесса. Но думаю, что роман «И дольше века длится день» свидетельствует о серьезной заявке на новаторство — не типа повествования с неперменными легендами и фактическими допущениями, но типа художественного мышления, перспективного для целостного стереоскопического восприятия нашего сегодняшнего бытия.

И не перекрестие новаторства с традицией важно здесь для меня. Вряд ли было бы правильным в данном случае примерять, дорос ли уже Айтматов до традиции или только дорастает до нее. И уж, во всяком случае, пусть другие критики подыщут достойную традицию этому роману в русской ли классике или национальном фольклоре. Я же тщусь обнаружить перекрестие стабильности, как бы зафиксировавшей определенный этап нашей общественной мысли, нашего искусства, и новизны, показавшей, в чем стабильное стало стереотипным и должно быть преодолено.

Так снова возвращаюсь я к исходной мысли статьи: для познания текущего художественного процесса первоочередное значение имеет изучение того нового, что приносят те или иные произведения. Более точно будет сказать, что роман Айтматова обозначил новый уровень, новую отметку в движении, и надо выявить этот уровень, эту отметку.

Нет нужды разделять художников на новаторов и традиционалистов и ломать каж-

дый раз голову над тем, куда отнести, скажем, В. Шукшина, Ч. Айтматова, Ю. Трифонова. Равно как нет нужды объявлять новаторской лирическую деревенскую прозу, хотя она в лучших своих образцах открыла и новые для литературы конфликты, и почти не встречавшихся до того в литературе героев, и несомненно актуальные коллизии.. Речь идет не о раздаче лавровых венков, а о необходимости видеть ту новизну, что приходит в литературу с отдельными произведениями и творческими направлениями в ответ на запросы современности.

Постепенно выкристаллизовываются в текущем процессе и писательские индивидуальности, входящие в историю как первооткрыватели новых материков, и отдельные произведения, оказывающиеся вехами этого процесса. Мы же часто, боясь ответственности, налагаемой словом «новаторство», уstraняем от анализа той реальной новизны, тех исканий, без которых нет движения вперед, на какие бы прекрасные традиции ни опирался художник.

Теснейшим образом взаимосвязаны, но все-таки не взаимозаменяемы понятия «оригинальность» и «новизна», «новаторство». И всячески ратую за полное выявление оригинальности художника относительно творчества других мастеров, нужно соизмерять его новизну относительно всего процесса. Ведь текущий процесс представляет собой не конгломерат оригинальных талантов, а динамичное целое.

И хотя у нас не очень-то разработаны надежные критерии новизны, сама задача этим не снимается. Интерес к новизне, к движению, а не просто состоянию сегодняшней прозы наверняка приведет критику к плодотворным результатам.

ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вл. Новиков. Философия метафоры.— В. Косолапов. Память неотступная.— Сергей Белов. Вечные поиски истины.

ПОЛИТИКА И НАУКА

О. Алякринский. «Тихое десятилетие»?..—В. Баевский. Стиль историка.— Вл. Карцев. Эталон.— Г. Федоров. В мире богов и героев.

Литература и искусство

ФИЛОСОФИЯ МЕТАФОРЫ

Андрей Вознесенский. Соблазн. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 208 стр.
Андрей Вознесенский. Безотчетное. Новая книга. М. «Советский писатель». 1981. 256 стр.

Тянутся друг к другу слова, предметы, понятия, радуются своему внезапному сходству. Встретившись, расстаются — с грустью или с болью. Расстаются навсегда, но тяга к сближению передается другим словам, предметам, понятиям — новые возникают союзы, новые звучат диалоги. Мир строится непрерывно. Таков основной закон поэтики Вознесенского, такова эмоциональная логика его образов. Метафорическое изобилие стихов Вознесенского — факт очевидный, но еще не очень понятый хотя бы потому, что оценки он вызывает полярно противоположные. Попробуем в интересах ясности прислушаться к аргументам тех, кто метафоричность не одобряет.

Честно говоря, иной раз начинает казаться, что для многих тут все дело в термине, в самом слове «метафора», воспринятом в качестве какого-то жупела, какого-то синонима вычурности и нарочитости. Древнее слово это стало казаться модной новинкой — может быть, потому, что оно лет двадцать назад особенно полюбилось поэтам, которые, похитив его у кабинетных филологов, выпустили, как птицу, из клетки академического стиля на вольные страницы своих книг. «Метафора — мотор формы», — написал Вознесенский в 1962 году, размышляя о поэзии Гарсиа Лорки. Кому-то этот лозунг оказался неприятен, а ко-

му-то просто непонятен — и потому враждебен. Я не считаю, что понятие «метафора» нуждается в защите и оправдании, но не хочу отгораживаться и от тех читателей, которые с подозрением относятся к моторам и формам. Рискую впасть в прожекторную наивность, спешу успокоить их: загадочное слово «метафора» во многом сходно по смыслу с простым русским словом «сравнение». Говоря о метафоричности Вознесенского, непременно вспоминают:

Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

В строгом педантичном смысле это сравнение: названы обе составляющие образ части, между ними есть союз «как» и т. д. Вообще говоря, для поэзии нашего века мелочные технические различия между сравнением и метафорой становятся все менее важными, поэтому в академической науке возник составной термин метафорасравнение, а некоторые теоретики просто считают метафору частным случаем сравнения.

Зачем все эти терминологические трюизмы? Затем, чтобы продолжить их трюизмом философским «все познается в сравнении», а потом перейти к вещам менее очевидным.

Мир, состоящий из разнородных, не со-

отнесенных друг с другом предметов, называется хаосом. Сравнение — первый шаг навстречу гармонии. Между котом и радиоприемником гораздо больше различий, чем сходства. Они не были похожи до тех пор, пока в комнату не вошел человек. Это третий, и, может быть, важнейший, элемент художественного сравнения. Его-то иногда не замечает читатель, допуская ошибку не теоретическую — душевную. Потому трудно согласиться с теми, кто считает метафоричность Вознесенского чрезмерной. Нужна ли умеренность в той работе, которую Блок определял словами «безличное — вочеловечить»? А в деле «воочеловечивания» метафора — одно из самых мощных средств.

Да и существует ли вообще неметафорическая поэзия? Может быть, дело в том, что одни пользуются набором готовых метафор, а другие еще и создают новые? Не является ли метафорой и сам стих? Во всяком случае, его изобретатель обладал богатым воображением, раз он решился бесконечность жизни и речи уподобить краткому мигу — строке.

Метафора по-гречески означает перенос, перенесение признака с одного предмета на другой. Метафора Вознесенского — это чаще всего вознесение, рывок от традиционно низкого к высокому.

Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полуокруглом овале окошечка!

Острый взгляд? «Хищный глазомер»? Но ведь эти качества просто так никому не даются: они входят в состав таланта только в сочетании с жадной идеала. Обнаружить чисто геометрическое сходство окошка кассы с формой нимба может, наверное, каждый человек. Но точно выразить эмоциональное следствие этого сходства — дело другое. Здесь соблюдена душевная мера гармонии, ведь сравнение получилось обоудовозвышающее: кассирша уподобилась богородице, а та в свою очередь ожила, заговорила.

Но не так легко, наверное, читателю настроить свое зрение сообразно метафорическому световому потоку. Иначе откуда бы взялось столько недоразумений?

Сколько было тьмы непониманья...

При появлении «Параболической баллады» кто-то упрекнул Вознесенского в воспевании окольно-параболических путей и недооценке прямой линии. «Треугольная груша» долгое время служила дежурным символом заведомой бессмыслицы, хотя в

самом стихотворении «груши треугольные» пояснялись рифмой. «души голые» — какие еще нужны комментарии? «Антимиры» утвердили за автором стойкую репутацию негативиста, строящего свой мир не то на потусторонних, не то на nihilистических основаниях. Это при всем множестве стихов, совершенно недвусмысленно рисующих земные радости, выражающих жизневосприятие безмерно счастливого человека!

Тут какое-то циклопическое зрение, убежденная однобокость. А может быть, и душевная лень, нежелание сделать малейшее усилие — перевернуть медаль и посмотреть, что там, с другой стороны. Этим объясняю и странные претензии к тем стихам Вознесенского, где он оплакивает нерожденные поэмы или рассказывает, что ему не пишется. Неужто непонятно, что на самом-то деле таким способом изображается рождение поэзии, процесс писания рисуется? Только через противоположность. «Не» (как и «анти») — знак метафоричности, особого рода. Попросту говоря, знак отрицательного сравнения — приема, весьма распространенного в русском фольклоре (загляните в Киришу Данилова — такие роскошные «антимиры» найдете), да и у классиков популярного («Не стая воронов слеталась...», «Не ветер бушует над бором...»).

Не в поучение — в порядке обмена читательским опытом хочется сказать: не надо отвлекаться на мелочи, тратить эмоции на изучение химического состава сора, из которого порой растут стихи. Не надо отколупывать краску с полотна.

Я нашел тебя на свалке.
Но я заставляю тебя сиять.

А сияние — только на стыках, на пересечениях, в сравнениях всего со всем. Вознесенскому все слова нужны, все вещи, реалии, темы. Про иных поэтов можно заранее сказать: такое-то слово для него не характерно, на такую-то тему он писать не станет. Но не про Вознесенского. По тематике и словарю он универсалист, энциклопедист. А где установка на энциклопедизм, на полноту обзора — там отсутствие в художественной системе любой темы (само́й приземленной), любого слова (самого грубого) было бы просто ложью. Вот почему для Вознесенского употребление в стихах слова «унитаз» не является непристойностью, а те, кто таковую здесь усматривают, просто стихи не по назначению употребляют. Не что за предмет назван, а с чем он сравнивается — вот логика поэзии.

Метафора — волшебные очки. Не надо рассуждать, зачем они, из чего сделаны, нравственна или безнравственна их материальная оправа. Примерьте взгляд поэта, сравните его со своим собственным. У каждого ведь живого, пишущего ли стихи, нет ли, есть свои метафоры мира:

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Колебание этих тайных струн в душе читателя есть необходимое условие контакта с поэтическим миром Вознесенского. Оно, естественно, не может на сто процентов, зеркально повторить тот импульс, которым стихи рождены. Поэзия не телеграф, она не способ передачи информации, а резонанс, возникающий при взаимном духовном напряжении поэта и читателя.

Первая возможная ошибка при читательской работе с метафорами Вознесенского — буквальное восприятие элементов, образующих сравнение. Вторая — рассудочная расшифровка метафоры. Ясно, что при определенной степени культурной осведомленности можно подыскать какие-то значения и для кота-радиоприемника, и для глобуса-арбуза «в авоське меридианов и широт», и для виолончельности дубового листа, и для математической метафоры « $2 = 1 > 3\,000\,000\,000$ », и для «душевной аллергии». Можно, но не нужно. Надо понять общий закон метафорического строя, а строй этот эмоционален, и постигнуть это можно только эмоциональным трудом. Тут не помогут ни логическое манипулирование, ни эрудиция, ни выколушывание реминисценций и переключек. Тут, наверное, все зависит от душевной мобильности, от культуры чувствования — культуры безотчетного.

Вот «Старый Новый год», известное стихотворение. О чем оно, зачем оно? В России год начинается дважды, и получается

с первого по тринадцатое
пропасть между времен.

Каждому понятна логическая сторона такой метафоры. Но это только вход в стихотворение. А дальше поэт предлагает эту «пропасть между времен» представить, почувствовать, пережить. Он нам демонстрирует свободный полет своего чувства:

вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова—

и приглашает лететь рядом. Если читателю не приходилось прежде испытывать подоб-

ные ощущения, мечтать на подобные темы, то полета, по всей видимости, не получится независимо от образовательного ценза. Но со второго-третьего раза может получиться — через год, через десять лет, все равно. Метафора — рычаг, поднимающий душу ввысь, а поэт — учитель, инструктор, обучающий навыкам внутренней свободы:

— Мама, кто там, вверху,
голенастенький, —
руки в стороны — и парит?
— Знать, инструктор лечебной
гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

Повторить иногда бывает трудно. Я сравнил бы еще чтение Вознесенского с биатлоном: подобно лыжнику-стрелку, читатель должен пройти трассу стиха на высокой «певчей скорости», успевая на ходу попасть взглядом во все мишени-метафоры. Каждый промах взгляда — потеря, а подолгу у мишени задерживаться нельзя: пока будешь глубокомысленно мусолять отдельную метафору, потеряешь смысл интонации, ощущение речевой естественности. Это тренировка душевной техники, отзывчивости на радость и на боль.

Часто говорят о том, что метафоры и ритмы Вознесенского сконструированы, смонтированы, а не рождены непосредственным эмоциональным порывом. Но сделанное в искусстве, если оно сделано хорошо, сразу становится живым, «рожденным» (смотри об этом у Овидия — история Пигмалиона). Художественное творчество — это всегда сочетание сознательного конструирования и безотчетных прозрений. Сколько затрачено того и другого — это интимная тайна художника. Сомножители творческой работы не известны никому, даже самим поэтам (вспомните, сколь наивна была попытка Э. По объявить своего «Ворона» плодом холодного конструирования), — известно только произведение.

А что касается обнаженности приемов, то за ней у Вознесенского стоит чаще всего обнаженность чувства:

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленного джерьми!

Отчетливость метафорических линий — форма откровенности. Эти линии — набухшие вены на натруженных руках поэзии.

Для Вознесенского метафора не только средство живописания, но и способ автопортретирования, лирического самопознания. Авторское «я» строится на многократном сравнении себя с самыми разными

людьми. С Мэрлин Монро и рыбаком, с Пушкиным и Гоголем, с Маяковским и Высоцким, с загорским монахом и футболистом, с камергером Резановым и студенткой Светланой Поповой, с одинокой женщиной, потерявшей любимую кошку, и администратором гостиницы, с Пастернаком и настоятелем Полисадовым. (А чем неканоничны переводы стихов Микеланджело? Тем прежде всего, что в каждом «я» сравнение автора с переводчиком.) Это все лица, а не маски. Поэт не играет во всех этих людей, не притворяется ими, а ищет с каждым общее — и с каждым разное, для каждого открывает новое место в своей душе. И несходства не стыдится, не скрывает его — оно ровно в такой же степени ценно и значимо, как сходство:

Такое же — и все другое

В этом отношении любопытно сравнить поэзию Вознесенского со столь же многонаселенными поэмами и стихами Евтушенко. У того совершенно иной способ общения с героями. Евтушенко рвется к отождествлению себя со всеми и всех с собой. Малейшего сходства ему достаточно, чтобы заявить: «Я — это ты», неумолимо требуя ответного признания. Поэтический идеал Евтушенко можно представить в виде пиршественного стола, где вместе с автором восседают в одном ряду и Стенька Разин, и Пушкин, и декабристы, и строителя Братской ГЭС, и борцы за освобождение Африки и Латинской Америки. Все поют общие песни, все связаны одним чувством.

Вознесенский же предпочитает с каждым говорить с глазу на глаз. Лицом к лицу. Делясь с читателем духовными результатами этих встреч, их интимно-человеческую сторону он открывает не полностью. Для него существует некая тайна диалога, как тайна исповеди.

Что лучше? Не знаю. Наверное, эти две системы равноценны, равноправны, и время вызывает их к жизни попеременно. Но разницу важно понимать. В лирического героя Вознесенского нельзя смотреть как в зеркало, подставляя буквальный образ читательское «я» на место авторского, выискивая в стихах те мысли и чувства, которые можно полностью принять за свои. Нет, здесь надо не приравнивать, а сравнивать: себя с поэтом, поэта с собой. Лицом к лицу. Неправда, что таким способом «лица не увидеть», что «большое видится на расстоянии». С дистанции лучше познаются размеры — это дело другое, но суть, выражение лица надо читать **вблизи**.

Лирический герой Вознесенского человекски конкретен, определен. Стремясь понять все и всех, он не заявляет авансом всепонимания и всепрятия. Любя Пикассо, не скажет, что ценит также и Шишкина. Цени в женщине красоту, не поспешит огорчиться, что на первом плане для него все же душевные качества. У него очень свои почва и судьба. И он не стесняется своей московской послевоенной почвы, не стесняется быть современником себя самого. А тем, кто эту почву считает недостаточной, Вознесенский скажет дружески:

Любимые современники,
у вас века другого нет...

Не так просто, откровенно говоря, зарабатывать право, не становясь на котурны, выступить от имени столетия, как это сделано автором в «Монолог XX века». Это стихотворение — как картина с двойным светом. Если прочесть, не обратив внимания на название, его можно принять за монолог самого поэта (строго логически, «мой век» — так век о себе говорить не может). Здесь опять метафора, сравнение, совпадение-несовпадение века и поэта. За ораторской декламацией в тени смыслового смещения рождается философский подтекст.

Культура вечности складывается из усилий тех, кто был верен своему веку. Споря с ним, ненавидя его, тревожась за века последующие, но никогда свой век не предавая.

Почва, судьба... Не превращаются ли эти слова в некую догму, когда за ними подразумевают строго обязательный вариант биографии: испытания, невзгоды, трудности? А громкий успех, напряженно-интересные встречи, жадный взгляд миллионной аудитории — это не судьба? Отсюда ведь тоже кое-что открывается. Что же до трудностей, испытаний и даже мучений, так поэтическая профессия всегда дарует их в избытке.

Своей профессии Вознесенский никогда не стыдится, не притворяется даже в шутку непозтом. Поэзия — доминанта характера, суть судьбы, смысл жизни:

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но зато какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи — как ты ни поступи, —
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за «искусство для искусства».

Это стихотворение построено на бесстрашно-прямом сравнении поэзии с женщиной—или женщины с поэзией. Элементы сравнения не вполне совпадают, между ними остается смысловой зазор, «сквозняк пространства». «Ты» приобретает еще одно значение — ж и з н ь. Поэзия и жизнь раздельны, но поэт не чувствует между ними границы. Блок говорил о нераздельности неслиянности жизни и искусства — эта формула антирассудочна, ее можно только пережить, почувствовать. Вознесенский дал свой эмоциональный вариант этой идеи на сегодняшнем языке.

Поэзия служит жизни по свободному выбору, ничего не обещая заранее. Иначе это будет не служение, а служба. «Ради стихов рождаются стихи», и именно поэтому произведение Вознесенского не внешне, а по сути связаны с самыми важными и болезненными вопросами сегодняшнего человечества. Поэта властно тянет к «устью предчувствий», он пробует пережить разные варианты будущего планеты, в том числе и варианты самые беспощадные. Именно пережить, предчувствовать, а не предвидеть, поскольку разум часто пасует, когда мысль обращается к трагическим крайностям. Чувство смелее, оно вторгается и в те пределы, о которых «страшно подумать». Апокалиптические фантазмагории Вознесенского — это прививка боли себе и читателю. Сделана ставка на правду чувства: только оно, развернувшись во всей полноте, может опровергнуть худшие прогнозы. Нужны существенные коррективы к самому идеалу человека. Homo sapiens должен развиваться еще и как homo sensibilis — человек чувствующий. Так я определил бы складывающуюся у Вознесенского модель гуманистической стратегии. Недаром он решительно отредактировал Декарта, предложив формулу «чувствую — стало быть, существует».

Это не проповедь расслабленной чувствительности, а устремленность к новым возможностям, новым цветам и оттенкам того сложного спектра, который являет собой бытие человека. Здесь еще очень много непознанного, недочувствованного, сулящего новые горизонты и для разума. Космос чувства — это равновесие радости и боли. Пока баланс этих сообщающихся сосудов сохраняется — мир неистребим.

Сравнение, соотнесение радости и боли — сквозная тема поэтической работы Вознесенского, начатая еще в «Мастерах», развернутая во множестве сюжетов и обрывков и наиболее отчетливо обобщенная

метафорой соблазн. О радости и боли Вознесенский не рассказывает, он вводит их в читателя через стих. Не называет, а вызывает. Здесь опять-таки таится причина недопонимания и недовольства. Кто-то боится боли, кто-то не умеет радоваться. Так что у «инструктора лечебной гимнастики» работы всегда будет достаточно:

Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась,—
соболезнуй несоблазненным.
Человека создал соблазн.

Чувство — не замена разума, а его проводник в сложных, кажущихся тупиковыми ситуациях. Метафора — не замена мысли, а энергетическое поле, в котором думается по-новому, обновляются и самые способности мышления. Вот реплика Вознесенского в экологической дискуссии:

Поглядишь, как несметно
разрастается зло,—
слава богу, мы смертны,
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы
табунки васильков,
слава богу, мы смертны,
не испортим всего.

Две взаимоисключающие мысли не уничтожаются, поскольку они стоят не прямо друг против друга, а немного боком. Это не «тезис и антитезис», а сравнение мыслей. Сами мысли здесь выступают как материал, итог их взаимодействия чисто художественный, эмоциональный. Трактовать итоговый смысл каждый читатель волен по-своему, но одно ясно: выход у человечества есть, хотя найти его трудно. Что могут стихи? Даже если только укрепить ищущее сознание — уже немало.

Чувство выступает для Вознесенского и тем критерием, который диктует меру простоты или сложности разговора с читателем. Вообще говоря, поэтов сложных или простых, по-моему, не существует: и сложность и простота — инструменты, выбираемые в соответствии с интуитивно ощущаемой творческой задачей. Но поскольку Вознесенского даже в последнем энциклопедическом словаре сопровождает мета усложненности, хочется сказать и о вполне доступной поэту «неслыханной простоте». Ну вот хотя бы:

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заметим только, что и простота у Вознесенского своя, «неслыханная» в том

смысле, что мы ее не слышали у кого-нибудь другого. Приведенные строки не элементарны, это не копия обыденной речи. Слова «не забудешь» и «не увидишь» не могут стоять рядом в обыкновенном разговоре, они слишком полярны. Здесь опять метафоричность, сравнение слов — знаков счастья и беды. А естественность интонации, свободное звучание стиха, «впадающего в речь», — это попросту безотказное свойство работы Вознесенского и в «простых» и в «сложных» вещах. Оно даже перестает порой ощущаться читателями, принимается как должное. Иллюзия, типичная для тех, кто никогда не пробовал заговорить стихами. Может быть, для понимания поэзии каждому нужно хотя бы чуть-чуть попытаться побыть поэтом? Не знаю, но очень тревожно слушать разговоры о том, что высокий уровень стиха ничего не значит, что стихи и поэзия — вещи разные. По-моему, это безответственная схоластика, поскольку вне стиха, вне музыки мастерства поэзии не существует.

С «Треугольной груши» и до сих пор Вознесенский сопрягает, связывает стихи с прозой, взвешивая их сравнительные возможности, строя на их сходстве и контрасте свою концепцию мира. К каким итогам он пришел?

Классификатор скрупулезный,
педи попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

Разъять все-таки можно — не в буквальном смысле, а аналитически. И тогда можно заметить ход взаимовлияния: стих Вознесенского настраивает по прозе свою речевую органику, а проза перенимает у стиха метафоризм, лаконичность высказы-

вания. Это ощущается не только в повести о Пастернаке «Мне четырнадцать лет...», но и, скажем, в маленькой новелле «Судьба поэта», помещенной в качестве скромного вреза к журнальной публикации стихов Высоцкого. Это не мемуары, не критика — слишком велик субъективный элемент, всюду неизменное сравнение персонажей с самим собой и со своей биографией. Четырнадцать лет — это и «вечный» возраст Пастернака, и возраст автора в пору первой встречи с учителем. А в раздумьях о трагически запоздавшем признании таланта Высоцкого звучит момент исповеди: «Неужто умереть надо, чтобы люди поняли и поверили?» Что ж, тем отчетливее личная заинтересованность в тех, о ком пишет Вознесенский, внятнее то, что он хочет сказать читателю...

Рецензионная традиция требует примерно в четвертом абзаце с конца заговорить о недостатках, пожелать автору преодоления противоречий.

Вспоминаю одну из постоянных автомафор Вознесенского:

Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей,
Согласитесь, при Камлучи —
мучительней соловей.

История русской поэзии показывает, что советовать соловьям, тем более направлять их развитие — дело не очень плодотворное. Не хочу повторять традиционных ошибок.

А потому не желаю автору «Соблазна» и «Безотчетного» расставаться с теми противоречиями, и страшными и прекрасными, из которых он делает свой стих и свой свет.

Вл. НОВИКОВ.



ПАМЯТЬ НЕОТСТУПНАЯ

Георгий Холопов. Иванов день. Повести. Рассказы. Воспоминания. Л. «Советский писатель». 1981. 528 стр.

Между первыми рассказами Георгия Холопова и книгой, которая сейчас передо мной, пролегло немало лет. Первые его рассказы появились в середине 30-х годов. И первый роман, «Медвежий лог», увидел свет тоже еще до войны. Выходит, что автор «Огней в бухте» и «Грозного года», «Гренады» и «Докера», «Невыдуманных рассказов о войне» и «Венгерской повести» трудится на литературной ниве уже почти полвека.

Новую книгу Г. Холопова составили написанные в 70-е годы карпатские повести

и карпатские рассказы. Почему же его, ленинградского прозаика, привлекли именно Карпаты? Виновата здесь, очевидно, давно отгремевшая война. Через этот край пролегли тогда военные дороги писателя — корреспондента армейской газеты, и он, как говорится, прикипел к нему душой. В послевоенные годы писатель не раз приезжал в эти места, чтобы вновь и вновь прикоснуться к их прошлому и настоящему, к радостям и заботам карпатских стариков, к самобытной культуре.

Замысел «Путешествия в Буркут» укре-

пился, когда писатель перечитывал собрание сочинений Леси Украинки. По ее письмам родным и друзьям Г. Холопов зрямо представил маршрут ее поездки из Черновцов в Буркут. И сама собой пришла мысль: а почему бы ему не совершить поездку по этим же местам через семьдесят пять лет после путешествия Леси Украинки? Прodelать тот же путь, чтобы глубже понять поэзию замечательной поэтессы, творчество галицийских писателей прошлого, далекую и близкую историю края.

Итогом этой поездки и явилась книга-путешествие, книга — путевой дневник. Черновцы, Вижница, Куты, Кобаки, Снятин, Русово, Косов, Яворов, Криворивня, Красноиллов, Устерики, Буркут — города и села, где останавливалась Леся Украинка, места, связанные с жизнью и творчеством ряда выдающихся писателей, певцов этого края. Большинству главok книги-путешествия предпосланы в качестве эпиграфов выдержки из писем Леси Украинки. Она как бы сопровождает автора на всем протяжении пути.

И все-таки эта повесть не история жизни Леси Украинки. Она — как и повесть «Иванов день», давшая название всей книге, как и рассказы «В доме у Олены Михайловны», «Когда городок смеется...», «Последний печник» — прежде всего о сегодняшнем дне Гуцульщины, о сегодняшних ее людях, их труде и быте, обычаях и нравах, их духовных интересах. Автор рассказывает о том, как свято чтут здесь сегодня память Леси Украинки и Ивана Франко, Василия Стефаняка и Юрия Федьковича, Ольги Кобылянской и Марко Черемшины, Михайла Павлыка, Леси Мартовича и Гната Хоткевича; вспоминает страницы их жизни, их произведения, размышляет об особенностях и значении их творчества.

Увлеченно пишет Г. Холопов о высоком мастерстве здешних народных умельцев — резчиков по дереву, чеканщиков по металлу, кудесников керамики и художественной обработки кожи, ткачих, изготовляющих знаменитые местные ковры (килимы), замечательных вышивальщиц («Разве есть на свете вышивка лучше гуцульской? Помоему — нет... Что ни село — свои мотивы, свои любимые цвета, свой стиль вышивки»).

Документальная повесть «Достоинство» возвращает нас в прошлое — к первым месяцам Великой Отечественной войны. Она посвящена короткой жизни расстрелянной гестаповцами комсомолки-подпольщицы Олены Смеречук и других комсомольцев

села Зеленого, разделивших ее участь. Им не было и семнадцати лет. Только немногим больше года прожили они при советской власти. Не знали толком, что такое нелегальное положение, как размножать листовки, как обращаться с оружием. И слишком поздно поняли, что в их подпольную организацию проник предатель...

На основе воспоминаний очевидцев и подлинных документов из гестаповского архива, который оккупанты не успели полностью уничтожить, писатель воссоздает страшные картины зверств, чинившихся гитлеровцами и их прихвостнями, украинскими националистами — оуновцами. У этих продавшихся фашистам бандитов существовал неписанный закон: если немцы кого-то расстреливали по подозрению в сочувствии советской власти, то потом оуновцы уничтожали его семью, всех его родных и близких.

О злодеяниях оуновцев и многие страницы другой повести — «Долгий путь возвращения». В ней рассказывается о судьбе человека, втянутого в оуновскую банду, отбывшего потом наказание и в конце концов вернувшегося в родное село.

После нападения фашистской Германии на СССР оуновские главари рассчитывали с помощью гитлеровцев, опираясь на созданную в областях Украины сеть своих военно-террористических банд, захватить всю советскую Украину. В одну из таких банд и оказался втянутым житель гуцульского села Василий Фесюк.

Когда в 1944 году советские войска погналы немцев обратно к границе, многие, чьи руки были обгарены кровью безвинных людей, бежали в прикарпатские леса и Карпатские горы. Со слепой яростью обреченных остатки оуновских банд поджигали колхозные фермы, склады, школы, клубы, из-за угла убивали коммунистов и комсомольцев, председателей сельских Советов и колхозов, учителей и агрономов, активистов и рядовых колхозников. Комок подкатывает к горлу, когда читаешь, как зверски убили оуновцы вернувшегося после госпиталя, потерявшего на войне руку старшего сержанта, артиллериста, кавалера двух орденов Славы (за Днепр и Берлин), как не пощадили они и его старую мать, и жену, и маленьких сына и дочку...

Осенью 1947 года скрон, где находился Фесюк, окружлы чекисты. Оставшиеся в живых бандеровцы были захвачены и предстали перед судом. Фесюка приговорили к десяти годам лишения свободы — суд принял во внимание то смягчающее обстоятельство, что обвиняемый лично кро-

вавых акций не совершал, активным участником оуновского движения не был и искренне раскаялся.

Отбыв срок, Фесюк не сразу вернулся домой. Пятнадцать лет переезжал он из города в город, жил в Сибири, и в средней части России, и на приднепровской Украине, и во многих других местах — работа для него, плотника и столяра, находилась всюду. Но год от года росла тоска по родному селу, желание увидеть сына, ставшего уже взрослым.

Писателю, на мой взгляд, удалось достоверно показать психологию главного персонажа повести, передать глубину и горечь переживаний человека, понявшего, что от своего прошлого не скроешься, не убежишь. Сын и невестка не только не встретили, но накануне его приезда переехали в другое село. Три дня просидел он в одиночестве в опустевшем доме. На четвертый пошел в магазин и сразу же был узнан матерью убитого оуновцами комсомольского секретаря Алексея Цапюка. Женщина закричала: «Верни, верни, кат, моего Алексея!.. Куда, проклятые бандеры, вы подевали моего сына?..»

Долгим и нелегким оказался для Василия Фесюка процесс его духовного и нравственного выпрямления. Долгой и трудной была его дорога к людям, ничего не забывшим. И надо отдать должное автору: он сумел показать это как тонкий психолог.

Завершают книгу «Иванов день» воспоминания автора о ленинградских писателях Алексее Чапыгине, Николае Тихонове, Александре Прокофьеве, Михаиле Зощенко и других. Главным образом о тех, принадлежавших к более старшему, нежели Холопов, поколению, чье дружеское участие и поддержку постоянно ощущал он, вступив на многотрудную писательскую стезю. Это были заботливые воспитатели литературной смены, взыскательные наставники молодых.

В 30-е годы, при первом же знакомстве узнав, что начинающий писатель много ездит по области как корреспондент «Кре-

стьянской правды», а до этого работал на ленинградских заводах, а еще раньше грузчиком в бакинском порту, Алексей Чапыгин, автор широко известных романов «Разин Степан» и «Гулящие люди», сказал: «Это хорошо, хорошо... Надо набираться жизненных впечатлений, не сидеть на одном месте... Писатель без биографии — ничто...» Автор воспоминаний подчеркивает, что Чапыгин «любил помогать молодым не только советом, но и делом: устроить понаравившуюся ему вещь в журнал, отдать в издательство. Сам прошел нелегкий путь в литературе, хорошо знал, как важно вовремя помочь человеку стать на ноги».

То же и в воспоминаниях о Тихонове. Г. Холопов пишет, что его всегда поражало в Николае Семеновиче внимательное отношение к молодым товарищам по профессии, к их нуждам, готовность поддержать в трудную минуту. Доброжелательно-требовательным отношением Тихонова к собрату по перу, к его писательской судьбе был согрет не один Холопов, а и многие наши писатели, плодотворно работающие ныне в литературе.

Обилием тонко подмеченных и точно написанных подробностей воспоминания Георгия Холопова обогащают наши представления об уже ушедших художниках слова, чья жизнь всегда будет служить примером высоконравственного отношения к званию писателя.

Книга Георгия Холопова «Иванов день» представляет несомненный интерес не только в плане познавательном. Многие ее страницы несут читателю радость встреч с хорошими людьми, другие наполнены щемящим душу трагизмом, они будоражат память переживших войну и пополняют знание о ней тех, кто родился и вырос под мирным небом. Добавим к этому, что страницы книги, посвященные прекрасной природе украинских Карпат, художественному творчеству народных умельцев, читателю доставят немалое эстетическое удовольствие.

В. КОСОЛАПОВ.



ВЕЧНЫЕ ПОИСКИ ИСТИНЫ

Эмилиян Станев. Похититель персиков. Повесть. Когда тает иней и другие рассказы. Повести и рассказы последних лет. Перевод с болгарского. М. «Прогресс», 1981. 439 стр.

«Интересный, но спорный» — вердикт, знакомый, наверное, каждому, привычно-удобный стереотип оценки нового и нестандартного. Мы нередко слышим его

и — что греха таить — сами иной раз им пользуемся, не давая себе труда подумать, часто ли бывает интересное бесспорным, а бесспорное интересным.

О прозе Эмилияна Станева можно сказать «спорная» в том смысле, что для этого художника писать значит постоянно задавать вопросы. Видеть проблему там, где все вроде бы ясно и понятно. Снова и снова проверять привычное на истинность. Приходить к выводам — и подвергать их сомнению. Не окончательные истины предлагает его проза: она рассказывает о сложности простых истин, о том, каким нелегким может быть путь к правде, тем более ценной, что обретается она путем настоячивых исканий. Ну а раз так, то и от своего читателя Эмилиян Станев, один из крупнейших художников слова Болгарии, академик, лауреат Димитровской премии, менее всего ждет послушания; с доверчивым, всему поддакивающим читателем-обожателем Станеву неинтересно, с таким у него не возникает тот самый волшебный «момент понимания», ради которого пишутся и читаются книги.

Рассказы и повести в сборнике, выпущенном издательством «Прогресс», нетрудно разделить по тематическому принципу. В этом случае в первом разделе окажется психологическая проза 30—40-х годов. Ее персонажи, как правило, представители средних слоев, в общем-то сытые и благополучные, но порой испытывающие приступы тоски, ощущающие вдруг: что-то не так, что-то в их жизни нарушено, — но не умеющие (и боящиеся) задуматься над происходящим, прислушаться к себе и другим. Это рассказы «В праздники», «Помолвка», «Прогулка», «Прошое», «Чужой». Обычно все опять встает на свои места, но временами чувство гнетущей пустоты, напрасно растрчиваемой жизни не позволяет жить по-прежнему — и тогда разыгрывается трагедия (повесть «Похититель персиков»).

Второй цикл — рассказы о природе: «Тихим вечером», «Орлы», «Смерть птицы», «Волк» и другие. Написанные в большинстве своем в те же годы, что и рассказы о «маленьких людях», эти зарисовки создают вполне отчетливый контраст естественного мира («...нет безобразия в природе!») миру томительной несвободы мелких страстей и грошовых интересов болгарской провинции 30-х годов.

Третий цикл, наконец, объединил бы такие произведения, как повести «Легенда о Сибине, князе Преславском», «Тихик и Назарий», рассказы «Лазарь и Иисус», «Барсук» — философски-иносказательные, размышляющие о том, что есть человек, каковы его идеалы, что значат для него религия и искусство, любовь и смерть. Этот

раздел, представляющий творчество последних лет жизни писателя (он умер в 1979 году), важнейший в книге, по-своему вобравший и подчинивший себе проблемы, интересовавшие раннего Станева.

Повести «Легенда о Сибине...» и «Тихик и Назарий», действие которых происходит в Болгарии начала XIII века, нередко именуют историческими. Что и говорить, атмосфера и колорит эпохи выписаны тщательно, с вниманием к деталям, со знанием мелочей быта. Но, изображая события давно прошедшего времени, автор вовсе не стремился быть летописцем. Древность под его пером получается не сказочно-экзотической, а обжигающе-современной. «Проклятые вопросы», не дающие покоя его героям, хорошо знакомы — в иных, понятных формулировках — людям XX века.

Сопрягая век нынешний и век минувший, Станев указал на связь времен — реальную, хотя и не сразу, может быть, открывающуюся. В ту далекую эпоху диалектика отвлеченных начал — добра и зла, истины и заблуждения, истины и красоты — воспринималась как вполне конкретное, отраженное в делах и поступках человеческих соперничество бога и сатаны (у Станева — Сатанаила). Метафизическое оказывалось реальнее реального, проникало в плоть и кровь людей, заставляя во имя бога и истины идти (а когда и отправлять других) на плаху и костер. XX век продемонстрировал, как быстро идеи, «абстракции», могут превращаться в материальную силу (целительную или злую), он показал, как коротко порой расстояние от мысли до дела и как потому велика ответственность «отвлеченного мыслителя» за возможные последствия его «чисто интеллектуальной» деятельности. (Так, у профессора философии Ницше нашлись почитатели, в метафизические тонкости его воззрений не вникавшие, а ухватившие только «самую суть», ставшую интеллектуальным обоснованием и оправданием фашизма.)

Болгария XIII века, открывающаяся со страниц повестей Станева, охваченная смутой, раздираемая социальными и политическими противоречиями, стала ареной борьбы царя Борила со своими противниками, борьбы официальной византийской церкви с еретиками-богомиллами, в религиозной форме выразившими протест против социальной несправедливости. Герои повестей — князь Сибин, отец Сильвестр, Тихик — находятся в оппозиции к царю и церкви, не приемлют сложившегося положения вещей, страстно ищут «истину о человеке».

Для этих людей стремление понять, как

устроен мир, не повод для упражнения ума, не досужая забава, они мыслят, чтобы жить, чтобы выстоять в тяжелейших жизненных обстоятельствах. Не доверяя официальной церкви, князь ищет опору в учении богомилов. Противостоящее неправде царя и патриарха, неправде, заставляющей почитать себя как единственную правду, богомильство обретает ореол мученичества и истинности. Но для князя богомильство притягательно еще по одной причине, в которой он не решает себе признаться: среди еретиков — прекрасная Каломела. Князь ищет близости с ее богом, ее символом веры — и мечтает о близости с ней. Он владеет сердцем прекрасной еретички, но лишь когда рухнет ее вера в богомильство под влиянием неожиданного поступка ее наставника отца Сильвестра. Теоретик богомильства, он вдруг ошарашит паству неожиданным результатом своих размышлений: нет, скажет он, ни бога, ни Сатанаила, ни рая, а есть лишь сила созидания и сила разрушения и их вечная борьба. Богомильство, слышшее ересь в глазах власть предержащих, для Сильвестра в конце концов окажется такой же догмой, злой и нетерпимой, таким же искажением истины, отказом от ее поисков, как и каноны правящей церкви. Сожалея, что, «не зная истины, поучал других», отец Сильвестр отвергает титул Совершенного и приходит к выводу, что искал бога не там, где следовало бы, ибо «был он во мне, в совести, в духе и мысли», а «человек сам есть мера поступков своих, толкователь законов своих и установлений».

За отступничество от догматов официальной религии еретиков жестоко карает церковь и царь Борил. За отступничество от догматов богомильства Сильвестра возненавидит Каломела. За бегство из общины Каломелу (а с ней и князя) жестоко покарает Тихик. Ненавидящий господ за жестокость и притеснения, Тихик, бывший слуга князя, всем сердцем поверил в богомильство. Поэтому как самое настоящее преступление воспринимает он свободумыслие Сильвестра. Заняв его место (а с ним и титул Совершенного), Тихик оказывается перед доселе неизвестными ему проблемами. Как совместить высокую нравственность, стремление к богу — и заботы, связанные с управлением и наставлением на путь истинный подошечных, которые, убеждается он, бесконечно далеки от совершенства?

Чтобы сохранить цельность учения, поколебленную открытием Сильвестра, чтобы

сохранить послушание, Тихик с первого дня своего владычества сам впустил в общину ложь и насилие. Впустил страх, ибо пришел к выводу, что «страх есть преграда греху». И прежде всего греху вольномыслия.

О возвышении и падении Тихика рассказывается в повести «Тихик и Назарий», продолжающей «Легенду о Сибине...». От бескорыстной веры Тихик пришел к власти, позволяющей ему, мечтавшему о святости и проповедовавшему аскетизм, предаваться мирским соблазнам. Но греша против того, чем вдохновлялся (и вдохновлял других), Тихик погружается в мучительное состояние раздвоенности, с ужасом понимает, что, творя ложь «во благо», сам стал этой ложью. В финале он такой же искатель истины, как князь Сибин и отец Сильвестр, и такой же, как они, изгнанник. Тихика лишают титула Совершенного, а когда он спасается бегством, разыскивают, чтобы убить. Так же как совсем недавно по приказу Тихика разыскивали князя и Каломелу, а разыскав, погубили.

Когда-то не ведавший сомнений, Тихик окончательно запутался в «практической диалектике» добра и зла, веры и власти, любви к богу и нарастающей ненависти к роду человеческому. Убедившись на собственном опыте, как абстрактное добро может становиться на практике злом, а истина ложью, Тихик узнает цену святости и благочестию, убеждается, что религиозные догмы не несут ничего хорошего людям.

«Становятся ли люди лучше благодаря искусству?» — вопрошает еще один искатель истины, очередной оппонент Тихика, художник-богомаз Назарий. «Не есть ли искусство сила божья, дарованная нам для того, чтобы вести к истине?» — спрашивает он Совершенного и слышит в ответ: «Ко греху ведет оно, ибо искушает подобием истины». Тихик боится искусства и вообще красоты: они отвлекают от главного — от заботы о спасении души, смирения перед Всевышним и теми, кто его в дальнем мире представляет.

Назарий, которому писатель передает многие свои рассуждения о назначении искусства, о том, что оно может и где его пределы, видит «грех» искусства в том, что его труднодостижимое «совершенство» слишком часто оказывается ложью. Действительность — текущая, многоликая, изменчивая — старается провести посягнувшего на нее художника, выдавая видимое за самое что ни на есть сущее, случайное — за главное. Богомаз Назарий, подавленный открывшимися в недрах его ремесла противоре-

чиями, бросает писать не в силах их примирить. Наш современник Тасо (рассказ «Барсук») выбрал безграничную свободу, он работает не для денег, не для славы — для себя. Что вроде бы может быть лучше? Но, как говорит героиня рассказа, от его работ «веет смертью»...

Художество или философствование, частное существование или политическая деятельность наполняются опасным содержанием, если в забвении оказывается нравственный закон, если наступает успокоение в однажды найденной частичке правды. Возведенная в абсолют, превращенная в предмет обожания или в инструмент осуществления целей, «малая правда» может сделаться злой неправдой. Трагична судьба многих станевских героев — князя Сибина, отца Сильвестра, Тихика, Назария... «...истина, точно мельничный жернов, перемалывает людей и время, дабы приготовить из них хлеба грядущих времен», — сказал один из персонажей Станева. Да, ничто не проходит бесследно, ничто не совершается зря. История идет вперед, и правда находит себе дорогу. Мыслить самостоятельно — высшее отличие и великая ответственность. От утверждения к сомнению, от сомнения к утверждению движутся станевские правдолюбцы. Среди них Иван Кондарев, главный герой одноименного романа Станева, посвященного антифашистскому восстанию 1923 года. Этот роман-эпопея, принесший

Станеву широкую известность и в Болгарии (за него писатель был удостоен премии имени Димитрова) и за ее пределами, стал ярким художественным исследованием того, как революционная борьба, служение общим целям формируют нового человека, осознавшего, что счастье одного неразрывно связано со счастьем многих — страны, нации.

Если знакомых нам искателей истины — князя Сибина, Сильвестра, Назария — искреннее стремление «дойти до сути» разъединяло с миром, оставляло один на один с открывшимся им трагизмом бытия, обрекало на бездействие или, напротив, толкало на отчаянно-разрушительные поступки, то служение благородному общему делу помогает Ивану Кондареву противостоять силам конкретного социального зла и даже перед лицом смерти ощущать себя победителем, ибо он был среди тех, кто закладывал основы грядущего торжества справедливости. «...доля человеческая — вечные поиски истины», — сказал незадолго до смерти Эмилиян Станев. В этих поисках — великий смысл и оправдание человеческого бытия, если истина ищется не в абстрактно-созерцательном мире «абсолютов», а в конкретной ежедневной человеческой практике, ищется и создается общими усилиями честных и бескорыстных искателей.

Сергей БЕЛОВ.



Политика и наука

«ТИХОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ»?..

Американская художественная культура в социально-политическом контексте 70-х годов XX века. М. «Наука». 1982. 270 стр.

Даже поверхностный взгляд на историю американской художественной культуры XX века позволяет увидеть, что взаимосвязь литературы и искусства США с общественно-политической реальностью осуществляется неравномерно. Есть периоды, когда культурный и социальный ряды максимально расходятся. Напротив, на других исторических этапах они устремляются навстречу друг другу, взаимопроникают, и острейшие идейные и классовые конфликты Америки находят самое непосредственное отражение в художественной культуре, давая могучий импульс для ее развития.

Рост общественно-политической активности нации, проявлявшийся в подъеме массовых движений, неизменно сопровождался

резкой идеологизацией, даже политизацией художественной культуры США. Так было в 30-е годы, когда Америка пережила первую свою национальную катастрофу — великую депрессию». Так было и в 60-е годы с их небывалым по силе взрывом общественного протеста, стимулировавшего молодежное, негритянское и антивоенное движение. И американская культура 70-х, как и в столь еще памятные 60-е, оставалась своеобразным барометром, чутко фиксирующим перемены в идейной и политической атмосфере страны.

Коллективный сборник «Американская художественная культура в социально-политическом контексте 70-х годов XX века» — первая у нас попытка целостного анализа

культуры США в ее непосредственной связи с социально-политической реальностью прошлого десятилетия, первый подход к выявлению специфики 70-х как особого этапа в культурной истории современной Америки.

В самих Соединенных Штатах о 70-х годах высказываются самые разноречивые суждения, среди которых пессимистические все же преобладают. К примеру, известный писатель и публицист Т. Вулф определил их как «Я-десятилетие», подчеркнув «интровертный» характер духовной жизни страны (в отличие от «экстравертных» 60-х), апатичную самоуглубленность. Сходные оценки в течение всего прошлого десятилетия формулировались неоднократно.

Многими американскими социологами и историками культуры спад массовых общественных движений принимался (или выдавался) за духовную успокоенность нации, за неопровержимый признак возобладания консервативных настроений. Уже в начале 70-х на страницах некоторых общественно-политических журналов стало мелькать определение «эпоха консерватизма». А в середине, тем более в конце 70-х годов было уже как бы само собой разумеющимся говорить о «консервативном облике» нации.

Пожалуй, есть свой резон в высказываниях тех американских публицистов, которые утверждали, что 70-е стали «пустыми страницами» в культурной истории Америки XX века, и которые видели главную причину «безликости» в отсутствии у 70-х «своего Вьетнама» — иными словами, крупного события в жизни нации, способного стать мощным катализатором идейных схваток и общественно-политического брожения. В каком-то смысле 70-е и вправду выглядят по сравнению с 60-ми чрезвычайно бессобытийными. С завершением вьетнамской авантюры и последовавшим спадом антивоенных выступлений, с самозатуханием молодежной и негритянской «революций» общественно-политическая активность американской нации в целом резко пошла на убыль. Немаловажным обстоятельством здесь было, конечно, и охватившее нацию чувство разочарования и растерянности, которое вызвал «уотергейтский скандал», фактически и завершивший «бурную декаду».

Но были ли 70-е годы такими уж тихими и бедными? Неужели и впрямь их можно наградить обидным ярлычком «безвременье»? Отвечая на этот вопрос, А. Мулярчик (в статье «Противоречивый облик десятилетия») и А. Мельвиль («Культура, контркультура и неоконсерватизм») дают в целом отрицательный ответ. При бесспорном

спаде общественной борьбы интенсивность идейных баталий в 70-е была не меньше, чем в 60-е. А. Мулярчик и А. Мельвиль отмечают важнейшие черты социокультурной реальности десятилетия, выявляют магистральные философско-эстетические и общественно-политические ориентации, приходя в конечном счете к выводу, что идеологической доминантой 70-х стал «новый» консерватизм. Точнее, как подчеркивает А. Мельвиль, усиление консервативных тенденций в американском философско-эстетическом и особенно политическом сознании, что явилось «реакцией на эксцессы контркультуры и на содержащиеся в ней демократические моменты».

Главный смысл социально-культурных установок «нового» консерватизма заключается в утверждении идеала «стабильного общества», незыблемо покоящегося на традиционных ценностях буржуазной Америки. Причем, по определению А. Мельвиля, «неоконсерватизм убежден, что стабильное общественное устройство возможно лишь в том случае, если идущий «снизу» социальный протест и недовольство «гасится» на промежуточном социальном уровне» (А. Мельвиль, «Социальная философия современного американского консерватизма». М. Политиздат. 1980). А этим промежуточным уровнем, в частности, выступает художественная культура, которая, по мысли «новых» консерваторов, выполняет функцию регулятора общественного сознания, способствовать упрочению «традиционных ценностей». Один из самых яростных оппонентов контркультуры, социолог Д. Белл, провозгласил: «Я — консерватор в культуре, потому что я уважаю традицию». Идеологи современного консерватизма обвиняют контркультуру в разрушении системы «традиционных ценностей» Америки, в приверженности к «гедонистическому» и «деструктивному» мироощущению, в опасном расшатывании социальных и культурных устоев американского буржуазного общества.

Впрочем, весьма осязаемое наступление консерватизма вовсе не исчерпывает характер культурной ситуации 70-х. Консервативная критика контркультуры здесь стала не более чем частным проявлением «духа 70-х», глубинным содержанием которого, как справедливо полагает А. Мулярчик, было все-таки не успокоение, а нечто совсем иное — беспощадный самоанализ. 70-е были необходимой остановкой в пути, передышкой: 60-е годы оказались слишком бурными, а крах многих ими порожденных иллюзий слишком сокрушительным, и неудиви-

тельно, что поствьетнамская и постуотергейтская Америка увидела свою миссию в критической самооценке. Этот рефлектирующий характер духовной жизни 70-х годов — специфичный, подчеркнем, для всех уровней американского сознания — с наибольшей отчетливостью проявился в художественной культуре.

Прошедшее десятилетие было периодом расцвета исторических жанров — от собственно исторического романа (вроде переведенного у нас «Бэрра» Г. Видала) до семейно-исторического романа, эпической семейной саги, такой, как (опять-таки знакомой нашему читателю) «Земная оболочка» Р. Прайса. Стоит вспомнить, что в 60-е годы с их жгучим интересом к сиюминутным проблемам, с их излюбленными «теперь» и «немедленно» на первый план вышли, напротив, оперативные публицистические жанры. Именно в 60-е годы возник, в частности, роман нового типа — документальный роман-репортаж.

После десятилетней разрушительной деятельности американских «бунтарей», которая в конце концов вылилась в горькое осознание утраты прочных духовных оснований, закономерно возобладал поиск исконных устоев Америки. Это выразилось не только в возрождении исторического интереса, но в самых разнообразных формах — от возврата к принципу морализма в политической риторике до стремления восстанавить у американцев чувство преданности социальным и этическим традициям.

Очевидно: критика контркультурных ценностей и контркультурного «гедонизма», ставшая основным стержнем духовной жизни рефлектирующих 70-х, не свелась только к консервативному критиканству. В целом эта критика носила все-таки конструктивный характер и велась в форме диалога: спорящая сторона не была глухой (строго-то говоря, полную глухоту к контркультуре высказали только консерваторы). 70-е полемизировали с 60-ми, но и старались их понять. И, прислушиваясь к их протестам, кое в чем с ними соглашались.

«...захлебнувшись как активистское движение,— пишет А. Мельвиль,— контркультура и ее идеалы отнюдь не исчерпали себя и не исчезли на рубеже нового десятилетия, как это зачастую пытаются представить ее «правые» оппоненты». Подтверждения этой мысли в изобилии обнаруживаются в произведениях художественной литературы, созданных в 70-е годы. Вот одно из них, о нем пишет М. Коренева в статье «Американская драматургия и социально-политическая реальность 70-х годов». Пье-

са Р. Пэтрика «Дети Кеннеди» (1975) рассказывает о судьбе вчерашних «бунтарей». «Мы были великим шансом Америки все изменить!» — в этих словах, сказанных героиней пьесы, заключена не только эмоциональная, но и идеологическая оценка контркультуры. Бунт не забыт, не вычеркнут из памяти, он остался в воспоминаниях как самый светлый миг «полнокровной жизни». Другой, может быть, еще более примечательный пример того, насколько глубоко проникла в американское сознание мысль о необходимости и неизбежности бунта — роман Э. Тайлер «Блага земные» (1977, русский перевод — М. «Прогресс». 1980).

Впрочем, художественная культура 70-х вобрала в себя опыт «бурной декады» не только, так сказать, на идеологическом уровне. Преимущество проявляется также и в плане поэтики — например, в сфере художественных жанров. Если, скажем, усиление интереса к жанру семейной саги — это исключительная особенность рефлектирующих 70-х, то популярность в это же время политического романа (как и политического кино) — прямой результат политизации американского искусства, начавшейся в предыдущее десятилетие. Правда, тут есть и свои отличия. Политизация американской художественной культуры в 60-е годы отражала общую политизацию общественного (в том числе, что очень важно, массового) сознания. В 70-е же годы появление политически заостренных произведений связано с самим рефлектирующим характером культурной ситуации. По наблюдениям В. Шестакова (в статье «Политический кинематограф США: итоги десятилетия»), в 70-е годы на американском экране преобладали три темы: Уотергейт, война во Вьетнаме, молодежное движение. Причем все три темы, как показывает исследователь, стали для американских кинематографистов своего рода поводом для высказывания своей позиции в идейно-эстетической полемике 70-х и 60-х. О сильной в 70-е годы установке на политизацию художественной мысли говорит и то, что даже те фильмы, где политическая тематика вовсе отсутствовала, в общем культурном контексте десятилетия воспринимались как идеологизированные. Например, как считает В. Шестаков, «Рокки», фильм о профессиональном боксере, где герой «проигрывает матч, но выигрывает поединок с судьбой», по своей направленности (прославление традиционного буржуазного идеала успеха) «отлично вписывается в рамки новейших неоконсервативных тенденций в развитии американского буржуазного сознания 70-х годов».

Закрывая эту книгу, не можешь все-таки отделаться от ощущения: что-то в ней еще недосказано. Наверное, это ощущение возникает оттого, что содержание книги одновременно и шире и уже ее названия. С одной стороны, речь здесь не столько даже о художественной, сколько — шире — духовной культуре Америки 70-х годов: в статьях О. Феофанова о рекламной индустрии, Е. Перфиловой о политических телепрограммах, В. Шохиной о концепции «американской мечты» затрагиваются серьезные, мало или даже вовсе не изученные в нашей науке проблемы духовной жизни современной Америки, но эти проблемы имеют весьма косвенное отношение к теме, заявленной на обложке. С другой же стороны, бросается в глаза отсутствие в сборнике статей, посвященных отдельным сферам американской художественной культуры. Скажем, то, что здесь нет статьи о музыкальном искусстве 70-х — обидный пробел, становящийся особенно заметным на фоне двух статей о кинематографе (вторая — «Американский экран 70-х годов: отражение общественно-политических проблем» — написана И. Кокаревым), во многом друг друга

повторяющих. По сути дела, нет, к сожалению, и статьи о художественной литературе, пути развития которой в 70-е годы лишь в самом общем виде характеризует А. Мулярчик в своем вступительном очерке.

Однако надо в то же время признать, что тема «американская художественная культура и общественно-политическая жизнь» едва ли не безбрежна и исчерпать ее, даже ограничиваясь узкими рамками десятилетия, практически и невозможно в одной монографии. Сборник очерков об американской культуре 70-х годов, как сказано в предисловии, является «продолжением комплексного исследования современных культурно-идеологических процессов в США, начатого изданной в 1977 г. коллективной монографией „Американская литература и общественно-политическая борьба (60-е — начало 70-х годов XX века)“». Пятилетний разрыв между двумя этими книгами — срок немалый. Хотелось бы надеяться, что следующие издания, где будет продолжен разговор об американской культуре, не заставят ждать себя слишком долго.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



СТИЛЬ ИСТОРИКА

Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М. «Наука. 1981. 392 стр.

Во всех работах Е. В. Тарле, включенных в сборник, слышатся живые интонации устной речи: в первом самостоятельном научном труде Тарле «Дело Бабефа» они приглушены, в статьях и рецензиях из журналов и газет 1896—1927 годов более открытвенны, в саркастичных публицистических статьях времен первой русской революции — господствуют. И, конечно, особенно сильны в письмах Тарле.

Е. А. Лани, писатель и переводчик с английского, автор опубликованных ранее воспоминаний о Тарле и адресат ряда включенных в настоящее издание писем, в свое время рассказывая мне о своем друге, не раз употреблял выражение, бытовавшее в почтительно-дружеском окружении академика, — *la manière de Tarlé* (по аналогии с французским выражением *une manière de parler* — «стиль речи»; причем ударение переносилось с первого слога фамилии Тарле на второй — на французский лад). Так определяли увлекательную и остроумную речь Тарле... «Рентген открыл способ проникать взором в твердые тела, — пишет он в ту пору, когда это открытие было еще

новинкой, — Достоевский открыл в человеческой душе такие пропасти и бездны, которые и для Шекспира, и для Толстого остались закрытыми», «Паскаль — это Шопенгауэр, спасшийся от ужаса своих конечных выводов...» Письма историка сверкают подобными афоризмами.

Сообщая К. И. Чуковскому по его просьбе подробные сведения о курсе рубля в прошлом столетии (очевидно, для работы по Некрасову), Тарле добавляет: «В 1881 г. Стасюлевич сказал Щедрину: «Беда, мне за 100 р. дали в Париже всего 213 франков». А Щедрин: «Это ничего, а скоро вам за 100 р. в морду будут давать!»...» Можно не сомневаться, что Тарле не пришлось ничего искать — историко-экономические сведения и подходящая к случаю реплика любимого Салтыкова-Щедрина были в памяти наготове; даже если бы это не выяснилось из текста письма, набросанного на ходу, между поездками, читатель понял бы это из всего содержания новой книги.

Тарле до тонкостей знал русскую и мировую художественную литературу, и не только Гомера или Некрасова, но, скажем, и

Цедлица (австрийского поэта) и Ю. Н. Говоруку-Отрока (русского писателя, в характеристике Тарле «Говорука-Отрок — искренний, хороший, несчастный человек, взывающий града»). Эти знания не лежали мертвым грузом в его необъятной памяти, а при малейшем стимуле вступали в активную реакцию с историческими данными или жизненными впечатлениями.

Рассуждая (в письме литературоведу) о художественных постулатах Чехова, Тарле приводит мнение французского историка Луази, что наличие «случайных», «бесполозных», «ненужных» деталей повышает доверие к историческим свидетельствам, подтверждая их объективность, «нелитературность». Отсюда мысль Тарле вновь обращается к художественной литературе, он отмечает «необязательные» детали в произведениях большого художника: «Волашебная сила изобразительности Достоевского очень объясняется этим вдохновенным, бессознательным кругозором, куда попадают и ненужные пистолеты, и нестреляющие ружья, и каллиграфия кн. Мышкина, и т. д.». Так, в методе своего любимого писателя Тарле находит черты исторической хроники...

Литературное мастерство Тарле общепризнанно. Историю он воспринимал не только как ученый, но и как писатель. Вероятно, это своеобразие исторического мышления Тарле объясняет и его пристрастность в оценке некоторых персонажей своих книг и в разработке исторических сюжетов, что отмечали историографы при его жизни и позже.

О Тарле написано немало, но со стороны своеобразного литературного дарования его наследие пока не изучено. Новый сборник дает интересные материалы к разработке этой темы.

Одним из самых любимых писателей Тарле на протяжении всей жизни оставался Герцен. Тарле, видимо, ощущал литературный метод Герцена в известных отношениях созвучным своему. В статье «Герцен на Западе» (написана к столетию со дня рождения, в 1912 году) Тарле характеризует его как политического мыслителя и одновременно любит его как «блистательным мемуаристом». Дар художественного постижения людей и событий, присущий Герцену, не менее важен для историка Тарле, чем «огромный аналитический ум» революционера-демократа: «Всякий историк средних десятилетий XIX в. должен будет читать и перечитывать Герцена не только как мыслителя, глубоко отразившего в своей душе и исчерпывающе высказавшего все упование и разочарование своего поколения, но и как

незаменимый первоисточник для изучения лиц и характеров, исторических актеров и исторической арены, на которой им пришлось действовать».

В Герцене-писателе Тарле важны «блеск и неожиданность сближений, непринужденная легкость изложения самой сложной мысли в самых конкретных и ничем не заменимых образах». Вместе с тем для самого Тарле важным было стремление к объективности в историческом сочинении. В «Деле Бабефа» есть такие строки: «Пред историком лежат два пути: он может весьма живо и интересно рассказать, как такой-то Ньютон увидел падающее яблоко, как в его голове мелькнула мысль и т. д. и т. д. Все это будет очень образно и правдоподобно. Однако образность для истории — дело второстепенное, а правдоподобия мало там, где нужна полная достоверность... второй путь, т. е. путь следования за первоисточниками, должен быть безусловно предпочтен всяким, кто не имеет претензии писать исторический роман...»

Одним из надежнейших средств воздействия на читателей для Тарле становится разительный исторический факт, точно найденная деталь. Вот статья о председателе комитета финансов революционного Конвента Жозефе Камбоне. Несомненно, состояние финансов в ту или иную эпоху — важная тема для историка. Однако Тарле сумел изложить ее предельно выразительно. «Создатель бумажных денег» — так называется статья. Камбон, отчаянно рискуя, печатал и вводил в оборот все новые массы бумажных денег, не обеспеченных никакими ценностями. Эти меры себя оправдывали, современники называли Камбона «спасителем Великой революции». «Гравировочная доска сделалась главным орудием спасения... — пишет Тарле, — гора бумажных денег становилась все выше и выше». Между Камбоном и Робеспьером шла борьба не на жизнь, а на смерть. «Камбон уже совсем приготовился к гибели. В эти страшные для него дни он, не имея времени писать письма (да и боясь делать это), посылал своей матери в провинцию ежедневно газету и таким образом давал ей знать, что он еще жив».

Приведа эту страшную подробность борьбы, Тарле заключает: «Но тотчас же после гибели Робеспьера Камбон убедился, что, сохранив свою голову, он тем не менее должен считать свою историческую карьеру законченной. Уже очень скоро он увидел, что с точки зрения политических принципов ему Робеспьер был несравненно ближе, чем победитель Робеспьера...»

В книгах и статьях Тарле не только зримо воссозданы важнейшие эпизоды истории. Его труды полны внутреннего драматизма. Видимо, и потому, что сам Тарле был живым куском истории, одного из самых драматичных ее периодов. Вот почему книга «Из литературного наследия академика Е. В. Тарле» (подготовлена В. А. Дунаевским — руководителем работы, — В. И. Дурновцевым и Е. И. Чапкевичем, ответственный редактор — академик М. В. Нечкина)

представляется имеющей и собственно историческую ценность как источник. Надо надеяться, что за нею последуют новые издания, которые продолжат, расширят наше знакомство с архивом ученого, сказавшего в одном из писем: «Кто отравился раз сладким ядом работы над абсолютно новыми архивными материалами, тот не может уже отлипнуть».

В. БАЕВСКИЙ,
доктор филологических наук.
Смоленск.



ЭТАЛОН

Воспоминания о И. Е. Тамме. М. «Наука». 1981. 295 стр.

Во время своих выступлений Игорь Евгеньевич Тамм быстро передвигался по аудитории и говорил о физике с таким зажигательным энтузиазмом и подъемом, что никто не мог оставаться безразличным. Когда доска оказывалась исписанной и оставался только ее верх, до которого он не доставал, он подпрыгивал, чтобы на легу написать букву или снабдить ее штрихом...

Не нашлось пока смельчака, который взялся бы за литературную биографию Игоря Евгеньевича Тамма — выдающегося физика-теоретика, автора блистательных работ по теории излучения Вавилова—Черенкова, в области электродинамики сплошных сред и теории частиц, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных и Нобелевской премий... Кто возьмет на себя труд и ответственность донести до читателя главное дело его жизни? Для этого надо быть физиком. Кому удастся исследовать его характер, понять мотивы его порой импульсивных действий? Описать его противостояние смерти? Эта задача для психолога, писателя...

Человек увлекающийся, Тамм спорил с друзьями о том, что «уже к осени» найдут снежного человека; развил бешеную энергию, чтобы получить разрешение раскопать несколько курганов, расположенных в пяти километрах от его дачи в Жуковке; организовал (практически за свой счет) экспедицию для исследования труднодоступной пещеры на границе с Китаем, где, как он полагал, могли оказаться неисчислимые сокровища (там действительно оказались большие археологические ценности). Альпинист; любитель розыгрышей, ребусов, шахмат, головоломок, шарад; знаток поэзии Хайяма и Пастернака...

Человек бескорыстной доброты. Получив Государственную премию, он вызвал одно-

го из ближайших сотрудников и сказал: «Я получил очень большую премию. Эти деньги мне совершенно не нужны. Не знаете ли вы каких-нибудь молодых людей, которым необходимо помочь, чтобы они могли заниматься наукой?» И деньги были истрачены именно этим способом.

Человек кристально чистый в помыслах и поступках. Яростный борец за науку, за мир, против войны и лженауки. Защитник генетики, готовый поспорить со своим другом — президентом Академии наук из-за его, президента, недостаточно четкой позиции в споре о дальнейшем развитии биологии...

Тамм был человеком на редкость здоровым и вдруг — из-за перерождения нерва, управляющего диафрагмой, — был срочно оперирован и переведен на дыхательную машину. Один из авторов воспоминаний признает, что боялся за жизнь Тамма, будучи почти уверенным, что «именно мужество Игоря Евгеньевича побудит его вырвать трубку и покончить с такой полужизнью». Но мужество проявилось иначе: «...заведующая респираторным отделением... увела меня в свой кабинет и с тревогой спросила: «Вы видели, что Игорь Евгеньевич сегодня писал?.. Это адекватно?» На медицинском языке это значило: «Он не рехнулся?» По-видимому, мне так и не удалось убедить ее до конца, что он просто продолжил вычисления по увлекавшей его работе, прерванные в больнице перед операцией. Очевидно, лежа неподвижно все дни после операции, он что-то придумал и хотел скорее проверить, прав ли он.

Друзья, посещавшие его те последние три года, когда он был прикован к дыхательному агрегату, находились под страшным впечатлением ритмического хриплого звука этой машины, слышного еще с лест-

ницы. Но Тамм продолжал играть в шахматы, читать стихи и детективы на иностранных языках. Но главное — работать. Причем на том направлении, которое, по его мнению, могло бы преодолеть фундаментальные трудности современной физической теории, — разрабатывал идею из области теории частиц. Болезнь не сломила его. Он помечал страницы своих быстрых записей четырехзначными номерами...

Вопрос о написании биографии Тамма встал, между прочим, еще при его жизни, в 1968 году. Сама мысль о том, что может быть написана его биография для широкого читателя, оказалась для Тамма страшно неприятной. Он был смущен, огорчен и расстроен, отверг идею в принципе. Когда же идея возникла вновь и при этом была проявлена значительная настойчивость крупного издательства, он, не веря в возможности чужих людей описать его жизнь, отверг кандидатуру известной писательницы и поручил написать биографию своему внуку, ставшему на долгое время этой работы хранителем его бумаг и его личным секретарем. Однако мне кажется, что эта биография, хотя и написанная родной рукой, не вполне получилась...

Но жизнь Тамма не могла не быть описана — и вот недавно появился этот сборник воспоминаний его коллег, учеников, друзей и знакомых. Составители сборника хотели, чтобы читатель почувствовал — Тамм был ученым, олицетворявшим связи с эпохой Эйнштейна и Бора. Он был эталоном порядочности в науке и общественной жизни. Человеком физически и духовно смелым, ученым мощным и тонким. Но как рассказать обо всем этом — о роли Тамма в отечественной и мировой науке, в воспитании нового поколения ученых, о том, что выходит далеко за пределы того конкретного, что сделал Игорь Евгеньевич в теоретической физике? Почти все авторы книги, предупреждают составители, не профессиональные писатели. Встретится и многословие и повторение. Редколлегия пыталась и смягчить эти недостатки и в то же время не подавлять авторов. Так получилась ли книга о Тамме?

Прочтя этот сборник, без сомнения гово-

рю: получилась. Да, это настоящая биография: ее сюжет — полная событий, богатая мыслью и увлечениями жизнь. Фрагментарность, мозаичность при отходе от полотна обратилась в цельную картину. Удалось создать биографию, хотя в книге в принципе отсутствуют жизнеописание и приличествующая ему последовательность событий (воспоминания публикуются в алфавитном порядке фамилий их авторов). По неведомым законам существующего, но еще не открытого и не исследованного литературоведом биографического жанра повторы некоторых эпизодов, подчеркивания тех же черт разными авторами приводят к неожиданному литературному эффекту — воспроизведению личности точно в ее масштабах, в статистической достоверности.

Впрочем, сказывается, конечно, и состав авторов — он предопределен личностью героя, которая неизбежно притягивала людей значительных, интересных, увлеченных. Здесь не только физики всех возможных степеней и званий (и среди них опытные литераторы — Э. Л. Андроникашвили, В. Я. Френкель), но и биологи, генетики, искусствоведы, писатель Даниил Данин, историк науки Б. Г. Кузнецов, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму В. П. Сасоров...

Известный физик Е. Л. Фейнберг в конце своих воспоминаний о Тамме признает, что его собственная попытка «разложить по полочкам» некоторые черты Тамма не кажется ему слишком плодотворной. «Обаяние его личности... вообще не может быть разложено на элементы и рационально понято», — утверждает Фейнберг, и кому-то такие слова в устах физика покажутся неожиданными. Нам кажется, что благородные и привлекательные черты, встречающиеся у многих людей, и прежде всего та «концепция порядочности», что, по утверждению Фейнберга, берет свое начало в среде трудовой интеллигенции России конца XIX — начала XX века, у Тамма проявлялись с особенной гармонией и выразительностью. В этом уникальность его и, как неоднократно отмечается в книге, эталонность.

Вл. КАРЦЕВ.



В МИРЕ БОГОВ И ГЕРОЕВ

Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах. М. «Советская энциклопедия». Т. 1. 1980. А — К. 671 стр с илл. Т. 2. 1982. К — Я. 719 стр. с илл.

Мифология — первоначальная форма духовной культуры человечества, выражающая мироощущение и мировоззре-

ние людей на определенной стадии их развития, наиболее ранняя форма понимания человеком мира и себя. Она выступает как

«природа и сами общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией» (Карл Маркс). Многие мифологические образы и сюжеты, особенно античные, библейские и другие, настолько выразительны, что, даже утратив в значительной мере свое мировоззренческое значение, они и до наших дней сохраняют символический и аллегорический смысл, свое художественное звучание.

Однако мифотворчество — это особый вид творчества, очень специфический, существующий и ныне. Весьма точное определение его, хотя, казалось бы, и парадоксальное, содержится в блестящем эссе Марины Цветаевой о Максимилиане Волошине: «Отношение его (Волошина. — Г. Ф.) к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно... Усиление основных черт в человеке вплоть до видения — Максом (Волошиным. — Г. Ф.), человеком и нами — только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отmetalось».

Изучение мифов различных народов, мифологии, мифотворчества (заметим в скобках, что эти термины нетождественны) помогает понять историю, философски осмыслить мир и действительность, наконец, расширяет возможности искусства как одного из способов осмысления мира.

Посмотрим, как обстоит дело со знанием мифологии в нашей стране. Первым и общедоступным источником таких знаний можно считать школьный учебник для пятого класса «История Древнего мира». Читая его, ученик знакомится с древнегреческой и древнеримской мифологией, получает и некоторые сведения о мифологии первобытного общества, Древнего Востока, Индии и Китая. Однако сведения эти, видимо в связи с перегруженностью школьной программы, чрезвычайно кратки, отрывочны, чисто информационны, да и касаются лишь незначительной части мифологических сюжетов.

Ну а каково положение в литературе «для взрослых»? Есть, разумеется, специальные исследования мифологии во всех ее аспектах (кстати сказать, они ведутся в нашей стране весьма интенсивно и плодотворно). Но мизерные тиражи изданий, в которых публикуются результаты этих исследований, **сложный язык работ, рассчитанных на спе-**

циалистов, делают их практически недоступными для массового читателя.

Теперь о научно-популярной литературе. В ней сравнительно благополучно с античными, в частности древнегреческими, мифами. Их сюжеты достаточно подробно изложены, например, в книгах Н. А. Куна «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях», «Легенды и мифы древней Греции», выдержавших несколько изданий, и ряде других книг. Интересны исследования А. Ф. Лосева по античной мифологии; они выделяются не только содержанием, но и стилем, литературными достоинствами, а также той свободной, непредопределенной игрой мысли, которая, к сожалению, все реже встречается в научно-исследовательских работах. Имеются и другие научно-популярные труды по античной мифологии (и не только по ней). Образно, живо, без лишней усложненности написан четырехтомный коллективный труд сотрудников Института этнографии АН СССР «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы» (ответственный редактор и один из основных авторов — С. А. Токарев; четвертый том будет опубликован в текущем году). Очень интересна книга Н. Н. Велецкой «Языческая символика славянских архаических ритуалов». В этой работе серьезное внимание уделяется мифологии народов зарубежной Европы и славянских народов.

Но рассмотрим библейские мифологические сюжеты, как ветхозаветные, так и новозаветные. Они не только служат основной канвой многих произведений писателей, поэтов, художников, скульпторов, но и очень часто дают богатый материал для сравнений, придания большей выразительности тем или иным образам в аллегорическом, символическом, знаковом смысле и т. д. Нет такого мало-мальски крупного и серьезного музея изобразительных искусств в нашей стране и за рубежом, в которых не было бы множества выдающихся памятников архитектуры, так или иначе связанных с библейскими мифологическими сюжетами. Так что понять смысл, причем не только семантический, но и изобразительный, целой галереи шедевров, созданных на протяжении столетий, без знания библейских мифологических сюжетов просто невозможно.

У нас же молодые люди не получают никакого знакомства с библейской мифологией, а что касается, так сказать, внешкольного чтения (это относится не только к школьникам, но и к взрослым), то дело ограничивается, по существу, лишь атеисти-

ческой литературой, представленной довольно большим количеством сочинений как отечественных, так и переводных. Напомним хотя бы «Библию для верующих и неверующих» Е. Ярославского, «Сравнивая евангелия» Я. Ленцмана, «Забавную библию», «Забавное евангелие» и «Священный вертеп» Лео Таксила, «Библейские сказания» З. Косидовского. Слов нет, в этих работах, в частности в книгах З. Косидовского, можно почерпнуть некоторые сведения о библейских мифологических сюжетах, однако лишь некоторые, да и рассматриваются они в определенном, ограниченном аспекте. Ведь главное в этих книгах — атеистическая пропаганда. Пафос разоблачения (разумеется, необходимого) сообщает им определенную направленность, целеустремленность, что, к сожалению, не предполагает пусть краткое, но всестороннее описание и исследование генезиса и сути тех или иных библейских сюжетов. Вот и получается, что, читая Пушкина, Толстого и многих других поэтов и писателей, посещая музеи, читатель и зритель то и дело сталкивается с совершенно неизвестными ему персонажами, непонятными ситуациями, аллегориями, цитатами и т. д. Он не только не понимает смысла прочитанного или увиденного, но и не может в полной мере получить того эстетического наслаждения, которое эти произведения вызывают и должны вызывать. Такова судьба уже нескольких поколений. Исключения редки. Зато те, кто благодаря каким-либо случайным обстоятельствам попадает в число людей, осведомленных о библейских мифах, полностью оценивают значение этой осведомленности.

Вот, например, что пишет С. Есип в повести «Мемуары сорокалетнего», опубликованной в № 4 журнала «Юность» за 1981 год: «С другой стороны, польза от наших с бабушкой совместных чтений открылась мне через много лет, когда я начал интересоваться живописью. Я научился получать от картин то высшее удовлетворение, которое складывается из возможности ухватить живописную форму выражения, сладость от понимания композиции, умение войти в эпоху художника, постигнуть иногда неброские реалии, которые он разбросал по полотну, но все это не существует без почти автоматического владения сюжетом. В те годы я гордился, что в Эрмитаже в залах Рембрандта я не прочел ни одного пояснительного текста к названию картины, разжевывающего происходящее, — я все это помнил, пройдя с бабушкой в качестве внеклассного чтения сюжетику Нового и Ветхого заветов.

А сколько сносок можно было бы не читать у Пушкина, Гёте, Пруста!»...

И вот перед нами двухтомник «Мифы народов мира». В этом издании собраны и объяснены не только античные и библейские, но и вообще мифы всех народов Земли. Такого подробного, обобщающего описания мифов, мифологии и мифотворчества народов мира до сих пор в науке не существовало.

В «Мифах...» содержатся материалы исследований двух различных, часто даже противопоставляющих себя друг другу научных школ — сравнительно-исторической и семиотической. Казалось бы, при таких обстоятельствах, особенно учитывая энциклопедическую форму сборника, он должен был бы состоять из отдельных статей или их групп, мало связанных, в чем-то даже противоречивых. Ничуть не бывало!

В очередной раз оказалось, что когда ученые (да и не только ученые), стремясь к постижению истины, полны доброжелательности и умеют понять аргументы и позицию оппонента, то принадлежность к разным школам и воззрениям не только не вредит, а, наоборот, служит для пользы дела, давая возможность всестороннего и наиболее полного исследования изучаемых явлений. Так, например, вводная статья двухтомника — «Мифология» — написана одним из видных в нашей стране представителей сравнительно-исторической школы С. Токаревым и Е. Мелетинским. Наряду с общими положениями мифологии затрагивается и ряд теоретических проблем, причем именно с позиций сторонников сравнительно-исторической школы: скажем, соотношение между мифами и историей. Мне как историку эта проблема особенно интересна.

Авторы считают, что развогласия в разграничении мифов и истории объясняются в значительной мере тем, что само разграничение условно. Под историческими преданиями обычно понимают такие произведения народного творчества, в основе которых лежат подлинные исторические события: основание городов (Фив, Рима, Киева и других), войны, деятельность видных исторических деятелей и т. д. Однако для «расщепления» мифов и исторических преданий этот признак недостаточен. Например, в состав древнегреческих мифов вошли, часто в поэтической или драматической форме, различные повествования об основании реальных городов, походе аргонавтов, Троянской войне и других событиях, многие из которых подтверждены археологическими, документальными данными.

Провести четкую грань между историческими преданиями и собственно мифами очень трудно.

Тот же вопрос рассматривается в специальной статье «История и мифы» одним из крупнейших представителей семиотической школы — В. Топоровым: «Первые истории чаще всего строятся как описания царств (ср. древнекитайскую традицию) и войн, которые выступают историческим аналогом космологических конфликтов; одно из любимых начал раннеисторических описаний — основание города (напр., Рима у Тита Ливия) — не только сочетает еще в себе миф и историю, но и косвенно отражает тему космологического творения. Наследие мифа в истории является и фигура родоначальника, основателя исторической традиции, которую часто относят и к мифу, и к истории или же вообще сомневаются в ее реальности (Рем и Ромул у римлян или Лях, Чех, Крак, Кий и т. п. у славян)». В. Топоров утверждает, что первые исторические описания, выделившиеся из собственно мифологии, опирались на космологическую схему развития.

Освещенная с разных точек зрения, под разными углами, проблема соотношения между мифологией и историей, в частности выделения истории из мифологии, приобретает, так сказать, объемность.

Еще одна особенность издания — органическое единство текста. Это тем более удивительно, что сборник, как уже указывалось, имеет энциклопедическую форму. Статьи, описания различных мифологий народов мира, мифологических персонажей, понятий, терминов помещены в нем в алфавитном порядке. Однако эклектики или сугубо формальной систематики в рецензируемой работе нет. Все хорошо продумано. Большие статьи посвящены мифологии отдельных народов или их групп: армянской, буддийской, германо-скандинавской, греческой, древнеарабской, индоевропейской, египетской, иранской, китайской, христианской и других. Если же читатель хочет более подробно ознакомиться с тем или иным персонажем, сюжетом, термином, то к его услугам специально посвященные этому статьи. То же относится и к общемифологическим понятиям («Боги», «Древо мировое», «Загробный мир» и др.), к сопоставлению мифов с бытовавшими или бытующими народными ритуалами (например, статья «Заговоры и мифы»), а также к интереснейшим теоретическим вопросам мифо-

логии («Антропологические мифы», «Изобразительное искусство и мифология» и т. д.). Чрезвычайно любопытны статьи, посвященные, казалось бы, самым обычным понятиям: «время», «вода», «воздух», «еда», «письмена», — которые тем не менее занимают важное место в различных мифологических системах.

Всего в энциклопедическом сборнике свыше трех с половиной тысяч статей.

Переписывать даже часть энциклопедических словарей, как мы знаем из дела, которое вел Шерлок Холмс в «Союзе рыжих», — занятие не только бесполезное, но и опасное. Отметим лишь, что высокое качество статей, удачная структура, или архитектоника, томов — заслуга не только многочисленного (свыше 100 человек) авторского коллектива, но и (едва ли не прежде всего) редакторов сборника, причем среди них много авторов.

Когда держишь в руках двухтомник «Мифы народов мира», то прежде всего испытываешь глубокое удовлетворение оттого, что книги эти, едва выйдя в свет, сразу стали заметным явлением культурной жизни, что появились они именно в нашей стране. Однако рецензент обязан указать и на недостатки издания.

В некоторых статьях, авторы которых использовали, по-видимому, не самые новые источники, не в полной мере учитываются достижения современной исторической науки. В ряде статей ученых, принадлежащих к семиотической школе, статей, как уже говорилось, написанных на очень высоком уровне научном и литературном, иногда встречается излишне много специальных терминов. К примеру, только одна фраза из уже упоминавшейся превосходной статьи «Заговоры и мифы»: «Не случайно, что именно заговорные тексты обнаруживают всю глубину классификационных и таксономических функций, которые в мифе могут присутствовать лишь имплицитно и актуализируются лишь в определенных ситуациях».

«Мифы народов мира» — труд научный, но ориентирован он не только на специалистов. Потому, думается, вполне оправданным был бы дополнительный — сокращенный и еще менее специальный — вариант этого столь нужного и интересного широкому читателю издания.

Г. ФЕДОРОВ,

доктор исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



МАКА ДЖОХАДЗЕ. Человек из маленького двора. Рассказы и повесть. Перевод с грузинского Аиды Абуашвили. («Молодые голоса») М. «Молодая гвардия». 1981. 159 стр.

Традиционный интерес всесоюзного читателя к грузинской литературе несомненен. Тем более понятен, учитывая общее внимание к молодым авторам, интерес к новому поколению грузинских прозаиков. Мака Джохадзе — одна из них, «Человек из маленького двора» — ее первая книга, переведенная на русский язык. Есть в сборнике несколько интересных, тонких рассказов, но повесть «Уцелевший пейзаж» явно превосходит их и уровнем письма и серьезностью проблематики — мне хочется сосредоточиться на ней.

В центре повести — юноша Саба, находящийся в том возрасте, когда становление личности зачастую связано с душевной ломкой; у героя повести она оказалась сопряжена с целым рядом жизненных обстоятельств. Буквально рушится его «малый мир»: умирают бабушка и отец, уставшая от одиночества мать находит «друга», осужден за «немотивированное» преступление товарищ героя Тедо. Внимание автора сосредоточено на состоянии и души персонажей. И если согласиться с тем, что «поэтическая мысль есть такая мысль, которая, будучи выражена в прозе, по-прежнему тяготеет к стиху» (П. Валери), то можно сказать, что «Уцелевший пейзаж» прямо-таки местами насыщен именно поэтической, избыточной образностью. «Саба показалось, что в этом беспредельном мире он так же случайно набрел на образ матери, как заблудившийся в песках пустыни путник на шершавое с иглами растение с растрепанной верхушкой, на это единственное и бесхитростное прибежище в палатке зное бытия». Это может нравиться или не нравиться, но таков стиль. Именно постоянное, почти навязчивое сопряжение бытия и бытия, сопряжение конкретных деталей (причем сама деталь зачастую символична) с поэтическими обобщениями, и все это в пределах иногда одной фразы, и есть особенность письма Маки Джохадзе. В рассказах эта особенность проявляется не так отчетливо, может быть, поэтому они и производят менее яркое впечатление, но в повести сразу бросаются в глаза и обаяние авторской манеры и ее очевидные издержки. «Настоящее упрямылось, как безнравственное (?) дитя в колыбели. У этой безнравственности не было предела. Или это огрехи перевода? Но надо отдать писательнице

должное — именно система поэтических обобщений, сменяющих друг друга, движет произведение вперед, образует своеобразную ткань повествования. Контрапунктом проходят через все произведения два мотива: общность людей и их одиночество, их единение и отдельность (обособленность). До конца повествования в жизни Саба не происходит ничего, что могло бы нарушить его одиночество, а точнее, зачарованность собственным одиночеством. Что ж, в намечившихся обстоятельствах хеппи-энд в виде неожиданного просветления выглядел бы, пожалуй, фальшивым; к такому просветлению его могла бы привести коренная перемена жизненных обстоятельств или очень долгая душевная работа. Но надо отметить — коллизия повести не выглядит неразрешимой, может быть, именно в силу поэтичности, возвышенности авторского голоса. Саба чувствует свое и чужое одиночество как ситуацию ненормальную и нестерпимую, путь «из одиночества в люди» (М. Пришвин) ему еще предстоит.

В предисловии к сборнику Тамаз Чиладзе называет «Уцелевший пейзаж» лучшим произведением «не только в творчестве Маки Джохадзе, но и в творчестве всех молодых грузинских писателей в последние годы». Может быть, и так, во всяком случае мне думается, что повесть Маки Джохадзе в полной мере обладает той эмоциональной заразительностью (А. Толстой), которая и является одним из важных признаков настоящего произведения искусства.

Андрей Василевский.



А. ЛЕВИН. Дни нашей жизни. Книга о Юрии Германе и его друзьях. М. «Советский писатель». 1981. 455 стр.

Говоря о свойствах человеческой памяти, психологи часто прибегают к такой формуле: ничто не забывается, но не все можно вспомнить.

Не то ли происходит и с литературной памятью? Делается литература усилиями многих и многих, на поверхности же остаются лишь отдельные имена. Но справедливо ли это и не обкрадываем ли мы себя тем, что не все успеваем вспомнить?

Все мы хорошо помним, как в конце 50-х — начале 60-х годов читалась трилогия Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все». Читали ее в очередь — сначала но-

мера «Звезды», потом отдельное издание — люди искушенные и те, кто берет книгу от случая к случаю, читали в переполненных вагонах метро и электричек, на садовых скамейках и чуть ли не на ходу...

Не знаю, какова популярность этой книги сегодня, но бесспорно одно — сознание нескольких поколений формировалось и этой книгой. И если идея человечности, заложенная в трилогии Германа, идет, как определил когда-то писатель Даниил Данин, «даже не от ума и не только от сердца, а откуда-то еще глубже, подспуднее», если это остается алгоритмом духовной жизни у тех, кто пришел двадцать лет спустя, то в этом заслуга и книг Германа тоже. Ничто не уходит бесследно. Следует только знать, из каких зерен прорастает наше сегодня, что оно продолжает и что оставит завтрашнему дню.

Книга Л. Левина как раз об этом. Вместо ожидаемого определения жанра «очерк творчества» она имеет подзаголовок «...о Юрии Германе и его друзьях», и это очень важно. Действительно, ее герои, кроме самого Германа, — Ольга Берггольц, Борис Корнилов, Евгений Шварц, Николай Чуковский, Ефим Добин, Леонид Малюгин, Леонид Рахманов, то есть целое поколение писателей, и вся книга насыщена фактами литературной жизни почти четырех десятилетий, часто забытыми, малоизвестными, а то и вовсе неизвестными. Но хотя речь в ней идет о литературе, о творчестве — и в первую очередь о творчестве Германа, его книгах, при всей своей непохожести связанных в одно неким общим знаменателем («...личной увлеченностью поисками в жизни добра»), — прежде всего это книга о людях, о той нравственной атмосфере добра и внимания друг к другу, той искренной, сердечной заинтересованности в человеческих судьбах, без которой в человеке вымирает постепенно его человеческая сущность. И память о бескорыстности дружбы, которая в отличие от приятельства никогда не отступает перед бедой, сколь страшна и опасна та ни была, — вот, очевидно, главный для автора итог тех долгих лет и трудных дорог.

Перечитывая книгу, я дважды останавливалась на одних и тех же строках. «Меня терзало ощущение, — пишет автор о себе самом, — что после смерти Германа моя жизнь пойдет как-то по-другому, что я не просто лишился близкого человека, а навсегда утратил нечто важнейшее в самом себе, в своей собственной личной душевной жизни». Думаю, что именно в этих словах ключ к тому состоянию, которое заставило критика Льва Левина написать именно такую книгу.

Человек, воспитавший в себе замечательное и, увы, не частое качество — чувство глубокой, несуетной и бескорыстной верности дружбе, действенной верности памяти, — не имеет права помнить не все.

Ирина Гитович.



ЗОЯ ВЕЛИХОВА. Качели весны. Стихи.
М. «Советский писатель». 1981. 63 стр.

Когда читаешь стихотворение о том, как девушка «ради спортивного интереса» со-

стызается с поездом, приближающимся к переезду, вспоминаются подростки Юрия Грифонова из «Дома на набережной», их «То-ив» («Тайное общество испытания воды»), багряное облако тщеславия, окутавшее полудетей накануне действительных и грозных испытаний. И здесь, в стихах Зои Велиховой, живет еще не до конца осознавшая себя жажда действия, непребродившее вино самоутверждения. Что же дальше?.. Интересен выбор персонажей, нарисованных автором с завидной точностью, выпуклостью. Это люди, отмеченные нравственной силой, несломленные горестями. Это спорящие с судьбой моряки, это шагающий на костылях в вечерний университет калека «сквозь город, мимо праздной лени тех, кто думает, что жизни нет предела»...

С тяжелым балансиром в руках идет акробат: «И проволока не задрожит под твердою ногой». Кажется, что автор не только восхищается волевыми людьми, их душевным богатством, но чувствует с ними какую-то связь, родство. В характере автора угадываются сдержанность, достоинство, стойкость.

К сожалению, во многих публикациях и книгах молодых утрачена великая способность поэзии передавать состояние или хотя бы настроение. Лучшие стихи Зои Велиховой («В прохладный тихий день...», «Свет из дальних комнат светит слабо...», «Ночной бабочке», «Спеша по безлюдью метели...», «Голубой мальчик») отмечены именно этой способностью, неподменностью поэтической мысли манерой.

Есть в «Качелях весны» ностальгия по ушедшему, будто бы прочному быту малоэтажной Москвы, тихих и небогатых комнат в старых районах... Был ли этот быт, этот мир прочнее нынешнего? Едва ли. Здесь выявляются романтические черты, свойственные не одной Зое Велиховой. Они порождены, конечно, той же душевной нестраченностью личности.

Проблемы лирики вечны: скованность и свобода, сила и слабость, мысль и чувство... Какой этап созревания души поэта отразила первая книга Зои Велиховой? Мне кажется, она в основном отражает время, когда автору уже хочется ответить «с трескучего костра сухого пламени излишек», когда «сходит позолота с поверхности вещей». Сходит, но еще не сошла. Сойдет ли? Всегда необязательно. Да поэзии и не нужна голая поверхность. Книгу заканчивают строки про солнце: оно «саженцы спалило и стены обожгло, а уходя, позолотило прозрачное стекло». Все-таки позолотило...

«Качели весны» — первая книга. В ней Зоя Велихова выразила свой характер, заявила о своем присутствии в современной лирике. Нельзя ли адресовать и ей самой ее слова, относящиеся к цирковому артисту?

Иди свободно по струне,
Превозмогая страх...
Над непомерной высотой
Подольше протяни —
Случайно с ниточки тугой
Смотри не соскользни.

Владимир Приходько.



АЛЕКСАНДР КУХНО. Слова, зовущие к добру... Стихи, проза, письма. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1981. 334 стр.

Всего четыре тоненькие книжки стихов опубликовал А. Кухно при жизни. Вышедшая теперь, посмертно, пятая книга знакомит с его прозой, с циклом неопубликованных стихов, с большой исследовательской работой.

В первом, прозаическом, разделе книги «Откуда аз есмь...» — размышления о родине, родном городе, о людях, которые вошли в душу и помогли состояться поэту. В разделе «Верны багряным парусам» помещены уже опубликованные стихи — избранное. Александр Кухно был лирическим поэтом. Он мечтал: «Чтоб всегда, в минуту каждую, а не просто — время выдалось! — людям виделась, как важное, красота земная виделась». Его стихи о любви наполнены светом, радостью: «Солнце придерзает по облакам, понастрою снежных крепостей, прорублю широкую траншею, — не к калитке, — к людям прорублю!.. Чтобы шла, девчонкой хорошея, женщина, которую люблю».

Рядом со стихами о счастливой любви, праздничном восприятии родной природы в поэзии А. Кухно отчетливы мотивы, связанные с бередившим душу поэта чувством неравносесия, своей повышенной ранимости: «Сурова жизнь. Глядит невесело на все старания твои, не диво, молвит, равновесие — без равновесия творил!» Но: «Я с каждым годом все ранимее, и чем ранимее — тем сильнее!»... Рождаются стихи-предчувствия: «Гори душа! Не так ли, сжг ли — гори высоко!.. Чтоб чувства в людях не иссякли — скорай до срока. Поэт умер в сорок шесть...»

В Новосибирске во время войны в сквере имени Героев революции похоронен последний боец Парижской коммуны — Адриен Лежен. Ничего не было известно о жизненном пути последнего коммунара. Александр Кухно на десять лет погружается в трудный, почти безнадежный поиск: он письмами разыскивает в Советском Союзе, Болгарии, Франции людей, которые знали Лежена, он упорно, по крупицам собирает сведения, включая в свой поиск новых и новых людей. Все они — от жены художника К. Н. Редько, который в 1940 году рисовал девяносточетырехлетнего Адриена Лежена, до лечащего врача последнего коммунара — становятся его ближайшими друзьями. Путь поиска, путь от человека к человеку раскрывается в разделе «Жизнь под красным знаменем». А сама повесть о Лежене осталась недописанной.

В книге представлены переводы с якутского, алтайского, венгерского, немецкого. И последний раздел — «Мои друзья — мне самый теплый юг». Здесь воспоминания, написанные Ильей Лавровым, Александром Романовым, Василием Коньяковым, Иваном Красновым, — многие из них были старшие поэта, но порой душевную поддержку находили у него.

Книга составлена женой поэта Ольгой Кухно. Вступительная статья А. Никулькова на первый взгляд бесстрашна. Но эта бесстрашность кажущаяся. Критик убежден-

но и убедительно раскрывает, что поэзия Александра Кухно несет «высокий урок нравственности, очень современный урок».

Н. Макарова.

★

Н. Г. ПОЛТАВЦЕВА. Философская проза Андрея Платонова. Издательство Ростовского университета. 1981. 141 стр.

Имя Андрея Платонова стало всесоюзно известным, когда в 1927 году появился первый его сборник повестей и рассказов — «Епифанские шлюзы». В последующие два десятилетия вышло еще несколько книг писателя. Тем не менее его творчество долгое время оставалось как бы на периферии советского искусства. Возвращение Платонова в конце 50-х годов сопровождалось уточнением истинных масштабов этой фигуры: Платонов ныне видится одним из самых значительных явлений советской прозы в целом. И хотя литературоведческая наука уделяет немало внимания освоению художественного наследия Платонова, все же самая сложная задача — целостное осмысление его глубоко самобытного искусства — еще не решена.

Книга Полтавцевой ясно доказывает, что Платонов — художник 20—40-х годов, оставаясь самим собой, приходит к читателю 70—80-х иным, чем его знали первые читатели. Творчество Платонова ныне получает новую объемность, обнаруживает такие глубины писательского зрения, которые были не всегда доступны современникам.

Такие понятия, как философская проза и философичность прозы, мы подчас недостаточно четко дифференцируем. Н. Г. Полтавцева справедливо считает философичность признаком всего искусства Платонова, но к философским относит только те его произведения, которые отличает «определенная установочная позиция автора на сознательное изучение той или иной философской проблемы в рамках художественного изображения действительности». Таковы, по мнению автора книги, произведения Платонова 30-х годов — «Такыр», «Джан», «Мусорный ветер», «По небу полуночи».

Анализируя философскую прозу Платонова, Полтавцева обращается к проблеме мифа в литературе. Писателя привлекали в мифе его принципиальная метафоричность, способность быть образом-понятием, образом-идеей, а также его архетипичность, то есть особое свойство заключать в себе первообразы вещей и явлений. Интерес к мифу всегда был присущ Платонову-художнику, но в полной мере этот интерес реализовался лишь в момент жажды самого большого обобщения, наступивший для него в 30-е годы.

В одной из глав книги удачно анализируются рассказы «Мусорный ветер» и «По небу полуночи». Первый — один из самых сложных у Платонова. Полагаю, что будущие исследователи не пройдут мимо его трактовки, предложенной Полтавцевой. Тем более что в книге впервые анализируется полный текст этого рассказа (опубликован в «Избранных произведениях» по рукописи, хранящейся в архиве А. М. Горького).

Автор убедительно показывает, как герои среднеазиатских произведений писателя («Джан», «Такыр»), вырываясь из плена первобытных мифов, где человек не владеет собственной свободой, обретают духовную свободу, в них проруждаются подлинно человеческие начала.

О повести «Джан» (опубликована в 1964 году) много писалось в нашей периодике. Полтавцева опирается на эти публикации, но предлагает собственную трактовку этого произведения, удачно рассмотрев заключительные главы повести, впервые включенные в ее текст в упомянутом двухтомнике. В них повествуется о втором круге страстный народа джан и Чагатаева. Рассмотрев подробно этот круг, Н. Полтавцева справедливо пишет, что в судьбе народа джан и Назара Платонов дал ситуацию трагедии, но разрешил ее не трагическим способом, внеся идеи новой социальности.

Книга Н. Полтавцевой, подкупающая тонкостью литературоведческого анализа, широкой эрудицией автора, несомненно поможет читателю найти верный ключ к неповторимому искусству Андрея Платонова.

Е. Краснощекова.



В. ЛАВРОВ. Человек. Время. Литература. Л. «Художественная литература». 1981. 224 стр.

«Передний фронт науки,— пишет академик А. Д. Александров,— перемещается теперь в область социологии, социальной психологии и вообще „человековедения“». А поскольку литература и есть человековедение, проблема личности выступает на первый план в творчестве любого художника. Поэтому не случаен интерес современной критики к концепции личности в искусстве. В книге В. Лаврова «Человек. Время. Литература» именно личность, нравственный мир человека и способы его художественного воплощения находятся в центре внимания критика. Под этим углом зрения он исследует самые разные произведения многонациональной советской литературы, обнаруживает общность поисков писателей и в то же время оценивает творческую индивидуальность многих из них. Взгляд критика обращен к реальной художественной практике 70-х годов, и ему важно «наглядно представить уровень духовной жизни общества в наши дни и перспективу дальнейшего движения литературы и искусства». В этом смысле показательны названия отдельных глав работы: «Утверждение личности», «Путь к себе», «Человеком быть».

В анализе произведений о войне В. Лавров выявляет одно из ведущих начал современной прозы — ее стремление соединить разновременные пласты, «выйти к философским раздумьям о драматизме эпохи и смысле жизни». Суждения автора о произведениях Ю. Бондарева, М. Дудина, А. Адамовича, Д. Кутультинова находят закономерное развитие при анализе книг мемуарного жанра, который по-своему близок концепции исследования: ведь книги такого рода сосредоточены на конкретном человеке, на бытии его во времени, на его нравственном

духовном потенциале. Мемуары — это часто история жизни человека, познающего себя и окружающий его мир. Разбор книг В. Каверина, Ю. Смолича, М. Шагинян, О. Берггольц, В. Катаева дан критиком с тонким пониманием специфики жанра.

В. Лавров понимает, что без книг, посвященных «человеку на земле», будет неполной, недостаточной художественная панорама времени, так как в них ставятся острейшие нравственные проблемы. Это проза с отчетливой морально-этической и эстетической программой, обращенной к сегодняшнему человеку (произведения Ф. Абрамова, В. Шукшина, Г. Матевосяна, И. Друцэ, В. Распутина).

Отмечен автором интерес нашей многонациональной литературы к нравственно-философским обобщениям, который, в свою очередь, связан и со стремлением «к масштабному охвату времени, к осмыслению крупных, узловых событий века». Подтверждением тому могут служить романы В. Белова, С. Залыгина, Ч. Айтматова, И. Авижюса, В. Астафьева. Отличительное свойство этих произведений заключается и в том, что в них произошла переакцентировка с события на человека: «События проходят «через него», заставляя человека проявлять свое отношение к ним, тем самым раскрывая суть своей натуры».

По мысли В. Лаврова, «процесс самопознания человека» отразился и в так называемой путевой прозе, где «все время происходит сопряжение «дома» и «дороги»...». Причем нередко, добавим мы, такое сопряжение имеет под собой лирико-философскую основу. В Лавров справедливо подчеркивает тяготение современной прозы к этико-философской проблематике, стремление подходить к «отдельной человеческой жизни как к частице судьбы народной».

Несомненно, что критик проделал важную и своевременную работу, показал нарастающую масштабность раздумий о человеке в современной многонациональной литературе.

Виктор Горя.

Барнаул.



К. С. ГОРБАЧЕВИЧ. Нормы современного русского литературного языка. М. «Просвещение». 1981. 208 стр.

Мы все люди грамотные... Написал эту фразу и запнулся: какой знак препинания поставить в конце — точку или вопросительный? Если подразумевать грамотность в рамках школьных или вузовских программ русского языка — тогда точка (оставляя за скобками тутоуухх троичников); а если мыслить о литературном языке, о речевой практике, о культуре речи — тогда надо ставить не один, а три вопросительных знака.

Сегодня же послушайте — на любом собрании, совещании, планерке, пятиминутке, летучке, — как говорят даже записные ораторы. Суть дела, предложения, замечания можно изложить в двух-трех четких продуманных фразах. А что мы слышим? Оратор, как правило, делает длительные подходы, петляет в словесных реверансах, огорках, оглядках (как бы кого не обидеть,

не быть неправильно понятым). Это языковая психология, определяющая композицию выступления.

Далее стилистика: сколько вводных фраз и слов-сорняков, сколько сложносочиненных и сложноподчиненных предложений («то, что», «потому, чтобы», «которые, которые»)! О словарном запасе и говорить не приходится: канцелярит, фразеологические блоки-штампы, перемежающиеся порой просторечием... Опытная аудитория спит с открытыми глазами, научившись просыпаться, когда звучит предпоследний абзац — в нем одном, как правило, вся суть выступления (последний абзац — снова заверения, уверения, извинения).

«...языковая малограмотность, как еще говорил М. Горький, всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической», — напоминает К. Горбачевич на первых же страницах книги «Нормы современного русского литературного языка». И письменная и устная речь в наши дни стала основным орудием труда работников сотен специальностей: писателей и журналистов, руководителей всех рангов и общественных работников, педагогов и воспитателей (от яслей до вузов), продавцов и работников сферы обслуживания, чтецов и конференсье и т. д. и т. п. Язык как орудие труда, средство мышления и общения служит и началом и венцом любого дела: точная постановка задачи, контроль за ходом исполнения, подведение итогов — на всех этих этапах мысли участников, выраженные в слове, могут сыграть решающую роль.

«Понятие культуры речи, — писал известный советский языковед Г. О. Винокур, — можно толковать в двойном смысле, в зависимости от того, будем ли мы иметь в виду одну только правильную речь или же также речь умелую, и с к у с н у ю». Приведа эту цитату, К. Горбачевич продолжает мысль ученого: «Понятие «культура речи» не сводится к мелочной опеке и погоня за отдельными уродливыми словечками и безграмотными оборотами... Борьба за культуру речи всегда ведется как бы на два фронта: против тех, кто безоглядно засоряет литературный язык ненужными и даже вредными новшествами, и против тех, кто упрямо противится всему новому, непривычному, но в то же время прогрессивному и полезному».

Проблема правильного, искусного (или, как говорят ученые, оптимального) использования языковых средств в определенной речевой ситуации очень сложна. По этому поводу в специальных языковедческих, литературоведческих, а то и массовых изданиях идут страстные споры, высказываются неоднозначные, противоречивые, взаимоисключающие мнения и взгляды. И «виноват» в этом сам русский литературный язык — он обладает необыкновенно богатым лексическим фондом (если учитывать живые областные слова, топонимы, термины и производные слова, то набирается несколько миллионов лексем, которые могут применяться в наши дни) и сильно разветвленной системой стилей. Словари же русского языка не поспевают за потребностями времени и разнообразием практики плодотворного словотворчества.

И еще — русский литературный язык обладает такими недостатками, которые суть продолжение его достоинств: неодинаковая обязательность (жесткость) и устойчивость нормы, инвариантность, многозначность, большое количество синонимов, исключений. Все это проявляется и в стилистике, и в словоупотреблении, и в ударениях, и в орфографии, вплоть до пунктуации. Обо всем этом и рассказывает книга К. Горбачевича — с убедительными примерами из произведений современных писателей и публицистов (и многие из них смогут узнать нечто новое о своих стилистических достижениях и огрехах), из статей лингвистов, из живой обывденной речи.

Наш язык создает немалые трудности не столько для специалистов (о них метко сказал известный русский лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ: «Быть законодателем, хотя бы только в области языка, очень приятно, и поэтому-то каждый (или, по крайней мере, почти каждый) грамматик практического направления считает себя вправе командовать по этой части. Освободиться от желания издавать подобного рода указы очень трудно, так что даже у многих из самых светлых и чисто объективных умов сохраняется склонность перестраивать и поправлять родной язык»), сколько для многих миллионов говорящих и пишущих по-русски людей.

Главная идея и цель работы К. Горбачевича сформулирована им в «Заключении» так: «Научно организованная и результативная языковая политика не должна строиться на основе обманчивого декретирования и самоуверенного наклеивания ярлыков вроде «правильно» или «неправильно». Ее суть состоит в спокойном, обстоятельном и благожелательном рассмотрении спорных языковых фактов, в планомерном «подталкивании» речевой практики в направлении общей эволюции литературного языка».

Корифеи русской литературы, испытывая муки творчества в поисках точного слова, неизбежно приходили к одному и тому же выводу: кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Борьба с малограмотностью, повышение культуры устной и письменной речи требуют не столько внешнего усвоения грамматических категорий (хотя и начинаются с этого), сколько постоянной работы мысли — творческого подхода к живому, как жизнь, русскому языку.

Ю. Попков.



И. С. ВДОВИНА. Эстетика французского персонализма. М. «Искусство». 1981. 191 стр.

«Личность не есть объект, которым оперируют, она — центр переориентации объективной вселенной» — так выразил свое философское кредо один из основателей и ведущих теоретиков персонализма — Э. Мунье. Предлагая сделать личность точкой отсчета философии, персоналисты по-своему отразили растущее разочарование широких слоев интеллигенции в буржуазном обществе, основанном не на личностных, человеческих, а на отчужденных, вещных связях и отношениях. Идеалом персоналистов стала «гу-

манистическая» цивилизация, в которой ведущее место занимают ценности духовные, особенно эстетические и религиозные. Попробуем, следуя рецензируемой книге, понять теоретические рассуждения сторонников «личностной философии» (так еще называют персонализм).

Ведущая идея этого философского течения состоит в том, что среди многообразных форм человеческой деятельности необходимо выделить одну, привилегированную, определяющую человека как личность. Персоналисты приписывают такой статус искусству. Конечно, искусство — яркая форма выражения человеческого «я». Но разве человек не воплощает свои способности и свое внутреннее содержание в производительном труде, науке, политической деятельности, хотя, конечно, он делает это иначе, чем в художественном творчестве? Превеличение роли искусства неизбежно сужает понятия «человек» и «личность».

Отделив личность от ряда важных для ее самоосуществления способов деятельности, персоналисты освобождают ее и от телесной оболочки: искусство оказывается в персоналистской философии средством связи не людей, наделенных сознанием, а самих сознаний. Однако где может реализовать себя этот человек персоналистов и какова, стало быть, та система отношений, которая отвечает его сущности? По-видимому, спиритуалистически истолкованный человек может существовать лишь в идеальном мире, в котором нет места материальным, производственным отношениям. Разрешение социальных конфликтов в этом случае так-

же переносится в сугубо идеальный план, и инструментом их разрешения выступает у персоналистов опять-таки искусство благодаря специфической для него функции придания личностного смысла определенным вещам и явлениям. Оказывается, для того чтобы преобразовать не удовлетворяющую человека социальную действительность, надо всего лишь... переобозначить, переосмыслить ее элементы, сделать (конечно, в воображении) уродливое прекрасным, рутинное поэтическим, трагедию — веселой игрой, подобно тому как в чаплинской «Солнечной стороне» рубашка вдруг становится скатертью, а ее рукава салфетками.

Конечно, в кратком пересказе «философия личности» выглядит несколько упрощенно, из чего, разумеется, не следует, что персонализм — некий наив, забава взрослых людей, строящих здание философской теории из кубиков «детских» понятий. Критикуя эстетику персонализма, И. Вдовина отмечает его сложную структуру, позитивные моменты — антибуржуазную, гуманистическую направленность, интересные искусствоведческие идеи. И все же в главном теоретические рассуждения персоналистов воспроизводят типичные ходы идеалистической мысли, видящей основную задачу не в преобразовании капиталистического общества, а в изменении шкалы оценок самого человека. Это и предопределяет теоретическую ограниченность персонализма, его неспособность решать острые проблемы современности.

А. Андреев,
кандидат философских наук

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Архив Маркса и Энгельса. Т. 16. 406 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. И. Ленин. Апрельские тезисы. О задачах пролетариата в данной революции. 14 стр. Цена 3 к.

Л. И. Брежнев. Воспоминания. Сувенирное издание. 285 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Кондратьев. На фронте в огне. Эпизоды из жизни Яна Фабрициуса. 128 стр. Цена 20 к.

Г. Метельский. Неповторимый. Повесть о Петре Сидовиче («Пламенные революционеры») 415 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННИК»

Б. Бухштаб. Литературоведческие исследования. 176 стр. Цена 40 к.

Ф. Видрашу. Перекрестки. Рассказы и очерки. («Наш день») 256 стр. Цена 55 к.

М. Ломунова. Самая жгучая связь. Очерки о советских писателях. 221 стр. Цена 1 р.

П. Нилин. Интересная жизнь. Повести и рассказы. 461 стр. Цена 1 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Каверин. Вечерний день. Письма Встречи. Портреты. 559 стр. Цена 2 р. 20 к.

Я. Кросс. Между тремя поветриями. Роман. Перевод с эстонского. Книга 4. 400 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Погосян. Каменный венец. Стихи и поэма. Перевод с армянского. 80 стр. Цена 40 к.

Ю. Полукин. Улица Грановского, 2. Свет баульника. Романы. 672 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Тублин. Испанский триумф. Повести. 255 стр. Цена 1 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Каррион. Честные. Роман. Нечистые. Роман. Перевод с испанского. 591 стр. Цена 3 р.

М. Митчелл. Унесенные ветром. Роман. Перевод с английского. Т. 1, ч. 1—3. 607 стр. Цена 3 р. 10 к.

Поэзия США. Перевод с английского. 831 стр. Цена 3 р. 80 к.

М. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки. 304 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Толстой. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 1. Повести и рассказы. Чудаки. Роман. 398 стр. Цена 2 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Аджиев. Перед жатвой. Стихи. Перевод с кумыкского. 63 стр. Цена 25 к.

М. Годенко. Полоса отчуждения. Повести. 221 стр. Цена 1 р.

С. Залыгин. Собеседования. 287 стр. Цена 85 к.

Х. Калау. Избранная лирика. Перевод с немецкого. 62 стр. Цена 15 к.

П. Неруда. Время жизни. Стихи. Перевод с испанского. 287 стр. Цена 85 к.

«ПРОГРЕСС»

П. Вежинов. Измерения. Перевод с болгарского. 294 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Нот. День рождения. Повести и рассказы. Перевод со словацкого. 254 стр. Цена 1 р. 70 к.

Д. Мфуйу. Унижение. Повесть. Перевод с французского. 174 стр. Цена 75 к.

Пять сестер. Современная проза Пенджаба. Перевод с хинди и пенджаби. 346 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Ригони Стерн. Избранное. Перевод с итальянского. 415 стр. Цена 2 р. 60 к.

З. Сафьян. Ничейная земля. Роман. Перевод с польского. 300 стр. Цена 2 р.

М.-Т. Юмбер. Мое второе «Я». Роман. Перевод с французского. 380 стр. Цена 2 р.

«ИСКУССТВО»

Е. Габрилович. Избранные сочинения. В 3-х тт. Т. 1. Сценарии о том, что прошло. Послесловие А. Караганова. 480 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. Ждан. Эстетика фильма. 375 стр. Цена 2 р.

Ю. Овсянников. Франческо Бартоломео Растрелли. («Жизнь в искусстве») 287 стр. Цена 1 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Адамович. Война и деревня в современной литературе. Минск. «Наука и техника». 199 стр. Цена 70 к.

Антология дагестанской поэзии. Переводы Т. З. Поэты Советского Дагестана. Махачкала. Дагестанское книжное издательство. 349 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Валнов. Мост. Повести. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. («Современная сибирская повесть») 336 стр. Цена 1 р. 20 к.

Древнегрузинская литература V—XVIII вв. Переводы. Тбилиси. Издательство Тбилисского университета. 735 стр. Цена 3 р. 30 к.

Р. Нурпенсов. Россыпь звезд. Стихотворения и поэмы. Алма-Ата. «Жазушы». 143 стр. Цена 75 к.

И. Фомяков. Лучшие годы. Стихи. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. («Сибирская лира») 176 стр. Цена 50 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашу (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора),
Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 24.05.82 г. Подписано к печати 7.07.82 г. А. 08919.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак. 1815.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02317.

Цена 1 р. 20 к.

70636